

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

12

НОВЫЙ МИР

1993

12



1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12 (824)

Декабрь, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Экологический роман	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Из тетради 1993, стихи	107
БОРИС ЕКИМОВ — Набег, рассказ	110
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — Голубая вечность, стихи. Предисловие Вадима Сикорского	130
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЭММА ГЕРШТЕЙН — Лишняя любовь. Сцены из московской жизни. Окончание	139
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
<u>П. ПЭНЭЖКО</u> — Предприниматели. Попытка группового портрета в посткоммунистическом интерьере	175
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Черты двух революций	196
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Вышли (?) мы все из барака...	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Гипсовый ветер. О философской инток- сикации в текущей словесности	215

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Политика и наука

232

Б. Ливчак. Давний спор и современность.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ — Из страны рабства — в пустыню. О поэзии Иосифа Бродского 236
Д. САРАБЬЯНОВ — Памятники культуры — рядом с нами 243

КОРОТКО О КНИГАХ:

А н д р е й В а с и л е в с к и й. — И. Н. В. Давыдова. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся среднего возраста. II. Иеромонах Роман. Земля Святая. Записки паломника. ♦

А. Н е ж н ы й. — С. Б. Филиатов. Католицизм в США. 60 — 80-е годы. ♦

Е л е н а С т е п а н я н. — Протоиерей Владислав Свешников, протоиерей Александр Шаргунов. О церкви, России, нравственном мире. Сборник статей

247

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1993 ГОД 252

SUMMARY 256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

Редакция «Нового мира» приносит читателям извинения за полиграфическое исполнение журнальных книжек № 12 1993 г. и № 1 1994 г.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

Герой этого романа гидролог Голубев, имя-отчество — Николай Петрович. Его биография известна автору больше и лучше, чем собственная. Читатель спросит: может ли быть такое? Вполне!

Вполне, потому что в собственной биографии невозможно избавиться от «зачем?», «почему?», «для чего?» и «когда?», потому что мое «я» и моя биография — далеко не одно и то же, и я не знаю, как их соединить, как разъединить! Но в биографии несобственной подобное соединение-отчуждение не только возможно, оно неизбежно. Это подлинно авторская работа.

Николай Петрович Голубев (в последующем тексте Голубев) родился в семье врача и учительницы в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в 1913 году, но тут же необходимо заметить, что среди ограничений, которые каждый автор, приступая к работе, обязан поставить перед собой, а затем строго их соблюдать, есть и такое: не вдаваться в происхождение своего героя. Займись автор происхождением своего героя, ему пришлось бы написать еще один (не экологический) роман. Нынче Н. П. Голубеву уже восемьдесят, а столь продолжительный срок каждому за глаза, тем более если учесть, что средняя продолжительность жизни мужчины в бывшем СССР составляла шестьдесят четыре целых и восемь десятых года. (В Российской Федерации она заметно меньше, хотя точной статистики нет. Нам нынче не до статистики, тем более точной.) Для справки: в Японии — семьдесят шесть лет.

Однако Н. П. Голубев привлек внимание автора вовсе не своим долголетием, а прежде всего тем, что в судьбе и профессии Н. П. Голубева оказалось множество совпадений с его собственной авторской судьбой, прежде всего это относится к проблемам экологии.

Сегодня все знают, что такое экология, но лет семьдесят — восемьдесят тому назад этим понятием пользовались лишь немногие ученые, и то в узком смысле, понимая под этим термином раздел биологии, изучающий взаимоотношение животных или растений между собой и с окружающей их средой (Геккель, 1866).

Далеко не сразу наука поняла, что слово это говорит о судьбе человечества — быть ему или уже не быть в ближайшем, XXI веке, поскольку все животные и все растения зависят нынче не друг от друга, но от одноклеточного животного — человека, «субъекта своей собственной общественно-исторической деятельности и культуры», что только ему «присуще стремление к освобождению от пут эмпирического существования». Споры нет — какому из одушевленных предметов могут нравиться пути? Ну а если пути — это и природа? Значит, долой природу?

Разумеется, автор не возлагает эту проблему на своего героя, такого героя природа не создала, такого рода геройство каждую минуту может обернуться антигеройством, фарсом — человек не способен провести жизнь только в этой проблеме, он проводит ее в заботах о собственном здоровье и благополучии дня сегодняшнего. Поэтому единственно на что решился автор — это поразмыслить над существованием человека, которого он не может назвать

ни героем, ни антигероем, для которого такого рода героизм все еще невозможно, но и антигероизм уже чуждо.

Ординарная история — не во всем бытовая, но и не социологическая, без обобщений, и автор надеется, что и без нравоучений. История не до конца индивидуальная, но все еще далеко не общественная. История межеумочная, а в этом смысле типичная.

Когда Голубеву стукнуло шесть лет, почти семь, он заинтересовался — откуда взялись люди на Земле? Самые первые мама, папа и детки — откуда?

Родители, интеллигентные, неверующие люди, не смогли ответить мальчику, и мальчик был потрясен: «Как? Люди взрослые и умные не знают, откуда они взялись на свете? Какой ужас!» Более того, ни мама, ни папа не объяснили сыну: почему у мамы дети бывают, у папы — не бывают? Наверное, было бы интереснее, если бы в семье были и мамины и папины дети?

Подозревая и маму и папу в скрытности, мальчик Голубев стал искать откровенного собеседника. Долго искать не пришлось: в коммунальной квартире проживала одинокая, очень честная женщина Аграфена. Она работала сторожихой на складе бумаги, и соседи не раз просили ее за деньги, за хлебную пайку, за халатик, которым еще можно попользоваться месяц-другой, принести одну-другую школьную тетрадь в клеточку или в косую линейку, стопку писчей, газетной или оберточной бумаги, но Аграфена крестилась: «Нечистая сила не попутает! Не попутает нечистая сила!» — и морщинистое беззубое лицо ее бледнело. Она-то не таясь и объяснила мальчику, каким образом Бог за семь дней создал Землю, потом поселил на Земле Адама и Еву, Адам и Ева согрешили между собой определенным образом, из их греха и произошел род человеческий.

Казалось бы, все должно было встать на свои места, но не встало: Голубев не поверил Аграфене, но одновременно убедился, во-первых, в неискренности родителей, во-вторых, в том, что жизнь очень глупа, если сама не знает, когда, как и зачем она явилась на Землю. Надо было кончать с этой злой насмешкой, и маленький Голубев решил утопиться. Незадолго до того утопился, бросившись с моста, хромой студент-пьяница, избитый сначала белыми, потом красными по подозрению в дезертирстве, вот Голубев и решил последовать его примеру и сказал маме, что пошел играть к Димке (Димка жил рядом, в том же доме; где еще недавно жил студент), а сам улизнул на мост.

Там шла текущая жизнь: под духовой оркестр на мост ступили белые (а может быть, и красные?) солдаты, как только ступили, музыка прекратилась, и солдаты пошли толпой, с любопытством заглядывая в телеги, в которых по двое, по трое везли много раненых и не так уж много мертвых. Наверное, пешие хотели встретить знакомые лица среди тех и других. Вслед за тем вооруженный конвой провел через мост серых людей («Может быть, на расстрел?» — позавидовал мальчик Голубев), две нищие старушки (беженки, снова догадался Голубев) проковыляли в разные стороны, на середине моста перекрестив одна другую. Потом появились босые, с исцарапанными ногами и щеками мальчишки — человек пять. Они подошли к Голубеву и спросили:

— Деньги — есть?

Голубев ответил — денег нет.

— Что делаешь?

— Стою... — ответил Голубев.

— Хочешь — бросим тебя в речку?

Голубев не успел ответить «хочу!», кто-то из мальчишек свистнул, и все они кинулись бежать.

Жизнь людей на мосту, понял Голубев, была настолько отвратительна, страшна, настолько необъяснимо глупа, что ничего другого действительно не оставалось как только расстаться с нею. Голубев прижался к перилам моста и стал размышлять, что лучше: протиснуться между металлическими стояками перил или перелезть через перила и прыгнуть вниз? Но тут, размышляя, он увидел, как течет река.

Он и раньше видел эту и другие реки, и раньше знал, что они текут, но тут он впервые увидел речное течение. Это была большая-большая струя,

быстрая, на какую-то глубину прозрачная, а еще глубже — темная, уже ночная, без дневного света. Подтекая под мост, река пенилась вокруг его полукруглой опоры. Минуя препятствие легко, играя по пути, она журчала при этом и еще чуть меняла свой цвет, а в огромной струе возникали отдельные струи потемнее, посветлее, помедленнее, побыстрее, а в этих уже небольших струях несомненно были и другие, еще меньшие струйки, но ничто не мешало всем струям сколько их было быть одной рекой, быть в одном течении, в одних берегах, в одном стремлении вечно струиться откуда-то и куда-то... Голубев не знал, откуда — куда, но понял, что об этом можно узнать, что в этом не будет секрета, что нет в этом и глупости, и побскал домой к маме и к папе, чтобы узнать у них — откуда? куда? почему течет река? Еще он чувствовал, что этот вопрос может помирить его и с папой и с мамой — они на вопрос ответят, а он их простит, и можно будет жить дальше. Не то чтобы как ни в чем не бывало, но и не так уж плохо жить.

Папа и мама поругали сына за то, что он где-то долго бегал, но на его вопрос ответили: река течет в Карское море.

Голубев никогда не видел морей, но знал, что это такое, и ответ его удовлетворил. В целом. Оставались, правда, вопросы по частностям:

— Почему реки текут? В море?

— Потому что море ниже земли, а вода всегда течет туда, где ниже.

— А куда вода девается из морей?

— Вода из морей испаряется. Становится паром, поднимается в небо, а в небе становится облаками и дождевыми тучами.

— А из дождевых туч дождик идет на землю! — самостоятельно догадался Голубев.

— Совершенно верно! — подтвердил папа. — Молодец!

— А дождик снова течет в реку. По земле! — еще догадывался Голубев, и мама подтвердила догадку, и Голубев был восхищен своим собственным умом и тем счастьем, которым оказалось его примирение с родителями.

Правда, до полного примирения оставался еще один шаг:

— Откуда взялись люди на Земле? Самые первые?

— От обезьяны! — не задумываясь ответила мама.

— Ну, это еще не доказано, — пожал плечами папа.

— Доказано! — воскликнула мама. — Чарлз Дарвин! — воскликнула она.

— Это догадка. На самом же деле не доказано! — стоял на своем папа.

— От обезьяны! — еще решительнее подтвердила мама. — И пожалуйста, не морочь мальчику голову.

— От шимпанзе, — в конце концов согласился папа с мамой. — Ну, я пойду покурю... — И пошел на кухню.

— Ох и упрямый же человек твой папа! — вздохнула мама. — В жизни не встречала такого же упрямого!

Нет, счастье примирения не достигало той бездумной высоты, которой оно должно было достигнуть, и Голубеву надо было думать еще, и вот он додумался, что произошел не только от папы и мамы, но и от чего-то еще (он не знал, что «еще» — это природа), но то, что час назад его жизнь спасла река, что река породила его еще раз, — это он понимал.

Конечно, он не сможет забыть ту безумную жизнь, в которой оказался, прибжав на мост, — не забудет он раненых и мертвых в скрипучих медленных телегах, не забудет колонну заключенных, которая шла по этому мосту (на расстрел?), не забудет мальчишек, которые, будто угадав его намерения, захотели сбросить его в реку, и двух старушек-беженек, перекрестивших одна другую на середине моста, тоже не забудет, но одно дело — не забывая помнить, другое — знать, кому ты обязан своею жизнью. Река, которую он назначил собственной погибелью, спасла его не только от себя самой, но и от всего того, что он увидел на мосту через реку.

Больше того, ему догадывалось, что и папа и мама — живые, а не мертвые, не раненные и не расстрелянные, не совсем, но все-таки сытые, одетые и обутые, с трудом, но все равно понимающие не только друг друга, но и своего сына, — тоже обязаны какому-то существующему в этом мире движению, подобному движению реки. Они сами об этом могли и не знать, но их

маленький сын знал. С сегодняшнего дня. Конечно, сын был удивлен: он один оказался умнее, чем мама и папа вместе?!

Окончив школу в Москве, куда переехали его родители, Голубев без колебаний выбрал специальность: география! К тому времени Голубев чувствовал себя человеком еще не окончательно сложившимся — но уже природным, география же, наука природная, как и сама природа беспредельна, выбрав ее, сразу же надо было сделать выбор в ней. Но и тут колебаний не было — гидрология! По сути дела, Голубев уже в шесть лет стал гидрологом, но то чисто эмпирически, окончив же школу, он подходил к вопросу еще и теоретически.

Ну как же: две трети всей поверхности земного шара, чуть больше, — это не суша, а воды, так что планету Земля правильнее было бы назвать планетой Вода. Да и жизнь сначала зародилась в воде, а потом уж вышла на сушу, и человек на суше — пришелец, не потому ли он так агрессивен по отношению к суше, пришельцы всегда агрессивны.

Географию в школе преподавал Голубеву Порфирий Алексеевич Казанский (Порфиша), он приносил в класс карты — физические, политические, геологические, климатические, этнографические, всякие другие, — он вывешивал их рядом с классной доской, и они висели там подолгу — месяц, больше, — и смена карт, появление новой вместо уже приглядевшейся было событием. Конечно, некоторые ученики, особенно девчонки, эти карты почти не замечали, другие замечали время от времени, перед тем как Порфиша объявлял конкурс — это когда один ученик задавал по карте вопросы другому, а тот должен был отвечать, стоя к карте спиной: «На какой реке стоит город Касимов?», «Столица какой страны расположена ближе всего к столице Бельгии?», «Три города на букву «О» во Франции?». Голубев запоминал карты легко и радостно, как стихи Пушкина. К тому же у него была развита зрительная память. Однажды Порфиша вывесил гидрографическую карту — океаны, моря, проливы, а на суше все более или менее значительные реки с притоками первого, второго и даже третьего порядка. Голубев убедился, что вся суша пронизана реками (в Советском Союзе их длина — три миллиона километров, это при том, что длина экватора — 40,076 километра, какова длина всех рек земного шара, Порфиша и тот не знал). Реки были везде-везде, кроме Антарктиды — в областях сплошного обледенения рек не бывает.

Глядя на гидрографическую карту — голубые жилки по желтоватым материкам, — Голубев не то чтобы догадался, он откуда-то вспомнил, что на суше существует два непрерывных движения — движение жизни и течение рек, и не может быть, чтобы между тем и другим не было чего-то общего, пусть и не очевидной, но тайной связи.

По сути дела, не имея выбора, Голубев был свободнее тех, кто этот выбор имел, — тех студентов-гидрологов, тех доцентов и профессоров, которые выбирали специальность с трудом, так и не зная, почему ее выбрали.

Но люди никогда не прощают тех, кто обладает недоступной им свободой выбора, должно быть, поэтому студенческие годы Голубев провел в некоей очень строгой, а все-таки изоляции, поэтому он с нетерпением ожидал окончания университетского курса, ждал — когда же наконец он перестанет быть студентом-гидрологом и станет гидрологом?

К тому же студенческие годы (1933 — 1939) были связаны с обстоятельствами, в силу которых ему пришлось жить и с родителями, и с сибирскими их родственниками, учиться в двух университетах — Московском и Томском, но это опять-таки вопрос семейного происхождения, который минует автор. Автору дай Бог управиться с теми событиями длинной-длинной жизни своего героя, которые этот герой называл собственной экологической жизнью.

Рекою Голубева стала Обь, створ Ангальского мыса в устье Оби, створ, точно совпадающий с Северным Полярным кругом.

В прошлом веке по Нижней Оби проплыл ученый из обрусевших немцев — Александр Федорович Миддендорф (1815 — 1894) — и написал, что

по красоте своей, по величию, по спокойствию природы и небесному ее свечению он ничего подобного не видел.

Вот и Голубев тоже не видел: с правого берега Ангальский мыс (103 метра над средним уровнем реки), с левого зеленая пойма, потом синий лес, потом безлесная каменная гряда Полярного Урала — темный камень, белый снег, вершины Ра-из и Пай-ер (1499 метров над уровнем моря, это огромная высота для тундры, больше, чем Эверест для Гималаев), — где все это еще увидишь?

Слово «створ» по Толковому словарю Владимира Даля: створ двух веж, прямое направление от глаза, чтобы вежа вежу крыла. «В Севастопольскую бухту входят по створу двух маяков, поставленных за бухтой» (1882).

По Словарю русского языка: место, направление в речном русле, где проводятся наблюдения над водным режимом реки (1984). (Но это уже не только створ, но и гидроствор.)

Голубев полагал определение Даля более точным, более зримым (о таком понятии, как «створ», надо и говорить зримо), к Далю он сам добавлял, что створ — это ограниченная по протяженности вертикальная плоскость между двумя вежами, иначе — плоскость, ограниченная на местности двумя вертикалями, или расстояние между вежами.

Совпадение гидроствора Ангальский мыс и Северного Полярного круга всегда было для Голубева неким таинством, к которому он никогда не хотел бы привыкнуть. Происходило же это совпадение чуть ниже впадения в Обь с правого ее берега тихой тундровой, почти неподвижной речки Полуи, на Полуе тут же неподалеку стоял город Салехард, «Город-мыс», бывший Обдорск, основанный казаками в 1593 году, когда-то знаменитый в Азии и Европе пушными ярмарками.

Полярный круг сам по себе был безлик, молчалив, ничем не отмечен, ничем себя не выдавал, 66° 33' северной широты и только, Обь (шесть — восемь километров в среднюю воду, до двадцати в половодье, максимальная глубина тридцать пять метров), пересекая Круг, тоже ничем не выдавала его. Люди — ханты, манси, ненцы, зыряне, позже и русские — обитали здесь веками, ничего о Круге не зная, но его присутствие выдавал Ангальский гидроствор и водомерный пост, поскольку все знали, что это и есть Полярный круг.

Гидроствор был отмечен высоченными вежами на вершине Ангальского, а пост — сваями водомерного поста. Тут же вблизи поста на каменистом берегу, сразу под обрывом мыса, построены были две избушки и два сарая. В одной, ладной избе много-много лет жил старый водомерщик-зырянин (по-нынешнему коми) дядя Матвей с женой, в другой даже не избе, а избенке обитали рабочие — то один, то двое, в одном сарае была конюшня, в другом помещались лодки и рыболовная снасть.

Уровень воды замерялся по сваям поста три, в половодье четыре раза в сутки, по телефону замеры передавались на гидрометстанцию Салехард.

Базовая гидростанция Салехард имела множество водомерных постов и метеопунктов — на север по всему полуствору Ямал («Край земли»), это километров шестьсот, на юг столько же, на восток до рек Таз и Пур. Знаменитые реки: там когда-то возникла независимая, пушной торговли республика Мангазея. Царь Грозный закрыл ее за беспошлинную торговлю с Европой, она еще долго не подчинялась царскому указу, когда же мангазейцы все-таки покинули острог, в нем — свидетельствовали современники — в несметном количестве расплодился соболи.

Полярный мир заметен и виден как никакой другой, заметен весь, потому что в нем, в его пространстве, не так уж много всего.

Облик на чем-то сосредоточенного человека говорит о человеке несравненно больше, чем когда он не знает, о чем он думает. Так же и северная природа: в ней немного предметов, краски ее глубже, но их тоже меньше, здесь меньше меняется погода и циклоны и антициклоны обходятся без дурных капризов. Здесь меньше нужна теория вероятностей, а значит,

присутствует наибольшая сосредоточенность. Здесь и пространство перестает быть понятием, оно предстает в своей реальности, в той абсолютности, без которой (по Ньютону) нет бытия и которая не зависит от каких-либо процессов. Время здесь менее изменчиво, свет дня и тьма ночи реже перемежаются между собой, а солнце здесь неторопливо, у него меньше восходов и закатов, больше свободного времени, у предметов же на земле — больше значения. Озеро ли какое не совсем обычных, не круглых, как все карстовые озера, очертаний, лиственница одинокая, холмик небольшой — все заметно и все приобретает значение земного ориентира.

Тем более — люди. Люди на Севере считают, что все они знакомы между собой, потому что они — люди и потому что их немного в этом пространстве.

Показалась в тундре встречающая ёленья упряжка, поговорили минуты оленщики о новостях, о погоде, и теперь они близкие знакомцы на всю жизнь.

А то встретится в тундре ненец и спросит Голубева:

— Ты Серегу Климишева знаешь?

— Серегу Климишева — знаю! В Салехарде около базара живет.

— Передай Сереге Климишеву складень. Прошлый год Серега в моем чуме ночевал — складень забыл.

С инспекторским барометром Голубев на лодках и катерах летом, на оленях и собаках зимой, на местных самолетиках летом и зимой мотался из пункта в пункт главной гидрометстанции Салехард, приобщаясь к иной жизни, к неизвестной ему природе. Приобщение же к природе — любовью — было для него делом непрерываемым, духовной его потребностью.

Ну а что значило взять расход реки Оби? Определить, сколько кубических метров в секунду несет Обь через поперечное сечение Ангальского гидроствора? С точностью 2 — 3 процента?

По вехам веерного створа, расположенного на вершине мыса, нужно определиться и поставить катер «Таран» на точку очередной вертикали, измерить ее глубину H , а затем на глубинах ноль, то есть на поверхности реки, на $0,2H$, $0,4H$, $0,6H$ и $0,9H$ (донная глубина) вертушкой измерить скорость течения (гидрометрическую вертушку изобрел Леонардо да Винчи). Затем арифметика: определяется средняя скорость течения на вертикали и умножается на ближайшую к вертикали часть поперечного сечения створа в метрах квадратных («поперечное» часто заменяется словом «живое» сечение).

Так по всем вертикалям, и вот он — расход в кубометрах в секунду, среднесуточный, среднегодовой, среднемноголетний сток в кубических километрах, а также стоки минимальные, максимальные, и с любым процентом вероятности. Если у проектировщика имеются данные наблюдений за тридцать лет, он, пользуясь теорией вероятностей, может вычислить максимальный секундный расход повторяемостью раз в десять тысяч лет. Раз в сто тысяч лет.

Голубев, когда брал расход по всем вертикалям — в малую воду их было до двадцати, в разлив сорок и больше, — слушал течение Оби, всматривался в ее коричневую мглу и зримо представлял себе бассейн, с которого вода текла через створ Ангальского мыса. Бассейн составляли: Горный Алтай, Китай (точнее, Синцзян), Кулундинская степь, Барабинские болота, урманы, тундра, восточные склоны Урала на всем его протяжении — всего 3 миллиона квадратных километров (Западная Европа — 3 миллиона 666 тысяч), и все это протекало через створ Ангальского.

По замыслу природы, догадывался Голубев, человек должен был воплотить в себе самом весь кодекс ее законов, тем более что в кодексе этом не было ничего лишнего, ничего иррационального. Если же от замысла не остается ничего, значит, действительность оборачивается хаосом. И так оно и было — хаос разрушал природу вещей: шла война, вторая мировая.

Гидрометстанция Салехард тоже работала на войну

Осенью дядя Матвей ошибся: по Оби плыла снежница (нерастаявший снег), он же дал сводку — идет сало (первые льдинки). И что же? И через три часа из Москвы запрос: подтвердить, что идет сало! Если ошибка — наказать виновного!

Дядя Матвей был в отчаянии. Штрафной батальон ему не грозил — возраст не тот, — но за всю жизнь водомерщика не было у него таких промашек, а вот во время войны...

— Стыдно людям в глаза глядеть! — твердил дядя Матвей. — И откудова, ей-богу, было взяться этакой стыдобушке?

Дядя Матвей и в избе сидел теперь не снимая шапки, надвигал ее на лоб, на глаза, чтобы никого не видеть, чтобы никто не видел его с удрученными глазами.

Голубев же радовался: случай убеждал его в несомненной ответственности их работы. Бассейн Нижней Оби и Карское море — это кухня погоды, без сводок же гидрометстанции Салехард не обходился ни штаб Северного военно-морского флота, ни сухопутные войска Северного фронта.

Так бы он, Голубев, и жил здесь в сознании своей необходимости для Великой Отечественной, если бы некоторые события этого сознания не разрушали.

Глава первая ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Обь стала.

Зимние дни легко уступали себя полярной ночи, сияниям Севера, удивительному их беззвучию, когда небо полыхает яркими красками, а звука — ни одного, шелеста на земле — никакого. В эти часы Голубев и решил: буду умирать — напишу завещание похоронить на Ангальском мысе! На самой вершине!

В такой-то вот день, с такими вот размышлениями и в день его дежурства на гидрометстанции в Салехарде, когда он занимался камералкой — обрабатывал летние наблюдения, — зазвонил телефон. Старенький телефонишка, настенный, эриксонский. Надо покрутить ручку, дождаться голоса телефонистки, сказать: соедините, пожалуйста, с номером таким-то. Звонок при телефоне был такой же, как на входных дверях благоустроенных квартир дореволюционного времени.

Голубев снял трубку.

— Товарищ Голубев? Будет говорить секретарь окружкама.

Секретарь окружкама разговаривал недолго:

— Зайдите, товарищ Голубев!

Ходьбы пять минут.

Обширный кабинет первого с квадратными окнами, а на потолке светятся лампочки, но кругом тускло.

— Давно у нас работаете, как у нас устроились, как понравился наш климат? — вопросы первого. И вдруг: — Орден получить хотите?

— Н-не знаю... Не очень хочу... а может быть, и совсем...

— Не стесняйся! — перешел на «ты» первый. — Какой чудак не захочет? Всяк чудак захочет! Так вот — получишь!

И секретарь объяснил, за что они в Салехарде, несколько «толковых работяг», получают ордена. Дело простое, проще некуда: чуть ниже мыса Ангальского, у мыса Каменного, надо перегородить Обь бо-о-ольшим-бо-о-о-ольшим неводом, взять тысячи тонн рыбы, отправить рыбу на фронт и содействовать победе наших войск над фашистами. Вопрос согласован. Наверху.

— А я? — спросил Голубев. — Я же не рыба?

— Но ты же еще и гидротехник?

— Немножко.

— А чтобы опустить невод, надо опустить опоры. Ширина Оби сейчас пять километров. Это что, по-твоему, шутка — пять километров?

— Не шутка... — согласился Голубев.

— То-то... Усек: не шутка!

- Опоры — из какого материала? — поинтересовался Голубев.
- Из дерева. Из бревен. Что у нас, бревен, что ли, нету? Плавника?
- Бревна... Их чем-то связать надо.
- Соединим. Свяжем. Тросом. Стальным. Что у нас, троса, что ли, нету?

Стального?

- Они же всплывут, опоры! И дна не достанут!
- А мы их пригрузим. Чтобы потонули, чтобы вертикально встали на дно.
- Чем — пригрузим?
- Камнем. Что у нас, камня, что ли, нету?
- Потребуется огромные мешки из металлической сетки. Потребуется заполнить их камнем, привязать к опорам.
- Что у нас, металлической сетки, что ли, не найдется? Все найдем. Все что надо! Дело тут такое — все это надо инженерно рассчитать!
- Не сумею... — вздохнул Голубев.
- Захочешь — сумеешь!
- Справочников нету. Необходимых таблиц.
- Каких таких справочников? Каких таблиц? Как называются?
- Ну хотя бы «Справочник по гидротехнике и мелиорации». Том первый. В Салехарде не найдешь.

— Да что он, Салехард-то, один город на белом свете, что ли? Один в Советском Союзе, что ли? Запиши точно, что и как называется, какой справочник, завтра в Тюмень самолет — закажем, и все дела! В Тюмени не окажется — в Свердловск пошлем. В Свердловске не найдется — в Москве достанем. Раз надо, значит, надо!

И через три дня «Справочник по гидротехнике и мелиорации», том первый, Голубеву прислали нарочным из окружка партии. И Голубев принял считать.

Опоры из бревен получались невероятных размеров — до двух метров в диаметре. Чтобы их связать, чтобы протянуть трос от правого берега Оби к левому и обратно, троса требовалось семьдесят километров; камня, чтобы погрузить опоры на всю глубину реки, — пять тонн на каждую, металлической сетки, чтобы загрузить в нее камень, — на все про все чуть ли не гектар.

Голубев пришел в счастливое расположение духа: мыслимо ли соорудить столь дурную махину? И с легким сердцем пошел в окружок и положил на стол первому свои расчеты. Он думал, секретарь их посмотрит, даже вникнет, вздохнет и отложит в сторону.

Но секретарь вник:

- Серьезно получается. Считал-то правильно?
- Трижды пересчитывал.
- Ну что же... Мы тебе доверяем. Мы на бюро окружка прикидывали — у нас цифры получились другие. Ну что поделаешь, если надо! Мы тебе доверяем!

Голубев доверию первого не доверился: сумасшедший проект! И, выйдя из окружка, забыл об этом сумасшествии.

Но однажды — утро было, часов десять, темь была, туман над Обью, Голубев жил в то время в избушке на Ангальском — вдруг сперва издали, потом все сильнее, а вот уже и под самыми окнами раздались стоны, ужасный скрип и треск.словно бы ледоход на реке начался. Голубев накиннул шапку, малицу надел, унты натянул, выбежал из избы: по берегу двигаются тени. Там, где двигаются тени, там и скрипит и вопит снег.

Обоз шел. Возницы шагали медленно, и медленно лошади тянули сани с грузом.

Голубев подбежал к ближней тени, к вознице:

— Куда?

Возница приостановился.

— На мыс. На Каменный.

— Чего везете?

— Бревна везем...

Сердчишко у Голубева екнуло

— А — зачем?

— Обь, сказывают, городить будут.

— Поперек?

— Ну не повдоль же Обь городить!

Тут задняя подвода наехала на эту, переднюю, задний возчик на этого заругался:

— Кому там пути не стало? Чтоб тебя...

С неделю было: скрип-стон по берегу, мимо Ангальского везли и везли на мыс Каменный бревна.

Еще спустя время опять задрезжал эриксоновский телефон в городском помещении гидрометстанции:

— Голубев? Окружком партии будет говорить.

Окружком партии сказал:

— Будьте готовы, Голубев! Завтра в двенадцать по распоряжению первого мы с вами едем на мыс Каменный. Посмотрим, как ведутся работы. По установке невода. Ознакомимся.

— Простите, кто говорит?

— Зав рыбным отделом окружкома. В двенадцать за вами заеду!

Следующий день был не солнечный, не ясный. Солнце откуда-то, непонятно откуда, освещало небо, землю слегка, хотя дни были уже длиннее и светлее — начало марта было. А морозец был настоящий, зимний.

Ехали двое в кошевке, с ног до головы закутавшись в оленьи шкуры, одетые в малицы, возница — тот в гусе, лохматом и волосатом, пестром и ширины необъятной. Возница впереди на облучке. Ехали молча и к мысу Каменному уже в темноте подступились, в полной и звездной темноте. Огни замелькали электрические, будто бы уличные, и окружкомовский рыбак пояснил:

— Общежитка. Бараки. Рыбаки живут. Которые невод ставят.

И тут же замолк, прислушался... Как не прислушаться: с мыса Каменного доносилась музыка! Духовой оркестр! Уже и мелодия различалась утесовская: «Легко на сердце от песни веселой...»

Когда выбрались из кошевки, направились к бараку — барак-то и светил в темную ночь огнями, — окружкомовец сказал со строгостью:

— Надо разобраться! Обязательно надо! Ознакомиться!

Вошли в барак и, чтобы разобраться и ознакомиться, остановились сразу же за порогом, оглянулись по сторонам. Барак длинный-длинный, по обе стороны двухъярусные нары, на нарах люди лежали, курили, играли в карты и громко друг на друга кричали — разговором надо было заглушать оркестр.

В середине барака различились и музыканты — энергичный барабанщик с большим барабаном, два трубача и кто-то четвертый, флейтист, кажется, все окутаны густым баннным паром. Пар был потому, что в проходе между нарами сушились на веревках влажные тряпицы: портянки рыбацкие сушились, много портянок, в два раза больше, чем рыбаков. Рыбаков же находилось здесь человек сто и даже больше.

— Так, так. Надо разобраться! — сказал окружкомовский рыбак.

На них, на вошедших, никто не обратил внимания, и только спустя время подошел человек, должно быть начальник:

— Милости просим! Дорогие гостей — просим!

— Музыка откуда? — спросил окружкомовец.

— Вольнонаемные!

— Так, так... Как идут работы? По графику?

— С опережением... — отвечал какой-никакой, а все-таки начальник и пригласил гостей в «кабинет».

Кабинет: разгоряченная докрасна железная печка, мягкая-перемятая кровать с оленьими шкурами в головах, две табуретки и что-то похожее на столик — там лежали бумаги, разбросаны карандаши и школьные ручки, стеклянная чернилка-непроливашка стояла, стоял будильник. Были счеты и две порожние бутылки из-под спирта. На стене висел табель-календарь с зачеркнутыми, уже канувшими в прошлое датами января, февраля и первой недели марта месяца текущего, 1943 года.

— Вот, — пояснил хозяин «кабинета», — вот оно нонче и Восьмое марта! Настало! Женский день. Вот и отмечаем: оркестр.

— А женщины-то у вас есть?

— Три-четыре найдется. Поварихи, прачки.

— Значит, оркестр не каждый день? — спрашивал окружкомовец.

— Ну как не каждый? Обязательно каждый. Люди же! Живые! Им же культурно-просветительная работа требуется!

— При чем же праздник, Восьмое марта, если оркестр — каждый день?

— Как ни при чем? В будни они разыгрывают час, от силы полтора, а в праздники — так весь вечер. Пятнадцать минут антракт, после снова да ладом.

Начальник был маленьким, хриплым, но очень просто он заглушал оркестр. Окружкомовец был крупным, медлительным, рявкнет — стены дрожат, но оркестр его заглушал.

Отчет начальника окружкомовцу пошел своим чередом: сколько прорубей прорубили во льду реки, сколько связали из бревен и опустили опор для будущего невода, сколько чего.

— По проекту делаете? Без отступлений?

— Да ни в жизнь! Какие могут быть отступления?!

— Он проектировал! — указал окружкомовец на Голубева. — Он самый!

— Грамотный проект! Совсем даже грамотный! — удостоился Голубев похвалы, а окружкомовец спросил:

— Откуда все ж таки оркестр?

— Вольнонаемный. С Нового Порта привезли. На весь срок, пока ставим невод.

— А рыбаки? Заключенные? Вольнонаемные? — спросил Голубев.

— Спецконтинент. С Волги, с Нижней. С самой с Астрахани.

— Хороший оркестр, — подтвердил окружкомовец. — Новый Порт — поселение музыкальное: туда немцев ленинградских сразу же после снятия блокады вывезли. На всякий случай — вдруг к фашистам перебегут!

— Астраханских рыбаков сюда по той же по самой причине: зажиточные, вдруг с немцами снюхаются? Ночевать куда дорогих гостей приладить? Либо обоих вот на эту на кроватку? Либо — в барак на нары?

— Ночевать не будем. Лошадку покормим и обратно. С чем надо — разобрались. Посмотрели. Дело-то идет по графику?

— С опережением! — подтвердил начальник. — Ухи похлебаете?

— Посуда-то чистая?

— Об чем разговор — вымоем. Найдется кому вымыть.

Когда, похлевав ухи, выходили из барака, Голубева остановили:

— Здравствуйте, товарищ гидролог! Узнали? Не узнали?

Человек крепкий, высокий, лицо будто бы знакомое.

— Я к вам на катер, на «Таран», поднимался. Вы на вертикали стояли, а я на лодке подплыл...

...Было, было дело: осенью уже «Таран» стоял посреди реки на вертикали, в глубине Оби крутилась вертушка, тут и подплыла лодка, в лодке — рыбак:

— На борт подняться можно ли?

— Отчего нельзя, — согласился Голубев.

Рыбак ловко вскочил на корму. Представился:

— Полежаев Иван. Иван Полежаев. Поглядеть, что и как устроено. У нас на Волге, на Нижней, тоже гидрологи ходят, воду измеряют, я тоже спрашивался поглядеть что и как. На Севере, может, по-другому устроено?

Устроено было так же, как на Волге, подтвердил чуть спустя любопытствующий рыбак, но удивило его, что якорь поднимается вручную.

— Почему же лебедку-то нельзя к движку присоединить?

Голубев хоть и знал, что сделано не будет, бодро заверил: будет сделано! — и с посетителем разговорился. Тот из-под Астрахани был, рыбак с детства. Война началась — многих рыбаков на войну не взяли, кому-то фронт кормить надо. Но когда немцы стали приближаться к Волге — кормильцев

этих вместе с семьями погрузили в теплушки, привезли в Омск, в Омске погрузили на баржи, привезли в Салехард. Сказали: «Рыбачьте здесь!»

И они здесь рыбачили и со страхом ждали зимы — выдюжат ли? смогут ли без привычки, без теплой одежки, без унтов? И рыба чужая: дома белуга и сельдь, на Полярном круге — нельма и сырок.

— А почему вас все-таки сюда? Из-под Астрахани? — спросил в тот раз Голубев.

— Никто не знает. Будто мы зажиточные и шпионами непременно сделаемся. Немецкими. А подумать — какие из нас получатся шпионы? Будто мы и не русские вовсе люди? Будто — сами себе враги?

Полежаев глядел на Голубева словно на близкого друга и с удивлением, и с вопросом «будто?».

Голубев сказал:

— До тепла, до весны доживите. А там полегче будет рыбачить.

— Рыбачить? На фронт пойдем! Сколько народу немцем побито, кому же и воевать как не нам? Мужики здоровые, здоровше здешних. Весной с первыми же пароходами и пойдем на фронт. Нас бы и пешим ходом погнажи, не глядя, что до железной дороги две тыщи верст, но вот одежи на нас нету и кормить дорогой — сильно дорого. До весны ждем! Кому и воевать как не нам?..

Тем временем начальник барака и окружкомовец стояли чуть поодаль, нетерпеливо ждали. Когда Полежаев распрощался, начальник барака заметил:

— И охота вам, товарищ инженер? Это же — спецконтинент!

— Спецконтинент! — поправил окружкомовец.

— Он самый!

В Салехарде Голубев, повстречавшись с начальником ихтиологической лаборатории, допытывался: рыба-то будет ли в неводе, которым Обь нынче перегораживают?

— Ой, не знаю! Ой, не знаю, не знаю! — простонал ихтиолог, схватился за голову. — Со своей стороны я предупреждал. Но когда дело провалится, кого сделают ответственным? — меня и сделают. Тебе-то, Голубев, что! Тебя не сделают!

— А кто придумал-то? — хотел узнать Голубев. — Не сам ли первый?

— По секрету — так Семенов. Директор рыбокомбината. Отличиться хочется, орден получить, вверх пойти. И так сыр в масле, нам с тобой с нашими пайками не снится, а вот ему все мало!

Еще недели через три невод через проруби (вручную долбили по всей ширине реки) опустили в воду. Двое суток простоял тот колоссальный невод подо льдом, и тогда был объявлен подъем, а день подъема — днем торжественным. Солнышко в тот день с любопытством поглядывало на землю, на заледеневшую Обь, на мыс Ангалский, на мыс Каменный — что происходит? «Вот уж буду подниматься в небо выше да выше — рассмотрю все до мелочи. Меня все на свете касается, все интересует!»

Толпа людей вдоль поперечной от берега к берегу проруби — человек, наверное, двести — во главе с первым ждала сигнала. Распорядителем был Семенов — очень подвижный небольшой человечек, рожденный быть распорядителем, а также директором Салехардского рыбокомбината.

Сигнал с берега — игрушечный оружейный хлопок в белый свет как в копейку, и включен движок. Движок крутит динамо, динамо подает ток на лебедки, лебедки со скрежетом наматывают трос — ура! ура! начался подъем!.. Уже неводная дель пошла через прорубь, вот она — на поверхности льда по всей ширине Оби от правого к левому берегу. Оркестр: «Легко на сердце от песни веселой...» И ведь похоже было — у многих легко было на сердце, у многих, только не у всех — астраханцы не радовались. Южные люди, они ставили невод, а до того рыбачили каждый сам по себе — долбили на Оби лунки, блеснили нельму, налима, щуку. Лица у них были обморожены, сплошные струпья, кожа с рук сползала клочьями, но кормиться, семьи кормить надо.

Местные жители астраханцев ругали, но ругали уважительно:

— Ну заразы! В фуфаечках на льду сидят! Сразу видать: кулачье!

Местные жители уже забыли: они тоже были из «кулачья», их в тридцатые годы, в коллективизацию, за Круг сослали.

Невод астраханцы ставили, а теперь поднимали старательно — им жалованье шло, им пайки шли, фуфайки, рукавицы, пимы и портянки казна выдавала, рыбокомбинат (товарищ Семенов) выдавал, и астраханцы робили ладно, но молча: в удачу не верили.

Вдоль главной проруби, через которую должна была подняться мотня, стояли лошадки, запряженные в дровни, им предстояло возить рыбу — тонны и тонны — на берег, по берегу на Салехардский рыбокомбинат. А еще в ожидании торжественной минуты была здесь знаменитая в Приобье, на весь Ямал знаменитая рыбацка Таисия Шуплецова — женщина видная, румяная. Малица на ней крыта темно-синим материалом, капюшон горностаевый. Шуплецовой предназначалось: взять из невода самую первую рыбину, поднять над головой и сфотографироваться. Фотографию эту вместе с рыбными консервами-деликатесами задумано было отправлять на фронт.

Однако?

Вот и мотня пошла, пошла хорошо и ровно, без перекосов — спецконтингент поставил невод умело, — но шла она пустая, рыбки — ни одной. Оркестр попикал-попикал, смолк. Начальство начальственно, но тоже смолкло. Лебедки притихли. Стало слышно, как вздыхают, переступая с ноги на ногу, лошадки.

Наконец вышла на лед вся мотня — астраханцы подняли ее вручную, и там, в самом ее конце-тупике, была-таки рыбка нельмушка. Килограмм с небольшим. И Таисия Шуплецова вскрикнула от приятной этой неожиданности, торопливо схватила нельмушку за хвост, подняла ее над головой и сфотографировалась.

Первый сделал жест, оркестр грянул «Легко на сердце...».

Подошел к Голубеву астраханский рыбак Полежаев, не поздоровавшись спросил: правда, нет ли, что он, Голубев, этот невод проектировал? Пришлось сказать: правда. И еще что-то хотел пояснить Голубев, но Полежаев, кивнув, отошел, затерялся в молчаливой астраханской толпе.

На следующую неделю тихий городок Салехард и вовсе примолк: что-то будет? Какое прибудет из Тюмени областное начальство — кого посадят? Кого выгонят из партии? Кому дадут строгача?

Самым распространенным прогнозом было: Семенов ответит! Это он, Семенов, закоперщик! Стыд, срам: война, люди гибнут, а в Салехарде — под музыку одну нельмушку ловят, два месяца невод готовили, стального троса, крупного диаметра, семьдесят километров пошло в дело. Допрыгался Семенов, бойкий шибко! Худо-бедно, а штрафной батальон ему обеспечен!

В воскресенье Голубев снова дежурил в помещении гидростанции в Салехарде, опять обрабатывал данные наблюдений, и что-то много ему звонили — из аэропорта, оленесовхоза, из больницы, отовсюду справлялись о его здоровье.

И то: Голубева нынче все считали причастным к «неводному делу», вот и хотели узнать о его здоровье.

Очередной звонок:

— Голубев?

— Я! Кто спрашивает? (Голос будто бы знакомый?)

— Как это — кто? Семенов — вот кто! Зайди ко мне нынче же. Жду! Сильно жду! Ко мне домой. Приглашаю!

— Я дежурю!

— И я дежурю. День и ночь. Или дежурным жизни вовсе нет?

Голубев сказал «приду», повесил трубку.

Уже арестован Семенов? Под домашним арестом? И Голубева вызывается — свидетелем по делу?

Шел Голубев вдоль Полуя, через речку Шайтанку, шел, все больше и больше убеждаясь в догадке: следователь вызывает!

Дом Семенова, на отшибе от рыбоконсервного комбината, небольшой, аккуратный, с расчищенной от снега дорожкой, с распахнутой калиткой, гудел громко и весело, далеко было слышно: гулянка! И на крыльцо из дома то и дело кто-то выскакивал без шуб, без шапок, на морозе (-42°C) торопливо сгибался-разгибался раз-другой и обратно в дом, в гул, в немалую гульбу.

«Дрова, что ли, рубят?» — подумал Голубев, подошел ближе, понял: здесь не дрова рубили, здесь строганину строгали — тонкие ломтики замороженной нельмы.

В доме же — дым коромыслом, песни, крики, все к Голубеву пристали:

— Зачем опоздал? За опоздание — штрафную! Хозяина не уважаешь? Еще штрафную!

Понять невозможно, в чем дело, а к Семенову не подступишься, его целуют, его обнимают, качают, целуют снова — в чем дело-то?

Показалось Голубеву — самый трезвый человек здесь первый секретарь, не кричит, не целуется и на ногах держится, Голубеву кивнул благосклонно. У первого он и решился спросить:

— По какому случаю? Собрались?

— Как это — по какому? — с недоумением отозвался первый. — Обь-то — перекрыли! До сих пор никогда нигде от истоков до устья никто Обь не перекрывал: великая река! А мы? Мы перекрыли! Впервые в истории! Подойди-ка поздравь Семенова. От души!

— С чем? Поздравить?

— Как это — с чем! Он же — на повышение! На какое? Он в Москву! Как бы и в заместители народного комиссара рыбного хозяйства. К самому наркому Ишкову! У нас весь Ямал под Ишковым ходит! Весь Ямало-Ненецкий округ! Теперь у нас при Ишкове свой человек будет.

Голубев Семенова поздравлял. И на крыльцо строганинку строгать бегал. И упился и даже прихворнул, после того на дежурство по гидрометстанции не вернулся. Быть бы ему с выговором в трудовой книжке, если бы он не догадался сказать начальнику станции:

— Что правда, то правда — прогул. Форменный прогул! Вместе с первым и гулял!

Самое же большое впечатление осталось у него от того, что на гулянке в доме Семенова то и дело провозглашалось на равных два девиза:

1. Все для фронта!
2. Война все спишет!

Голубев любил пересказывать свою жизнь, случаи этой жизни, самому себе. Друзей у него не было, жене (жена Татьяна нынче работала на строительстве оборонных заводов сразу в двух городах — Омске, Новосибирске) рассказы мужа когда-то не показались, не вызвали интереса, и Голубев замолчал. Может быть, и на всю жизнь замолчал перед Татьяной.

Зато Голубеву слушать Голубева было интересно, хотя он и понимал — кому-кому, а самому себе ничего не стоит втереть очки! Но все равно он заранее к беседам готовился, отбирал материал. Рассказ «Золотая рыбка» таким материалом, безусловно, был, но тут вскоре и еще случай — под названием «Волчья стая». К золотой рыбке отношения тот случай не имел, но сам по себе звучал, и дело было за немногим: одно к другому подверстать, одно и другое запомнить, чтобы из случаев складывалась жизнь. Собственная, не чужая.

Дней через пять после мероприятия «золотая рыбка» Голубев отправился с инспекторским барометром в крохотную факторию Надым (двадцать пять домов) на реке того же названия.

До поселков Вануйто, Кутупюган и Нори с запада на восток вдоль берега Обской губы ехал он по-разному — на лошади, на собаках, на оленях; но вот и последний перегон от Нори на юг. Попутчиков пришлось ждать долго —

неделю в заезжем доме. Попутчики, четыре оленьих упряжки, со дня на день должны были двинуться вверх по Надыму, там паслись, копытили из-под снега мох ягель огромные олени стада, и ехать туда — это со дня на день, а пока что день за днем оленщики в заезжем доме в фактории Нори гуляли — водку пили, спирт пили, а Голубев их ждал — когда кончат пить?

К ночи седьмых суток тронулись, но через час езды упряжка, на которой ехал с барометром Голубев, отстала от остальных: задурила молодая необученная важенка (оленуха), она в пятерке оленей шла четвертой, и вот металась из стороны в сторону, сбивала с ног и третьего и пятого оленя, а в какой-то ложбинке сбила всю пятерку, всех оленей запутала, все они легли грудой — ноги, головы, рога, — а где сами олени — не поймешь.

Оленщик, зырянин Кузьма, хотел упряжку распутать, поставить на ноги, он шарился-шарился среди тяжело дышащих оленьих тел и среди них же уснул.

Голубев Кузьму будил — не получилось, тогда он вытащил у него из малицы недопитую бутылку спирта (96°), сел на нарту и стал ждать — когда Кузьма проснется?

Темь была, тишина была, только олени дышали сильно и хрипло. И тут Голубев заметил: тени какие-то вокруг — и слева, и справа, и впереди, и позади за спиной. Он не сразу догадался, только когда совсем уж вблизи засветились зеленоватым светом глаза: волки!

Голубев снова принял будить Кузьму, и снова напрасно. Голубев достал из полевой сумки не очень-то нужные бумаги, спички достал и начал бумагу одну за другою сжигать: огонек вспыхивал, и волки отступали, но отступали недалеко и ненадолго, приближались снова, не переступая, однако, определенного расстояния — метров, наверное, восемь или десять отделяли волков от перетрусившего Голубева. Волки по этому кругу сидели, лежали, медленно переходили с места на место, и все молча, все неторопливо. У Голубева кончились ненужные бумаги (нужные все-таки берег: а вдруг останется жив?), но в конце концов он подумал: если бы волки хотели растерзать и оленей, и Кузьму, и его, Голубева, они давно бы так и сделали! И начали бы, конечно, с оленей, это для них привычнее, они за оленьими стадами и по тысяче километров ходят следом, ждут, когда какой-нибудь олень от стада отобьется. Тогда волки погонят этого оленя в сторону от стада, в сторону какого-нибудь кустика, а там и ждет его засада: справа и слева от оленя ему навстречу засада из-за кустика выбегает, минута-другая — на снегу пятно крови, голова и ноги. Если же никто волков не преследует, ничего на снегу не останется, волки все уволокуют — и голову и ноги.

Таким-то вот образом еще поразмыслив, Голубев на нартах уснул. И хорошо уснул-то. Когда проснулся — светло уже было, олени все еще лежали вповалку, среди оленей лежал Кузьма. Волки ушли. Голубев Кузьму разбудил, тот первым делом пошарил по карманам бутылку со спиртом.

— Пирт где? Ты взял? Отдай! Отдай пирт!

Голубев не признался: не брал!

Кузьма не поверил, не поверив, строго сказал:

— И ладно. Значит, дорогой потерял я пирт. Поедем, значит, по следу обратно, найдем пирт, начатую бутылку, в бутылке еще много — вот столько!

— Не найдем!

— Не найдем — опять ладно: в Нори вернемся, в магазин, много-много пирту возьмем. Деньги есть? Сколько твоих денег есть?

Пришлось отдать Кузьме начатую. Кузьма хлебнул из горлышка два раза, подобрел, повеселел. Заметил на снегу волчьи следы: у-у-у сколь их тут было, волков-то! Много было волков-то! Распутал оленей, поставил их на ноги, турную важенку приторочил к нартам, рядом усадил Голубева.

Поехали. Хорошо было ехать, уютно: Голубев от важенки грелся, она — от него. К вечеру были в Надыме. Позже Голубев припомнил: что же ему снилось, когда он спал в волчьем окружении? Был какой-то сон, был! А может быть, и не было, и только два девиза слышались ему во сне:

1. Все для фронта!

2. Война все спешет!

Волки девизов не знали. Ни первого, ни второго. Голодные, они ждали терпеливо, когда же люди умрут. Тогда они и полакомятся олсониной, но чтобы нападать на живых людей — это не в правилах северных волков.

Глава вторая

ПЯТЬСОТ ПЕРВАЯ СТРОЙКА

А еще до того как товарищ Семенов выловил из Оби золотую рыбку и стал чуть ли не заместителем министра, Голубев узнал — или догадался? — о большом каком-то государственном и очень таинственном начинании здесь же, на Полярном Урале, в Ангальском створе.

К таинственности издавна у него была привычка: он жил в могущественном государстве, а без таинственности какое, думал он, может быть государство? Какое могущество?

Голубев и сам-то был нынче засекречен и подписал обязательство о неразглашении тайн Ангальского мыса, тем более все без исключения бумаги из Управления гидрометслужбы Сибирского военного округа были с грифом «Секретно», шли фельдьегерской связью. К тому же секретность имеет свойство поднимать человека в его собственных глазах. он знает что-то, ему что-то доверено, о чем другие не имеют права и не должны знать. Без секретности не существует ни одного мало-мальского начальника, если человек умеет быть хранителем секретов — действительных, тем более мнимых, — он уже заслуживает быть и начальником, и главой семьи, и незаурядной личностью среди личностей заурядных. В любой момент он может затопать ногами: «Я храню секреты, а что храните вы? Вам и хранить-то нечего, кроме собственного дерьма!»

В том же духе случилось, когда за несколько часов до ледостава Оби на Ангальский мыс как с неба свалилось четверо мужиков — одежда капитальная, экспедиционная, сапоги по брюхо, рюкзаки набиты до отказа, вот-вот и лопнут. Все четверо бородаты. Все во цвете лет.

Назвались мужики геотехнической партией и объяснили, что должны пройти пеший маршрут от фактории Лабытнанги (что на той, на левой стороне, на протоке Малая Обь), пройти маршрут в гору и в гору через Урал на Воркуту. «На запад!» — был у мужиков фронтовой лозунг, и в ту же минуту они потребовали переправить их отсюда, с правого, на тот, на левый берег.

— Срочно!

И Голубев и дядя Матвей возмутились:

— Сало по реке идет — видите? Льдины уже идут по реке — видите? Мы же свой «Таран» загубим! На чем после работать будем?

— После — не сейчас! За зиму свой горшок отремонтируете, успеете, а нам — срочно!

— Утонем!

— Ну и черт с вами — тоните!

— А вместе с вами?

— Мы не утонем: у нас приказ заместителя командующего Сибирским военным округом! Срочное! Секретное!

«Таран» стоял метрах в пятидесяти от берега, где глубина была только чуть-чуть более его осадки, через час он должен был пойти в Салехард на зимовку, на зимний капитальный ремонт. Вид у «Тарана» измученный, он покачивался на волне, отдыхал после летних авралов, после трудов праведных, но все равно приводил в бешенство с неба свалившихся мужиков: вот он, корабль, а идти на ту сторону не желает! саботаж! измена Родине!

— Товарищи, товарищи, — слабенько все еще возражал Голубев, — вы поймите: ледоход! Через два дня по льду на ту сторону пешком перейдем, а сейчас? Сейчас ледоход, товарищи!

— Плевать мы хотели на твой ледоход!

Снова подал голос дядя Матвей, и неудачно подал:

— Ладноть. Туда переправимся. А обратноть? Наверняка что вмерзнем!

— А-а-а, да вы тут о собственной шкуре заботитесь! «Обратно» — нас не касастся!

— А-а-а, там война, а они на водомере отсиживаются!

— А вы русский язык понимаете: приказ?!

— А у вас в головах что-нибудь есть? Или одно ...?!

Погрузились. Поплыли.

Льдины, еще легкие и прозрачные, царапали «Таран» с левого борта, дробились и тут же слипались снова. Трое геотехников и тарановский матрос Девяткин отгаликивали льдины баграми.

Голубев стоял у штурвала в рубке, а самый бородатый, самый главный геотехник орал ему в ухо:

— М-мерзавцы! Плыдем же, м-мерзавцы! П-падлы! (Он, наверное, был заикой.)

— Все-таки? — спрашивал Голубев. — По какому поводу торопитесь? Обождали бы два дня...

— Военная тайна! Вскор-рости у-узнаешь. Ежели назад приплывешь!

Переплыли на левый берег. Расстались плохо. Прощались мужики-геотехники по-своему: о нас — никому ни-ни! разгласите — трибунал! Понятно: три-бу-нал!

Обратно приплыл «Таран», поцарапанный и с другого, правого, борта, и тут же по-над берегом, тихонечко, без приключений прискребся он в Салехард и стал на капитальный ремонт в судоремонтные мастерские семеновского рыбокомбината. На всю зиму.

Через месяц, меньше, стала известна и судьба геотехнической партии: все погибли!

В Лабытнангах геотехники повеселились день, два и три, в бане попарились, повыпивали, к женщинам поприставали, после двинулись на перевал Уральского хребта. В Лабытнангах жители были довольны: избавились!

А в горах речки еще не стали, течение быстрое, водопадное, переправу ладить не просто — то ли мосток выкладывать, то ли вязать плотик? На плотике всем сразу переправляться запрещено техникой безопасности, но мужикам слово «безопасность» было неподходящим, они поплыли все вместе, все враз и перевернулись... Речка была неглубокая, они выбрались на берег — двое на правый, двое на левый, — поползли в разные стороны, но тут же их, до нитки мокрых, прихватил мороз. Они окоченели.

— Упреждал глупых, — вздыхал дядя Матвей, — упреждал как людей — не послушались! А все ж таки и нам надо было попрощаться с ними по-доброму. Прощались бы как с людьми — а вдруг и выпала бы им другая судьба?

Вот так мужики сгнули, кто-то подобрал их, похоронил, никто не подбирал, никто не хоронил — было неизвестно, зато вскоре обозначилось название тайны, которую они наказывали хранить, а иначе — «три-бу-нал!».

Название было такое: Пятьсот первая стройка.

Сталин, в союзе с Америкой воюя с Гитлером, перед Гитлером отступая, уже замыслил с Америкой воевать, он приказал начать изыскания (а потом и строительство) железной дороги от Воркуты через Урал, через Обь, Енисей, Лену, Индигирку и Колыму — на Чукотку, до мыса Дежнева, до пролива Беринга (пролив открыт Дежневым в 1648 году, положен на карту Берингом в 1793 году, ширина — восемьдесят пять километров). На той стороне пролива — Аляска, уже Америка, цитадель империализма.

Четверо геотехников (по-нынешнему — геофизики) были первыми жертвами Пятьсот первой. Сколько жертв было на Пятьсот первой всего — вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь узнает.

Голубеву краешком глаза довелось увидеть краешек Пятьсот первой.

Голубев прожил в Салехарде два года, потом был назначен начальником 4-го отделения Омского управления гидрометслужбы (гидрографические

работы). И надо же было случиться — его квартира в Омске оказалась на берегу Иртыша, вблизи базы Пятьсот первой, отсюда с железной дороги грузы и люди (зэки) перегружались на водный путь Омск — Тобольск — Салехард.

В старинной казачьей станице Захламино, километрах в семи от Омска вниз по Иртышу, обосновалась страшная эта перевалка.

Трудолюбивая когда-то была станица Захламино, торговая, гульливая и зажиточная. Шесть черноземных прииртышских десятин на душу был у казачишек земельный надел, рядом казачий же опытный хутор с агрономами, и не с одним — любому хозяину дадут и совет, и собственной селекции семена; водили в Захламине и огороды — захламинские бабы огородное дело знали до тонкостей — и рыбный промысел: Иртыш рядом — нельма, стерлядь, и омский базар — бойкий, богатый и дорогой. Нет, захламинские казачишки не зевали ни в крестьянской одежде, ни в казачьей форме, ни в кожаных фартуках (обязательная принадлежность рынка). И свадьбы играли станичники по разному порядку — по-крестьянски, по-казачьи, по-купечески.

После коллективизации станица замерла — порядки эти пошли прахом. Войны германская и гражданская захламинских мужиков сильно поубавили — на троих из каждого десятка, избы добротные — вот они, а двери-окна заколочены, а коллективизация убавила от Захламина еще и еще. Совсем накрыла станицу, извела до конца перевалочная база Пятьсот первой: конвои, заключенные в колоннах, сторожевые собаки, зарешеченные бараки, склады, причалы, железнодорожные тупики; и в ночах не засыпало человечьим сном перевалочное Захламино — в ночную пору в недра нефтеналивных барж цепочкой по одному шли и шли зэки. Недели через две-три тех, кто не задохнулся в нефтяных испарениях, выгружали в Салехарде. Суденьшки помельче принимали Лабытнанги, из Лабытнанг пешим ходом заключенных гнали на Урал строить Пятьсот первую стройку.

Голубев жил неподалеку от «базы», в строениях бывшего земледельческого училища, в виду современного захламинского пейзажа он жил, и в памяти его навсегда сохранились два захламинских перевалочных видения.

Первое было: над проезжей дорогой провода строящейся линии электропередачи, на одном из проводов — висельник.

Монтажник какой-то ухитрился — повесился на ближайшей мачте, и уже в петле соскользнул в середину пролета между двумя мачтами, в точку наибольшей стрелы прогиба, наибольшего провисания, так обозначается в учебниках это место. С дороги видны были подошвы рабочих ботинок и лицо висельника набор в желтом освещении весеннего солнышка. И так и этак монтажная бригада пыталась коллегу снять, крючками его ловили — не удавалось, с подъемного крана доставали — не достали. Упрямый был висельник, только на третий день с ним управились.

Второе было: в июле в ночь на воскресенье на середине Иртыша горит — высоким и ярким пламенем — нефтеналивная баржа с заключенными. Пожар урчит, что-то хлопает, что-то в пожаре взрывается, а между этими хлопками и взрывами — человеческие вопли.

От ужаса Голубеву надо было уже тогда умереть. Но не получилось даже мысленно: семья, двое детей, жить надо, даже при том, что смерти он не боялся.

И остался жить, а спустя время умер Сталин.

Голубев к Сталину никогда не чувствовал ни малейшей симпатии, никакой привязанности, но Сталин и не нуждался ни в его симпатиях, ни в привязанностях, ни в самой жизни Голубева, однако же жизнь Голубева была обязана Сталину уже тем, что миновала Пятьсот первую стройку.

А ради светлого будущего Голубев в настоящем не замечал перевалочную базу в Захламине, хотя и видел ее ежедневно в окна своей квартиры и садился в трамвай на остановке «Захламино».

Правда, жило в нем предчувствие: рано или поздно действительность — без скобок, без многоточий, такая, какая она есть, какой была, — предстанет и перед ним.

Летом 1954 года Голубев инспектировал гидрометстанцию в Салехарде и увидел он совершенно незнакомый город, в котором прежние постройки ютились где-то на задворках.

Но старый городишка был и нынче жив, а новый — уже мертв. Новыми были все постройки Пятьсот первой. Год прошел как Пятьсот первая была ликвидирована, и теперь деревянные тротуары нового города оказались безлюдны, двухэтажные деревянные дома, жилые и с вывесками магазинов, сберкасс и всякого рода служб, стояли с распахнутыми дверями и окнами, двери скрипели, из окон выпадали стекла.

Правым берегом Полуя на восток, в тундру, уходили рельсы Пятьсот первой. Она далеко ушла, Пятьсот первая, от Оби с запада на восток, а с Енисея, от города Туруханска, с востока на запад, знал Голубев, проложено было встречное плечо этой дороги, плечи должны были состыковаться то ли на реке Таз, то ли на реке Пур (на территории бывшей республики Мангазея), но так и не состыковались эти плечи нигде, повисли они в тундре, повисли в воздухе — страшное зрелище страшного замысла.

Насыпь дороги уже деформировалась, осела, разошлись в стороны рельсы, заржавели, шпалы висели на провисших рельсах; резервы вдоль насыпи, грунт из которых пошел в насыпь, заполнились водой, а тундра вдоль дороги была изрыта, захламлена и перестала быть земной поверхностью, стала поверхностью неизвестно чего.

Дорога 501 никогда и не могла быть построенной, не могла стать дорогой, природа тундры с самого начала не воспринимала ее, тундровые грунты не выдержали бы груза поездов, если бы даже насыпь и рельсы оказались тем грунтам посильны.

Голубев долго-долго всматривался в чудовищную картину, и бредовую и реальную, долго гадал — есть ли имя тому, что он видит?

Имени не было, перед ним простиралось самое бессмысленное за всю историю творения рук человеческих — 501 была так же античеловечна, как и антиприродна.

До сих пор Голубеву и в голову не приходило сомневаться в существовании гидролога Голубева (реки текут, он живет при реках, — как же они без него-то, без его измерений и размышлений?), но тут — случилось, Голубев засомневался. Сильно и впервые в жизни.

Потом гидролог Голубев возвращался в странный город Салехард, шел по насыпи, по искореженным рельсам, снова миновал безлюдные, со скрипучими дверями улицы, а в старом городе поднялся на холмик — здесь стояла ветхая, со всех сторон облупившаяся и без крестов церковь не салехардских, а еще древнего города Обдорска времен. Холмик плотного песчаного грунта без усилий вздымал на себе этот церковный, издалека видный груз, который и церковью-то уже не назывался — в стенах ее давно находилась типография газеты «Красный Север» (орган окружкома РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и исполкома окружного Совета трудящихся), в «Красном Севере» десять лет тому назад старший гидролог местной гидрометеорологической станции Голубев сообщал населению о том, как ведет себя, как будет себя вести в ближайшие дни река Обь...

С холмика открывался вид на юг, на другую сторону Полуя, где не тронутая Пятьсот первой стройкой тундра простиралась так, как только она одна на всей суше и умеет простираться, бесконечная в тусклой зелени своей, в синеве и других неярких красках, которые никогда не были и никогда не будут доступны изображению кисти художников, объективам фото- и киноаппаратов.

Нетрудно было себе представить, как оттуда, из этого пространства, из далека-далека, видится и эта церковь-типография, и даже Голубев рядом с нею, и вот он встал на колени и перекрестился на тот церковный крест, которого не было.

Один на холмике, он и не заметил, что неподалеку были еще два человека — мальчик постарше и девочка помоложе. И тот и другая в резиновых сапогах, с лицами, припухшими от укусов комаров и мошки.

Девочка спросила:

— Дядя! А что это ты делаешь? Вот так? — И левой рукой она сделала жест, немного похожий на крестное знамение.

Голубев растерялся, не зная, что ответить, за него ответил мальчуган.

— Дура! — ответил он. — Товарищ крестится! Товарищ в Бога верит — понятно?

— Понятно... — вздохнула девочка.

А на Ангальском мысе, на водомерном посту, еще одна, третья по счету, жилища избушка была построена, но Обь была все та же, Ангальский мыс — тот же. На берегу ветерок, мошку уносит, а ступи два шага в кустарник...

Что было нового на водомерном посту Ангальского мыса — это другой «Таран» — катер на сто пятьдесят лошадиных сил (в старом «Таране» — двенадцать), корпус металлический, списан в гражданку из состава Военно-Морского Флота. Команда пять человек, ручной лебедки ни одной, только механические, кубрик с одеялами, подушками и небольшая лаборатория для химического анализа проб воды.

Старого «Тарана» никто из команды не помнил.

Дядю Матвея — никто.

Что в этом створе когда-то вел наблюдения гидролог Голубев — и в голову никому не приходило.

Голубева встретили на Ангальском не как чужого, но и не как своего. Вернее всего — как прохожего. Один из гидрологов — их нынче трое работало на Ангальском — спросил:

— Чего новенького на Большой земле?

— Спрашивает, — будто бы даже и обиделся другой гидролог, помоложе. — Сам только и делает целыми днями слушает радио, а теперь — «чего новенького?».

Поднялись на катер.

Мотор завелся сразу же — на прежнем «Таране» такого не бывало, там ремешком крутишь да крутишь, с десятой попытки, не раньше, искра проскочит.

Поплыли в створе.

— Ну и что же — Пятьсот первая веселая была? — спросил Голубев.

— Какое может быть сравнение!

— Никакого, — подтвердил матрос в тельняшке. — Пятьсот первая строилась — концерты делали в Салехарде, самодеятельность зэки исполняли. Аэросани с Лабитнанг на Салехард ходили, автомашины по льду бегали.

— Как же иначе-то? Мы же Пятьсот первую обслуживали! Какая погода, какие уровни, толщина льда какая. Каждый час от них звонки.

— У них там, среди зэков, кого только не было — и певцы, и танцоры, и клоуны.

— Оригинальный жанр! — подтвердил матрос.

Охотно рассказывали ангальские ребята о недавно минувших, об очень хороших временах.

— Снабжение было — будь здоров! Мы на ихнем транспорте бесплатно, они на нашем — всегда подбросим. Рядовой конвойный и тот подбрасывал, об офицерском составе говорить не приходится.

Голубеву же четверо геотехников вспомнились, которые первыми вышли на трассу Пятьсот первой: «Плевать мы хотели на твой ледоход!»

Военно-морской «Таран» шел двадцать километров в час (прежнему «Тарану» и не снилось), воду за бортом, ее течения и журчания, не слышно, вода билась о металл, в металле гудел двигатель — вот и все, все звуки, а куда, в какую сторону вода течет, с какой скоростью, угадать нельзя.

Голубев сказал:

— А ну-ка встану я на вертикаль, опущу вертушку и батометр...

— Если вам все еще интересно...

Голубев взял бинокль, сориентировался по всеерному створу на вершине Ангальского мыса.

— Вертикаль примерно одиннадцатая.

Матрос и без бинокля подтвердил:

— Она. К ей мы ближе всего.

Голубев скомандовал в машину: «Тихий ход! Становимся на вертикаль!» — отдал якорь и, подождав, пока катер снесет течением пониже, подтянулся на якорю: стоп!

Матрос подтвердил:

— Встали аккуратно. И с первого же заходу!

Глубина на одиннадцатой была четырнадцать метров с хвостиком, хвостик Голубев считать не стал, $14 \times 0,6 = 8,4$, на восемь и четыре он опустил вертушку, включил лампочку, стал считать сигналы... Тут все стало таким, каким и должно быть: лампочка моргала, вода за бортом подавала естественный свой голос, неторопливый и великолепный своей простотой, бесконечной своей историей.

Десять лет назад Голубев впервые измерил расход в створе Ангальского мыса, впервые погрузил вертушку — изобретение Леонардо да Винчи — в глубину потока, чувствуя изобретателем и себя. (Музыкант, исполняющий Чайковского, верит в то, что он тоже Чайковский.)

Вертушку пора было поднимать с глубины 0,6Н, но Голубев подал знак: пусть еще вертится...

В Лабитнангах пришвартовались к причалу, только-только успели, как двинулся в путь, в подъем на Урал, поезд до Воркуты — пять захудалых вагонов и чумазый локомотив. Несовместимыми были для Голубева эти слова — «вокзал» и «Лабитнанги» (то есть «Семь лиственниц»), но они совместились, факт, и каменные дома и этот поезд — ничто не напоминало прежней фактории: десятка три-четыре домиков, а еще баня, оленщики ездили сюда париться километров за сто, за двести тоже ездили.

Пассажиров в поезде было немного. Голубев разговорился с одним из них, это был директор рыбозавода на реке Пур, восточнее Салехарда. Директор ехал поездом впервые в жизни.

— Значит, так, — рассказывал он, — баржой привезли мне на завод паровоз, поставили на заводской двор: «Карауль! Железную дорогу проведем — он тебе пригодится!» Я все гадал — как все ж таки он ходит? Говорят — по рельсам... По рельсам? Я соображаю: для такого большого какие же рельсы-то надобны? Такой-то большой, он же в тундре утопится? Летом? Летом олени в тундре по колену тонут, а этот? А зимой, а в пургу? Зимой рельсы на метр, того больше, снегом заметет? Ну вот, еду нынче своей же персоной на поезде и глазами вижу, как делается, а сердце болит: что мне со своим-то с паровозом делать — железная дорога строиться не будет, паровоз на моем балансе. А ребятишки с его все, что можно отвинтить, давно отвинтили, на ребятишек управы нету, хотя бы из самой из Москвы! Кто ее придумал, эту железную дорогу, в нашем Заполярье? Поглядеть бы, а?

Голубев показал глазами — кто... Просто было показать: в купе висел портрет Сталина.

Директор рыбозавода обомлел.

Голубев сказал:

— Умер же человек. Уже! Или — непонятно?

Остановок у экспресса Лабитнанги — Воркута было множество. Идет человек вдоль железнодорожного полотна — мужчина, мальчишка, все равно кто, — поднимет-опустит руку, показывая «стоп», экспресс останавливается.

Из тамбура Голубев смотрел на горную быструю-быструю речку Сось (в ней когда-то и утонули четверо геотехников), когда в вагон с насыпи стал кто-то карабкаться. Что-то человек в тамбур втаскивал темное и длинное.

— Ну! Чего стоишь, глаза вылупил? — сердито сказал этот человек Голубеву. — Или не видишь — помочь надо!

Груз оказался неудобным: лосось килограммов на тридцать, сорок.

Втащили лосося, почистились от слизи и чешуи, новый пассажир сел на скамью у окна, закурил и выразил желание поговорить:

— Мне-то до Сейды. Тебе, гражданин, куда?

Голубев сказал — в Москву, и тоже спросил:

— Здешний житель?

— Как, поди, не здешний? С той стороны, с Уралу. Нынче нам благодать: с той стороны в эту сторону на рыбалку взад-вперед поездом съездим. Кто бы мог подумать!

— Поезда редко ходят. Ждать приходится?

— Сколь бы ни ждать. Хотя неделю, все одно скорес, как пешим. И зиму взять, когда на оленях либо на собаках ездием, — все одно транспортом скорее.

Голубев еще спросил:

— А не помните ли: в этой же речке, Соби, во время войны четверо инженеров утонуло. Переправлялись на плотике, перевернулись и на бsrгу замерзли. Четверо? Все бородатые?

— Спрашиваешь! В нашем в краю столь было разной человеческой погибели — не запомнишь. Гляди за окошко направо — вот оне, бараки лагерные. От Пятсот первой стройки построенные.

Так и было: вдоль дороги справа по ходу поезда через каждые два-три километра торчали крыши — крыши длинных земляных барakov с узкими оконцами у самой земли. И колючая проволока вокруг барakov. И смотровые вышки. На том разговор с удачливым рыбаком закончился, а на остановках Голубев всю ночь — светлую, почти дневную — выскакивал из вагона, бежал в ближайший барак, смотрел: темные, низкие, сырые стены, нары с обеих сторон. Гниль. Затхлость. Лохмотья на полу, на нарах. Жизни человеческой здесь не могло быть никогда — только что-то ей противоположное, антижизнь, антиявление. На рельсах заметил Голубев бумажные листочки — их ветерок шевелил, будто прошлогоднюю древесную листву...

Голубев поднял листок, другой, третий... Карандашные записи на бумажных треугольничках стерлись, а кое-где все же прочитывалось: «Прощайте... мил... мои... уже... всегда... прощ... Коленку бер... а... ..онечку особенно... Сказать тяжело, не ска... не могу...», «...дальше некуда, а все равно везут дальше... куда?», «...перь уже немно... ..талось, но... лю... люб...»

Вот как было: прекратили Пятсот первую, повезли заключенных куда-то, куда — никому не известно, и они прощались с родными, выбрасывая из теплушек с зарешеченными окнами письма: вдруг попадет треугольничек в добрые руки, вдруг добрые руки отправят письмо по адресу?..

Голубев пытался представить, сколько же носило, сколько все еще носит ветерком вдоль железных дорог России таких же треугольничков. Не представил. Не смог. Не хватило воображения.

Голубев себя хотел увидеть автором такого письмеца — но не увидел, а ведь он реалистом был! Представил только, как зимой бараки эти вместе с кровлями заносило снегом, как весной и осенью затапливала их вода, как летом наполнялись они комарьем, мошкой и новыми заключенными, которые «поступали» сюда с перевалочной базы Захламино, что под городом Омском.

На станции Сейда было ожидание: с поезда Лабитнанги — Воркута он сошел, поезд Воркута — Москва прибывал в Сейду через шесть часов. Куда ему с шестью часами деваться? И вдруг вспомнил: в Сейде живет краевед Попов. Поповых в здешней местности если не каждый второй, то каждый третий-четвертый, однако Голубев не растерялся, порасспросил прохожих. Попов ему нужен, тот Попов, который камушки и травы собирает. Тут же ему и указали, и он вошел во двор, с опаской двинулся сквозь стаю собак — черных, черно-белых, бело-рыжих, добродушных, подозрительных и совершенно нейтральных. Через совершенно нейтральных пришлось перешагивать, они лежали на тепленьком, солнцем пригретом дощатом тротуарчике, лапы враскидку, голова с тротуарчика свешивается в одну сторону, хвост — в другую.

В доме Попова Голубев пил чай, пил, не торопился, а Попов подтверждал:

— Куда он денется, воркутинский-то? Никуда он не денется, воркутинский. Мы отужинаем, он тогда и придет на станцию да и постоит еще сколько-то времени. Когда час, когда два — сколько ему нужно.

А чего только не знал краевед Попов! Чего не наслушался Голубев за чаем! Память у рассказчика была отменная — какой это поэт, какой краевед, если он не обладаст памятью? Голубев никогда не смог бы стать ни поэтом, ни краеведом — память у него не была сильной, не удерживала имен, цифр, исторических дат, телефонов, анекдотов, стихов. У него было другое: ощущение прожитого времени, времени суток, времен года, времен возраста — раннего детства, детства последующего, юности, взрослости. Он вспоминал один какой-нибудь день своей жизни в августе 1923 года, день своего рождения или день рождения матери, а тогда и восходил памятью в дни последующие и следующие за следующим и в неделю и в две подряд. Отчетливо и точно мог он воспроизвести и свои путешествия по рекам большим и малым, когда составлял лоцманские карты, когда проводил изыскания под строительство гидротехнических сооружений.

О такой памяти не расскажешь, она никому не интересна, другое дело — краевед Попов выдает и выдает факты один интереснее другого, один никак не связан с другим, вот Голубев слушал и слушал о здешних птицах и зверях, о травах, климате, приметах — какое нужно ждать лето, зиму, весну и осень, раннюю или позднюю, влажную или засушливую, долгую или короткую. Само собой, расспрашивал Голубев Попова и о реках — какой на них ледоход-ледостав, какие у здешних рек привычки и характеры?

Попов слабость Голубева схватил, повел сказ о Печоре, об Усе, обо всем печорском бассейне. Попов листал свои тетрадки — одну, другую, десятую, — в которые чуть ли не полвека он записывал свои наблюдения.

Голубев тоже начинал свое природознание с кружка юных краеведов при музее, с подбострастного подражания учителю географии Порфише — маленькому и горбатенькому, писклявому и безумно много знающему. С Порфишей в пятнадцать лет Голубев и совершил свое первое путешествие в Горный Алтай, в верховья реки Чарыш, на Коргонские белки. Места изумительные, красотой своей они оставили впечатление на всю жизнь. (Только с панорамой Нижней Оби, с Ангальским мысом, с видом, который открывался с Ангальского на Уральский хребет, те детские впечатления и можно было сравнить.) Ночь на Коргонских белках у небольшого костра, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, провели Порфиша и Голубев, в ту ночь Голубев и стал географом. Мальчик Голубев тот раз даже и не удивлялся, у него было другое чувство — принадлежности к этому миру, и уже тогда чувство заботы о нем, чтобы не дай Бог с миром этим, с красотою его не случилось плохого, чтобы в нем ничто не погасло, но и не сгорело, чтобы в нем сохранялась гармония (слова в ту пору еще не было в голубевском лексиконе, но подозревалось оно отчетливо).

Так или иначе, а на станции Сейда встретились два природных человека — Попов и Голубев, и померкли для Голубева картины барачков, в которых обитали строители Пятьсот первой, железнодорожные ее останки под Салехардом тоже забылись, и только в самом конце беседы, уже на станцию надо было идти к поезду, Голубев спросил собеседника:

— А что вы знаете о Пятьсот первой? Если кратко — что?

Попов в лице изменился. Лицо его, добродушное, бородатое, уже старческое, уже неизменное до конца жизни, вдруг изменилось — не узнать.

— Историей — не занимаюсь!.. — ответил Попов негромко, но внятно, словно он кому-то произнес приговор.

— Краевед, а историей своего края не занимаетесь?

— Нет и нет! — снова отвечал Попов. — Меня сколько спрашивали, сколько приходили, вот эти тетрадки читали — нет ли в них истории? И в Воркуту вызвали и в Сыктывкар, однажды так и в Архангельск-город: занимаешься историей? Я говорил: упаси Бог! Ладно начальники были знакомые, начальники любят рыбачить, охотиться любят, а я места указывал, специально для них места хоронил на Печоре, на Усе, на малых речушках, и

берлоги медвежьи брал на заметку, и приманку делал. Когда бы не эти мои способности — где бы мне быть? Не знаете? Молодой еще! Вот и я, старый, не знаю. А когда история меня миновала — вот он я, живой!

Попрощавшись с Поповым, Голубев шел на станцию и думал. «Порфишато? Учитель географии?» — вспомнилось Голубеву.

Порфиша историей Алтайского края занимался усердно, брошюры писал — о знаменитых заводчиках Демидовых, об изобретателе первой в мире паровой машины технике барнаульского завода Иване Ивановиче Ползунове, который столь страстно желал «облегчить труд по нас грядущим» и «славы отечеству достигнуть».

Маленький Порфиша был большим патриотом, он с Алтая был родом, изречения выдающихся деятелей Алтая коллекционировал, историей края увлекался и в 1937 году был арестован. И тогда же, или чуть позже, был расстрелян.

В дороге от Сейды до Москвы Голубев заметил: на платформы с воркутинским углем (они шли состав за составом) вскакивали странного вида люди и железными штырями прощупывали угольную насыпь. Уголь лежал плотно, надо было стараться, погружая в него штырь.

Голубев спрашивал у пассажиров, что эти люди ищут. Пассажиры, пожимая плечами, отдалялись от Голубева. И только один лохматый человек объяснил:

— Каторжников с Воркуты ищут. Они, воркутинские каторжники, как изобрели? Закапываются в уголь и едут кто куда!

— Так ведь и сутки и двое надо провести в угле! Без воды? Без пищи?

— А в карцере лучше ли? Тут хотя бы лежишь, а в карцере стоять приходится. Тут во тьме, а там лампу направят на тебя электрическую — поджаривайся заживо! Нет и нет — каторжнику терять вовсе нечего!

— Но Пятьсот первая ликвидирована?

— А Воркута? Кто там уголек будет рубать, ежели все каторжники разбегутся?

Тут какой-то старичок заметил:

— Будто бы Пятьсот первая у нас единственная? Особенная?!..

Особенная! — стал объяснять Голубев случившимся тут пассажирам. В проекте Пятьсот первой было два варианта перехода железнодорожного пути через Обь. Первый — переход мостовой; но он трудноосуществим: глубина Оби тридцать пять метров, в мировой практике кессонные работы при возведении мостовых опор на такой глубине никогда не проводились. Второй применялся на Байкале, пока не была построена кругобайкальская железная дорога: летом поезда переправлялись через Байкал на паромов, зимой рельсы прокладывались по льду. Весной и осенью движение прерывалось.

Какое решение принял бы товарищ Сталин? Чтобы воевать Америку через Берингов пролив, нельзя было допустить перерывов в железнодорожном сообщении, и, вернее всего, он опустил бы эзек в Обь на глубину тридцать пять метров, в Енисей — еще глубже, Енисей еще более могучая река. (Максимальный расход Оби 42 800, Енисея 154 тысячи кубометров в секунду!) Ну поработал бы на невероятных глубинах эзек с полчаса-час, потом через шлюзовое устройство вытащили бы из кессона труп — и что?

И ничего! — пришли к выводу слушатели Голубева, и он продолжал: второй вариант не исключался, и вот он, Голубев, нанимал рабочих и сам долбил с рабочими лед в Ангальском створе — определял толщину льда по всей длине створа, интенсивность нарастания ледяного покрова с октября по май. Конечно, ледовые наблюдения велись всегда, но тут потребовались дополнительные данные. Нынче Голубев знает, для чего эти данные были нужны, а когда долбил — не знал. В голову не могло прийти.

Ну откуда же могло прийти? — опять-таки соглашались слушатели, а старичок, лысый и с бородой, который заявил, что Пятьсот первая далеко не единственная, тот заметил:

— Никто не догадывался, что войны — победители фашизма после войны станут каторжниками Пятьсот первой?! А ведь было?

После этого стариковского замечания публики разошлась по своим купе, ушел и Голубев и стал думать. след гусеничного трактора в тундре зарастает слабой травкой и мхами через сто лет. Когда же зарастут все следы Пятьсот первой?

В Москве Голубев провел два дня и напросился на встречу с Александром Трифоновичем Твардовским. Как напросился? Сообщил письмом, что хотел бы написать статью о великих стройках коммунизма. В редакции «Нового мира» шел ремонт, они сидели на столе, свесив ноги, — кругом ведра с известкой, краской, цементом. Разговор был кратким, отрывистым. Хрущев, кажется, только что снял Твардовского с поста главного, Твардовский был слегка под градусом, но держался очень строго. Лицо красное, глаза прозрачные.

Голубев спросил:

— А если я напишу о Пятьсот первой?

— Я уже не главный, — пожал плечами Твардовский.

— Если бы были?

— Не пропустил бы... — И объяснил, почему не пропустил бы: что было, то прошло. Вспоминать — слишком больно.

— А — повторится!

— Никогда в жизни! — заверил Твардовский.

У Голубева на душе полегчало. Голубев Твардовскому верил, кому же еще было верить?

Но все равно Голубев чувствовал себя хранителем страшной тайны: он один, казалось ему, понимал, чем была Пятьсот первая для природы, однако объяснить это было некому.

Когда в семье Голубевых появилась дочка Анечка, старший, Алешка, возмутился:

— И зачем мне сестричка? Мне одному лучше! Только и слышу: «Анечка, Анечка!» Алешки как будто и вовсе нет...

— Ну как это нет? — успокаивал сына Голубев. — Вот же ты — передо мной. Стоишь такой самостоятельный и разговариваешь, но говоришь — тебя нет? Смешно!

— Если я самостоятельный, если я взрослый, почему вы не спросили меня — нужна мне сестренка или не нужна? Отвезите меня к маминой маме, к моей бабушке Оле в Ленинград. Я в Ленинграде четыре раза был в цирке, а здесь за всю свою жизнь только два раза. Ленинград лучше — там Нева.

Ленинград лучше, потому что там Нева, — в этом Голубева не было необходимости убеждать, он подумал: «Может быть, Алешка гидрологом будет? Реки будет изучать и защищать?» В этой надежде он погладил сына по голове, по щекам.

— Поживи у нас еще с полгодика, я уверен, ты привыкнешь к Анечке, будешь ее любить. Все будет в порядке...

Нельзя сказать, чтобы, по мере того как дети росли, между ними сохранялся антагонизм, — не было. Брат и сестра везде отзывались друг о друге доброжелательно. Везде, но не дома, дома не прекращалось соревнование — кто кого обсмеет, кто кому «выдаст».

Выдать больше, конечно, мог старший, Алешка, но он не очень старался и меньше радовался собственным удачам, Анютка же была в восторге, если ей удавалось рассердить брата.

Она приходила из школы и говорила матери:

— Мамочка! А нет ли у нас ложки?

— Ложки? — удивлялась мать. — Да возьми, пожалуйста, любую!

— Мне не нужно. Ты Алешке отдай ложку.

— Алеша, зачем тебе?

— Мне? Мне не нужно, — удивлялся сын.

— Он секретничает, — объясняла Анютка. — А на самом деле переживает: Ниночка Бокий потеряла в буфете ложку, и Алешка тут же получил по химии тройку. Если, мамочка, ты не хочешь, чтобы Алешка стал круглым тросчником, подари ему ложечку. Чайную!

— Дура ты, Анька! Честное слово — дура! К тому же вредная, — возмущался Алешка.

Анютка же делала вид, будто очень обижена. Любой вид в ее исполнении получался достоверным.

Умер Сталин, и Анютка опять выдала:

— Везде только и твердят: умер, умер, умер! На площади давку устроили, много людей совсем задавили. А чего особенного? И я когда-нибудь тоже умру. Слоны какие большие, а все равно умирают!

— Анютка! Но ты же пионерка! — напомнила мать.

— Оттого, что я пионерка, Сталин бессмертен, что ли? В нашем пятом «б» никто так не думает.

— Ничего, ничего! — подтвердил и Алешка. — Партия без рулевого не останется — как можно? Если и сама-то партия советскому народу — рулевой? А ты заткнись, Анютка. Ты еще маленькая, в пятом классе. Вот уж перейдешь в шестой — тогда...

Дети не знали, что все поколения шли мимо настоящей цели, правее, левее, ниже, выше, но — мимо, дети не догадывались, что, когда они станут взрослыми, они тоже пройдут мимо, а взрослые забывали, что когда-то они были детьми и верили в великие достижения. Таким образом, возраст становился как бы партийностью, хотя и с неписаными, а все-таки уставами, программами, с межпартийной и внутрипартийной борьбой, с понятиями партийной чести и партийного бесчестия.

Голубев партийно-возрастной системы избежал, никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, ни членом партии, не потому не был, что убеждения не позволяли, просто у него была потребность в той естественности, которой чужда партийность. Природа же беспартийна? Теперь ему хотелось, чтобы дети возвели беспартийность отца в его достоинство, но им было все равно, кто их отец — партийный функционер или беспартийный инженер, инженер-гидролог или инженер-механик.

Дети были за тридевять земель от природы и воспринимали ее только как школьный предмет, как географию с астрономией и с биологией в придачу. Надо сдать экзамены по всем этим предметам — вот и все.

Возвращаясь из очередной командировки, Голубев всякий раз составлял в уме сюжет беседы: вечерком за ужином, строго следуя этому сюжету, он расскажет о своих впечатлениях от поездки, сыну расскажет, дочери, жене и всеми будет понят.

Из Салехарда он приехал под вечер, пока добрался, стемнело, он вошел, и Татьяна сказала:

— А-а-а! Это ты? Ну здравствуй, здравствуй!

Дочка с невыразительным восклицательным знаком протянула:

— А-а-а...

Сын со знаком почти вопросительным:

— А-а-а?..

И Голубев сказал, что очень устал и хочет спать. Что если у кого-то и есть желание поговорить — лучше завтра.

Назавтра другой, кажется, столь же незначительный инцидент.

Жена по какому-то поводу: «Ну, положим, настоящий муж так бы не сделал»; а через минуту-другую дочка: «Настоящий отец сделал бы так...» Жена тут же взвилась: «Цыть! Ты как с отцом, дрянь этакая, разговариваешь? Смотри у меня — я тебя научу!»

Сын молчал. Это в отца: он умел молчать, хотя очень любил потрепаться.

Ну а Голубев как думал один, так один и думал. О том, что человек и человечество убеждены, будто только они обладают смыслом. На самом же деле смысл — это содержание природы, и насколько человек способен проникнуть в ее содержание, настолько он и умен, настолько же обладает правом жить.

Еще он думал, что Татьяна, славная женщина, всеми уважаемый экономист треста гражданского строительства, энергичная, инициативная на работе, дома тиха и задумчива, а все, что говорил ей муж, было для нее истиной. Поэтому ее не в чем было убеждать и не о чем с ней говорить, и почему-то нельзя было Голубеву признаться Татьяне в том, что он человек природный.

Глава третья

НИЖНЕ-ОБСКАЯ ГЭС

Киловатт — единица мощности, кратная от ватта, равная 1,36 лошадиной силы, или 859,84 килокалориям в час.

Киловатт-час — внесистемная единица измерения энергии или работы, равная работе, совершаемой в течение одного часа при мощности тока в один киловатт. Обозначается как кВт, или 859,84 килокалорий/час.

Киловатт-час при внешней своей незамысловатости поделил историю человечества на две неравные части: одна до, другая после его появления.

Христианство, ислам, буддизм этого не сделали, киловатт-час сумел, и ничто так не определило антиприродную сущность человека, как киловатт-час, и вот уже время каждого из нас — деятельное и бездеятельное, счастливое и несчастное, время сна и яви — где-то и кем-то обязательно пересчитывается на киловатт-часы: сколько их истрачено в этой действительности? И сколько в той же действительности надлежало истратить в соответствии с существующими нормами — больше, меньше или точь-в-точь?

Всякий предмет потребления, всякое передвижение и движение, любое театральное представление пересчитываются на кВт/ч. Ну разве еще и на килокалории, потому что они сродни киловатт-часам.

А если представить себе человека, который владеет всеми киловаттами и киловатт-часами мира?

Более могущественного правителя никогда не было и не будет, и Сталин это знал, когда замыслил великое преобразование природы, когда начал строить самые мощные в мире ГЭС на Волге, Каме, Дону, Оби, Енисее. Он не оставлял живыми течения великих русских рек на всем их протяжении — только через водохранилища.

И выдающиеся умы науки его времени — Келдыш, Александров, Лаврентьев, Курчатов, Королев, удивляя современников научными открытиями, гордились своей причастностью к антиприродному сталинизму, не могли представить себя вне, а только в — в нем, в нем с ног до головы.

А Голубев был вне. Не потому, что был умнее, но потому, что был природнее.

До сих пор «вне» давалось ему естественно и просто, однако он знал, всегда предчувствовал: наступит для его природности время испытаний!

Надо же случиться: Голубев стал сотрудником (начальником отдела гидрологии!) колоссального учреждения, монопольного проектировщика гидроэлектрических станций в СССР.

Его многократно реорганизовывали, это учреждение, давали ему разные названия, а Голубев назвал так: «киловатт-час». Или «кВтч».

Как произошло?

Точно так, как происходит обычно.

Голубев учился на одном курсе, в одной группе с Мотькой Краевым, а Мотьку Краева почему-то знали все. Мотька Краев тоже знал всех. Странно, что Мотька выбрал гидрологию, науку и практику маломодную, но этот выбор Мотька объяснял по собственной логике:

— Гидрологов не так уж и много! Можно всех знать!

К тому же Мотыка и до университета и после приобрел множество специальностей — он работал в лесных, землеустроительных и геологических партиях, отлично разбирался в лошадях и собаках, в процессуальном и гражданском кодексе законов и в людях соображал: «Петрову верить нельзя: он вбок глядит!», «Иванов жуткий карьерист, за карьеру мать родную продаст! Ты посмотри, как он газеты читает? Он читает, кого и куда выдвинули!»

И подтверждались Мотыки Краева прогнозы.

Голубев же всегда и всюду считался индивидуалистом, на антиобщественника тоже смахивал, и только с Мотыкой Краевым было у него повседневное общение. Он о Мотыке думал: трепач! Он Мотыке не раз говорил: «Трепач!» — а Мотыке это нравилось: «Ничего, ничего! Без таких, как я, люди не обходятся, ты — не обходишься, а главное, я не обхожусь!» Когда Мотыке стало под сорок и он — с брюшком и лысоват — встречался с Голубевым, он обязательно говорил: «Зови меня Мотыкой! Очень хорошее имя! Очень мне нравится!» И дело кончилось тем, что он устроил Голубева в «КВч».

Запросто у него получилось: он послушал, что и как Голубев говорит о природе, и сделал вывод:

— Тебе, Голубев, надо идти в очень мощную, очень авторитетную, очень богатую контору. Пока не скажу в какую — скоро узнаешь!

Голубев возражал:

— Вот еще! Я в гидрометеорологической службе на всю жизнь!

— Да ты что — с ума сошел! «На всю!» Ты за реками наблюдаешь, и все дела! Поверь мне: твое дело — реки спасать! Пора!

Мотыка был прав...

И завертелось: кто-то из «КВч» ему звонил, у кого-то в «КВч» он побывал, с кем-то в МГУ консультировался, а потом сказал о своем намерении Татьяне.

Татьяна спросила:

— Не страшно тебе?

— Страшновато... Но Твардовский обещал: никогда не повторится Пятсот первая стройка. Каховская ГЭС — никогда!

— Что-то я не представлю тебя в роли киловатт-часика. К тому же уж очень процветающая контора...

— Роли не выбираются. Они сами нас выбирают.

Алешка, тот одобрил:

— Слышал, слышал: очень престижная организация! Поздравляю!

И Анютка сказала:

— Ай да папка!

В Москве на престижном перекрестке двух престижных городских артерий «КВч» построил престижную контору: шестнадцать этажей.

Поначалу Голубеву хотелось узнать: а численность? На шестнадцати этажах, должно быть, тысячи две-три человек, а в филиалах? В союзных республиках, в краях, областях? В Ленинграде, Киеве, Кишиневе, Харькове, Ростове-на-Дону, Ташкенте, Красноярске, Хабаровске — всего, говорили, филиалов тоже было шестнадцать.

Однако свою любознательность Голубев удовлетворит так и не смог, никто полной численности «КВч» в «КВч» не знал, все говорили: «Нас много!» — еще: «Мы — ордена Трудового Красного Знамени!»

Может быть, только самые большие начальники знали цифру, может быть, и они не знали. Голубев решил: шестнадцать тысяч!

«КВч» был организацией технической, но это на первый и поверхностный взгляд. Чего бы техника сама по себе, без политики стоила?

Раскладка примерно была такая: 1) Политбюро, 2) Совмин, 3) Госплан, 4) министерства, 5) и т. д., — а в промежутке между 3) и 4) находился «КВч». Не будучи министерством, «КВч» был вхож в Госплан и выше (вплоть до Политбюро), в то время как многие министерства подобной вхожестью не обладали.

Разумеется, Минобороны, министерства оборонной промышленности, КГБ, МВД — эти стояли над, тягаться с ними смешно, только искать сотрудничества, кое-кого из своих сотрудников к ним приближать, кое-какие

объекты для них проектировать, кое-кому звонить, поздравлять с днем рождения, приглашать на охоту: вблизи многих объектов «КВч» располагались прекрасные охотничьи угодья, охотничьи избушки, сауны и т. д.

С Минэнерго, куда (отдельной строкой) входил «КВч», «КВч» всегда мог поторговаться за один-другой миллиард рубликов, мог припугнуть: не дадите полтора — сорву план!

Если же сорвет план «КВч», значит, и Минэнерго из прорыва не вылезет.

И весь кадровый состав «КВч», включая вахтеров и старушек-гардеробщиц, понимал престиж своего учреждения. По выражению лиц своих начальников понимали, по матерщинкам шоферов персональных машин и по той старательности, с которой пудрились и красили губки секретарши всех приемных, на всех этажах, — понимали.

Это чувство, его безошибочность было не чем иным, как единым духовным потенциалом многотысячного коллектива «КВч».

Элитарность «КВч» распространялась далеко-далеко за его пределы: на строительстве гидроэлектрических (преимущественно самых крупных в мире) станций использовался только тот контингент эзков, которые имели сроки не свыше десяти лет.

Морально-политический уровень «КВч» тоже был безупречен — в его стенах немисливо было услышать антисоветский анекдот, встретить алкоголика или инженера с судимостью, и соцсоревнование было здесь реальной движущей силой — если фотопортрет передовика вывешивался на Доску почета, то и на рабочем столе его появлялись цветы: букетик в стеклянной баночке из-под овощных или фруктовых консервов.

Само собою, Доска почета сопровождалась премиями в размере месячного оклада и выше. Оклады же в «КВч» могли сравниться разве только с учреждениями оборонной промышленности и даже превышали таковые.

Кстати говоря, в свое время (при Сталине) некоторые руководители «КВч» носили генеральские звания, после ухода в мир иной звания и генеральская форма были отменены, однако это не отразилось на материальном положении бывших генералов, но всему «КВч» придало respectable светскость.

Было у «КВч» и славное прошлое.

У его истоков стояло строительство Беломорско-Балтийского канала, в ходе которого успешно перевоспитались тысячи эзков, сотни инженеров-вредителей. Об этом в соавторстве с начальником строительства Берманом советским людям было широко поведено самим Максимом Горьким.

Канал имени Москвы тоже нельзя сбросить со счета.

Была на вооружении у «КВч» и ленинская формула: «Советская власть плюс электрификация всей страны». Действительно: советскую власть нельзя ведь представить без плюса, а плюс без советской власти, вот и возник на всех шестнадцати этажах «КВч» сладкий вкус советской благодати: гарантия, устойчивость высокооплачиваемого труда, жилищный, социальный, лечебно-санаторный, детский и другие фонды, а в то же время свобода — нет ни конвоя, ни перекличек, ни решеток на окнах.

Вот какую услугу оказал Мотыка Краев своему дружку! Голубев решил — ненадолго. Он окунется в эту благодать, познакомится вплотную с проблемой энергетического использования рек Советского Союза — и обратно в гидрометслужбу. Еще был вариант — преподаватель вуза, у Голубева было звание кандидата географических наук.

Вот уж чем не пахло в «КВч», так это географией: проектируя каналы и ГЭС на реках одной шестой части суши, на советской ее части, а также в Африке, на Ближнем Востоке, в Китае, во Вьетнаме, проектировщики часто и в глаза не видели этих рек, природа им, природопользователям, была до лампочки, на планах строительных площадок они ориентировались не столько по странам света, сколько по надписям, чтобы надписи читались слева направо.

Голубеву это тем более было удивительно, что, шагая по любой из московских улиц, по улицам тех городов, в которых он бывал, он всегда знал, откуда и куда он шагает — с севера на юг, с юга на север, восток или запад. Одним словом, откуда — куда. О реках же и говорить нечего — где исток реки, какой у нее коэффициент извилистости, какой среднегодовой, максимальный и минимальный стоки — если Голубев ничего этого не знал, ему на берегу реки и показываться было стыдно, разве только если это была не река, а речушка, ручеек.

Если все кровеносные сосуды человеческого организма, включая самые крохотные, вытянуть в одну нить, нитью этой можно три с лишним раза опоясать шар Земли по экватору.

О чем это говорит? Не о том ли, что возможна некая равнозначность между каждым человеком и всем земным шаром? Голубев уповал на эту равнозначность.

Ежегодно в «КВч» два дня приобретали особое значение. (Оба имели место вскоре после прихода Голубева в эту организацию.)

День первый наступал, когда в Госплане окончательно утверждался бюджет Минэнерго и отдельной строкой — бюджет «КВч». Это Голубеву было понятно: этот день не в такой мере, а все-таки почитался и Главным управлением гидрометеорологической службы СССР (ГУГМС).

Для «КВч» же день первый был днем победы, собственным Девятым мая. Конечно, годовой бюджет в миллиардах был известен заранее, но кто и что сказал при утверждении бюджета на заседании Совмина, на коллегии Госплана — что сказал министр энергетики (выходец из рядов «КВч», гидротехник и приятель Хрущева), как вели себя предсовмина и предгосплана — вот это было очень важно, потому что из всего этого руководство «КВч» делало и тактические и стратегические выводы на ближайшее будущее: от кого можно ждать поддержки в дальнейшем, с кем надо ухо держать востро.

День второй оказался для Голубева полной неожиданностью, это был день окончания работы инвентаризационной комиссии, которая подписывала «Акт о списании». Списывались проекты, строительство которых заведомо не будет осуществляться. Причина? Причина единственная: эти проекты составлялись не для того, чтобы их осуществить в натуре, а на всякий случай — вдруг пригодятся? Списывалось от пятидесяти до ста проектов в год, в несколько раз больше тех, по которым открывалось строительство.

У Голубева был заместитель по отделу гидрологии под именем Три В — Вадим Васильевич Виноградский, он Голубеву пытался объяснить что к чему:

— А вдруг понадобятся? Ведь оборонка — она как? Оборонка выпускает пушки, танки, самолеты, снаряды, а войны нет и нет — значит? Значит, все это списывается.

— Но мы-то, «КВч», не оборонная промышленность? Нет? — удивлялся Голубев.

— Мало ли что нет! — в свою очередь был удивлен мешковатый и толстый, медлительный Три В. — Мало ли что?! А работаем-то по режиму оборонки.

— Почему?

— Потому что — выгодно!

Еще бы невыгодно: «КВч» сам для себя составлял текущие и перспективные программы гидростроительства, сам проводил изыскания объектов строительства, сам проектировал, сам проекты утверждал, сам осуществлял авторский надзор на строительстве, сам участвовал в сдаче построенных объектов эксплуатационникам и тоже сам — собственные проекты списывал! Вот уж монополия так монополия!

И надо же — Голубев завелся, жалко ему, видите ли, стало труда изыскателей и проектировщиков, государственных средств жалко, «КВч» жалко! Он и не подумал, что «списание» это прекрасно — многие реки будут оставлены в покое, — и вот бегал по этажам «КВч», уяснял: что происходит? как сами-то проектировщики реагируют на эту ужасную бессмыслицу?

В курилке на четвертом этаже (Голубев не курил, но где же еще и послушать разговоры) один мужик спросил другого:

Твою-то, Каменскую, списали?

Представляешь? До сегоднешнего дня толком было неизвестно. Сегодня списали!

Окончательно?

Своими глазами видел акт. Не слышал: говорят, в «Спартаке» тренера мснять будут?

— Не может быть! Брехня, больше ничего!

На пятом этаже:

Василий Петрович, твой-то проект — он как?

— Как можно! Он еще не готов.

А перспектива?

Перспектива есть: краевое начальство изменило свое мнение. Краевому предложили мощную ТЭЦ, оно склоняется.

На седьмом:

— Проект Куликова запускают в дело.

— Куликова? Ну ничего — парень молодой, выдержит!

На шестнадцатом этаже, в архиве...

Архивные девочки в «киловатт-часе» выглядели современно, знали множество анекдотов (не политических, преимущественно армянских), умели их рассказывать и заразительно смеяться, постреливая глазками на молодых, среднего возраста, а не так уж редко и на пожилых инженеров-проектировщиков. Не всегда это было безрезультатно: кое-кто из них выскакивал за разновозрастных. Сегодня они весело таскали в печь, на двор синие папки и так как собственными силами не справлялись, им активно помогал инженерно-технический персонал. Девочки и Голубева пригласили помочь, не сомневаясь в том, что только ради этого он к ним и явился. Голубев невежливо ушел, отправился к Васильеву на шестой этаж (Васильевых на разных этажах было порядочное число).

С экс-чемпионом «КВЧ» по шахматам Рудольфом Валерьяновичем Васильевым у Голубева складывались хорошие отношения — вместе они ездили в метро с работы домой. Вместе, если только Васильев и после звонка не оставался сыграть блиц, нормальную партию, а то разобрать замысловатый этюд.

Васильев был тощий, длинный и прыщеватый. Не бог весть как, а все-таки прыщеватый. Еще он был скучный, и это привлекало Голубева: среди людей, не склонных к болтовне, больше достойных собеседников, вообще Голубев, кое-как играя в шахматы, шахматистов уважал — народ с головой.

Из комнаты № 678 Голубев срочно вызвал Васильева в коридор, стал ему жаловаться: это как же себе представить, что человек работает над проектом год и больше, догадываясь и даже зная твердо, что проект не пройдет? Что проект пойдет в макулатуру, в печь?

— А что нужно, по-вашему, сделать? — спросил экс-чемпион Васильев.

— По-моему? Ну хотя бы пусть уж люди занимаются физкультурой, а не проектируют!

Экс-чемпион Васильев ответил в том смысле, что физкультурой нельзя заниматься восемь часов подряд. Хотя бы и с перерывом на обед. К тому же каждый должен заниматься своим собственным, а не чужим делом.

— А если свое, если собственное полностью бессмысленно?!

— Мало ли как бывает. Я попал в цейтнот, мне неприятно, но от цейтнота не откажешься?

— Ну если я целый год попадаю в цейтнот, тогда, как вы думаете, не лучше ли мне бросить шахматы?

— Теория. А вот практика: человеку надо зарабатывать. Чем больше, тем лучше

— И день за днем работать на цейтнот? Надо сократить цейтнотный штат — пусть люди зарабатывают в другом месте.

— А если другого места нет? Если по нашей, по гидротехнической специальности наше место самое лучшее? Самое престижное?

Экс-чемпион повернулся и ушел в свою, в № 678, комнату. Тут же снова вышел.

— Вы, кажется, болеете по поводу проекта Нижне-Обской ГЭС? Болеете? Имею не очень точные, но сведения: Нижнюю Обь Политбюро утвердило. Три дня тому назад. Три дня тому назад у нас что было? У нас вторник был? Значит, так и есть — во вторник.

Васильев снова повернулся и снова ушел в 678-ю. Васильев, кроме того, что был экс-чемпионом «кВч» по шахматам, был еще и членом партбюро «кВч».

Итак: в створе Ангальского мыса «кВч» будет проектировать Нижне-Обскую ГЭС. Почти что самая мощная в мире! 5,1 миллиона киловатт установленной мощности!

Дома было пусто, тусклая лампочка в прихожей, в кухне на столе записка: «Ужин сковороде мы кино».

Дочка писала, без знаков препинания, без предлогов — такая манера.

Татьяна любила ходить в кино с детьми. Анютка называла эти походы культпоходами, сын — дружбой народов. Голубев поужинал со сковороды и принялся листать энциклопедии — любимое чтение, успокаивает.

«Смысл, — прочитал он в «Настольном словаре» В. Р. Зотова, Ф. Толля (1864), — свойство разума различать точно значение предметов и поступать точно с его законами. («Прежде, — подумал Голубев, — к слову „смысл“ прибавляли эпитет „здравый“».) Это качество представляет род контроля над нашими суждениями, исправляет ошибки мышления».

Владимир Даль (1882): «Смысл — способность понимания, постижения, разум, способность правильно судить, делать заключения».

Сергей Иванович Ожегов (1949): «Смысл — внутреннее содержание, значение чего-нибудь, постигаемое разумом. То же, что разум».

В Большой Советской Энциклопедии слова «смысл» не оказалось. Ни в первом, ни во втором издании.

Нет и нет — ничего более смыслового не находил Голубев в слове, чем свое собственное определение: смысл есть содержание природы. А тот, кто ближе к ее содержанию, кто не противоречит, а следует этому содержанию, тот близок и к смыслу вечному и неизменному, не подверженному пересмотру каждые пятьдесят (десять?) лет.

Потом уже сквозь сон он слышал: вернулись все участники культпохода — жена, сын, дочь.

Анютка сказала:

— Прекрасное кино! Мне понравилось!

Алешка заметил:

— Прекрасное-то прекрасное, только вот дерьма очень много.

— Сам ты... — взвилась Анютка.

Но мать перебила ее:

— Опять спорить?! Ну надо же... Кино как кино. Досмотрели до конца, не ушли. И даже не собирались уходить.

Слыша этот разговор, Голубев думал о воробьях — милые птички, живут рядом с человеком, а неволи не переносят... Вот и воробьи подевались куда-то. Года два назад, читал Голубев, в Москве обитало триста тысяч воробьев, по одному на каждые тридцать человек, а нынче их, миленьких и таких славных, еще раза в три меньше.

На том день второй и кончился для Голубева.

Следующий день был выходным. Позавтракав, Голубев пришел к выводу, что накануне он не на ту букву шарился по энциклопедиям, он шарился на «С» — смысл, а надо было на «Э» — эпизод.

По «Настольному словарю» Толля эпизод — это отклонение от главного предмета, происшествие, не составляющее целого с главным рассказом.

По Далю эпизод — случай сам по себе посторонний, но по сцеплению связанный с главным происшествием.

В Большой Энциклопедии (1909) понятие «эпизод» отсутствует.

Большая Советская Энциклопедия толкует «эпизод» только как вставную, более или менее значительную часть литературного произведения.

Словарь Ожегова: случай, происшествие. Мелкий, незначительный случай, часть художественного произведения, обладающая относительной самостоятельностью и законченностью.

Почему еще и еще Голубева привлекло это слово? Не потому ли, что «эпизод» то и дело противостоит «смыслу»?

Потому, что он был уверен: предстоящая ему жизнь, если она будет противоборством с проектом Нижне-Обской ГЭС, будет вся состоять из эпизодов.

А в общем-то, не пора ли ему кончать с этакой системой самообразования?

На восьмой этаж, в большой, мрачный кабинет вызвал Голубева не самый большой, а все-таки очень Большой Начальник (БН). Впрочем, кто знает: необязательно самый большой начальник — самый Большой, необязательно главный инженер — самый Главный.

БН с восьмого этажа вызвал Голубева и поговорил с ним о том о сем. Потом конкретно:

— А знаешь, Голубев, я тебе доверяю... Ты к Нижней Оби относишься не очень, а я тебе доверяю. Ты перекрытия рек не любишь, а я тебе доверяю — гидролог может и не любить перекрытия. Имеет право.

— Я к Нижней Оби отношусь хорошо. Я там работал. На Ангальском мысе, — вздохнул Голубев. — Очень красивый створ. Не знаю, есть ли на земле еще такие же.

— Специалист по Ангальскому — хорошо. Это нам нужно. Ты на многих перекрытиях бывал?

— Приходилось.

— Опять хорошо!

И тут БН уже по делу информировал Голубева: он пишет диссертацию под названием «Гидравлика перекрытий крупных водотоков», и ему нужен специалист — гидролог и гидрометрист. Чтобы лучшим образом замерял поток в прорахнах от начала до конца процесса перекрытия.

Голубев вспомнил первого секретаря Ямало-Ненецкого окружкома партии, тот задумал перекрыть Обь неводом. Голубев задумался, БН его подбодрил:

— Условия создам! На какое хочешь перекрытие с лучшей аппаратурой поедешь. Надо будет — дам помощников. В любую страну — пожалуйста! В Австралию! На Аляску — пожалуйста! Найдем возможности!

Голубев сказал:

— Дайте подумать до завтра?

БН ответил:

— Не дам! Что я тебя, умолять, что ли, буду? Что тебе мое доверие — как об стенку горох, что ли? Пять минут — дам. Сиди думай, пять минут!

И БН погрузился в свои бумаги, а Голубев стал думать, уже зная, что согласится. Помогая БН, он против проекта Нижней Оби соберет столько данных, как никто другой.

И диссертацию БН выбрал благородную: гидравлика перекрытий — наука! От БН можно было ждать совершенно другого, например: «Организация работ по перекрытию на великих гидротехнических стройках СССР» или «Рациональное совмещение работ правого и левого берегов на великих стройках» — одни названия приводили бы членов ВАК (Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего образования СССР) в трепет, но тут «гидравлика перекрытий»? Любопытный инженер может взять — честная тема.

Через пять минут Голубев спросил БН:

— Какая, к черту, гидравлика перекрытий? Там же одна только турбулентность, один хаос! — сказал он на всякий случай.

— Ну не скажи, Голубев, не скажи: река и при перекрытии и через проран течет под уклон, течет из верхнего бьефа в нижний — значит, законы движения жидкости действуют!

Этим ответом БН окончательно убедил Голубева: надо согласиться!

БН это понял и улыбнулся (начальственно):

— Ты вот что, Голубев, ты, во-первых, зови меня на ты, а во-вторых, скажи откровенно: на что жалуешься?

— Я? Жалуюсь? Ни на что не жалуюсь...

— Тоже неплохо! Но если на зарплату жалуешься, на командировочные, на своего непосредственного начальника — скажи, не стесняйся! У нас возможности есть самые разные. Другим учреждениям наши возможности и не снятся! А как ты думаешь, Голубев, долго еще будет нашего Никиту заносить?

— Никиту? — не сразу понял Голубев. — Хрущева?

— Ну какого еще? всю жизнь в партии, а болтает и болтает, ровно баба на базаре. Доболтается. Не-ет, Сталин, Молотов, те — никогда. И Косыгин усвоил. Маленков усвоил не очень, так его Никита куда загнал? Директором Усть-Каменогорской ГЭС, вот куда. Маленкова загнал, а сам? Помяни мое слово — доболтается! Справедливость восторжествует. Партия ему не простит. Бог не простит. Народ — не простит. Народ, он как? Он слушает слушает, а потом «ах, в Бога — мать! Пошел ты к... вместе со своими совнархозами! Пошел с двумя обкомами, с двумя облисполкомами в каждой области — нам не двоевластие нужно, нам порядок нужен!»

Голубев заинтересованно спросил:

— Правда, нет: наш главк министерством сделают?

— Обдумываем, — сказал БН, — сильно обдумываем. в настоящее время мно-о-гие министерства под нами ходят, от нас зависят, под наши стройки свои бюджеты строят. Если же мы будем отдельным министерством — можем получить заметно меньше. Обдумываем... К тому же Петр Степанович, то есть Минэнерго, он из наших, из гидротехников, в обиду нас не дает и не даст. Молодой, энергичный — не даст! От атомщиков и от тех отстегивает, нам пристегивает!

— А сколько вы, гидротехники, в атомной энергии понимаете? — поинтересовался Голубев. — Если откровенно — ни хрена.

— Сколько нам платят, столько мы и понимаем.

Потом БН поговорил с Голубевым о реках Советского Союза где какая рыба, где на что, на какую приманку рыба берет, с какой снастью куда надо ехать.

— У меня рыбачья литература — два шкафа! — рассказывал БН. Один до верха, другой до половины. На русском на английском

— Язык знаете?

— Ну зачем? Книжки с рисунками. Все ясно, как в гидравлике, взглянул на формулу, и все ясно, текста не надо. Впрочем, язык надо учить. Может, на Асуан придется ехать, в Египет. Поедем на Асуан?

Тут же БН надавил кнопку, пришла секретарша:

— Я вас слушаю.

— Эллочка, вызови ко мне начальника четвертого. Срочно. И еще. выпиши товарищу Голубеву доступ в секретку.

Голубев смутился:

— В секретный архив?

— Познакомиться. К тому же какие там секреты, если ими никто в жизни не интересуется? Ты первый будешь!

Действительно, ничего секретного в секретке не было. Ни одной государственной тайны. Но работникам секретки это не мешало изнемогать от собственной значительности, у них были утомленные лица, тихие голоса, они боялись хоть каплю возложенной на них ответственности растерять. Они с нетерпением ждали пенсионного возраста, исчисляя чуть ли не каждый день своего стажа и полагая день выхода на пенсию самым счастливым днем своей жизни, жизни не мужчин и не женщин, но работников секретного отдела. Можно поработать в отделе и после выхода на пенсию, но это будет уже не так ответственно, это будет за-ради ветеранства.

Что же они охраняли-то, какие такие тайны? Что они подтверждали? Они еще и еще подтверждали, что:

«кВч» был полновластным, ни в чем не ограниченным владельцем рек Советского Союза, реки были его собственностью, «кВч» мог распоряжаться реками как ему угодно от своего имени, от имени государства, от имени партии, народа, конституции и социализма в целом.

Другим столь же странным секретом было полное отсутствие затрат на эту собственность; приход от проектируемых ГЭС во всех подробностях рассматривался и утверждался в разных инстанциях и комиссиях, но расходов не считал никто, и себестоимость киловатт-часа получалась самая низкая в мире, до смешного малая — десятые доли копейки. Не было стоимости ни воды, ни земли, которую затапливали водохранилища, рабочая сила строителей — самая дешевая в мире (спецконтингент, ээки). Даже стоимость стройматериалов и та была «договорной», таких цен не числилось в прейскурантах. Расходы чуть ли не все сводились к ведомостям зарплаты, количество же проектируемых киловатт-часов неимоверно преувеличивалось, исходило из круглогодичной загрузки ГЭС, тогда как ни одна ГЭС никогда не работала на полную мощность, а на половину установленных мощностей — сколько угодно.

Реки для «кВч» переставали быть природой России, Украины, Латвии, Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока, они становились постановлениями, решениями, программными разработками, протоколами, докладными, проектами и ТЭДами (технико-экономическими докладами).

Доступ в секретку оказался доступом в антимир, и эта антимирность подавляла Голубева. Но что такое антимир? Такого слова в энциклопедиях не было.

Учреждений, подобных «кВч», в СССР множество — оборонные предприятия-учреждения, армия, КГБ, все ЦК, все Верховные и прочие Советы — одним словом, столько, сколько нужно, чтобы вместить весь Советский Союз без остатка, столько их и есть.

Перекрытие Енисея на строительстве имени 50-летия СССР Красноярской ГЭС (проектная мощность 6 миллионов киловатт, самая мощная в мире, годовая выработка 18 миллиардов киловатт-часов) отмечалось всей страной. В городке строителей Дивногорске на путях стоял поезд, в вагонах обитали корреспонденты советских и зарубежных газет, радио и телевидения.

С новенькой, первоклассной, шведского производства гидрометрической аппаратурой прибыл в Дивногорск и Голубев и тоже поселился в поезде, там в каждом вагоне, в каждом купе, в проходах и тамбурах царил энтузиазм. В поезде с «печатью» Голубев — вдруг! — почувствовал себя героем, все до одного представители печати, радио и телевидения проявили особый интерес к гидрологу Голубеву, к его аппаратуре, а знаменитый автор знаменитой «Повести о настоящем человеке» корреспондент «Правды» Борис Полевой так и сказал ему с завистью:

— Вот кем я хотел бы быть сегодня — гидрологом! Это что у вас за штука?

— Гидрометрическая вертушка.

— Вертушка? Уж очень простенькое название! Назовите гидролаг!

— Лаг — это не то...

— Назовите, и будет то... Впрочем, все самое значительное называется очень просто, — вздохнул лохматый и доброжелательный Полевой. — И напрасно: достойные вещи нужно называть достойными именами. — Полевой вынул из кармана записную книжку и что-то в нее записал при молчаливом, благоговейном внимании других, не столь знаменитых представителей печати.

Две толпы — одна начальственная, руководство Министерства энергетики, руководство Красноярского края, руководство строящейся Красноярской ГЭС, а также оркестр — заняли левобережную дамбу, а по дамбе правого берега цепочкой двигались самосвалы, разворачивались, поднимали кузов и ссыпали в проран грунт. (Это был не грунт как таковой, это была каменная наброска)

Чуть в стороне на специально подготовленной, выровненной и, кажется, даже блестящей площадке стоял и ждал своего мгновения давно загруженный

и самый ответственный самосвал: его груз, последняя порция наброски, перекроет Енисей окончательно раз и навсегда.

Проран на глазах людей становился все уже, уже, Енисей все с большей скоростью устремлялся в проран, а Голубев стоял на борту мощного катера, выжидая момент: на катере он должен был подняться с нижнего бьефа в верхний, подняться на пределе — пока еще позволяла глубина и скорость течения потока, — но и никак не раньше этого критического момента.

Катер с Голубевым, с вертушкой с правого борта, с подводными фотоаппаратами с кормы и с носа — это было последнее судно, которое пересечет створ плотины обычным порядком, затем судоходство по верхнему Енисею прервется, а восстановится только через несколько лет, когда будет построена плотина и судоподъемник высотой в сто три метра (совпадение: сто три метра — высота Ангальского мыса!).

Голубев смотрел на проран, на бешеный поток воды в нем, осыпавший брызгами и левую и правую дамбы, слушал рев потока, заглушающего рев самосвалов, и что-то все сильнее и сильнее бушевало в нем самом, все сильнее разгорался азарт, желание пройти через проран на пределе, пройти так, чтобы через несколько минут поток уже был перекрыт окончательно...

Но вот Голубев подал команду «полный вперед», катер, дрожа всем корпусом, пошел из нижнего в верхний бьеф, двигатель его заглушил остальные звуки и ревы. Катер стал предметом внимания всех, кто здесь был: поднимется? не поднимется?

Катер поднялся. Толпа на левой дамбе заплодировала (Голубев заметил в толпе только одно лицо — сияющее лицо начальника строительства Красноярской ГЭС Андрея Ефимовича Бочкина), катер развернулся в неподвижном уже пространстве верхнего бьефа, причалил к дамбе, и тут на борт вскочил Борис Полевой, стал обнимать Голубева, и вместе они смотрели, как к прорану подпятился надраенный до блеска самый ответственный самосвал и ссыпал свой груз, и течение в проране прекратилось...

В тот же необычайный момент над прораном пролетел на вертолете корреспондент «Известий» Леонид Шинкарев и сбросил какие-то листовки, а кино- и фотоаппаратами это было запечатлено, и Полевой, обезумев, схватился за голову: как же это он не догадался ни проплыть на катере, ни пролететь на вертолете? Опять «Известия» обошли «Правду»!

А между прочим, на вертолете Шинкарева была и киноаппаратура Голубева, оттуда, с высоты, тоже фиксировался процесс перекрытия в соответствии с программой диссертационной работы «Гидравлика перекрытий крупных водотоков».

Когда же на борт катера были подняты и вертушки и фотоаппараты, когда толпа на левой и правой дамбах стала рассеиваться, Голубев заметил: на катере-то под клотиком — красный флаг! Кто его поднял на мачту? Когда?

Но? Куда от него денешься, от энтузиазма? Не так-то просто! Студенты вузы бросают, приезжают на стройку, зимой приезжают в землянки и палатки из Москвы, Ленинграда, Ташкента и Еревана, мерзнут, голодают, работают двенадцать часов в сутки и распевают песни в уверенности, что это и есть самые счастливые годы их жизни — годы покорения великой реки Енисей.

И когда проходила пресс-конференция и на бесконечные жадные вопросы советских и иностранных корреспондентов Андрей Ефимович Бочкин (а это уже десятое море он создавал в своей жизни, он только что перекрыл Ангару, и ходят слухи — будет перекрывать Енисей еще раз выше по течению, в Саянах), — когда безудержный Бочкин заявлял: «Перекрытие состоится двадцать пятого марта — самая низкая вода и первый в мире опыт зимнего перекрытия!.. Самая большая электростанция в мире! Втрое мощней самой мощной американской!.. Это лишь первая ступень енисейского каскада!.. Самой большой сенсацией будет отсутствие сенсаций. Перекроем — и все тут!» — когда Андрей Ефимович говорил так, голова кружилась у всех без исключения. У Голубева тоже

И действительно — перекрыли за десять часов вместо трех суток по графику. Великое было ликование. Голубев, понимая, что это не для него, ликовал тоже

Вернувшись в Москву, Голубев передал БН данные гидрометрических замеров на перекрытии Енисея. Загранаппаратура сработала безупречно, особую ценность представляли снимки в глубине потока — они фиксировали струи в турбулентном движении на разных стадиях перекрытия.

Фиксация была четкой и наглядной, потому что с верхнего бьефа помощники Голубева подкрашивали поток синей и черной красками, а электрические лампы пронизывали поток в нескольких поперечных сечениях, и, таким образом, подкрашенная турбулентность выдала свои тайны.

БН был очень доволен, рассматривая снимки, он торжествовал, торжествуя, спрашивал Голубева:

— На что жалуешься?

— Не жалуюсь.

— Напрасно, напрасно! Этакие снимочки заслуживают!

Был короткий коридорный разговор и с экс-чемпионом Васильевым. Васильев озабоченно оглядел Голубева.

— Ну и везет же тебе, Голубев! Видел, видел в газете фото: ты на катере идешь в проран. А ведь никакой ты не энтузиаст, не передовик, не победитель соцсоревнования! Скорее наоборот. Слепое везение!

— Что — наоборот? — поинтересовался Голубев.

— В Голубеве-то? В Голубеве все наоборот! — подтвердил Васильев.

Эпизодами нескольких ближайших месяцев были и статьи, опубликованные «Литературкой» и другими газетами под заголовками «За или против советский народ?», «Леса, земли и воды», «Дело народное, а не ведомственное».

Автор статей — Голубев.

Тема — возражения по проекту Нижне-Обской ГЭС. Оттепель наступила, хрущевская оттепель, пресса нет-нет да позволяла себе свободолобие. Зато следующему эпизоду из того же ряда Голубев даже и названия не мог придумать.

В те же дни Голубева вызвали в отдел кадров, вручили повестку:

— Явитесь!

— Куда? — не понял Голубев.

— Тут указано — куда. Во сколько — указано. Рекомендуем не опаздывать.

Был понедельник, а в среду в семнадцать ноль-ноль Голубев должен был явиться по незнакомому адресу. Он явился.

Невыразительное, казарменного вида здание без вывески, в тихом переулке. Переулок не именной, а номерной, дом без номера, однако же нашелся довольно легко.

При входе повестку у Голубева отобрал вахтер в военной форме, но без погон, другой — тоже в военной, тоже без погон — тихо сказал: «Пройдемте...» — и они поднялись на четвертый этаж и пошли по длинному, сумрачному и безлюдному коридору мимо одинаковых пронумерованных дверей. Вошли в дверь № 436, сопровождающий исчез, а за столом посредине комнаты приподнялся человек:

— Проходите. Садитесь.

Голубев прошел, сел.

— Чайку? Кофейку?

— Спасибо... — ответил Голубев, но через другую дверь вошла аккуратная женщина средних лет, в белом передничке и с тем выражением лица, которое было хорошо знакомо Голубеву по секретному отделу «кВч». Она поставила на стол два стакана чая, вазочки с сахаром и печеньем.

— Мы оторвали вас, товарищ Голубев, но дело требует, — сказал Некто. — Просьба: изложите, пожалуйста, вашу точку зрения на проект Нижне-Обской ГЭС. Мы читали ваши статьи. Статьи нас заинтересовали.

— Могу, — согласился Голубев. — Могу, но хотел бы знать: с кем имею беседу? В каком учреждении нахожусь?

— Начальник управления Государственного контроля Томилин. Томилин Иван Николаевич. И так, слушаю.

«А не настал ли и твой черед, товарищ Голубев? — подумал Голубев и вложил свою энергию в спокойствие, в рассудительность. — Все-таки время не то, не сталинское...»

Как можно точнее, как можно убедительнее он изложил свою позицию по проекту Нижне-Обской ГЭС, попытался выйти и дальше, к общей проблеме строительства ГЭС на равнинных реках. Собеседник его остановил:

— В другой раз. Сегодня — только проект Нижней Оби. Вы хорошо знаете обский север, Ангальский мыс, вы предвидите последствия строительства лучше, чем кто-то другой. Какие это могут быть последствия?

Перед Голубевым был специалист. Ну а если перед ним еще и единомышленник? Не хотел бы он иметь Томилина в единомышленниках, но если так?

Товарищ Томилин слушал товарища Голубева неподвижно, внимательно и ничего не записывая. «Где-то фиксируется! — догадался Голубев. — Нужно быть очень точным!»

Томилин сделал знак рукой — он что-то хочет сказать или спросить. Он спросил:

— Еще недавно все, что вы говорили, можно было закончить так: «Вредительство». Согласны со мной?

Голубев растерялся:

— Квалифицировать абсурд юридически — дело следствия и прокуратуры. Я говорю как инженер. Инженер-гидролог.

Томилин пожал плечами, подумал.

— А не пришло ли вам в голову, товарищ Голубев, что вы в этом здании можете остаться надолго?

— Ну как же, как же — приходило, — подтвердил Голубев. — Поэтому я, когда пошел к вам, я многим, многим знакомым оставил ваш адрес.

— Я пошутил, товарищ Голубев! Неужели не поняли?

— И я пошутил. Разве непонятно: шутка за шутку?

Товарищ Томилин спросил о Большом Начальнике:

— Кажется, вы хорошо с ним сотрудничаете?

— Сотрудничаем... — подтвердил Голубев и подумал: «Не по этой ли линии пойдет разговор?»

Но нет, Томилин спросил:

— Как ваш сын Алеша? По-прежнему физикой занимается?

Тут Голубев похолодел:

— Какое отношение мой сын имеет к проекту Нижней Оби?

— К слову пришлось... А на перекрытии Красноярской ГЭС вы себя показали. Сами-то довольны?

— Чем?

— Тем, как себя показали?

— Ведь Обь, а не Енисей предмет нашего разговора?

— Конечно, Обь... Конечно, Обь. Конечно, она...

Томилин встал, Голубев встал. Томилин протянул руку, Голубев руку пожал. Томилин сказал:

— Будет необходимость, мы вас еще пригласим. Уж вы пожалуйста.

Вошел тот же человек, который сопровождал Голубева от вахты до комнаты № 436, и сопроводил его в обратном направлении — к вахте.

Выйдя на улицу, Голубев оглянулся, еще осмотрел дом, в котором он только что был. Дом показался ему еще более безликим, чем час с четвертью тому назад, — грязновато-желтый, плоский, с квадратными зарешеченными окнами, с нелепым козырьком над входной дверью... Ни одного карниза, ни одного выступа, ни одной ступени у входа, ни одной травинки по длине фасада.

Была осень, судя по темным пятнышкам на асфальте, в минувший час начинался дождь, но дождь не состоялся, а ветерок был и плоскость серого неба тоже была.

И весь переулоч архитектурно был исполнен под бараки Пятьсот первой стройки.

С безликой тайной переулков только и гармонировал, с тайной, которая никогда не будет разгадана, потому что у нее не было ни признаков, ни чертаний, только плоскости размером побольше-поменьше.

Ничего не понял Голубев из разговора в комнате № 436, совершенно ничего — в каком все-таки учреждении он происходил, на какой предмет? С какой целью?

Пустоту ощутил в себе Голубев безразмерную, ни два ни полтора, беспространственную, такой пустоты в природе нет, не может быть, зато в человеке быть она, оказывается, может. Единственно что Голубев знал — все происходит от «кВч»: повестку-то он получил в родном отделе кадров.

Надо было наплевать на повестку, не ходить к товарищу Томилину, не отвечать на его вопросы... А дисциплинка? Повестка, и нужно идти. Что товарищу Томилину от Голубева товарища нужно? Показать, что Голубев «в поле зрения»? С того момента, как Голубев выступил в печати против проекта Нижней Оби, он и без Томилины ничуть в этом не сомневался.

Вариант: Томилину представляет интересы нефтяников? Тех, кто молча против проекта Нижней Оби? Вдруг? Нижне-Обская затопит громадные месторождения. Вариант опять оказался неубедительным: повестку-то Голубеву вручили ведь не где-нибудь — в отделе кадров «кВч»...

А при чем Алеша?.. Томилину и о нем знает: физик, подает большие надежды? Может быть, и об Анютке Томилину имеет сведения?

Между тем события развивались своим чередом от эпизода к эпизоду.

Институт географии АН СССР в другом переулке: Старомонетный, 29. Переулок дряхлый, но дома по обеим сторонам пронумерованы четко.

Институт давно — раньше Голубева — занимается проблемой Нижней Оби, его экспедиции изучили зону будущего водохранилища, теперь известно, какая в зоне растительность, какие леса, торф какой, болота какие. Вывод ясен, ясен как день: затапливаются богатейшие земли, 132 тысячи квадратных километров (площадь Чехословакии), еще столько же подтапливается, а это нелзя, это — грандиозное преступление!

Вывод ясен, вывод очевиден, но Институт географии его не делает, от него уходит. Рекомендации института: еще и еще нужны исследования, еще нужно провести экспедиции, получить заключения климатологов, почвоведов, ботаников, лесников, ихтиологов, экономистов, транспортников, агрономов, биологов, медиков, геологов. Ну а географы — что они? Они — широкого, а не узкого профиля, вот, оказывается, в чем препятствие. Директор института академик Иннокентий Петрович Герасимов (в просторечии Кеша), человек очень знающий, бойцовскими качествами отнюдь не обладает, зато его институт на хорошем, на отличном счету. Для института Кеша сделал очень много, старался десятилетиями.

Все это Голубев знал, учитывал, верил же он в нечто другое: где-где, но в Институте географии не может быть места бесприродности, антиприродности!

С таким вот убеждением входил Голубев в здание института, потрепанное временем, со всех сторон облезлое и все-таки географическое.

Входил на совещание по проблеме Нижней Оби, очень ответственное, чуть ли не решающее!

Небольшой конференц-зал был заполнен до отказа, на кафедре уже стоял докладчик — Чиликин, один из самых ответственных руководителей проекта Нижне-Обской ГЭС. Он стоял молча, совершенно лысый, круглоголовый Чиликин, он кого-то ждал. Он ждал главного обвиняемого — Голубева Николая Петровича.

Доклад Чиликина — «Комплексное использование бассейна Нижней Оби и строительство Нижне-Обской ГЭС», но ясно же: ни о какой комплексности речи нет, не может быть, речь пойдет исключительно о ГЭС, только о ней.

Все, что мог сказать Чиликин, слушатели давно знали: лес в зоне затопления будет сведен лесными комбайнами, будет затоплен на дне

водохранилища, а извлекаться оттуда будет по мере запросов народного хозяйства и Госплана (экономия: не нужны ни перевалочные, ни складские базы); нефть, если действительно будут обнаружены ее промышленные запасы, будет добываться с намывных островов с помощью новейшего бурового оборудования («На итальянской выставке мы видели шагающие буровые агрегаты. Применим такие же»). О торфе: «Мы создадим плавучий агрегат, который будет добывать торф, брикетировать и транспортировать на берег». О рыбе: «Рыбы будет в три с половиной раза больше (Голубев вспомнил «золотую рыбку»), транспортные условия будут несравненно лучше (там, где нынче мелко, будет глубоко), озерный и морской флот выгоднее речного».

— Сколько миллиардов потребуется на замену одного флота другим? — спросил кто-то.

Чиликин ответил:

— Прошу не перебивать! На берегах водохранилища возникнут новые, вполне современные, вполне благоустроенные — по типу норвежских и шведских — города.

«Возникнет», «возникнут», «возникают»...

И снова и снова:

— Мы летали на самолете над будущим водохранилищем, и нам рисовалась картина современных социалистических городов на берегах рукотворного моря...

Тут уж и Голубев перебил:

— Картина светлого будущего!

— Конкретного светлого будущего! — подтвердил Чиликин.

Голубев опять не сдержался:

— Товарищ Чиликин, а что вы понимаете под светлым будущим? Бараки Пятьсот первой стройки?

Аудитория затихла, Чиликин — хотя лысина у него заметно покраснела — очень спокойно обратился к Кеше Герасимову:

— Иннокентий Петрович, убедительно прошу: наведите порядок! Я не узнаю ваш прославленный Институт географии!

По водохранилищу у Голубева были убийственные данные.

Проект водохранилища разрабатывался в Ленинграде (с глаз подальше), а четверо ленинградских инженеров присылали ему свои материалы, вот он и был в курсе дела. Правда, когда однажды Голубев на эти материалы сослался в печати, те четверо прислали письмо: «Предатель!» — и в печати же от Голубева отмежевались. И все-таки... Все-таки этими материалами Голубев готов был воспользоваться и сегодня.

Но... Наивно было думать, будто Чиликин ограничится абсурдными, но исключительно техническими доводами. В запасе у него были доводы политические, без этого он в Институт географии не пришел бы.

Голубев об этом доводе догадывался, аудитория этого довода ждала, с особенным нетерпением ждал их Кеша — умное и сдержанное Кешино лицо это ожидание выдавало.

Волей, может быть, и неволей Чиликину пришлось открыть и еще один, очень серьезный, технический довод: Нижне-Обская ГЭС нужна была не столько сама по себе, сколько для того, чтобы закольцевать сибирское энергетическое кольцо с кольцом восточноевропейским, с Уралом прежде всего, чтобы Обь (а в будущем и Енисей — Красноярская ГЭС) сомкнулась с Камой и Волгой. А если уж Чиликин сказал об этом вслух, значит, он действительно имеет про запас сильную политику, и Кеша нервничал, а Голубев сожалел о том, что ему оказана честь сидеть в первом ряду рядом с Кешей — Кешино нетерпение передавалось и ему. Чиликин же не торопился.

— Благоприятные экономические условия ставят Нижне-Обскую ГЭС в один ряд с лучшими гидростанциями Сибири... В экспертизах по ГЭС участвовало более ста крупнейших специалистов по всем без исключения отраслям народного хозяйства... Нет никаких оснований для противопоставления позиций Института географии и наших проектировщиков. По сути дела — мы союзники!

Но вот наконец-то, наконец-то:

— Что необходимо отметить в заключение нашей плодотворной дискуссии? Необходимо отметить, что в нашей печати появляются лживые, дезорганизующие, дезориентирующие советское общество публикации против строительства Нижне-Обской ГЭС! И это в то время как самой историей ей предназначено стать великой всенародной стройкой, стать вехой научно-технического прогресса! Я не сомневаюсь — всем ясно, о ком персонально я говорю, я говорю о товарище Голубеве, он здесь присутствует, он пытается бросать реплики с провокационной целью. Я должен сказать, высокоуважаемый Иннокентий Петрович, — во вверенном вам институте подобные провокации не встречают должного отпора, хотя бы и лично с вашей стороны!

Голубев оглянулся в Кешину сторону — Кеша не было рядом, место его было пусто.

— У всех у нас, — это опять Чиликин, — перед глазами исторический документ: «Программа партии»; к тысяча девятьсот восьмидесятому году должна быть осуществлена материальная база коммунистического общества, программой предусмотрены все показатели материального обеспечения населения, в программе черным по белому записано: «Осуществить строительство Нижне-Обской ГЭС». Может быть, товарищ Голубев даст объяснения, почему он против программы партии? Может быть, он найдет в себе мужество честно признать свои глубокие заблуждения?

Тихо стало в зале, тишина воцарилась полная, глухая ко всему, кроме самой себя.

Голубев торжествовал: попался Чиликин! Влип Чиликин! Осрамился Чиликин! Подорвал авторитет партии Чиликин!

Не так уж старательно, а все-таки Голубев готовился к нынешней «дискуссии» и на всякий случай выписал несколько цифр, несколько крылатых фраз на латинском — вдруг пригодятся.

Крылатые выражения: «Natura naturans, natura naturata» («Природа порождающая, природа порожденная»), «Natura non nisi parendo vinsitur» («Природу побеждают, только повинаясь ей»), «Natura non facit saltus» («Природа не делает скачков»); но крылатая латынь не пошла в ход, в ход пошла выписка, сделанная Голубевым в секретке «КВч», он как чувствовал: пригодится! И вот пригодилось: еще за год до опубликования «Программы партии» Чиликин рассылал письма в подчиненные ему и смежные учреждения — в Ленинград, Киев, Харьков, — в которых объявлял о проекте Нижне-Обской ГЭС: гигант принесет проектировщикам славу и заработки! Он, Чиликин, уже послал в ЦК докладную, уже имеет в ЦК поддержку, и в «Программу партии» этот проект будет обязательно включен! И что же из этого следовало? А вот что: письмо Чиликина слово в слово совпало с тем пунктом «Программы...», в котором речь шла о проекте Нижне-Обской ГЭС.

Прихватив «Правду» с текстом «Программы партии», Голубев взбежал на кафедру, решительно потеснил Чиликина и с пафосом прочел выдержку из «Правды» и тут же — выдержку из инструктивного письма Чиликина. Прочитал и обратился к аудитории:

— Что значит это дословное совпадение? — Переждал тишину, к тишине прислушался. Звучало что-то на мотив «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка...». — Это значит, — разъярил Голубев, — что наша партия была обманута! Грубо и беспардонно! Она обманута человеком по фамилии Чиликин, членом партии с одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года! (Кажется так. Не так — пусть Чиликин поправляет.) Это он, Чиликин, за год до опубликования «Программы партии» предложил внести в нее порочный пункт по Нижней Оби. Спрашивается, из каких интересов он это сделал? Во всяком случае, не из партийных. Из каких же? Из антипартийных! Если проект Нижней Оби будет осуществлен, страна понесет неисчислимый материальный ущерб, колоссальные затраты. Будут и потери моральные, ибо Чиликин поколеблет авторитет партии в глазах советского народа! Но это ему не удастся! Не позволим! Мы заслушали доклад товарища Чиликина, он без конца говорит о перспективах, и естественно было бы услышать: сколько миллионов этот проект даст вашей проектной организации? Молчите? Повторяю: мы имеем дело с провокацией по отношению к партии! В эту

провокацию товарищу Чиликину желательно вовлечь и другие организации, только этим можно объяснить появление его в стенах такого заслуженного научного центра, как Институт географии Академии наук Советского Союза! Только этим, ничем другим!

— Это — да! — воскликнул кто-то в задних рядах.

А рядом с Голубевым снова появился улыбчивый Кеша. Кеша двинулся к кафедре и тем дал понять Голубеву: хватит, хватит с тебя, не зарывайся, друг мой!..

Кеша поднялся на кафедру, Голубев с кафедры сошел. Кеша сказал:

— Товарищи! Вопрос очень серьезный в научном отношении. Вопрос получил и политическую окраску. Таким образом, он и решаться должен не у нас, а в организации политической, то есть в Цека. Что же касается нашего института, его точки зрения изложены в наших многочисленных «Трудах», которые, без сомнения, приобретут в данной ситуации особое значение. Завершая дискуссию, считаю необходимым отметить ее продуктивность и злободневность. Эта дискуссия внесет весомый вклад в окончательное решение проблемы. Я должен поблагодарить всех участников данной дискуссии, которые проявили столь активный интерес к этой действительно грандиозной проблеме не только нашего народного хозяйства, но и нашей политики. До свидания! Всего доброго, товарищи!

И Кеша пожал руку Чиликину и хорошо ему улыбнулся, а Чиликин стал торопливо собирать с кафедры и со столика бумаги и бумажки, укладывать их в огромный желтый портфель. Собирая и укладывая, Чиликин сказал Голубеву:

— Нет, вы только подумайте, товарищ Голубев, вы подумайте, какой вы провокатор! А?! Вот она — наша духовная-то, наша русская интеллигенция! Мать вашу...

Кеша, при этом присутствовавший, тяжело вздохнул, а когда Чиликин ушел, поблагодарил Голубева:

— Спасибо, спасибо! Вы придали проблеме необходимую остроту. А то у нас как? А то у нас так: проблема острая, неотложная, грандиозная, а двигается — как? Ни шатко ни валко — вот как!

На совещании присутствовали чины разных министерств, корреспонденты разных газет тоже были, и вот остороженькие-остороженькие, но в газетах появились сообщения, одно из них под заголовком «Добросовестность — во главу угла!». Автор, разъяснив читателям, что советское общество процветает только благодаря добросовестному отношению всех его граждан к выполнению своих обязанностей, в качестве негативного примера привел совершенно невероятный факт: в такой документ, как «Программа партии», проник сомнительный тезис, который, будь он осуществлен, мог бы нанести вред народному хозяйству.

Что за тезис, в чем состоит его возможный вред — об этом ни слова, но беспрецедентность столь критического замечания в адрес столь значительного документа обратила на себя внимание, и читатели быстренько сообразили, о чем речь. Знающие увидели в этом признаки расхождения мнений в верхах, ничего не знающие просветлели душой: вот она, оттепель! Да разве при Хозяине кто-нибудь мог решиться? Нет-нет, что ни говорите — прав Илья Эренбург, который так и назвал свою повесть — «Оттепель», а в последующих мемуарах «Люди, годы, жизнь» провел ту же прогрессивную мысль: наше общество и государство меняются к лучшему. Заметно меняются!

Еще недавно Голубев подумывал: а не бросить ли к черту «кВч», уйти в дворники? Диссиденты (только-только появлялось это слово в обиходе), он слышал, уходят в дворники, а он чем не диссидент? Не завербоваться ли в Заполярье на какую-нибудь гидрометстанцию? А что, если — на Ангалский мыс?

Но ведь и «кВч» оставить было нельзя, если бы оставил — разве мог бы он выступить в Институте географии АН СССР? Нужно знать дело изнутри, из секретки. Кроме того, в отделе гидрологии сидя, можно спасти кое-какие реки. Уже одно то, что он реки не предавал, что давал объективные оценки

их энергетических возможностей, было прогрессом из прогрессов: для всех его предшественников все реки самим Богом и природой были созданы для ГЭС, только для них!

И вот как случилось: вместо того чтобы стать дворником, Голубев стал героем дня, не очень, а все-таки известным. Оказалось, что и он был не прочь признать себя таковым.

Звонки-то были, какие были звонки:

— Здорово вы его! Теперь он поймет что к чему!

(Вы — это Голубев, он — это Чиликин.)

— Ну надо же, как ловко!

— Надо было пригрозить: дело должно быть рассмотрено Комитетом партийного контроля!

— Имейте в виду: у Чиликина связи, да, связи!

— Очевидный признак изменения всей нашей системы!

— ...очевидное и невероятное...

— ...войдете в историю...

— ...сволочь ты, Голубев!

Было и беспокойство: не безупречный прием пустил ты в ход, Голубев, далеко не безупречный!

Было и оправдание: использовать оружие противника против противника? Во веки веков не считалось ззорным!

Дома Алешка так и сказал:

— Ты что, отец? В историю хочешь войти? Больно-то нужно!..

И Татьяна отозвалась:

— У нас в строительном тресте говорят: в историю легче войти, чем из истории выйти.

Из Тюмени от нефтяников пришла телеграмма: «Уважаемый товарищ Голубев, держитесь, мы вас поддержим».

Голубев печатал свои статьи в «Литгазете»; и. о. главного редактора Косолапов, рассказывали, одной рукой подписывая номер в печать, другой хватал себя за горло: «Повесят! Вот так!»

Голубев как мог Косолапова воодушевлял, говорил ему:

— Валерий Алексеевич, а почта читателей?! Сотни, тысячи писем! Поддержка-то какая! Общественная! Нравственная!

— Лучше и не говорите и не поминайте! Мне эта поддержка знаете куда? Мне эта поддержка — вот сюда! — И. о. главного редактора усердно хлопал себя опять же по шее. Шея была у него основательная, розовая, и жалобная тоже.

Так или иначе, а «Литгазета» Голубева печатала — значит? Значит, кто-то откуда-то давал если уж не указания, так намеки: не бойся, Косолапов! И то сказать: у гидротехников обязательно должны были быть противники, причем из того же комплекса — из топливно-энергетического. Нефтяники это были, они отстаивали разведанные месторождения газа-нефти в зоне затопления Нижне-Обской ГЭС. Голубев нефтяников в глаза не видел, только и было у него вещественных доказательств что телеграмма из Тюмени — «держитесь, поддержим». Но он знал: более жестких оппонентов, чем родственники, чем деятели одного ведомства или комплекса, чем функционеры одной партии, не бывает, а теперь случилось так, что он, Голубев, оказался в центре схватки, происходившей где-то в верхах, в верхах, о которых он и не знал ничего, действуя сам по себе.

Что же касалось почты, многочисленных писем, в том числе и коллективных — учреждения, институты, колхозы, совхозы, заводы выражали Голубеву горячую поддержку, это его воодушевляло, — но и другого рода письма тоже были: ты чего там, писака, расписался-то насчет Оби? Тебе какие-то обские хорошо платят, да? Дачку тебе построили, да? А мы не платим, нам нечем, так до нас тебе и дела нет, да? Приезжай, падла, к нам, посмотри, что у нас-то на Новгородчине (на Вологодчине, Харьковщине, на Енисее, Лене, Колыме) делается! Да?! Знаем мы вас таких...!

Ну а сотрудники «КВч», те с Голубевым больше не здоровались, и не раз и не два он от них, от экс-чемпиона Васильева, например, слышал слово, уже

потерявшее (кажется?) свое недавнее значение: «вредитель», причем без вопросительного, а с двумя, с тремя восклицательными знаками.

Чувство возникшего было торжества угасало быстро. Нет, в природе не так, там победителей нет и никогда не было, хотя бы из логики самосохранения природы. Так было вплоть до появления цивилизованного человека — этот всех победил в конце-то концов. И природу тоже. В конце концов.

Ну а потом было заседание Государственной экспертной комиссии — Совмин, Госплан, министерства, Академия наук. Голубев столь начальственного собрания не видывал.

Были здесь и его союзники, этих он видел тоже в первый раз, — нефтяники-разведчики, были строители, эксплуатационники, экономисты, едва ли не весь топливно-энергетический комплекс. Эти ребята сделали так: до начала заседания на всех официальных местах зала (восемьдесят четыре стула) разложили номер «Литгазеты» с последней статьей Голубева, написанной уже после «дискуссии» в Институте географии.

Голубев сидел в уголке, тихо сидел, не высовывался — он свое дело сделал, чего уж там... Ему интересно было — очень! — кто и как вопрос о судьбе 132 тысяч квадратных километров решает — там. Наверху где-то. На самом-самом. Конечно, он понял, что Экспертная комиссия чье-то мнение уже знает, иначе первое слово опять было бы предоставлено Чиликину, но тут по-другому: трое экспертов заслушивалось, хотя Чиликин присутствовал (на Голубева не смотрел).

Академик Кеша присутствовал тоже — на Голубева смотрел и улыбался. Нефтяники не так уж откровенно, а все-таки улыбались тоже. Высокое начальство Госплана и Совмина как будто бы вообще никого не видело, только думало и думало.

Заседание продолжалось три часа двадцать минут. Решение экспертизы «В проекте Нижне-Обской ГЭС слабо разработаны предложения, связанные со сводкой леса и добычей нефти и газа в зоне затопления... Только после выполнения указаний экспертизы возможно будет установить экономическую целесообразность и сроки строительства Нижне-Обской ГЭС... При решении указанных вопросов не может быть допущен ведомственный подход к делу».

Сначала Голубев был потрясен: значит, проект не закрыт? не отменен?

Нефтяники ему объяснили: закрыт и отменен, спасены 132 тысячи квадратных километров лесов и тундры и торфяники спасены — на торфяниках можно построить теплостанции в три с половиной раза более мощные, чем Нижне-Обская ГЭС, торфа хватит на пятьсот лет! У Голубева подобных цифр было навалом, его другое беспокоило: строительство отменено или отложено?

— Будь уверен, Голубев, — подтвердили нефтяники, — отмена. Раз и навсегда. Ты только представь себе: кому же будет охота возвращаться к проекту, если он уже скомпрометирован? Ты профессор или нет?

— Нет, — ответил Голубев. — Я — доцент!

— Ну-ну! Вот и видать сразу же, что ты не профессор, а доцент!

БН Голубева вызвал и, с некоторым почтением поглядев на него, тоже высказался:

— Не-ет, не зря я тебя в нашем учреждении держал! Не зря! Соображаю в людях! Никто нас теперь не упрекнет, что вот, мол, в вашей конторе и голоса одного не нашлось против! А ведь не может быть, чтобы не нашлось. Ни одного? Значит, подавляли! Значит, угнетали! Административно воздействовали! А теперь я, теперь мы скажем: ничего подобного, у нас — свобода мнений! Вот что значит глядеть в самый корень! Ты, Голубев, сам-то понимаешь, что все это значит? Ну ладно, вот что я тебе скажу: поедем-ка на Асуан? В Египет? На перекрытие Нила? Представляешь — в моей работе будет река Нил! Нил — это же не баран чихнул! Никита в Асуан поедет и мы с тобой

тоже. Посмотришь Никиту вблизи — шепутной мужик! От людей не скрывается, позволяет поглядеть на себя на живого.

Голубев не придал этому приглашению никакого значения, но впервые обратил внимание на внешность БН — каков человек?

Человек оказался крупным, краснолицым, с хриповатым, но в то же время громким голосом, спереди лысоват, сзади лохмат, глаза голубые, бесстрашные, но осторожные.

Это — внешность. Другие черты: работоспособность поразительная, самоуверенность еще больше, и что оказалось для Голубева неожиданным — БН не только собаку съел в практике своего дела, но и теоретически был подкован. Гидравлику знал, формулы помнил, о гидравликах-теоретиках говорил, будто только вчера с ними запросто общался, давал задания — что и как им делать, и достоверно знал, кто из них поумнее, кто так себе. Павловский — это да! Чертоусов — ничего себе. Агроскин — табличник. (Голубев курс гидравлики слушал у Агроскина, с уважением к нему относился, но что правда, то правда: ученым И. И. Агроскин был не ахти каким, зато расчетные таблицы составлял виртуозно.)

И о политике БН в тот раз поговорил — «мы», и только в категорической форме. мы Сталина вынесли из Мавзолея (это кто бы еще мог?! никто не мог!), мы Ленина в Мавзолее оставили на веки веков! — свято место не должно быть пусто! А вот тебе наш прогноз: уровень Каспийского моря будет понижаться — ну и что? А мы Волгу в Азовское море повернем, и все дела!

Голубев ехал в метро, давка. Притиснутый к задней торцовой стенке вагона, через два стекла он отчетливо видел содержание вагона соседнего: тоже помятые мужчины и женщины с однообразно усталыми, усталозабоченными лицами. Не совсем сельди в бочке и не совсем не сельди.

Вдруг увидел он — будто бы?.. женское лицо в возрасте, но с выражением уже минувшей, а все-таки молодости, с живым и выразительным воспоминанием о молодости, душевного к молодости возвращения. Лицо голубоглазое, в меру продолговатое, с прической чуть седых волос. Седина была украшением.

И не один он был внимателен: и в заднем вагоне и отсюда через два стекла в это лицо пристально смотрели несколько мужчин и одна молодая женщина, все как будто бы пытались угадать — кто? Но та, на которую смотрели, взглядов не замечала, не замечала естественно, просто, без нарочитости, с которой красивые женщины игнорируют устремленные на них взгляды (не очень красивые тоже).

Память человека о себе прошлом, давнем в давнем, редко отражается на лицах людей, но тут эта память была.

Сам Голубев этим свойством не отличался, и не нужно ему было: он очень менялся с возрастом.

Ему пришло в голову: когда-то он эту женщину встречал... Когда? Где? Была остановка поезда, сутолока, он вслух воскликнул: «Ася! Неужели?! Не может быть!» — и стал шарить глазами через два стекла. Той женщины уже не было, осталось только ее изображение на вагонных стеклах.

И верно: быть не могло. И он прогнал от себя всякие по этому поводу воспоминания, если уж не совсем прогнал, так отложил их на будущее, на когда-нибудь.

Голубев давно жил проблемой — Нижняя Обь! Нижняя Обь и ничего больше! Вот уж когда явится что-то другое, ну тогда другое дело...

Глава четвертая

НИЛ — СВЯЩЕННАЯ РЕКА

Еще и ста лет не прошло с тех пор, как путешественники достигли истоков Нила. Ни одна река не вошла в историю человечества столь же серьезно, столь же значительно и так же надолго, но откуда Нил истекает, из каких

земель, широт и долгот — люди не знали тысячелетиями. «Поиски истоков Нила» сделалось поговоркой.

Карта Нила была составлена Клавдием Птолемеем (ок. 90 — ок. 160), и в течение веков никто эту карту не мог ни отвергнуть, ни подтвердить.

Истекая из-под экватора, Нил пересекает тропические леса, непроходимые травяные джунгли (в которых он теряет две трети своего стока), горные хребты, озера и пустыни — в пустынях на тысячах километров он не имеет ни одного притока. Длина Нила нынче определяется в 6671 километр — на земном шаре нет реки длиннее. Нил перекрывают пороги (катаракты) и делят его на автономии, недоступные одна для другой: вода течет та же, а люди в автономиях самые разные — черные, коричневые, белые, с разными обычаями и религиями, с разной историей, притом что для всех племен и народов это священная река, божество, которое создало государства и культуры.

Нил питает оросительные каналы протяженностью свыше 25 тысяч километров, они наполняются в зависимости от того, выше или ниже уровень воды в Ниле. Упала в Нил слеза богини Изида — быть благополучию, слеза не упала — не миновать людям безводья, голода, тяжких испытаний. Богиня Изида — олицетворение супружеской верности, материнства и плодородия, она порождает и воды и ветры, но мало ли что случается с богами и богинями — у них тоже свои судьбы.

Бассейн Нила — 2 миллиона 870 тысяч квадратных километров. Средний годовой сток в устье 73 кубических километра, твердый сток (наносы) 62 миллиона кубометров в год, наносы оплодотворяют не только прибрежные земли — течение каналов уносит их на орошаемые поля в пределах Сахары. Нил исполняет две задачи земледелия, питая землю и водой и удобрениями.

Священный Нил не только отец, он еще и мать, и древнее его изображение — полулежащий голубой мужчина с бородою и с женскими грудями в окружении множества младенцев. Рядом с ним — женщина с львиными лапами.

Голубев составил справку о реке Нил для БН. По его заданию:

— Мало ли что. А когда мне придется в Египте выступать — а я об ихней речке ничего не знаю?!

Справкой в целом БН остался доволен, но вздохнул:

— Сюда, в эту справочку, с полдюжины цитат, а? Из Маркса, Энгельса, Ленина и Хрущева?

— Зачем? — удивился Голубев.

— За-ради политики. Разделение труда: дело политиков трепаться, мое дело под этот треп проектировать ГЭС и каналы, содержать огромный коллектив. Самому содержаться. Чтобы это я делал без лозунгов и без трепа — нельзя! Так что пиши. Пиши, имея в виду: Нил для нас с тобой — марксистская река.

Голубев пожал плечами и ценное указание по цитатам не выполнил, зато привел в справке сведения о пирамиде Хеопса — как-никак, а высота 146,6 метра, строилась она более ста лет. Рабочая сила была даровой — рабский труд.

Если бы начали строить Нижне-Обскую ГЭС, там тоже были бы рабы. Там такая была бы Пятьсот вторая, которой Пятьсот первая и в подметки не годилась бы!

БН был игроком, игроком в карьере. Мальчишкой БН слесарил по шестому разряду на заводе «Серп и молот», будучи рабочим от станка, вне конкурса поступил на гидротехнический факультет МИСИ (Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева), сразу же стал фигурой в институтском комитете сначала комсомола, потом в парткоме. Если фигура заметна, она хочет быть еще заметнее, значит, надо играть. Но если человек играет, значит, он хочет выиграть. Нынче не очень-то толково он играл, если все еще ставил на Маркса. В этом смысле Хрущев, кажется, был толковее, а это обижало БН — он-то чем хуже?

И в самом деле — ничем не хуже!

В Асуан Голубев прилетел за восемь дней до прилета БН. Восемь дней оставалось ему для изучения технической документации в интересах научного труда «Гидравлика перекрытий крупных водотоков».

Какое там! — советское управление строительства Асуанской ГЭС, начиная с вахтера, полуараба-полунегра, темного, с детски розовыми ладошками, было занято подготовкой к приезду в Асуан Насера и Хрущева: их ждали на торжества по случаю перекрытия Нила. На все запросы Голубева, письменные и устные, ответ был:

— Некогда! Приходите после перекрытия! Некогда, некогда, некогда!

Какой только охраны не было на дорогах в окрестностях Асуана, в самом городе: полиция, армия, а еще, понял Голубев, полицейская армия и армейская полиция — повсюду палаточные городки. Советская охрана в военном и штатском тоже прибыла. Многочисленная.

Рабочие поезда на стройку и обратно шли переполненные, и в окна, и с крыш вагонов, и с вагонных подножек землекопы, бетонщики и водители провозглашали в пустыню: «Гамаль! Гамаль! Гамаль!» За восемь дней до прибытия Гамалья Насера они приветствовали вождя. Ну и, конечно, «Хрушша» тоже не забывали.

У Голубева же свободного времени оказалось много, и на катере он побывал вверх по Нилу в Абу-Симбеле («Отец колоса»), посмотрел два храма, высеченных в скале во времена Рамзеса II (1388 — 1322 г. до Р. Х.). Вход в большой храм — тридцать метров в ширину, тридцать два в высоту, статую царя на троне — двадцать метров, три ниши в скалах, средняя, святая святых, углублена в скалу на шестьдесят три метра. Перед меньшим храмом шесть фигур высотой в одиннадцать метров.

Эти памятники должно было затопить водохранилище Асуанской ГЭС, но в то время как советские строили плотину, немцы из ФРГ распиливали все эти фигуры на части и по частям транспортировали в музей на высоком берегу. Благородно, к тому же выгодно: работы оплачивала ООН. Голубев расспрашивал советских строителей — а почему мы-то не взяли подряд? Никто из советских не знал — почему?

Огромная толпа встречала Насера и Хрущева на краю летного поля небольшого асуанского аэропорта.

Дневная жара наступила, земля и воздух уже раскалились, но люди стояли терпеливо и час, и другой, и третий. Наконец приземлился самолет. Толпа закричала «ура!» и «али!», охрана всех видов и подразделений выстроилась вдоль поля, отгесняя толпу, кто-то из неприметного здания асуанского аэропорта двинулся к самолету, кто-то подкатывал трап. Выстроился и почетный караул. Грянул оркестр. По трапу спустились какие-то люди, огляделись вокруг и торопливо трусцой-трусцой устремились в вокзал.

— Не те, — прошло по толпе. — Насера нет, Хрущева нет — прилетят следующим самолетом!

На следующем — не те!

Так же с третьим, четвертым, пятым самолетом. По летному полю не торопясь двигались люди в штатском и в военном, советские и арабские, куда-то они катали трапы, фотографы на трапы взбирались, примеривались — откуда и как они будут снимать. Охрана куда-то исчезла.

Тут Голубев и подумал: он-то чем хуже? — и тоже вышел на поле, покатав трап, взобрался на него и стал примериваться фотоаппаратом туда, где, ему казалось, может остановиться тот, главный самолет.

Прилетела машина, по счету шестая, но опять не те, а температура уже +41,5° С, Голубев на своем трапе изнывал, однако решил ждать еще.

Машина седьмая остановилась как раз против него, открылась дверь, и на трап вышли кругленький Хрущев в кругленькой же соломенной шляпе и стройный, без головного убора Насер. Они выходят, а перед самолетом — никого, человек, который подкатил трап, и тот исчез. Президенты недоумевают, рассматривают Голубева с фотоаппаратом.

Голубев к ним подошел, поздоровался за руку:

— Здравствуйте, Никита Сергеевич!

— Как фамилия? — ответил Хрущев.

— Голубев, — сказал Голубев, и переводчик перевел Насру: «Голубев».

Насер кивнул, тоже протянул Голубеву руку. Сопровождающие его люди — высокопоставленная свита — толпятся у самолета, с этими Голубев не здоровался.

Первыми подбежали женщины, жены советских рабочих и специалистов:

— Здравствуйте, Никита Сергеевич! А мы-то вас ждем-ждем. Очень жарко ждать!

— Жарища так жарища! — подтвердил Хрущев. — Египетская! И как вы тут живете? Невозможно! Я бы здесь помер. Без разговоров!

— Действительно, спасу нет! Но мы-то в легком, мы терпим, а вот нашим мужчинам сегодня велели быть в темных костюмах и в галстуках!

— Кто велел?

— Начальство. Кто же еще придумает?

— Скажите вашим начальникам, что они болваны! Скажите вашим мужчинам, чтобы они костюмы побросали. И галстуки тоже. Будут в рубашках, в брюках — чего еще надо-то! Ну а сами можете ходить голыми!

Женщины завизжали от восторга, заплодировали, но тут подбежала и охрана, почетный караул подбежал, оркестр подбежал — началась официальная встреча. Женщин оттеснили, и Голубев не стал ждать, когда его оттеснят, ретировался самостоятельно.

В поселке строителей, где Голубеву была отведена комнатка в доме для приезжих, комнатка с кондишен, температура поддерживалась нормальная, спать было легко, думалось и вспоминалось легко, и Голубев вспомнил еще одну нечаянную встречу с Хрущевым.

Встречу сделал все тот же БН:

— Тебе, Голубев, хоть однажды надо побывать в Кремле. На правительственном приеме. Сделаю!

— Необязательно... — удивился Голубев.

— Необязательно, а надо. Это принцип. А я из принципа чего только не сделаю!

Столы на всем протяжении Георгиевского зала, под белыми скатертями, с горами распрекрасной еды, с бутылочными батареями — это вдоль, а поперек зала только один стол — для высшего начальства, правительственный.

Любопытно на правительство посмотреть, сравнить Политбюро с его портретами, но там, вблизи, места уже заняты, а еда, а вино везде хороши, и Голубев принялся за дело, пообещав себе, что до конца приема будет питаться, питаться, больше ничего.

По лицам присутствующих было видно, что они настроены точно так же.

Однако минут через двадцать каких-нибудь Голубев с сожалением констатировал: сыт! И сколько положено — пьян.

В домашней обстановке с этакой едой часа два, и три, и четыре прошло бы, но там другое дело, там — разговор, а здесь никто ни с кем, все рубают молча. К тому же стоя. И ничего не оставалось как бродить по залу, глядеть по сторонам.

Прошел Голубев и мимо начальственного стола и там увидел оживленного, жестикулирующего, блистающего лысиной Хрущева, а невдалеке от него — Большого Начальника. Большой Голубева тоже заметил, стал делать знаки: заходи сюда, за этот стол! Не напрямиком, лавируя, но заходи обязательно! Голубев зашел...

Хрущев только что закончил какой-то рассказ, байку какую-то, все смеялись, Хрущев тоже, и, посмеявшись, он сделал знак: еще расскажу. Снова вокруг сбилась толпа слушателей, а совсем уже в непосредственной близости от Хрущева оказался и БН. Но и Голубев тоже приспособился, встал так, чтобы не только слышать, но и видеть Никиту.

— Значит, сидим мы семьей в Кисеве, на даче. Воскресенье. Лето, — стал рассказывать Хрущев. — День рождения дочки, вот мы и сидим хорошо. Вдруг звонок по московскому: Поскребышев. «Никита? Ты чего делаешь-то? Ты чем занимаешься?» — «Александр Николаевич, я с семьей сижу. День рождения дочери». — «А-а-а... Ну раз так — сиди, сиди...» Уже настроение не то: с чего бы звонок? Четверть часа проходит — опять звонок. Поскребышев. «Никита, значит, сидишь?» — «Так ведь, Александр Николаевич, ведь у дочери день рождения! К тому же воскресенье!» — «Ну-ну... Я-то понял, а ты — сиди». Ну, думаю, что-то тут есть. Что-то не просто так. Что-то имеет место. Сидим, жена говорит: «Не дай Бог — третий звонок». И что вы думаете? Вот он, третий: «Сидишь, Никита?» — «Воскресенье, Александр Николаевич. День рождения дочери». — «Ну тогда сиди...» Жена: «Если еще позвонит — лети, Никита. Обязательно лети. Надо!» — «Без тебя знаю. Три звонка подряд — что-то значит? Что-то серьезное». И тут же — вот он, звонок. Четвертый... Прилетел в Москву к ночи, переночевал, утром еду на дачу в Кунцево. В Кунцево, на сталинской даче, — там как было сделано? Там сделано — все нижние ветки у елочек-сосеночек срублены, а специальные люди в центре усадьбы сидят, понизу во все стороны смотрят, каждый по своему сектору, если кто и пойдет — издали видать. Ну, конечно, а кто пойдет, если кругом огорожено, и сигнализация тоже кругом, и вход-въезд через проходные? Но все равно — вот как сделано. Меня охрана знала, но и пропуск, и фото, и всякая всячина при входе. Вошел на территорию. Там беседка — Сталин утром чай в беседке пил. Думаю — там. И верно — там. Не один — с Молотовым чаевничают. Но меня-то не звали, как теперь подойдешь?... Делаю большой такой круг вокруг беседки — не видят. Поменьше делаю круг — не видят. Крутил-кружил — заметили... «Никита, а ты чего здесь? — Сталин спрашивает. — Кто тебя вызывал? Сидел бы в своем Киеве». «Дела! — говорю. — Дела в Совмине... Неотложные». «Всех дел не переделаешь. А чаю хочешь? Садись». А тут Молотов ни с того ни с сего: «Иосиф! А почто Никита будет задаром чай пить? Чтобы не задаром — пускай спляшет!» И что вы думаете — сплясал! Под гопака, под барыню, еще как, но сплясал. Сталин доволен остался, говорит: «Молодец, Никита!» — налил мне чайку. Сидели с полчаса, разговаривали... О делах...

Хрущев оглянулся, никто из слушателей не смеялся, никто не знал, надо смеяться или не надо. Хрущев сказал:

— Вот как было. Помирать буду — буду помнить. А вы? Вы все только и говорите: «С нами не так обходятся!» Вы сперва бы узнали, как с нами-то еще недавно обходились! Как — с нами?

Тут слушатели закивали: да-да, обязательно надо узнать, как с вами, — а Большой Начальник сделал Голубеву знак: хватит с тебя! Большой Начальник, как всегда в таких случаях, был прав: Голубеву вполне хватило услышанного, он услышанное на всю жизнь запомнил, и вот где оно снова явилось на память — в Египте!

Утром и вечером, немного спустя после восхода и на закате, Голубев ездил в город Асуан, бродил по берегу Нила, в городе и за городом слушал — о чем Нил подскажет думать?

Суровый, в безлесных и бестравных берегах, целеустремленный, с водой более светлой, чем в Оби, но и темнее волжской, он был божественно строг и независим и питал круг себя пустыни, потому что так нужно было и так должно быть. Голубой, с бородой и с женскими грудями мужчины, он знал, что надо и чего не надо. И страшно подумать, что в середине XX века людям оказалось мало того, что Нил им всегда отдавал, и теперь они требуют от божества больше того, что оно может, — киловатт-часов электроэнергии требуют, забывая, что Бог тоже может не все, что это великий грех — требовать от божества того, чего требовать нельзя.

Освальд Шпенглер (1860 — 1935), «философ жизни», насчитал восемь культур, начиная с египетской, предсказывал он и девятую — русско-сибирскую. Все культуры, умирая, говорил Освальд Шпенглер, перерождают-

ся в цивилизации, все цивилизации — это период перехода от творчества к бесплодию. С века XIX начинается, по Шпенглеру, «Закат Европы». (Восход начался в эпоху эллинизма.)

Древний Нил Освальда Шпенглера подтверждал.

Голубев никогда не доверял возвышенному мышлению.

Сама природа не могла быть возвышенна в чем-то, потому что была высокой вся и ее возвышенность была ее обыденностью. Вот так же она не была чудесна, потому что вся была чудом; была справедлива во всем, потому что если бы она была несправедлива и незаконна в чем-нибудь одном, в одном-единственном из бесконечных законов ее существования, — она бы вся не существовала; она не была невероятно красивой, потому что была красивой повсюду, Голубев нигде не встречал некрасивого пейзажа, разве только мусорные свалки, заводские трубы, городские трущобы, перекрытые реки представляли собою безобразность.

Нил был прекрасен. Чем? Голубев не мог догадаться. И не хотел догадываться.

Лингвистика совершила ошибку, когда-то не захотев отличать предметы, созданные природой, от предметов, созданных людьми. Если бы не эта афера, наше сознание постоянно взвешивало бы, ощущало бы разницу между теми и другими предметами. Если бы не она, ребенок знал бы, что «воздух» — это от природы, а «завод» — это от человека, что «улица» от человека, а «река» — от природы.

Мы и неодушевленным предметам зачем-то придаем изначальный признак природности — признак пола, и вот ножик — это он, а ложка — она, потолок — он, крыша — она. Невероятную путаницу внес человек в природу всем своим существованием, и словами тоже.

Бесцерковный Голубев не отрицал Бога — нельзя отрицать то, что тебе недоступно, такое отрицание антинаучно. Бог — это Творец и художник, о художнике судят не по его биографии, но по его произведениям.

Природа предоставила человеку самые различные энергии — ветра, приливов-отливов, непосредственно солнечного света. Но человек не сумел эту энергию использовать — она слишком рассеяна в пространстве, а ему потребовались мощности, мощности и мощности, сосредоточенные на шипах электростанций. Лет через сто, меньше, он научится использовать и рассеянную энергию, поймет — иначе нельзя, но будет уже поздно... Пока-то он научится не расщеплять атом, но синтезировать его?!

Пока человек называет природу природными ресурсами, а естественные источники энергии (подумать только!) альтернативными — в чем же его надежда на выживание?

При всем том Нил не был рекою Голубева, Голубев был поклонником Нила, трепетал перед ним, но чтобы учить древний арабский мир тому, как относиться к этой реке, — нет, нет!

Тем более что он так и не мог постигнуть — может Египет обойтись без Асуанской плотины или действительно не может? Из всех арабских стран Ближнего Востока и Африки один только Египет был обделен нефтью, но и Асуанская ГЭС — решит ли она проблему?

Население страны растет не по неделям, по дням, индустрия развивается — надолго ли хватит мощности ГЭС?

Если же и в самом деле нет иного выхода как строительство Асуанской ГЭС, как только принести в жертву Нил — зачем устраивать из этого праздник? Невиданное торжество? Зачем веселиться на похоронах?

Газеты тех дней писали (на русском):

«Здравствуй, великая плотина!»,

«Великая высотная!»,

«Нил высотной плотины, где в грохоте и пыли куется счастье народа!»,
 «Советские самосвалы укрощают великую африканскую реку!»,
 «Чудо совершилось!»,
 «Триумф мысли и труда!»,
 «Исторический момент окончательного укрощения великой реки!».

И в том же духе, в том же стиле.

Но Геродот имел другое мнение: Египет — это подарок Нила человечеству.

Нет, перекрытие Нила не произвело на Голубева впечатления.

Голубев стоял на берегу в огромнейшей толпе строителей — арабов и русских, — он издали видел, как самосвалы засыпали проран (так же как и на Красноярской ГЭС и в проране, не хватало только катера под красным флагом с восторженным Голубевым на борту), видел, как вода Нила пошла по свежевырытому каналу в сторону донных отверстий, свежевыдолбленных в скале, видел толпу начальственную на дамбе перекрытия и корабль «Рамзес» с фигурами Никиты Хрущева и Гамалея Насера на борту, слышал, как на арабском и на русском ликовали люди, наводнившие и левый и правый берега Нила, как оркестр исполнял государственные гимны Египта и СССР... Все это уже было пережито Голубевым в собственном воображении, причем пережито безошибочно.

Что было совершенно неожиданным, так это эпизоды. Опять они!

Только что до проектной отметки был выкопан котлован под здание ГЭС, под бетонную часть плотины, и там на дне состоялся грандиозный митинг.

По окончании митинга Насер и Хрущев должны были проехать по дороге, проложенной в откосе котлована. Очень крутая дорога, очень пыльная, вся разбитая колесами самосвалов, которые вывозили на поверхность грунт. Слева почти вертикальный откос котлована, справа откос пологий, тысячи и тысячи землекопов-арабов на этом откосе, жаждущих приветствовать вождей двух великих народов.

Быть с народом решил и Голубев и вот стоял в толпе, изнывал от жары, сосредоточившись взглядом на цепочках вооруженной охраны вдоль дороги — охрана никому не позволяла выйти на эту дорогу, одни только автоцистерны ползали вверх-вниз, увлажняли пыль, чтобы начальственный кортеж в пыли не утонул. В охране — бравые молодцы-арабы и наши тоже в непривычной для Голубева пятнистой форме. Но вот и показался сначала на дне котлована, потом и на дороге кортеж мотоциклистов, и машина с Насером, с Хрущевым тоже показалась... Толпа приветственно взревела, а в этот момент Голубеву взбрела мысль: перебежать дорогу! Он заметил железобетонную плиту, которая лежала поперек дороги, из плиты вертикально торчал металлический штырь. Если перебежать, стать на плиту и вцепиться руками в этот штырь — избавишься от удушья, в толпе оно становилось невыносимым. Голубев так и сделал — растолкав охранников, перебежал, вцепился в штырь, но тут же, в ту же секунду люди из толпы тоже бросились на другую сторону дороги. Машина с Насером и Хрущевым остановилась, ее стали теснить к обрыву. Насер, стоя в открытой машине в рост, что-то кричал, Хрущев же сидел, закрыв лицо соломенной шляпой, изредка выглядывая поверх нее. Охрана, несколько человек, те, кто был в машине, отбивалась от людей, била их рукоятками пистолетов, мотоциклисты рвались сквозь толпу обратно на помощь вождям, пыль поднялась невероятная, но Голубеву с его новой позиции было видно: заднее левое колесо машины уже висит над обрывом. Он зажмурил глаза... и тут мотоциклисты прорвались, спешили и приподняли машину на руках, поставили ее всеми колесами на землю, и кортеж медленно-медленно снова тронулся вверх. Насер опустил на сиденье, Хрущев опустил шляпу на голову, толпа покричала «али, али!», «ура! ура!», Голубев поспешил умотаться с места происшествия: еще и арестуют за покушение на жизнь вождей!

Слава Богу, обошлось.

Говорили, советский инженер Мальков выиграл в международном конкурсе проектов Асуанской ГЭС. Человек еще нестарый (чуть за пятьдесят), полный грандиозных замыслов, замысла Нижне-Обской ГЭС в частности. Настигнуть Малькова в Москве Голубев не сумел, в Асуане надсялся.

Хотя с проектом Нижней Оби — все это утверждали — было покончено, Голубев всем не верил: в постановлении правительства речь шла о сроке в два года для окончательных выводов экспертизы.

Когда Голубев встретил инженера Малькова в управлении строительства Асуана, он, не представившись, спросил:

— Вы решились затопить на Нижней Оби сто тридцать две тысячи квадратных километров? Плюс подтопления? Для вас это просто?

Мальков пожал плечами.

— Просто: Урал надо вызволять из энергетического кризиса!

Договорились встретиться у Малькова в его квартире для высокопоставленных приезжих.

Чистенькие-чистенькие комнаты, блистающие солнечным светом и прохладные (кондишен).

Сели на диван за круглый столик, жена Малькова принесла чай, фруктовые напитки. Разговор напряженный.

— Будущее, будущее! Откуда возьмется будущее, если его не обеспечить энергией сегодня? — это Мальков.

— Энергия будущему нужна, а земля не нужна? — возражал Голубев.

— Земли в Советском Союзе хватит, а затопить не значит уничтожить землю.

Голубев насторожился.

— Так ведь плотина-то — на века?

— Кто сказал? Будут другие источники энергии, ну, скажем, альтернативные (Голубев словечко отметил), и мы плотину взорвем, водохранилище опорожним, получайте свои земли обратно! Мы, энергетики, свой урожай с нее сняли!

Вот это признание Голубев и ждал — многие гидротехники так же думали, однако вслух не признавались.

Больной вопрос — никто никогда водохранилище не осушит, безобразное Каховское тоже никогда, но все говорить будут: «Это — можно!»

Голубев же был убежден — это нельзя:

— Останется ли земля землей, если лет через пятьдесят выйдет из-под водохранилища? Не земля это будет, не болото, не почва — нечто бесприродное. Тем более на Севере. Северное солнце не высушит такую землю. Практика такого не знает. Жизнь — не знает.

— Голландия знает!

— Голландцы дамбами защищают землю от моря, но не передают ее воде!

Мальков вздохнул.

— Ах, гидролог-гидролог — ненавидит воду! А что же у нас с вами получается? Детский разговор?.. Читал вас, но чтобы подобное детство.

— Я тоже о вас наслышан.

Напрасно он к Малькову пришел. Чтобы больше было? Чтобы было невероятнее? Чтобы больше образовалось пустоты в нем самом?

— Вы инженер? — спросил Мальков. — Мне не верится.

— Географ. И представляю себе землю, которая не земля! Ни болото, ни суша, ни вода, ни пустыня... Нечто в природе без признаков природы Каховскую ГЭС не вы ли проектировали? Там что-то подобное...

— Каховскую — не я. Но если нужно — запроектировал бы и ее. А кто запроектировал вас, товарищ Голубев? Ваш консерватизм? Который пресекает будущее? Претит будущему? Умерщвляет его в зачаточном состоянии?

— Не путаете свое сегодняшнее настоящее с будущим всех людей? Это разные вещи!

Неразумный был разговор. Не надо было и приходить и начинать.

Уходя Голубев спросил:

— Царь? Природы?

— Почему бы нет? Это лучше, чем раб природы. Гораздо лучше!

— Царь без царя в голове! — сказал Голубев, на этом распрощались. Без рукопожатий.

Как о необыкновенном, прекрасном, умном и честном человеке о Малькове говорили в «КВЧ» — там был культ Малькова. Это мнение Голубев если бы и захотел — не разрушил.

Тьма была. Часов восемь вечера — и тьма египетская. На стадионе, за каменной оградой, на скамьях разместились тысячи зрителей, на холмах еще тысячи, во тьме они выказывались белыми одеждами. Все смотрели, все слушали через магнитофон действие — Хрущев развернул его на огромной, ярко освещенной сцене стадиона: снова доклад о значении Асуанской ГЭС, а также вручение строителям высоких правительственных наград.

Голубев сидел во втором ряду, слушал Хрущева, во втором же, неподалеку, находился БН. Они поздоровались, БН сказал:

— Видел, видел тебя: ты же самолично товарища Хрущева на аэродроме встречал. Моло-о-дец! Не думал, что ты горазд. Я ведь с ним в одном самолете из Каира летел, с Хрущевым-то! С Никитой-то! Но ты меня не заметил!

Незлобливо было сказано, однако и не добродушно.

Голубев вернулся на свое место, и тут же Хрущев вручил Насеру Золотую звезду Героя Советского Союза и опять завелся: Асуанская плотина, дружба народов, торжество социализма...

На сцене в несколько рядов сидели шейхи, все в белом, слушали. Герой Советского Союза Гамаль Насер чуть в стороне тоже слушал — лицо строгое-строгое.

Вдруг Хрущев спросил, обратившись к арабскому народу:

— Вы чего хотите? Чтобы я читал, что мне написали мои шелкоперы? Или — говорил, что сам думаю?

Стадион по-арабски, по-русски взревел в том смысле, чтобы — сам. И с отдаленных холмов донесся тот же смысл.

Хрущев сбросил листочки доклада с трибуны.

— Я не первый уже день в Египте, не первый в Асуане и везде слышу: «Мы — арабы, мы — арабы, мы — арабы!» Ну если вы, арабы, такие умные, так и стройте Асуан сами! Мы, советские, приехали сюда помогать не арабам! Мы, советские, приехали сюда помогать трудящимся! Кто не работает — тот не ест!

И далее, исходя из этого пролетарского тезиса, Хрущев развивал и развивал идею дружбы народов.

Насер сидел неподвижно, лицо каменное. Вот-вот, казалось Голубеву, он снимет с френча Золотую звезду, вернет ее Хрущеву, но что бы это стоило Египту? Сколько миллионов египетских фунтов стоило бы?

Хрущев тем временем еще и еще разъяснял (с энтузиазмом), что это такое — дружба народов. Изредка прерываясь, он обращался к Георгадзе — секретарь Верховного Совета СССР ни на шаг не отступал от хозяина.

— Георгадзе! — покрикивал Хрущев охрипшим голосом. — Кто там у нас следующий-то? Вызывай!

Георгадзе — на языке не то русском, не то арабском, не то грузинском — вызывал очередного шейха, зачитывал указ Верховного Совета СССР о награждении государственными орденом (орден Трудового Красного Знамени и другие тоже были ордена), Хрущев вручал награду очереднику, стадион бурно приветствовал интересную сцену и некоторое время после того не без внимания слушал Хрущева о дружбе — она была, есть и будет не чем иным, как дружбой трудящихся всех стран, как историческое продолжение лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Он и на Сталина ссылаясь, Хрущев: Сталин был большим специалистом по национальному вопросу! Митинг длился и длился, зрители устали, шейхи устали, Гамаль Насер окаменел, Георгадзе бормотал наградные указы тихо и невнятно, зато Никита больше и больше распаялся.

Слушая Никиту, Голубев думал: в вождях второй половины XX века необыкновенна только их обыкновенность. У них нет талантов ни к искус-

ству, ни к науке, но много энергии, которая вынуждена искать применения и находит его в жажде власти, в покорении непокорных, в умении из кухни житейской сделать кухню государственную, в распознании людей с точки зрения возможностей их использовать, в умении обмануть других и не быть обманутым, увлекать, не будучи увлеченным; придавать утопии вид действительности. Одним словом — ничего сколько-нибудь необыкновенного.

Никто не знал, никто ни у кого не спрашивал — сохранит ли Нил после перекрытия свою святость? Свою историю?

На этом египетском фоне Голубеву странным образом вспомнилось: в марте, 19-го числа, за ужином Татьяна сказала:

— А тебе звонили...

— Кто?

— Не угадаешь. Невозможно.

Догадки у Голубева еще не было, тревога уже была: Татьяна заставляла себя сообщить новость. Протянула ему листочек с номером телефона.

— Кому звонить? Темнишь ты, Татьяна.

— Асе Гореловой.

— Кому?

— Позвони. Не то нехорошо получится. Ну, я пошла. На работу.

Ася, Голубев, Татьяна учились в одной школе, и всей школе было известно: Голубев и Горелова — настоящие жених и невеста. Потом они расстались надолго, навсегда, и вот через много лет...

И через много лет Голубев с Асей встретились, и Ася говорила перед его отъездом:

— Египет... в Египте Сахара... В Египте Нил... В Египте египтяне. А чтобы к тебе снова привыкнуть, мне нужно время. Главное — нужно забыть себя, много забыть из того, что со мною было...

Луксор — город на месте бывших древних Фив, столицы Египта в XV — XIII веках до нашей эры. Голубев и на этом месте побывал. В подземельях храма бога Амона-Ра.

Лабиринты подземелий — вечная тьма, но от поворота к повороту, от глубины к глубине пронизаны сияюще-яркими, устойчивыми потоками света, казалось — электрического, от прожекторов. Но это был свет солнца, он под разными углами отражался системой металлических зеркал.

Солнце уходило за горизонт, и подземелья тотчас погружались в собственную тьму. Солнце восходило и пронизывало лабиринт своим светом. Древние обходились без киловаттов, без киловатт-часов, бодрствовали при дневном свете, ночами спали и предавались любви. День и ночь, лето и зима делали их жизнь дневной и ночной, летней и зимней, ничто не отменяло порядок природы.

Из Каира в Москву — шесть часов — Голубев летел вместе с БН. Не очень-то БН нравился экономический класс, у него была привычка к другим летным условиям, и ему пришлось делать вид, что ему все равно, и он хвастался близким знакомством с Хрущевым:

— Значит, так: заканчивалось строительство Сталинградской ГЭС в Сталинграде, хор-р-рошый был банкет, на банкете обсуждалось: куда перебросить строителей? Коллектив мечтал построить вододельитель в Астрахани: от Сталинграда недалеко, климат не очень различается. Хрущев сказал: «В Сибирь поедете!» Еще выпили строители и к Хрущеву снова: «Нам бы, Никита Сергеевич, в Астрахань». «В Сибирь!» — ответил Хрущев. Так много раз. Под утро уже было — Никита Сергеевич, поикав, сказал: «Молодцы сталинградцы, умеют стоять за свои принципы! Люблю настоящих большевиков — поезжайте в Астрахань! Что там строить-то?» — «Вододельитель». — «Ладно, стройте вододельитель, если уж он вам так нужен!»

— Вододельитель? Астраханский? — ахнул Голубев. — Никому не нужен, проход рыбы из Каспия и обратно затрудняет!

— И ты туда же! — возмутился БН. — Чем он тебе-то мешает? Твое ли это дело — решать? Хрущев — тот действительно решает, что надо, чего не надо.

Однако БН тут же перешел на другую тему:

Как там с моей-то работой? С диссертацией? Все готово?

Замеров я в проране Нила не сделал.

— Это почему же? И то смотрю — на перекрытии тебя нет и нет. Почему нет?

— Наше управление готовилось к приезду вождей. Никому не до меня.

Пропуск на проран не дали.

— Бумаги за моей подписью показывал? Управленцам?

— А что мне было еще показывать?

— Они?

— И не смотрят...

Сволочи! — возмутился БН.

Сволочи... — согласился Голубев. — А теперь в вашей диссертации Асуанского створа не будет.

Не допустим — будет!

Каким образом?

— Простым: пойди узнай, с какого створа снимки — с Асуанского или с Красноярского?

Помолчали. БН частенько вставал, уходил в носовую часть самолета. Там, в носовой, находился инженер Мальков, БН это заметно смущало: Мальков там, а он здесь, в самом хвосте?! А ведь в Асуан БН летел в одном самолете с Хрущевым, а вот Мальков с Хрущевым не летел. Там, в носовой, кроме Малькова, показалось Голубеву, во втором ряду слева еще и Томилин из странного дома в странном московском переулке. Усы отпустил, бородку, во всем остальном — как две капли.

Еще пообщались, и Голубева дернуло спросить:

— Рядом с Мальковым-то? Томилин? Я-то видел его без бородки. — Помолчав, еще спросил: — Это вы направили меня к Томилину? С повесточкой? На собеседование?

— Какой нахал, какой нахал! — удивился БН. — Вот не ожидал! Ну тогда знай: я зря ничего не делаю. Сделал — значит, нужно было! Не сделал — не нужно было!

И тут БН стал дремать; голова влево, ноги вправо, посредине дышит массивное туловище.

До Москвы оставалось сорок минут, когда он проснулся.

— Голубев! Хочу сказать тебе спасибо! Говорю: спасибо!

— Я же со снимками в Асуане не сумел?

— Есть за что, есть, я зря не говорю. Мы с тобой хорошо поработали, хорошо сработались, я доволен... Завтра принесешь в кадры заявление — по собственному желанию. Сегодня четверг, завтра пятница. Ни пуха ни пера...

Хорошо стало голубевской душе, очень хорошо, легко! Ему давно не было так легко. Однако Голубев не выдал радости, сидел с каменным, насколько это возможно, лицом.

В аэропорту Внуково в очереди на паспортном контроле, в очереди за багажом они снова оказались рядом, но были уже как бы и незнакомы. И опять хорошо, но вдруг БН нарушил незнакомство — посмотрел-посмотрел на свой чемодан, открыл его и сказал:

— Сволочи! Носки сперли!

— Какие носки? — нечаянно отреагировал Голубев.

— Разного цвета, а размер один — сорок четвертый. На себя. В Каире купил. Ну, это не в Египте, это наши удумали, вот сейчас и успели, сию минуту. И жаловаться бесполезно — не докажешь. Уж на что в Египте воруют — у нас похлеще! Ну, чего улыбаешься? Хорошо улыбаться, когда у тебя ничего не сперли!

Еще кивнули друг другу и разошлись.

Голубев подумал: БН, когда он общался с Хрущевым, мучился вопросом: «А почему не я? А я чем хуже?» И в самом деле — он хуже не был, во всяком случае вождь мог бы получиться из БН не хуже других вождей и членов ПБ.

Дочке Голубев привез из Египта ожерелье. Простенькос, из камушков разного цвета, различной формы, но, показалось Голубеву, — оригинальное. Дочка тотчас ожерелье надела, принялась вертеться перед зеркалом.

— Ну как, мамочка? Подходит?

— По-моему, миленькое, — ответила жена. — К тому же египетское.

— А кто поймет, что египетское? — вздохнула дочь. — Ни один болван не поймет!

— Прицепи записочку: приобретено в Асуанс такого-то числа посоветовал сын. — В конце восклицательный знак...

— Ты сам из тех, которые и с запиской не поймут!

— Восклицательного знака не поймут? Тогда поставь вопросительный, — предложил Алешка.

Алешка получил отличную логарифмическую линейку... Логарифмическая, понимал Голубев, не очень-то ему нужна, зато была красива, с многочисленными шкалами и в прекрасном футляре. Наверное, в Египте такие не пользовались спросом — стояла она дешево.

В свои студенческие годы Голубев с такой ни в жизнь не расстался бы, кожаный футляр чего стоил! Классная линейка, сложная линейка, Голубев даже не знал, какое назначение имеют две верхних шкалы. Для каких таких расчетов? Сыну, современному физику, это был примитив, но спросить что к чему Голубеву показалось стеснительным.

Жена получила два ситцевых, очень симпатичных отреза. Симпатично, не торопясь она поцеловала Голубева.

Когда сели за стол, жена спросила:

— Ну что, товарищ египтянин? Как там дела-то? В Африке?

— Нил перекрыли...

— Вот-вот! От нашего папочки дождешься — он все в подробностях расскажет! — усмехнулась дочь. — Насера видел?

— Видел... — кивнул Голубев и вспомнил сцену с участием Насера и Хрущева на стадионе Асуана, встречу на аэродроме.

— Вблизи?

— За руку здоровался.

— Красивый мужчина? Судя по портретам — очень.

— Так оно и есть...

— А фигура? Действительно очень стройный?

— Мне показалось — идеальное телосложение

— Я так и думала.

— Ну а наш-то, Хрущев-то? — спросил сын. — Суетился?

— Не без этого...

— Как ты думаешь, что самое главное, из-за чего Хрущев поехал в Египет? Что у них с Насером общего? Общий вождизм?

— Не знаю... Я не дипломат. А Нил перекрыли.

— Ах, отец, отец, — покачал головой сын. — Во всем мире строят ГЭС. Во всем мире реки перекрывают! Процесс необратимый...

Тут Голубев завелся:

— Во всем мире! Во-первых, неизвестно, к чему это приведет весь мир! Во-вторых, в цивилизованных странах никто не перекрывает равнинных рек — только горные! Америка Миссисипи бережет, а мы из Волги стоячую канаву сделали! Мы на Нижнюю Обь замахнулись и вот еще Египет спровоцировали, а Нил — это же священная река!

— Ну не мы, кто-то другой строил бы Асуан. Обязательно. Немцы строили бы, раз выгодно для них, а не для Египта.

Жена спросила:

— Салат понравился?

— Очень вкусно!

— Совершенно новый рецепт. К твоему приезду.

— Очень, очень вкусный...

Жена Татьяна с годами становилась все заботливее и заботливее: готовила вкуснее, вовремя отсылала мужа спать, не давала читать по ночам, он принимал лекарства — она следила, чтобы принимал аккуратно, до или пос-

ле сды, как указывал врач, носовые платки, сорочки и галстуки всегда чистенькие, выглаженные. Не то что в молодости. В молодости, помнится, если он просил жену разбудить его пораньше, она отвечала:

— Неизвестно, кто кого разбудит — я тебя или ты меня.

Год назад, побольше того, Голубев сказал жене:

— Ты, Танюша, заботливая стала...

— Естественно, — ответила она. — Дети подросли, сами самовоспитываются, у меня времени больше стало.

Дети взрослеют, забот о них меньше, Голубев стареет, забот о нем больше... Приятно впадать в детство. За салатом последовал борщ — Голубев и вопроса ждать не стал, хорош ли, постучал ложкой по тарелке.

— Замечательно!

— А твой начальник? Большой-то? Как себя в Египте показал? — спросила, хотя и без особого интереса, Татьяна.

Разговор о Большом Начальнике Голубев не хотел начинать за семейным обедом, планировал его на завтра, в отсутствие детей, но деваться было некуда.

— Большой — он мне больше не начальник!

— Ушел куда-нибудь? В Цека ушел?

— Я ушел...

— С какого времени?

— С завтрашнего дня...

— Сегодня четверг, завтра пятница, — сказала жена. — «По собственному»?

— Он мне предложил. А я рад.

— Вот как... — задумалась жена, а дети примолкли.

— Очень вкусный борщ! — Голубев снова постучал ложкой по тарелке, уже пустой, но еще красной, под цвет свеклы.

— Куда же ты теперь? Об этом думал?

— Не вплотную, но думал.

— И вот?

— Вот пойду в институт, на кафедру. На преподавательскую работу.

— Возьмут?

— У меня степень. По совместительству уже читаю курс.

— У нас в стройресте прорабы и те со степенями. Напишут труд «Режим работы бетономешалок на жилищном строительстве» — и дело в шляпе.

— У меня серьезная была работа. На нее — десятки ссылок.

— Тебе, что ли, Татьяна, написать диссертацию? — саму себя задумчиво спросила жена. — В экономике строительства сам черт ногу сломит, вот и пиши что в голову взбредет. Какая-никакая, а прибавка к зарплате. Ну, Анька, — вдруг рассердилась она на дочь, — чего сидишь-то? Кума на именинах, да? Принеси из кухни второе! Разложи котлеты и картошку! По тарелкам!

Дообедали молча.

После обеда Голубев пошел в кабинет, прилег. В голове самолетный гул, уже не близкий, отдаленный. Толкотня при получении багажа припомнилась и комментарии Большого Начальника по поводу украденных носков...

Голубев в своем доме был одинок, он один был географ, а вся семья механики: движение, движение, а чего ради, каков результат — никто не знает, не интересуется. В какое море движение впадает — не интересуются.

География наука не аналитическая, она синтетическая и могла бы в свое время увлечь Алешку, отец очень этого хотел, — не получилось.

Алешка окончил школу, отец с ним (неубедительно) беседовал:

— Ну что тебе физика?! Модно очень, понимаю! Серьезная наука, понимаю, но разве у тебя есть к этой науке склонности?

— Папаня, ты знаешь: есть!

— Не замечал.

— Я тоже не сразу заметил, после проанализировал: какой предмет для меня самый легкий? Самый легкий — физика. Я ее и не учил никогда, и учителя плохо слушал, а все понимал. В учебник загляну и удивляюсь: чег там объяснять-то, и так все ясно!

- Выбирать специальность потому, что она самая легкая? Глупо!
- Выбирать то, что тебе дается труднее всего? Умно?
- Провалишься! На физический конкурс невероятный!
- Конкурсы не бывают невероятными — если они существуют, значит, вероятны.

Теперь сын кончал физфак, с блеском кончал, год оставался, а ему уже и место в аспирантуре было уготовлено. Маг гордилась, преклонялась перед сыном, с трудом свое преклонение скрывала, а вот Голубев и рад бы преклониться — не получалось. Ему хотя бы в общих чертах понять — чем сын занимается? Но мало того что собственное образование ему этого не позволяло, сын тоже не объяснял, его специальность была засскречена, он говорил: «Люминесценция», на том объяснения кончались, раза два только упомянул, что и на кафедре и в оборонке его ждут.

Отец и сын существовали в разных мирах, не соприкасались, может быть, и презирали друг друга — взаимонепонимание не обходится без презрения.

Притом еще сын, легкомысленный и общительный мальчик, оказался подготовленным не только к своей специальности, но и к специальной жизни тоже — легкомыслие и самоуверенность помогали. Появятся у него дети — тоже не будут знать, чем занимается их отец, как называется то, чем он занимается.

Экономист строительного треста, Татьяна Александровна Голубева — тоже механик, механик движения в нечто, что было ей неизвестно и не вызывало никакого интереса.

Дочь училась в Текстильном институте, мечтала стать модельером — механика моделирования. Что будет с людьми лет через тридцать? — этот вопрос всем этим механикам, ни одному, в голову не приходит и прийти не может, только географу Голубеву.

А еще дочь боялась Ленина: когда-то в детском садике руководительница объяснила: дядя Ленин — это такой дядя, который умер, но все равно жив и очень любит детей...

Глава пятая

АСЯ

В пятницу Голубев побывал в кадрах «КВч», оставил заявление, спросил: — Сколько еще дней я обязан выходить на работу?

Инспектор отдела, сильно разукрашенная дама, сильно молодящаяся, молжаво подергала плечиком.

— С начальником кадров говорили?

— Не говорил.

— Поговорите. Впрочем, я сама потолкую. На руках «Для служебного пользования» есть?

— Две инструкции.

— Сдадите мне под расписку в собачьем листочке. Расчет — через две недели. Работу можете подыскивать с сегодняшнего дня. Отмечаться в журнале прихода-ухода необязательно. Понятно объясняю?

— Вполне!

— Спасибо!

— Не за что!

Разговаривая таким вот образом в кадрах, Голубев думал: «К Асе, к Асе, к Асе!» Все впечатления, все, о чем Голубев думал в Асуане, на правом берегу Нила, он думал и впечатлялся не один — с Асей. И теперь (сию же минуту!) должен был ее видеть.

И звонил Асе и вчера и сегодня — безответно. Голубев думал — Ася на дежурстве: медицинская сестра Корнеева (до замужества Горелова) то и дело дежурила и за себя и за других сестер — отказывать она не умела, семьи не имела, всегда свободна.

Ты жив?¹ встречала Голубева Ася, когда он навещал ее.
Голубев в ответ говорил Асе, что любит ее.

Не верю!

Голубева это потрясло.

Почему?

Для тебя это слишком легкомысленно. И непривычно.

Я? Легкомысленный? Ты же знаешь — я зануда! Вот кто я!

Тебе Бог велел быть легкомысленным — что ты пережил-то? Ничего за всю свою жизнь ты не пережил!

Чуть не полвека живу.

Пустяки! Ты не пережил таких дней, чтобы каждый за полвека!

Виноват в сравнении с тобой я не пережил ничего! Виноват.

И встреча тут же принимала тот самый оттенок, которого и Голубев и Ася хотели избежать, и Ася говорила:

Виновата я! — Помолчав, говорила: — Я так долго была без тебя, так издалека, так беспомощно о тебе думала, что теперь не знаю, не верю, что ты — это ты. И о себе так же: я это или все еще не я?

— Ну, меня распознать ничего не стоит: нормальный человек...

— Самая невероятная вероятность! Поверить невозможно: нормальный.

— И ты не веришь...

— И я не верю... Знаешь, что я хочу сказать?

— Знаю...

— Что?

— Хочу сказать: давай повспоминаем...

— Ты ужасно догадливый, — улыбалась Ася. Как никто на свете она улыбалась. Только в улыбке она и сказывалась, ни в чем другом не было ни истинной ее доброты, ни души, ни любви.

Влюбленно они вспоминали годы школьные, почти что детство, учителей, спектакли и концерты, экскурсии в Суздаль, в Ростов Великий с учителем истории, Асиных родителей в огромной коммунальной квартире, вспоминали и удивлялись: такие тяжелые годы — тяжелее, труднее нынешних, но со всею очевидностью они были, а нынешние этой очевидности лишены.

Сперва вспоминалось не самое главное, что-нибудь совершенно случайное, а потом Ася вдруг спрашивала:

— Не помнишь ли, что ты делал десятого января тысяча девятьсот сорок первого года? О чем думал? Постарайся, вспомни.

Голубев не помнил. И 2 февраля сорок девятого, и 17 апреля сорок седьмого — нет и нет.

— Мне эти дни запомнились...

— Чем?

— О тебе думала. Думала, а в это время случилось...

Что случилось, Ася не говорила, снова спрашивала:

— Девятого мая сорок пятого года? Представь, в нашем бараке этакая партийность началась — страсть! Одни ликуют, песни поют, советскую власть и Сталина благодарят, благодарят и плачут, другие ликуют молча, в растерянности и без песен, еще другие молчат, думают свое: вот если бы немцы советскую власть победили, если бы, если бы!

— Ты?

— Я снова поверила, что ты жив! Поверила, что еще не поздно молиться за тебя, чтобы ты был жив. Где ты был девятого мая?

9 мая 1945 года, рассказывал Голубев Асе, он был в Ленинграде — слушатель курсов по переподготовке военных гидрологов на гражданский лад (говорилось «переход на мирные рельсы»). Краткосрочные были курсы, полтора месяца, но лекции читали крупные гидрологи и гидротехники. И домашние задания нужно было выполнять, ни дать ни взять студенческие времена

Ленинград от крыш до цоколей в шрамах. Малолюдный, а люди на его улицах казались Голубеву невероятными — они были ленинградцами. Он всматривался в лица. может быть, иконные лики?

Замечая среди них себя, Голубев недоумевал: вот он сздит с ними в трамвае, так же, как они, по карточке покупает хлебушко в магазинах, но хлеб имел такой разный смысл для него и для ленинградцев! Голубев всю жизнь прожил на этом свете, те — и на этом и на том.

Ася никогда не была в Ленинграде, но ленинградской тоже была, теперь уже до конца жизни. Голубев так и говорил:

— Много-много раз ленинградка!

Ася соглашалась:

— Все мы — оттуда...

— Откуда?

— Из блокады. Оттуда, где бывает только так, как не может быть.

Но «не может быть» — это позже, а тогда все возникло в двухкомнатной московской квартире Гореловых, затерявшейся в длинном-длинном и непомерно густо заселенном коридоре. Тайна приоткрылась Голубеву, когда он узнал, что весь этот коридор и еще что-то этажом выше некогда было собственностью инженера Горелова. Сказала ему об этом, поведала секрет Ася, Асин же секрет сам по себе не мог не быть для мальчика Голубева прекрасным.

Впрочем, секреты открывались Голубеву один за другим.

Мать Аси, Елизавета Семеновна, происходила из очень богатой помещицкой семьи, девочкой вместе с родителями она побывала в Европе, один год училась во Франции, другой — в Англии, окончила Высшие женские педагогические курсы в Петербурге, учительствовала в Сибири, в Змеиногорском округе Томской губернии — поехала туда на крестьянской телеге с обозом переселенцев из губернии Курской, в дороге учила ребятишек, помогала взрослым читать-писать переселенческие бумаги.

Горелов-отец, инженер, имел предприятие строительных материалов и конструкций, был учредителем «Товарищества по устройству и улучшению жилищ для нуждающегося трудящегося населения» и состоял в дружбе, был сподвижником знаменитого на весь мир инженера Владимира Григорьевича Шухова. Шухов был крестным отцом Аси.

В той комнате, которая называлась Асиной, столовой и библиотекой, Голубев и Ася учили уроки и рассматривали семейные альбомы — три больших, два поменьше, все с золочеными застежками, все с фотографиями таких людей, таких пейзажей, таких кораблей и лошадей, которых, казалось мальчику Голубеву, на свете быть не могло, но они все-таки были. Хочешь верь, хочешь нет — они были на этом свете.

И Шухова тоже видел мальчик Голубев, он бывал здесь, и на письменном столе Горелова-отца стояла модель башни Шухова — на всех обжитых людьми континентах эта башня была признана выдающимся произведением инженерного искусства (когда-то так и говорилось и учебники так назывались — «Инженерное искусство») — металлические стержни, расположенные под углом к горизонтали и строго параллельно друг другу, создавали множество ромбов идеальной формы, два ряда стержней соединялись в одну конструкцию металлическими же обручами. Прозрачность, легкость, простота и уверенность: только так, как есть, никак больше не может и не должно быть. Наверху водонапорный бак — купол с усеченной луковицей, что-то от церковной архитектуры.

Разглядывая модель, мальчик Голубев чувствовал себя взрослее, умнее и лучше, чем он был на самом деле, к нему начинали приходиться такие слова, как «архитектура», «гармония», «разум», «творчество»... Конечно, и слово «любовь», а все это и было тем созерцанием и тем чувством, которое человек может искать и не находить всю жизнь. Голубеву же выпало — он и не искал, а нашел. Ася нашла.

Живой Шухов, с бородкой и усами, в блузе и с галстуком, всегда что-то внимательно разглядывающий, инженер Горелов с усиками, но без бороды, живая Елизавета Семеновна с медальончиком на груди — все они были живы не вообще, но по особому и очень счастливому случаю, они, много позже понял Голубев, обладали экологической чистотой существования, а их механика была согласована с той географией, в которой они явились.

В 1937 году, поздней осенью, инженер Горелов был арестован и выслан в Вологодскую область, Асе советская власть позволила окончить школу в Москве и сразу сослала ее в Сибирь. Елизавета Семеновна тогда же умерла. Ася никак не хотела скомпрометировать Голубева, поэтому она не писала ему, и ему ничего не оставалось как только поверить, что Аси нет в живых. Он поверил.

Когда в марте 1964 года они встретились, Ася словно в каком-то преступлении призналась:

— А я в заключении на Пятьсот первой была! — Она знала — Голубеву известно, что такое Пятьсот первая.

— В бараке? Вблизи Лабытнанг?

— В бараке. Сорок километров от Лабытнанг.

Ася была живой из мертвых, но и это не все — она была в бараках Пятьсот первой...

Что там было? Вокруг ее барака?

— Горы...

— Речка? Какая?

— Речка? Собь.

Так и есть: он бывал в Асином бараке, промерзшем, сыром, с узкими окошечками у самой земли. В 1954 году, летом, когда ехал из Лабытнанг в Сейду.

Пятьсот первую расформировали, но Асю и тогда не пустили в Москву, в европейскую часть СССР не пустили, и она несколько лет жила в Березове, в поселке при впадении Северной Сосьвы в Обь, там когда-то был в ссылке Меншиков (суриковский «Меншиков в Березове»), и Голубев коротко — на день-два — в те же годы тоже бывал в Березове с инспекторским барометром. Но они не встретились.

Голубев пытался объяснить Асе эпопею Пятьсот первой, чудовищный замысел и против людей и против природы, два совмещенных зла, но Ася сказала:

— Года через два, будем живы, я тебя выслушаю, я пойму. Сейчас — не надо, не могу!

Голубев заговорил об Ангальском гидростворе, Ангальском мысе — Ася видела мыс не один раз — он, вспоминая, произнес слово «красиво».

— Красиво?... — вздрогнула Ася. — Отложим и этот разговор. На год...

Голубев — о проекте Нижне-Обской ГЭС, Ася слушала вся внимание, он кончил, она спросила:

— Если бы эту ГЭС начали строить? Сколько бы на стройке погибло людей?

— Много... Но меньше, чем это было бы при Сталине.

Ася сказала:

— И об этом — в другой раз. Об этом достижении.

Голубев, смущенный и растерянный, замолчал. Воспоминания тоже оборачивались коварством.

Ася могла на полуслове его прервать, могла задать ему какой угодно вопрос, он ей — далеко не всякий; она могла сказать: «Тебе, мой милый, пора домой», и он уходил; могла позвать: «Завтра в половине восьмого» — он приезжал минута в минуту; в течение часа он мог десять раз сказать ей, как он любит ее, она — ни разу, и ни разу могла не улыбнуться на его признания. Но если Голубев хотел вдруг высказать Асе свое недоумение, он обращался не к ней, а к природе.

— В природе ищут законность своего существования, — говорил Голубев, — но она, кажется, сомневается и сомневается во мне.

— Значит, мучаешься?

— Недоволен собой: не могу вписаться в природу. А ведь люблю ее!

— А может быть, все, что ты говоришь, — утопия? Если ты утопист, прими религию — единственная утопия, которая не обещает Царства Божия на земле, только на небе!

Когда они прощались перед отъездом Голубева в Египет, Ася погладила Голубева по голове, поцеловала.

— Ты и в самом деле хороший! Я убеждаюсь в этом больше и больше. Съезди, милый мой, в Египет, пообщайся со священным Нилом, тебе это очень нужно, вернешься, а тогда... Не задерживайся долго... Долго — это невозможно. Считать дни на воле хуже, чем в заключении! Там это тебе задано, а здесь задаешь самой себе!

Голубев хотел Асю обнять, она в испуге отстранилась.

— Что ты, что ты! Разве можно?

— Почему же нельзя?

— Множество причин.

— Хотя бы одна?

— Я с одним получеловеком, я с лагерным начальником жила. — Ася заплакала, впервые за все время их встреч.

— Оставь! Ну оставь! Какое это имеет значение?

— Что ты говоришь! Подумай — какой ты мужчина, какой человек, если это не имеет для тебя значения? — Ася заплакала навзрыд. И вдруг улыбнулась: — Поезжай в свой Египет!

В дверь позвонили, Ася пошла открыть. Просунулись головы двух старушек-соседок, в один голос они спросили:

— А наша Мурочка не у вас?

Они были очень бдительны, эти старушки, очень одиноки и несчастны и по какому-нибудь поводу обязательно заглядывали к Асе всякий раз, когда подозревали, что Ася не одна.

Вернувшись из Египта, Голубев звонил и звонил Асе, телефон молчал и молчал. Телефон в детской больнице, где работала Ася, был занят или тоже молчал. Тогда Голубев поехал в Мытищи, в Асин дом — что-нибудь узнать у тех старушек, которые ко всему прочему вечно ссорились друг с другом, однако выйдя на лестничную площадку, были как одна, кричали в два одинаковых визгливых голоса.

Голубев звонил в Асину дверь — ни звука. Он стал звонить непрерывно в надежде, что надоест соседкам и они выйдут. И они вышли.

— Чего звоните-то? С ума сошли? Или как?

— Не знаете, где Ася? — спросил Голубев.

— А вы? Будто не знаете?!

— Придуривается! Много вас таких найдется — придурков!

— Не знаете, где Ася? — спрашивал Голубев.

— Они всегда вот так, которые ходят: когда не надо — здесь, когда надо — их на пушку нет!

— Где Ася?

— Где да где! Не базлай! Спроси по-человечески! Девятый день прошел, он, видишь ли, не знает!

На площадку вышла Мурка, большая, глазастая, зеленая с черным, хвост трубой. Потерлась о ноги Голубева.

— Ты что ластишься-то к каждому? — закричала одна из старушек.

— Пошла домой, дрянь такая! — закричала другая еще громче, и все трое они ушли, сильно хлопнув дверью.

В убогой комнатке Аси на тумбочке стояла модель башни Шухова. Голубев, навещая Асю, недоумевал:

— Сохранила? Чудом?

— У знакомых в Москве оставила, когда поехала в первую, в вологодскую, ссылку.

— Почему не у меня?

— Подумала: у родственников Шухова будет лучше...

Где теперь башенка? Изыщная? Снова у родственников Шухова? Или все еще на тумбочке в Асиной комнатке? Или в руках совсем постороннего человека? В кухне соседок-старушек?

Аси не стало, Голубев понял: она из тех женщин, которые матери!

Когда ученица четвертого класса Ася Горелова страстно полюбила своего соученика Колю Голубева, это была материнская любовь с заботами о здоровье любимого, о его отметках по арифметике и родному языку, с готовностью на каждом шагу жертвовать собою ради него.

В течение всей последующей жизни Голубев готов был подтвердить, что тогда-то оно и случилось — реальное, безо всяких выдумок счастье на этом свете, а семья Гореловых — он это понимал — приобретала все более явственные черты высшей школы всей его жизни.

Когда же этой семье не стало, единственно чему он мог посвятить себя — это гидрологии, той гидрографической карте, которую учитель Порфиша вывешивал когда-то рядом с классной доской и которую с Порфишиного разрешения они иногда уносили домой. Уносили, и в субботние вечера инженер Горелов за главного, Елизавета Семеновна, Ася и Голубев за рядовых участников на самом высоком уровне продолжали игру — игру в реки, озера, моря и океаны, в проливы и заливы. Ася очень переживала, если в этой игре Голубев не показывал блестящих успехов.

Звонок Голубеву:

— Сможете приехать?

Конечно, Голубев должен был первым позвонить главврачу детской больницы, но он все откладывал: завтра и опять завтра.

Детская была захудалой, переполнена ароматами, кровати в коридорах, в одних лежат дети мертвенные, с закрытыми глазами, другие рядом хулиганят.

Кабинетик главврача крохотный, тоже с запахами, главврач — высокий и нервный, руки трясутся. Похож на экс-чемпиона «кВч» по шахматам, на Рудольфа Васильева.

Первый вопрос Голубева:

— Она просила вас встретиться со мной?

Главврач кивнул, подвинул стул:

— Пожалуйста...

Встал, повернул в дверях ключ, снова сел за обшарпанный стол. Помолчал, сказал:

— Я знаю... знаю ваши отношения... Я советовал ей подождать вас. Не согласилась, сказала: «Нет... Надо сделать так, как я делаю!»

Голубев не понял, закружилось в голове, с закрытыми глазами он спросил:

— Скажите, где она похоронена?

Тогда отпрянул врач, руки его подпрыгнули на столе, губы скривились, он передохнул раз и другой.

— Уже? Так скоро? Откуда вам известно?

— Кто? Откуда? Куда? Когда? — выговаривал Голубев бессвязно. — Я вас не понимаю! Ни на йоту.

— Но я тоже не понимаю... Что-то не так, не так и не так... Ася уже умерла? Не может быть!

В этой горячке, в этой бессвязности Голубев уяснил: Ася не умерла, но, больная безнадежно (рак), уехала умирать в Сибирь.

В какую Сибирь, Восточную или Западную, Северную или Южную, главврач не знал и не хотел знать — Ася умоляла не разыскивать ее, а где-то там, далеко-далеко, Асю ждал ее сын-калека.

— Калека? Может быть, можно помочь?

— Господи! Откуда же я могу знать? Если не знаете вы!

— Асины соседки, две старушки, в один голос сказали мне: «Девятый день!»

— Две старушки и кошка? Они мечтают расселиться, занять Асину комнату и хотят, чтобы Ася умерла. Нет и нет — я квартиру не отдам! Ни за что! У меня две сестры и один врач без жилья! И вот что: Ася просила передать вам вот это... — Врач встал, открыл стеклянную дверцу аптечного шкафа, взял с нижней полки продолговатую коробку. — Вот это...

Открыли коробку, там была башня Шухова, модель.
Удивительно мало узнал Голубев об Асе при встречах в Мытищах.

— Там, — говорила она Голубеву, — у меня не было желания самопознавать... никогда не было. Ничего не было, кроме желания выжить и увидеть тебя. Хотя бы однажды. Выжила. Увидела. А дальше — что? Там я знала, как жить: через силу. А — здесь?

— Почему обязательно надо искать вину? Твою ли, потому что ты благополучен, мою ли, потому что моя жизнь жизнью не была? Как будто бы без чувства вины жить невозможно?

— Ты живешь в проблеме: природа! природа! Прекрасно! Что может быть правдивее? Ну а вся иная жизнь? Любовь? Что они для тебя — литература? беллетристика? что-то еще?

— Вернешься из древнего-древнего Египта и застанешь меня совсем-совсем другой. Такой, какая я есть на самом деле, — добрая, очень любящая тебя. А на эту, на сегодняшнюю, не смотри серьезно: взбалмошная бабенка. Возвращайся же скорее!

Так они пробивались к своему прошлому, оно и ничто другое было для них самым настоящим. Не получилось.

Глава шестая

В МИРЕ ЧИСТОЙ НАУКИ

Никита Хрущев? Он свел-таки счеты с Голубевым: Голубев перебежал Никите и Гамалю дорогу на подъеме из котлована Асуанской ГЭС, Никита тоже устроил Голубеву в Москве. В осенний сумрачный день, когда товарищи по партии освобождали Хрущева от почетных обязанностей генсека и Председателя Совмина, в тот день у Голубева и произошел приступ — спазмы сосудов сердца и головного мозга. Татьяна вызвала «скорую», но движение по многим улицам было перекрыто, товарищи по партии опасались восстания народа в защиту своего вождя.

Народ безмолвствовал, но Голубева только на другой день смогли доставить в больницу. Врачи сказали: «Положение сложное».

Голубев только-только, с 1 сентября, начал читать курс гидрологии студентам-гидротехникам. Читал по трудам классиков: Крицкий и Менкель, Великанов, Чеботарев, — он полагал, что студенты должны твердо усвоить основы, а тогда и в новшествах, в последних достижениях науки они разберутся. Однако этот принцип был осужден деканом: нельзя топтаться на месте! Особенное раздражение вызывали у декана Крицкий и Менкель, а он, декан, был влиятельным членом партбюро института.

«Такие дела... — размышлял Голубев. — Дела, дела, дела» — и, несмотря на советы врачей, выписался из больницы. Прочел еще три лекции, двух недель не прошло — снова слег. С делами явно не получалось, и пока он ехал в неотложке, он думал: «Ася? Жива — не жива? Искать ее — не искать? Узнавать — не узнавать о сыне-калеке?» О том, что сначала надо бы выздороветь, в голову не приходило. Голова работала странно, воспоминаниями Египет — Ася, Ася — Египет.

Отвезли Голубева в Боткинскую, оказался он в двухместной, довольно чистенькой палате, в корпусе № 7. Лежа в этой палате, Голубев еще и еще убеждался, какой он глупый: зачем был около двух недель на воле, если только и успел что поругаться с деканом (в присутствии студентов), кое-как примириться с ним (в отсутствие студентов), а еще успел задержать свою статью об Асуанской ГЭС — взял ее из редакции, чтобы внести уточнения, а вернуть не вернул, не успел. Вот и все результаты двухнедельного пребывания Голубева в качестве выздоровевшего человека.

Ну а теперь, в седьмом корпусе Боткинской, Голубев заметил: соседи-то по палате, они что делают? Оказывается, они умирают. Правда, не на его глазах, их погружают на каталку и отвозят в другую, по всей вероятности еще более чистенькую, палату, по всей вероятности, в одиночную? Нужно все-таки создать условия финальные.

Это наблюдение Голубева ничуть не смутило. Проект-то Нижней Оби он остановил? Остановил! Любимую женщину потерял? Потерял. И не было у Голубева ни малейшего беспокойства за Голубева: всему свое время!

К тому же два соседа по палате — сперва один, через пять дней другой — подали ему пример, рассуждая здраво: когда мысли быть свободной, если не перед своим окончанием? Когда она не повязана будущим? Пользуйся и думай в исключительно благоприятных условиях! Пользуйся, не прозевай!

Первым его собеседником оказался литературовед и театровед Азовский — цирроз печени. Печень Азовского увеличивалась не по дням, а по часам, он этим пользовался — прислонял к печени фанерную дощечку, на дощечку лист бумаги и писал, писал, торопился, иногда отвлекаясь поговорить с Голубевым.

— *Invitum qui servat idem facit occidit!* — говорил Азовский. — Кто спасает человека против его воли, поступает не лучше убийцы!

— А сегодня я не хочу жить, и меня не спасут, а завтра я жить захочу? — спрашивал Азовского Голубев.

— Сначала надо трижды получить от человека подтверждение, с промежутокми не менее часа, трижды! — со знанием дела отвечал Азовский.

— Тоже из латыни?

— Это уже мое собственное. Мудрые изречения для того и нужны: дровишки для моего костерка. А я хочу человеку доверять: если он подтвердил трижды, значит, он прав. Без доверия не было бы искусства.

— И театра не было бы?

— Ни в коем случае! Можно ли представить себе артиста, которому не верят зрители?

И опять Азовский цитировал, теперь уже Мишеля Монтеня из труда о том, «как надо судить о поведении человека перед лицом смерти». Еще он советовал: смотрите театр Любимова. Обещаете?

— Мне обещать рискованно. Сам себе я уже ничего не обещаю, и это очень приятно — без самообещаний, без риска самообмана. Я и не знал, что это так приятно!

— Запомните: риск — благородное дело, а всякое обещание — это риск. Нет-нет, вам нужно обещать самому себе. Сужу по вашему виду, по глазам — нужно!

— Врачи...

— Наплюйте! Другим никому не обещайте, самому себе — обязательно! Поняли? Обязательно! — И все тем же прерывистым голосом: — Михоэлс убили. Несчастный случай в Минске — это ерунда, не верьте. Разделались с человеком. Знаете ли, на всякий случай у нас так много делается, так много убивается — представить невозможно! С Михоэлсом мы что теряем? Театр Древней Греции — раз, мистерию — два, театральную живопись — три, всего не перечислишь — четыре.

И Голубев неожиданно подключился к Азовскому, к его предумыслию, и вошел в его рассказ.

— Фантастический человек Михоэлс. Правда? Насколько я знаю.

— Ну какое там? Фантастических людей нет, не может быть: в жизни гораздо больше фантазий, чем в театре. Потому люди и не могут без театра, что хотят приблизиться к жизни. Извините, пожалуйста, мне нужно успеть записать кое-что. К тому же и утомительно мне теперь — долго разговаривать.

Азовский приложил к собственной печени фанерку, на фанерку — лист бумаги, стал писать, а Голубев все-таки пожаловаться на Горького — зачем было Горькому прославлять Беломорско-Балтийский канал? Зачем прославлять товарища Сталина: вот он, товарищ Сталин, с красным карандашом в

руках бодрствует всю ночь над географической картой, исправляет природу — рски соединяет, осушает озера, сводит с земли лишние леса... А разве можно? Разве можно жить в природе, а заботиться о себе, а не о природе — глупо же? Одним словом, Горький и Сталин — необыкновенный альянс, причем антиприродный, и вот Горький вдохновляет Сталина...

Голубев не сомневался в том, что Азовскому было бы интересно кое-что и о Пятисот первой узнать, но — что поделасшь? нет у человека времени узнавать, ему бы успеть записать кое-что, что он уже знает, вот он и шпсгал, записывая: «Если и в пещерах мы находим наскальные изображения, значит, нам...»

«Значит, нам», — тоже прошептывал Голубев, потом стал отдыхать — у него было время отдохнуть, он-то ничего не записывал...

Вскоре медсестра и санитарка переложили кости, кожу и печень Азовского с кровати на каталку, в ноги приспособили фанерную дощечку и стопочку бумаг, укатали все это в другую, должно быть, одноместную палату.

Голубев подумал: Азовский очень легонький, две женщины с ним, можно сказать, шутя управились, а вот с ним, Голубевым, возни будет побольше. А еще, посмотрев на опустевшую кровать Азовского, он подумал: «Свято место не должно быть пусто. Кого-то Бог пошлет?» И верно: эти же две женщины перестелили кровать и прикатали на нее другого, тощего, но все равно каким-то образом солидного человека, — и тот медленным голосом представился:

— Поляков... Поляков Владимир Дмитриевич.

Голубев тоже назвался. Поляков освоился на новом месте, и началась беседа.

Поляков Владимир Дмитриевич, под семьдесят лет, до недавнего времени был начальником финансового управления крупного машиностроительного министерства, бюджет был крупный, непосредственное начальство над ним — очень крупное, Голубев приуныл наверное, Поляков тоже не кто иной, как Большой Начальник.

В действительности же Поляков оказался очень большим эрудитом, Голубев, кажется, и не встречал таких.

Он спросил:

— Так вы были в Египте? Недавно?

— Недавно.

— Я в Египте не был. Никогда. Но рассказать об этом государстве, о его искусстве, истории я могу.

— О пирамидах?

— Почему бы нет? Эпоха Рамзеса Второго. Занятная личность Рамзес Второй... И прожил-то тридцать четыре года, а успел, успел...

И началась беседа, и Голубев все больше убеждался, что он мало что там, в Египте, увидел. Поляков, который там не был, тот увидел.

Голубев восхитился:

— Какие университеты кончали?

— Две школы: высшее коммерческое училище и духовную академию. Плюс еще один университет. Краткий. Трехмесячный.

— Какой-какой?

— Э-э-э, голубчик, нет у вас исторического чутья: тюрьма, вот какой! Лубянка, вот какой! Год восемнадцатый, вот какой! Соввласть! Соввласть дала мне лубянское образование. Озаботилась, спасибо ей. Помираю, а заботу помню. И благодарю.

Оказалось: в восемнадцатом году Поляков сидел в огромной переполненной камере, человек пятьдесят заключенных — профессора, генералы, политические деятели, министры, коммерсанты, священники, и восемнадцать часов в сутки они внимательно слушали лекции друг друга.

— Так много?

— Есть очень хотелось. Очень. Тюремный паек был даже побольше, чем на воле, все равно голодно, поэтому задачей лекторов было отвлечь слушателей от размышлений о еде. Кстати, вы — о чем бы вы хотели послушать? На что хотите отвлечься? Кроме Египта?

Поляков не только говорил, он прекрасно слушал Голубева, слушал о реках, о роли рек в истории, о нынешней их трагедии. Трагедия нынешняя, но неизбежная, как бы даже предусмотренная самой природой... Дело в том, что реки — продукт климата, но, возникая в одном климате, они эмигрируют в совершенно другие климатические зоны, а это счастье для людей и несчастье для рек... Родится река в горах, ей бы там и оставаться, но она течет в равнину, а тут и начинает терзать ее человек: разбирает сток на орошение, на водоснабжение городов, сбрасывает в нее все свои экскременты, бытовые и производственные, и в океан уже не река впадает, а сточная канава.

— Вы согласны с этим?

Поляков был согласен. Поляков, поговорив три дня об истории (насчет современности не очень-то распространялся), предпочел роль слушателя, и стоило Голубеву помолчать с полчаса, он делал жест рукой:

— Ну? Чего же вы молчите? Или уже?..

Мечтать о том, что и третий собеседник будет таким же интересным, как первые два, Голубев не решился. И верно: следующим соседом Голубева оказался боксер. Он, как только его вкатили в палату, принялся кого-то нецензурно ругать, какого-то судью первой категории, и ругал до тех пор, пока его не выкатили. Когда стали выкатывать, он замолчал.

И дальше было... Голубев после вечернего укола уснул, ночью проснулся — на соседней койке женщина. Без памяти. Стонет громко. Судорожно двигает руками. Голубеву стало страшно: а если Ася — так же?! Чего проще, но смерть Аси Голубев не мог себе представить, ему казалось, что Ася если и умрет, то без смерти.

Голубев нажал кнопку, вызвал сестру. Сестра сказала:

— Чем недовольны-то? Это же ненадолго.

— Все-таки я прошу.

— Все чего-нибудь просят, и вы туда же... Не все ли вам равно?

— Все-таки...

— А ее? — показала сестра на умирающую. — Ее нынче некуда, все койки везде заняты. В коридор? Да?

Сестра сделала Голубеву еще один укол, он тотчас уснул, а когда проснулся — на соседней койке уже лежал мужчина. Не разговаривающий. Кто такой, Голубев так и не узнал.

В общем, столь же интересных соседей, как первые двое — Азовский и Поляков, — больше не было. Но — нечего Бога гневить — все-таки Голубеву повезло.

Голубева навещали родные. Конечно, Татьяна прорывалась через большие заставы чуть ли не каждый день, изредка — сын и дочка.

Из разговоров во время свиданий, отрывочных и не толковых, с распросами о самочувствии, но без слез (плакать в семье Голубевых не любили), — из этих разговоров стало ясно, что сын Алешка налаживается в США. В последние годы в Штаты выезжали всего-то несколько студентов, но Алешка не унывал: «На то и конкурсы, чтобы их проходить».

У Голубева был бзик: ему хотелось попросить сына подсчитать продолжительность времени, за которое частица воды от истока Волги достигает Каспия, достигает, когда свободного течения уже нет, когда сток полностью зарегулирован водохранилищами. Для Алешки с его вычислительной техникой это дело было простым, вот только исходные данные собрать, но Голубев сына стеснялся. Нельзя было ему мешать, если уж он готовился к такому трудному конкурсу.

У дочери своя мечта: стать конструктором женской одежды. Дочь сдавала экзамены и посещала отца редко.

Татьяна, умница, с первого взгляда поняла, что это за палата такая привилегированная — двухместная, бывший советский посол в Австралии лежит в соседней общей, а ее муж — в двухместной! Но чтобы хоть словом, хоть намеком о своей догадке — ни-ни! Конечно, она плакала по ночам, но днем при детях — ни-ни! Пусть дети учатся на хорошо и отлично! Быт в семье устроен, дети чистенькие, вежливые, без скандальных происшествий, если бы и все молодое поколение было таким же.

О прошлых встречах Голубева с Асей Татьяна тоже догадывалась, а вот что Ася исчезла так же неожиданно, как появилась, не знала.

Человечество не может быть истолковано с точки зрения естествознания. Если изучить досконально одного слона или одну мышь, тем более если провести эксперимент над десятком особей — можно составить представление о всех на свете слонах и мышах. Но разве можно по десятку представителей рода человеческого понять человечество? Анатомия — общая, физиология — более или менее, но цвет кожи уже разный, способы общения никак не совпадают (разные языки), развиты разное. Одним словом, Голубев сколько ни зажмуривался, чтобы представить себе человечество, никогда не получалось. Даже теперь, когда никакие заботы ему не мешали, не получалось.

А вот земной шар — пожалуйста, никаких трудностей! Вообще географические видения — земля, ее пейзажи, тем более ее реки — приходили к нему нынче гораздо более очевидными, чем прежде.

Странная болезнь спазмы сосудов сердца и головного мозга, схватит — ни вздохнуть, ни охнуть, ни подумать, только одно желание: поскорей бы! Потом отпустит, и лежишь как ни в чем не бывало, и мозг начинает накручивать на полную катушку, и чувства вопят, требуя своего часа, торопясь выразиться, отметить еще на этом свете.

Врачи объясняли: это поездка в Египет виновата. В Египет по долгу службы советские люди, конечно, должны ездить — мы же там плотину строим в городе на букву «А», — но ездить туда надо или на короткое время, или на длинное, чтобы две перестройки организма (отсюда — туда, отсюда — сюда) не накладывались одна на другую.

Наслушавшись врачей, Голубев попросил Татьяну сделать ему выписку из Большой Советской Энциклопедии на букву «Б»: болезнь.

Татьяна просьбу выполнила, и вот какие сведения Голубев получил:

«Возникновение болезни связано с воздействием на организм неблагоприятных условий внешних (в том числе и социальных условий)»,

«Буржуазная наука, стремящаяся прикрыть губительное влияние капитализма на здоровье трудящихся, затушевывает роль социально-экономических факторов в происхождении Б.»

«Советское здравоохранение, направленное прежде всего на устранение внешних условий, могущих вызвать Б., принципиально и по существу отличается от здравоохранения капиталистических стран».

И т. д.

Между тем уже восемь приступов спазмов имело место, они шли по нарастающей кривой, со рвотой, с сердечными болями, с посинением рук и ног и мало ли с чем еще. Очередной приступ Голубев вполне обоснованно каждый раз считал последним.

Девятый пришелся на воскресенье, лечащего врача — милой, крупной, добросовестной женщины — в отделении не было, была дежурная, со стороны, из Института имени Мясникова, молоденькая и самоуверенная.

Она пришла, отрекомендовалась:

— Меня зовут Полиной Николаевной, я из Института Мясникова. Как вы себя чувствуете?

По привычке, кажется, сделала глазки.

— Приступ начинается... — кое-как ответил Голубев. — Девятый.

Татьяна сидела рядом ни жива ни мертва, сосед по койке, совсем еще молодой врач-кардиолог из больницы № 29, ни с кем не разговаривал и никого не слышал...

Полина Николаевна удивилась:

— Девятый? Ух как много! И у вас до сих пор никто ни одного не снял? Странно... Ну, мы сейчас вам этот, девятый, снимем... Сейчас я принесу таблетки, выпьете две и уснете. Проснетесь в прекрасном состоянии.

Девятый наступал, врача-соседа вот-вот должны были укатить, Татьяну попросили выйти, она вышла, поверив Полине Николаевне. Голубев же не верил ей ни на йоту.

— Александр Федорович в таких случаях настоятельно рекомендовал вот это... Очень простое средство... — сказала Полина Николаевна, протянув Голубеву две таблетки и стакан с водой. — Запейте.

— Какой еще Александр? — спросил Голубев. — Какой Федорович? Уж не Керенский ли?

— Мясников, вот какой! — рассердилась Полина Николаевна. — Вам как сердечнику полезно знать...

— Керенский тоже был Александром Федоровичем...

Полина Николаевна сокрушенно покачала головой (должно быть, она не знала, кто такой Керенский) и заставила Голубева проглотить таблетки, натянула на Голубева сбившееся одеяло.

— Сейчас вы уснете, вечером (а вечер уже был, часов шесть-семь) мы поставим вам укольчик, и ничего этого больше не будет, никаких приступов!

— Спасибо... — проговорил Голубев, — большое, большое спасибо. — И закрыл глаза. — Будьте здоровы, дорогая...

Уснуть он не уснул, но подступивший было спазм явственно стал отступать. Голубев не верил, факт оказался фактом.

Таблетки, которые дала ему Полина Николаевна, онпил затем с месяц, они были в большом ходу у Мясникова, но в других больницах почему-то не применялись, не были зафиксированы для подобных случаев советским здравоохранением, хотя и были общеизвестны как средство успокаивающее.

Таблетки назывались триоксазин.

Движение материи то и дело воспринимается нами как движение без материи, что-то вроде световых электромагнитных волн в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом.

Вот и революции — тоже движение не реальной, а придуманной материи, мекханика вне и помимо географии. Россия к тому же скоро век как стремится к движению впереди самой себя: «Ну и ну! — удивлялся Голубев своим размышлениям. — В чем смысл-то? В природе же такого смысла не может быть! Природа никогда не выдумывает и не опережает саму себя!»

Умирает человечество, но мало кто этого боится. Боятся за себя и своих близких, но если умирает человечество — это человеку до лампочки.

И двухместная палата с Азовским, Поляковым и Голубевым показалась Голубеву не чем иным, как миром истинной, миром чистой науки. Здесь-то наука ничем не была загрязнена, ничем не была перекрыта, была несравненно свободнее, чем в тематиках всех на свете НИИ.

Очень мало кому из ученых — разве только Вернадскому? — удавалось думать на итог и на конечный результат, так, как будто думаешь в последний раз.

Голубева перевели в общую палату — он уже вставал, выходил на улицу, гулял между десятком-другим угнетенных березок, между корпусом «ухо — горло — нос» и моргом, но все равно считалось, что он «лежит», даже гуляя. К общей палате — десять коек, — к дискуссиям и анекдотам ее обитателей доверия у Голубева никакого, скорее чувство презрения: «И эти туда же!»

Он знал, что в общей он полегит без последствий, а вот из двухместной он вынес представления о собственном существовании как о чем-то случайном: есть в твоей судьбе ряд счастливых случайностей — ты жив, нет — прости-прощай! О чем же нынче было и подумать, что припомнить, если не эти случайности?

Было дело, его, студента первого курса, вызвали в ГПУ и потребовали составить списочек тех, кто почему-то недоволен советской властью. Потребовали и отпустили на сутки — хорошенько подумать.

Голубев подумал и придумал: на букву «А» он выписал десять фамилий из списка лиц, лишенных избирательных прав, из «списков лишенцев»,

развешанных по заборам и опубликованных в газетах. Он принес эту выписку сотруднику на следующий день.

— Ты этих людей знаешь? — спросил сотрудник.

— Нет, не знаю.

— Так почему же ты думаешь, что они недовольны советской властью?

— А почему они должны быть довольны, если они — лишенцы? Их надо восстановить в правах, тогда они будут довольны.

— Ну, — сказал этот сотрудник, — ну ты чудак! Иди, чудак, посиди, еще подумай. — И отправил Голубева в подвал, в темную одиночную камеру, крохотную, без стола, без стула, без кровати.

А Голубеву — дурак дураком — было интересно! Он много слышал о тюрьмах, но никогда в них не бывал, и у него было ощущение, что судьба его не решается в этот час — будут и другие, вполне благоприятные часы.

Потом Голубева снова отвели к сотруднику (следователю), тот сказал:

— Теперь понял, какой будет с тобой разговор? Или ты не знаешь, что указания советской власти надо выполнять? Иди домой и еще подумай, завтра в четыре часа дня будь здесь с настоящим списком.

На другой день в четыре Голубев подал следователю список из десяти фамилий на букву «Б» и опять побывал в камере. Это повторялось с неделю, и Голубева... отпустили.

Отпустили, и все. Спустя год ли, два ли Голубев оказался в городе Бийске Алтайского края, на берегу очень красивой реки Бии, шел по главной улице, вдруг что-то его остановило... Он огляделся — что? Он стоял рядом с витриной с фотопортретами детишек и взрослых, а в упор смотрел на него черноглазый, с правильными чертами лица, лет сорока — сорока пяти мужчина потрясающе знакомый, фамилии которого Голубев, однако же, не знал...

А это был тот человек, который допрашивал его, требовал списочки антисоветчиков, сажал его в камеру, когда он приносил списки лишенцев, но потом взял у Голубева подписку о том, что он никогда никому не скажет обо всем происшедшем, и отпустил.

Ну а сколько же чудес, сколько невероятных случаев привело в свое время Голубева туда, где Голубев обязательно должен был быть? На Ангальский мыс, откуда он и начал как настоящий гидролог.

Во время войны с Финляндией, зимой 1939-го, начинающего инженера Голубева вызвали с работы, из проектно-изыскательного бюро, в райвоенкомат и вручили повестку о призыве в кадры 20-го стрелкового полка.

В райвоенкомате было тихо, спокойно, немногочленно — призывался Голубев, а с ним вместе тоже молодой почвовед Курочкин, выпускник Пермского университета, тот получил назначение в 22-й стрелковый полк. И тому и другому надлежало зайти в штаб корпуса, зарегистрировать свои повестки, затем проследовать в старинную городскую крепость, к месту формирования полков.

Беседуя о том о сем, непринужденно знакомясь, прошагали Голубев и Курочкин до штаба корпуса, зарегистрировались там у щеголеватого писаря, а когда пошли в крепость, заметили: повестки перепутаны — теперь Голубев назначался в 22-й полк, Курочкин в 20-й.

Голубев оказался дисциплинированнее, он уговаривал Курочкина: вернемся в штаб корпуса, исправим ошибку писаря, — но Курочкин отмахивался: не все ли равно!

В крепости же стоял содом — плакали женщины, толкались призывники, какие-то командиры кому-то подавали команды.

Кое-как и они протолкнулись к дежурному (теперь они были в здании военного училища), первым подал свою повестку Курочкин, и дежурный сказал ему:

— Двадцатый? Вниз, в подвальный этаж! Быстро!

Голубеву же было сказано:

— Третий этаж!

Ночь Голубев провел на полу огромной классной комнаты. Людей здесь была тьма, все спали-храпели, кто подстелив под себя шубу, а кто шубой

накрывшись. Голубев тоже спал крепко, но один раз проснулся: со двора раздавались грохот, топот, крики, команды. Это его никак не касалось, и он уснул снова.

Утром стало известно: ночью 20-й стрелковый был отправлен на фронт.

Полк же 22-й стрелковый, запасной, оставался в крепости, формировал роты и батальоны и отправлял их туда же на фронт вслед за 20-м. Голубев командовал сначала одним, потом другим, потом третьим взводом добровольцев, которые потому были добровольцами, что были партийцами, их призывали как самых стойких и самых надежных.

Какое случилось недоразумение, думал Голубев: на фронт уходили люди пожилые, заводские мастера, паровозные машинисты и ремонтники, агрономы, а учили их в 22-м запасном — кого месяц, кого две-три недели — молоденькие, вроде Голубева, младшие лейтенанты. Младшим лейтенантам было наказано учить требовательно, чтобы рядовые браво кололи штыками (винтовки образца 1891 года) соломенные чучела, чтобы они, рядовые, не понарошке кричали «ура!», чтобы во взводах не было разговоров на тему о войне — зачем она и почему? — на это есть политруки, они знают зачем и почему.

И Голубев исправно командовал взводом — дисциплина должна быть дисциплиной, война войной, это он твердо знал, в вузе прошел высшую вневойсковую подготовку и два раза по два месяца бывал на сборах в учебных лагерях.

Но одно событие вызвало в нем смятение — это когда роту построили в две шеренги и политрук громко, отчетливо прочел перед строем приказ по Вооруженным Силам СССР, в котором говорилось, что белофинны, сделав вид, будто отступают, заманили 20-й полк в ловушку и уничтожили до последнего человека. Только командир дивизии (генерал-майор Виноградов, помнится) и еще два или три человека на самолете улетели в тыл. Командир дивизии был приговорен к расстрелу.

Подпись под приказом была товарища Сталина.

Политрук читал в полной тишине. Командир роты подал команду «р-р-разойдись!», рота молча разошлась, никто ни слова, покурить и то не спросились, а несколько дней спустя по казарме прошел слух: 20-й полк был вооружен кое-как, не у всех бойцов были винтовки образца 1891 года, полк не был одет, обут в ботинки и кирзовые сапоги, а морозы стояли — сорок по Цельсию; 20-й полк не прошел никакой подготовки, из крепости в вагоны, из вагонов в атаку — такой был у него маршрут.

Еще через месяц, в марте, война кончилась, Голубев демобилизовался.

А спустя год-полтора проходила перерегистрация среднего комсостава запаса, запасники получали повестки, Голубев не получил, явился без повестки, с военным билетом.

Тот же самый оказался в райвоенкомате писарь, который выписал Голубеву направление в 20-й полк, а почвоведу Курочкину в 22-й. Писарь ничуть не изменился с тех пор, служака в малом чине и с большой амбицией, был так же подтянут и так же малограмотен. Он взял у Голубева военный билет, поискал в шкафу его личное дело, не нашел и принялся на Голубева кричать:

— Безобразие: почему это вашего дела у нас нету? Почему, товарищ младший лейтенант?

— Безобразие не у меня, оно — у вас...

— У ко-го? Вы где разговариваете? Дисциплина где у вас? Дак мы дисциплине научим!

Голубев писарю посоветовал:

— Посмотрите мое дело по списку Двадцатого полка.

— Много понимаете! С Двадцатого никто не вернулся. И что вам Двадцатый, когда вы, такой грамотный, служили в Двадцать втором? В военном же билете записано: Двадцать второй!

— Посмотрите, посмотрите...

Писарь открыл другой шкаф, Голубев прочитал надпись по верхней полке «Личные дела погибших», писарь быстренько пробежал пальцами по буквам «А», «Б», «В», «Г» — вынул дело Голубева.

— Ну, посмотрим, посмотрим! — сказал писарь. — Сейчас же идите на комиссию по перепатентации!

В комиссии из трех человек, все в штатском, председателем был человек лысый, толстый, устало-безразличный, «дело» Голубева было у него в руках, он долго перелистывал его, на Голубева не глядя, потом стал спрашивать о том, что и в «деле» можно было прочесть: образование? кем работали? семейное положение? И о том, чего в деле не было, тоже спросил: печатные работы? на тему? на изысканиях были? под какие объекты? с метеорологическими наблюдениями знакомы? с зондированием атмосферы, в частности?

Еще были вопросы, потом лысый, толстый и усталый человек устало сказал:

— Обождите в коридоре.

В коридоре Голубев потолкался среди командного состава запаса, несколько человек тут были из числа не получивших повестки. Вскоре его позвали обратно, и, стоя руки по швам, он выслушал решение аттестационной комиссии: младшего лейтенанта Голубева переквалифицировать из командира стрелкового взвода в командира взвода гидротехнического.

Если бы не тот случай, как бы оказался Голубев в створе Ангальского мыса?

На Ангальский Голубев улетел из Тюмени. Андреевский аэропорт — это деревянный причал на озере, моторная лодка и гидроплан у причала, фанерная будочка на берегу. Обслуживающий персонал — хромой сторож. Гидроплан, если правильно помнил Голубев, это летающая лодка «МП-24». Командир — пилот Степанков.

По ранению Степанков был демобилизован с фронта, прихрамывал и летать не имел права, но летал: два ордена Красного Знамени имел человек.

Лодка старая-старая, летала чудом и только благодаря терпению экипажа — Степанкова, бортмеханика и бортрадиста.

Утром экипаж и пассажиры — Голубев и шестеро плотников с топориками, ящичками для инструмента, с домашним кое-каким скарбом — усаживались в самолет. Степанков давал команду, бортмеханик запускал мотор, бортрадист надевал наушники, и летающая начала метаться по озеру. Разговаривать нельзя — грохот страшный. Лодка гоняла, гоняла, но оторваться от воды не могла... Приподнималась на метр, не больше, и тут же плюхалась обратно. Лодку подчаливали к деревянному помосту, бортмеханик возился в моторе, говорил «еще попробуем», и гонка по озеру возобновлялась.

Вечером все усаживались в грузовую машину и, утопая в дорожной грязи, пробивались в Тюмень — ночевать. (Ночевать на Андреевском озере было негде.) Наутро по той же грязи волокли машину на Андреевское.

Так двенадцать суток.

Голубев убеждал Степанкова:

— Попросимся на сухопутный аэродром, а?

— Раз надо, значит, надо... — отвечал Степанков, пожимая плечами. —

Приказ: все для фронта!

— Когда-нибудь взлетим, — подтверждал бортмеханик. — Не может быть, чтобы не взлетели.

— Есть команда взлететь! — подтверждал бортрадист.

И на тринадцатый день лодка взлетела. И сверху стали видны леса, речки, поля, деревни, стала видна земля. Голубев удивлялся: какая большая! За двенадцать прошедших дней земля для него замыкалась в пространстве Андреевского озера и в протяженности грязно-жидкой дороги от озера до Тюмени. Но вот Большая земля вдруг стала двигаться ему навстречу, а солнце — навстречу земле.

Вот уже и сказочно-белый тобольский кремль, и тобольские постройки на Чувашском мысе при впадении реки Тобол в Иртыш. Аэропорт на другой, не обжитой стороне Иртыша, там предстояло приводниться, и, подумал Голубев, не так это просто для лодки, которая летала, но взлетела чудом.

С высоты метр (побольше, поменьше — трудно было различить) лодка шлепнулась на воду, покачалась, подрожала и тихонько подчалила к берегу. На Андреевском взлетели двенадцать дней; сколько дней будем взлетать в Тобольске? — возникал вопрос.

Однако в Тобольске лодку как-никак подремонтировали, и она взлетела в тот же день. Слава Богу!

Самарово — это селение при впадении Иртыша в Обь.

Голубев вышел на берег, поднялся на высокий яр. Слияние больших рек — всегда явление, а таких, как Иртыш и Обь, — явление редкостное. Голубев любовался слиянием и вдруг увидел: «МП-24» бегаёт по воде, она взлетает! Пытается взлететь!

Голубев скатился под откос, стал метаться по берегу, размахивать руками, кричать, лодка нехотя пристала к берегу, ему открыли дверь, Голубев ворвался в лодку, закричал:

— Нахалы! Не видите, что человека нет? Без человека взлетаете, нахалы!

Степанков ему объяснил: если машина взлетает, значит, надо лететь! Может, она через пятнадцать минут откажется подняться — что тогда? Ты подумал, что тогда?

В Березове шестеро плотников с топориками, ящичками, кое с каким скарбом выгрузились: здесь они должны были что-то ладить и строить. Лететь бы до Салехарда без перегруза, налегке, но тут потерялся бортмеханик, загулял бортмеханик, увела бортмеханика какая-то шикарная березовская дама — был, и не стало!

Пять дней в муторном, тягостном ожидании последнего перелета Березово — Салехард Голубева не покидало предчувствие еще какого-то события, еще случая, и случай случился.

Когда плотники сошли в Березове, все шестеро, начальник порта и командир Степанков придумали догрузить самолет картошкой: в Березове овощ растёт, в Салехарде нет, в Салехарде она много дороже.

И вместо шестерых плотников в самолет втащили двенадцать мешков картошки, и когда вернулся из загула бортмеханик и стали подниматься — нет и нет, машина снова отказывала, проклятая... Она металась по воде, вслед металась моторка, из моторки начальник березовского аэропорта показывал выразительными жестами: выбрасывайте картошку! выбрасывайте, сволочи! — но ничего другого как жестикулировать он не мог, а лодка неожиданно взяла и взлетела! И командир Степанков сделал крылышками «привет».

Но уже спустя полчаса, не более, появился запах горелого в кабине. Огня не видно, дыма нет, запах все сильнее, а Голубева греет снизу, из-под сиденья. Слева чуть впереди от него — командир, впереди прямо — бортмеханик, слева и тоже впереди — бортрадист, сиденья у всех низкие, ноги вытянуты вперед, очень неудобно, особенно если греет и греет снизу.

Механик вертится на своем сиденье, подталкивает командира, командир пожимает плечами: что поделаешь?

Механик передает записку радисту, Голубев, заглядывая, читает: «Передай Салехард один цилиндр отказал» — крупно написано синим карандашом. Так же крупно, но красным пишет и бортрадист: «Передать не могу радио отказало».

Голубев сползает с сиденья и полулежа откидывает его: не под ним ли горит? И верно, под сиденьем — огонь, на свободе он вспыхивает весело и ярко.

Голубев бросает свою куртку-кожанку на радужный огонь, пытается огонь придавить-потушить, ногой толкает радиста: оглянись!

И радист тоже бросает свою куртку на огонь, и, толкая друг друга, они валяются на полу и тушат пожар.

Так оно и есть: под сиденьем Голубева загорелась проводка, недаром его грело и грело снизу. Грохот, чад, дым. А снаружи солнечный день, в этом дне лодка и летит на высоте метров сто — сто пятьдесят, уже не по прямой, но зигзагами вдоль речушек. В тундре речушек множество, в любой момент можно приводниться.

В порту Салехард плюхнулись с высоты метра полтора. Прислушались: за бортом легонько плескалась вода речки Полуй. Тут же и моторка послышалась, и командир Степанков строго сказал своему экипажу:

— Сам товарищ Иванов, начальник порта, нас встречает. Уже пронюхал насчет картошечки, гад, передали ему, гаду, из Березова! Вы, ребята, тут подождите, морды поскоблите хоть сколько-то — грязные же, как черти, — а я выйду поговорю с товарищем Ивановым.

Снаружи голос: «Эй вы там! Живые, нет ли?» — и Степанков открыл дверь, ступил на лестницу, поданную с моторки.

— Командир?! — удивился начальник порта Иванов. — Это кто же тебя коптил-то?

Ответа Голубев не расслышал, голоса доносились негромкие, доверительные, как бы за чашкой чая шел разговор, потом Степанков постучал в фюзеляж и как ни в чем не бывало подал голос:

— Ребята! Вы чего это там закрылись-то? Сидят ни-ни, будто неживые. Выходите! Быстро!

— Вылазьте! — подтвердил начальник Иванов. — Ого-го! Черномордые-то какие! Картошечку оставьте в машине. С ней, с картошечкой, ничего не случится!

Таким-то вот образом двадцать лет тому назад, через все эти случаи и удачи, прибыл Голубев в Салехард. На другой день он уже брал расход Оби в Ангалском, в заколдованном створе. С борта катера «Таран» брал.

Еще через два дня Голубев в Оби тонул (не утонул). Но это дело было обычное в те почти безмоторные времена, обычное для гидролога, который осваивает новый створ протяженностью пять с половиной километров. Боткинская все это восстанавливала в его памяти, когда он гулял между корпусом «ухо — горло — нос» и моргом.

Ну вот: жена Татьяна нахлобучивала на Голубева шапку, а сын Алексей стоял в дверях кардиологического корпуса и повторял:

— Поторапливаться, батя, надо. Надо поторапливаться, такси ждет, водитель волнуется. Он сильно волнуется!

Уселась в такси. Поехали.

Татьяна пребывала в тихой и скромной радости, Алешка читал конспект лекции какого-то знаменитого физика, читал, пошевеливая губами и рыжеватым чубом. Чубастый вырос парень.

Аленка готовилась дома к возвращению отца — стряпала вкусненькое, это она умела и любила.

Голубев же возвращался если уж не с того, так и не с этого света, из некоего промежутка между тем и другим. Славный был промежуток, научный, без выбросов, без загрязнений и перекрытий. Событийность промежутка состояла в одной-единственной и неизменной альтернативе: жив — мертв. И все. Азовский и Поляков отправились туда, а Голубев — сюда. По чьей-то ошибке? Ошибка похожа на другую: когда почвовед Курочкин, а не Голубев погиб в составе 20-го полка.

«Жива! — думал об Асе Голубев. — Найду, — думал он. — Ася не от болезни скрылась в Сибирь, от своей любви».

«Нет, не найти...» — думал он чуть спустя...

Не успел Голубев поговорить о ноосфере с Поляковым, как Поляков умер. А поговорить на тему все еще хотелось, и Голубев, уже за пельменями, попытался объяснить Анюте, девочке, признаться, малограмотной, кое-что о ноосфере.

Анюта пришла в недоумение:

— Отец! Ты что это? Пельмени, что ли, невкусные? А я-то старалась!

Алексей отца косвенно, а все-таки поддержал:

— Чего бы это Богу существовать ради пустого космоса? Без планеты Земля? — спросил он. — Сам по себе космос и без Бога обойдется! Ну а если так — у Земли должно быть будущее.

В целом же никудашное это занятие — доживать свой век. По-хорошему век и сам должен кончиться, интеллигентно и вовремя, в таких именно собеседованиях, которые происходили у Голубева с Азовским и Поляковым. Собеседования прошли, а век не кончился. Странно!

Ну что это государства выпендриваются? То задумывают строить царство Божие на земле без участия Бога, а то делают ставку на космос: наведем новый порядок в космосе, он механически будет воздействовать и на Землю.

Ася когда-то сказала: уж если утопия, тогда — религиозная.

Не так уж и трудно быть деятельным на земле и в космосе, будучи чьим-нибудь иждивенцем. Иждивенцем природы прежде всего. Но если иждивение утеряно?

Момент достойного прости-прощай — это когда настоящее тоже становится прошлым. Главное — не упустить момента. Нет-нет, не следует задерживаться здесь надолго, утверждался в мысли Голубев, лет семь-восемь — никак не больше!

Вернадский Владимир Иванович. Дар синтеза встречается гораздо реже дара аналитического, что же касается Вернадского, тот был столько же аналитиком, сколько и синтетиком, создал частные науки — геохимию, биогеохимию, радиогеологию, — но в то же время множество наук соединил в природное целое.

Алешка: подай ему Нильса Бора! А Голубеву необходим Вернадский, разные потребности, но разные потребности — это уже разлад.

Алексей понятия не имеет о том, что такое чистая наука, а Голубев — только что оттуда. Голубев знает, что для природы нет положительных и отрицательных величин, есть только критические состояния вещества. Только одна величина имеет для природы знак, знак отрицательный, — это человек, но собственный сын Голубева Алешка полагает себя величиной, во-первых, истинной, а во-вторых, безусловно положительной.

Ноосфера — такое состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее, биосферы, развития. Подумать только — геологической силой становилась черепная коробка Голубева, и как тут обойдешься самим собой? Без Вернадского — никак! Тем более что открыватель — это всегда ответчик, а для каждого истца ответчик — необходимый персонаж.

Но вот еще в чем дело: в одно время с Вернадским в России жил и творил другой товарищ — товарищ Сталин. Разница в возрасте шестнадцать лет. Вернадский: 1863 — 1945. Сталин: 1879 — 1953.

Глава седьмая

«+30»

Вернадский

Сталин

1938

«О некоторых основных проблемах биохимии».

«История природных вод».

«О диалектическом и историческом материализме».

1939

«О коренном материально-энергетическом отличии живых и косных естественных тел природы».
«Биосфера».

«Программа борьбы партии и советского народа за завершение построения социалистического общества и постепенный переход от социализма к коммунизму».

1941

«Плечом к плечу со всем народом» (в соавторстве с Х. С. Коштыянцем и Ф. А. Ротштейном).
«Несколько соображений о проблемах метеоритики».

«О Великой Отечественной войне Советского Союза».

1946

(посмертные издания)
«Изотопы и живое вещество».
«Начало жизни и эволюция видов».

«Биография Сталина»

1950

«Гёте как натуралист».

«Марксизм и вопросы языкознания».

1952

«О геологических оболочках Земли как планеты».
«Химическое строение биосферы».

«Экономические проблемы социализма в СССР».

Такую вот (далеко не полную) справочку составил для себя Голубев. Недавно составил, года два тому назад, в порыве размышлений о собственной жизни.

Ведь жил-то он между чем-то и чем-то, в пределах каких-то границ, вот он и решил эти границы приблизительно, а все-таки определить.

Границ все еще не получалось, он стал справку (за счет разных лет) расширять.

Вернадский

Сталин

1901

«О значении трудов Ломоносова в минералогии и геологии».

«Российская социал-демократическая рабочая партия и ее ближайшие задачи».

1904

«Страница из истории почвоведения». Памяти В. В. Докучаева. (Докучаев был любимым учителем Вернадского, и — надо же! — Голубев тоже чтит этого ученого, основоположника науки о почвах.)

«Как понимает социал-демократия национальный вопрос».

1905

«Кант и естествознание».
«Ближайшие задачи академической жизни».

«Класс пролетариев и партия пролетариев».
«Коротко о партийных разногласиях».

1917

«О государственной сети исследовательских институтов».
«Обязанность каждого (о гражданской ответственности в период двоявластия)»

«О Советах рабочих и крестьянских депутатов».
«Что нам нужно?...».

1924 — 1925

«О задачах геохимического исследования Азовского моря и его бассейна».

«Октябрьская революция и тактика русских большевиков».

1926

«Биосфера».
«Определение геохимической энергии».

«К вопросам ленинизма».

1938

«О некоторых ближайших задачах исследования льда арктических областей».

«История ВКП(б)».

Еще удивительно: Голубев жил, оказывается, в те времена, когда Вернадский создавал учение о ноосфере, а Сталин создавал «Историю ВКП(б)» и бросал реплики, которые воспринимались как великие откровения. К примеру:

«Колхозницы должны помнить о силе и значении колхозов для женщин, должны помнить, что только в колхозе имеют они возможность стать на равную ногу с мужчиной»,

«Искусство руководства есть серьезное дело»,

«Советская торговля есть торговля без капиталистов»,

«Рабочий класс нашей страны, уничтожив эксплуатацию человека человеком и утвердив социалистический строй, доказал всему миру правоту своего дела».

О «блоке коммунистов и беспартийных» особенно много Сталиным говорилось. Удивительно: и в этом блоке Голубев остался живым!

По Вернадскому, наука — часть природы, она не только природу изучает, но и взаимодействует с нею, создает биосферу, а затем и «мыслящую» оболочку земного шара — ноосферу. Наука составляет геологический пласт, новые формы обмена веществом и энергией между людьми и окружающей природой.

По Вернадскому, природа — гармония видов, подвидов и семейств, уничтожение хотя бы одного вида влечет за собой вымирание других видов, то есть сокращается общий для живого вещества генетический фонд.

По Сталину, коротко и отчетливо: природа — это бессмысленная материя, в которую необходимо привнести идеологию.

По Сталину, природа могла создать существо умнее, чем она сама, только ради «венца своего творения» она и существовала.

Каким-то образом Голубев пережил и это противоречие, Вернадский — Сталин? Даже не очень его и заметив?

Каким же образом-то одна и та же страна в одно и то же время могла породить и Вернадского и Сталина?

Почему это возможно, что человеческое мышление следует в столь различных направлениях?

Жуткое тайлось в выписках Голубева, какой-то окончательный ответ, смысл которого был ему по-прежнему недоступен... Что-то роковое... Слнш-

ком большое расстояние между одним и другим, если в нем потеряется экология — ничего удивительного.

Конечно, науке трудно создавать Вернадских, потому что он — се целое. Другое дело — сталины, эти рождаются сами собой, рождаются вне. Вне наук, вне самой жизни.

Голубев всматривался в фотографии разных лет: Вернадский и Сталин — молодые люди, Вернадский и Сталин в зрелом возрасте, Вернадский и Сталин на склоне лет... Голубеву казалось — это жители разных планет, разных мышлений, а в межпланетных различиях между ними он так и не находил себя, слишком велико пространство, в нем ничего не стоило затеряться, вот он и думал: затерялся!

По Голубеву, сталинизм и без Сталина был жив-живехонек, в отношении людей к природе прежде всего. Сталин победил Гитлера — почсму бы ему было не победить и природу? Не составить Великий план преобразования природы? Не вынести постановления о преобразовании Нечернозсмья в цветущий сад? Почему бы не построить (для войны с США) железную дорогу от Воркуты до мыса Дежнева вдоль Полярного круга? Была бы идея, идея и вождь, — остальное в природе найдется, обязано найтись, это и есть сталинизм!

В природе недостаточно коммунизма? Недостаток нужно немедленно устранить!

И дело Сталина жило в проекте Нижне-Обской ГЭС, а в более поздние годы в таких проектах переброски и регулирования стока, как:

Енисей — Обь,
Обь — Аральское море,
Обь — озеро Чаны,
Печора — Волга — Каспийское море,
Волга — Дон,
Волга — Урал,

Волга — Чограй,
Сухона — Волга,
Дунай — Днестр — Днепр,
Ленинградская дамба,
дамба в горле залива Кара-Богаз-Гол,
Сырдарья — Амударья, — Арал.

Ни один из этих проектов не был осуществлен до конца, и не без участия Голубева их постигла участь Нижне-Обской ГЭС. Ему бы погордиться, однако не до гордости было, гордились те, кто эти стройки начинал, кто их «инициировал». Инициатива — вот что было важно, и далеко не всегда нужен был финал — зачем?

Лучше по-другому: тратить государственные миллиарды, открывая проектные канторы, развертывая строительство, вешая золотые звездочки на грудь, а потом строительство свертывать, растягивать его на десятилетия — это гораздо безопаснее, чем сооружать БАМ. Лишь бы был обеспечен «объем затрат», лишь бы он, все остальное — дело второстепенное.

Дело Сталина живет и нынче, и вот уже П. А. Полад-заде преобразовал Минводхоз в концерн «Водстрой», концерну позарез нужны великие стройки, он без них — ноль без палочки. И опять на слуху Волго-Дон-2.

Важно начать; чем кончить — слуху нет.

Коммунизм ведь тоже не был построен, зато был списан (с серьезным запозданием), и это — принцип, это психология советского народа: важно начать, после разберемся что к чему.

Проект переброски части стока северных рек в Каспий... Комиссия академика А. Л. Яншина против. Статьи против печатаются десятками, сотнями. Совмин (Н. И. Рыжков) проблему рассматривает, слушает доклад академика А. Г. Аганбегяна, водохозяйственники — брежневские выдвиженцы, — министр Н. Ф. Васильев, первый его зам П. А. Полад-заде отбиваются (может, и в самом деле верить, что осуществят переброску до конца?). Решение Совмина: проект отменить (вернее, отложить, в СССР ведь ничто и никогда не отклонялось, только откладывалось — точно так же было и с проектом Нижней Оби). Противники переброски ликовали, празднова-

ли победу, Голубев ликовал и, кажется, праздновал, а нынче уже под восемьдесят было, он по дурной своей привычке размышлял — что и как?

Был человек, один встретился ему, который, кажется, понимал проблему уже за пределами «за» и «против».

Фамилия — Брусницин, член-корреспондент Академии наук СССР, теоретик. (Тсория круговорота вод суши.) Вот он-то, ко всеобщему недоумению, был назначен директором института, институт занимал ведущее положение в разработке проблем переброски.

Долгие годы институт этот находился под крылом Минводхоза — Гипроводхоза, и вдруг — независимый ученый во главе? Нонсенс! «Инициаторы» насторожились.

При первой же встрече в институте перед началом рабочего совещания Брусницин подошел к Голубеву, негромко спросил:

— Они, перебросчики, и в самом деле хотят строить до конца? Или — блеф?

— Не знаю... Нет, не знаю, — вздохнул Голубев. — Не могу понять!

Совещание началось, и теперь уже не с глазу на глаз, а перед всеми участниками совещания — человек двадцать сидело за столом — Брусницин повторил вопрос:

— Вы, перебросчики, и в самом деле хотите строить до конца или это блеф? — И на слове «блеф» сделал ударение.

Но или на самом деле, или был сделан только вид — никто не придал смысла этому ударению, этому слову, этому вопросу, и вопрос остался без ответа.

А Брусницин и еще сказал:

— Разрушать — не создавать. Мы старый мир разрушим до основания, а затем... Вот я вспоминаю ваши статьи, товарищ Голубев...

Участники совещания вдруг примолкли. Что писал Голубев — это их не бог весть как волновало: кто-то лает, а караван идет, другое дело, если так заговорил директор института. Вслух. На официальном совещании. Директор — у него штаты, у него бюджет, от него немало карьер зависит, он в правительстве вхож, у него в Госплане такие-то и такие-то друзья...

Брусницин посмотрел на Голубева, Голубев подумал: «Блеф — это же вся наша действительность? Вся она — игра во что-то, чего нет на самом деле?» В нем самом давно это ощущение жило...

Он вспомнил день второй в «кВч», когда сжигались, сдавались в утиль десятки проектов грандиозных гидротехнических сооружений. День второй тоже мог бы называться днем блефа? Блеф — днем вторым?

После совещания его участники толпились вокруг нового директора — кто с какими-то бумажками, кто с выражением готовности старательно послушать, кто с автографами на своих книжках по проблемам водного хозяйства — удобный случай представиться, создать первое впечатление у начальника, по слухам, требовательного, знающего и с чудачествами.

А Голубев видел этих людей будто и не в кабинете директора, а на сцене: все старательно изображали свои роли — ученых, администраторов, прогнозистов будущего и аналитиков прошлого, все были страдальцами проблемы переброски, а проблема была блефом, и никому не нужен был ее конечный результат. Да и кто доживет до этого результата: десять лет изысканий и проектирования, пятнадцать — строительства, еще десять — пусковой период...

«Развитой социализм...» — припомнил Голубев обозначение эпохи, в которой он, все эти люди жили, и снова заметил на себе пристальный взгляд Брусницина, приблизился к нему и услышал его глуховатый, как бы к самому себе обращенный голос:

— Послезавтра. В это же время. Здесь.

Ну конечно, нелегкой жизни был этот человек... Среднего роста, седой уже, с лицом пристального внимания к окружающему, мысли тоже пристальной. Голубев как только приблизился к этому лицу — поверил ему. Не случилось с ним никогда, не очень-то он верил в свой собственный первый

взгляд, но слишком значительным был вопрос, значительность требовала кому-то поверить, требовала не оставаться в полном одиночестве.

До послезавтра надо было дожить, в чем-то еще досомневаться-доубедиться, чтобы вступить в беседу с этим человеком, более очевидным, чем ты.

И Голубев до четырех часов послезавтра дожил, а Брусницин — нет, Брусницин погиб поздним вечером следующего дня.

В тот вечер за ним почему-то не пришла машина из гаража Академии наук, ученый секретарь вызвала такси. Брусницин поехал на дачу и дорогой выпал из машины. Таксист не заметил, как это случилось. Неподалеку от Мытищ Брусницин умер на обочине дороги. (Опять — Мытищи!) Позже и еще следовали потери — скоропостижно умер академик Г. И. Петров, еще недавно Петров руководил космическими исследованиями, достиг многого, но тут решил перейти к делам земным, занялся проблемой переброски... (Петров был не один такого рода доброволец.)

Кандидат наук Бабенко — тоже потеря! Голубев отмечал потери, будучи ни много ни мало, а победителем: проекты, которым все эти люди противостояли, действительно не осуществлялись, ни один! Однако же — какая там победа — чувство роковой неизбежности охватывало Голубева, и нынче он боялся такси, автопрогресса боялся как некоего предназначения собственной судьбы, а вместе с тем и судьбы человечества тоже.

И еще ждал он со дня на день, с часа на час экологической катастрофы, еще не случившейся, но уже великой, она была неизбежна, чувствовал Голубев, неизбежна как последнее предупреждение, как очередной факт в цепочке уже свершившихся фактов.

В Магаданской области Минводхоз загубил сотни тысяч гектаров (в порядке «улучшения земель»), и тамошние следователи передали Голубеву изобличающие мелиораторов материалы, несколько толстых томов, но чуть спустя выпросили их обратно и скрылись в неизвестных направлениях. Страх следователей передался и ему, передался без страха собственной смерти, а сам по себе, как состояние жизни. Но и Магадан все еще не был событием глобальным.

«В мае 1986 года раскаленный кратер чернобыльского реактора № 4 поглотил последний мешок песка, перевязанный алой ленточкой, которую припятский комсомол заготовил к празднованию Первого мая. В тот месяц Припят превратилась в город-призрак. Ее жители вошли в число первых 100 тысяч человек, которым было предписано покинуть свою землю и дома в 30-километровой зоне».

«Количество погибших в течение первых пяти лет после аварии — 7 — 10 тысяч человек. К весне 1991 года умерли 4 тысячи ликвидаторов аварии».

«Облучению подверглись свыше 500 тысяч человек».

«Заражено вокруг оказалось 130 тысяч квадратных километров (площадь Чехословакии, ныне — Чехии и Словакии, площадь Нижне-Обского водохранилища по проекту) — слишком большая территория, чтобы ее можно было когда-нибудь очистить или хотя бы эвакуировать всех живущих здесь людей».

«Если ход заболеваемости жертв Чернобыля будет таким же, как у японцев после Хиросимы, должно пройти несколько десятилетий, прежде чем мы узнаем истинные последствия аварии для людей, не говоря уж о здоровье природы».

«В системе бюрократического волюнтаризма, где каждый проект обставлен сотнями постановлений, решений, указаний и согласований, нельзя установить, какая бумага из числа главных, какая — из второстепенных, кто несет ответственность за проект, кто — за его исполнение, и судить надо или всю систему, или — никого... Такие катастрофы, как Чернобыль, отражают степень катастрофичности всей системы управления, всей государственной системы».

«Советские власти вину за взрыв возложили на операторов станции, не затронув ни одного лица вверх по иерархической лестнице».

Год за годом вычитывал Голубев подобные цитаты и думал: «А кто, кроме операторов, оставался ответчиком для советской власти и ЦК КПСС?.. Не было нынче ни правой оппозиции, ни врагов народа, ни вредителей — и потому небывало тяжелое для Советского государства наступало время!» — догадывался Голубев, а собственного успокоения ради вспоминал свет в окошке.

Очень мил, очень близок был Голубеву Александр Иванович Воейков (1842 — 1916). Родной человек и только! Будто вчера виделись, вчера беседовали, а ведь не виделись и не беседовали никогда. Крупный был человек, не совсем уклужий. Лысоватый. В дешевеньких очках. Беседовать-то он с Голубевым беседовал, но безголосо — голоса его Голубев не слышал, вернее всего басок, либо баритон. Из дворян. Очень простенько одевался, галстуков, кажется, не знал. Демократ. «По своим общественно-политическим взглядам не поднимался выше уровня буржуазного либерала» (Большая Советская Энциклопедия).

Не по причине буржуазного либерализма, но Воейкова Голубев стеснялся: неприлично подчеркивать близость к знаменитым родственникам и выдающимся умам. Однако же оттого, что ты скрываешь свои привязанности, они становятся еще сильнее, еще выше.

Тысяча семьсот работ, создание науки климатологии, учения о снеге, о реках («Реки — продукт климата») и другое многое было географией Александра Ивановича, он будто бы уже тогда, век назад, отдалялся от Земли и со стороны наблюдал, как этот шарик крутится-вертится, что показывает глазам человеческим, а что от них скрывает: догадывайся сам. Он был догадлив: надо изучить верхние слои атмосферы! Столько же кабинетный ученый, сколько и путешественник, он на годы исчезал в лесах Явы, Цейлона, Центральной и Южной Америки, вверяя себя тамошним проводникам, лекарям и нравам, изучая их языки, обычаи.

Ничто не ускользало от взгляда А. И. Воейкова: из чего и как, с каким наклоном крыш были построены жилища, какие образовались почвы, какие на почвах произрастали дикие растения и какие возделывались искусственно. Воейков делал выводы и писал труды о климате Японии. Много позже, когда в этой стране возникла сеть метеорологических станций, все его заключения были подтверждены. И «Климаты Северной Америки» пришлось американцам ко двору.

Александр Иванович был первым из тех последних географов, которые еще видели, умели видеть природу природными же средствами, то есть собственными глазами, слухом, осязанием, обонянием, для которых информация еще не заменяла наблюдений и наблюдательности. Как и всякий из «последних», он был чудакват, десятилетиями издавал на свои средства «Метеорологический вестник», когда же средства иссякли, с удивлением узнал, что существует этакое понятие: гонорар!

Умер холостяком.

Голубев слышал, будто Воейков был влюблен в великую актрису Веру Федоровну Комиссаржевскую (1864 — 1910). «Тоже мне индеец, — удивлялся по этому поводу Голубев, — нашел в кого влюбляться! Надо же!»

В разное время Голубев написал о Воейкове несколько работ, последняя была ему и дорога и тревожна: он говорил, что наши (советские) инженеры-мелиораторы осушают, орошают и обводняют почвы, ни сном ни духом не подозревая о существовании трудов Воейкова — для них достаточно было «Краткого курса» истории РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и сталинского плана преобразования природы, они слыхом не слыхали о том, что над территорией СССР существует «ось большого материка Воейкова», широтная ось повышенного барометрического давления, которая, сдвигаясь то на юг, то на север, определяет наступление или засушливых, или избыточно влажных лет.

По существу, Воейков был теоретическим основоположником русских инженерных мелиораций, однако никто его в этом качестве не признавал. Сколько из-за этого непризнания было потеряно — никто никогда не узнает, не поймет.

А что, думал Голубев о себе, что, если он, Голубев, последний восейковец на земле русской? Их и всего-то оставалось раз-два и обчелся, а он — последний? Конечно, великим для Голубева притяжением обладал другой Иванович — Владимир Вернадский, но ведь и к Вернадскому надо было приблизиться не самому по себе, а через посредника. Да ведь и сам-то Вернадский тоже являлся этому миру не без притяжения Восейкова. Большие Умы, они словно планеты — определяют орбиты друг друга.

Нет, никак не вмещалось в сознание Голубева, что Александр Восейков, Василий Докучаев, Владимир Вернадский и Сталин Иосиф, Бэрия Лаврентий да и Хрущев Никита тоже — это все одна страна, одна география... Что и Чернобыль и ноосфера — это все она же.

Голубев заметил одну особенность в истории русской мысли: в ней случались изумительные, сказочные мгновения.

В литературе: год рождения Пушкина — 1799, Гоголя — 1809, Герцена, Гончарова — 1812, Лермонтова — 1814, Тургенева — 1818, Некрасова, Достоевского — 1821, Островского — 1823, Салтыкова-Щедрина — 1826, Толстого — 1828.

Одна женщина, родив первенца Сашеньку в семнадцать лет, могла бы произвести на свет своего последнего сыночка Левушку в сорок шесть годочков. Такая реальность!

В географии: Дмитрий Иванович Менделеев — 1834 год (Голубев полагал, что Менделеев не только великий химик, но и столь же великий географ, один только труд «Познание России» его в этом убеждал), Николай Михайлович Пржевальский — 1839, Александр Иванович Воейков — 1842, Михаил Васильевич Певцов (способ определения широты по звездам) — 1843, Николай Николаевич Миклухо-Маклай и Василий Васильевич Докучаев — 1846. Если бы не эти десять — пятнадцать лет, что бы представляла собою более поздняя русская география? Если бы не эти годы, откуда бы явился Вернадский?

Если бы Россия поняла, по стопам каких знатоков ее земли ей следует идти в будущее?! Она не поняла, а нынче поздно. Зримая природа уже расчленена на ландшафтоведение, геоморфологию, гидрографию, на био и на гео, а по частям ее запросто подчинили себе Ленин и Сталин.

Бесспорное доказательство тому было — 26 апреля 1986 года, Чернобыль.

По многим рекам Голубев плавал за свою-то жизнь и теперь ждал — какая река случится для него последней?

И надо же — последней оказалась Припять.

Припять — наиболее значительный правобережный приток Днепра, длина 802 километра. Извилистая. Площадь бассейна 114,3 тысячи квадратных километров, уклоны 0,00003 — 0,00009 (ничтожные, 3 — 9 сантиметров на километр). Средний многолетний расход в устье 430 км³/сек, он обеспечивает судоходство на протяжении почти шестисот километров.

Припять соединена Днепровско-Бугским каналом с рекою Западный Буг и далее с польской Вислой, а канал Огинский связывал ее с литовским Неманом. Совсем не то, что сибирские Енисей, Лена, Обь — тысячи километров текут сами по себе, ни с кем не связанные, и все по одной и той же стране, а то и по территории одного административного края (Красноярского, к примеру).

Исток Припяти на Украине, затем течет она по Белоруссии, снова возвращается на Украину и впадает в Днепр. Точнее, в Киевское водохранилище (оно немногим лучше водохранилища Каховского). Главные притоки Припяти правые: Стоход, Стырь, Горынь, Уборть. Главные слева: Ясельда, Лань, Случь, Птичь.

По берегам реки Припяти стоят городки Пинск (известен с 1097 года), Петриков (с XV века), Мозырь (1155 год)¹, о городке Норовля Голубев не узнал

¹ Железнодорожный мост через Припять в 1919 году восстанавливал инженер В. Г. Шухов.

никаких сроков, зато о Чернобыле узнал: городом стал считаться с 1941 года, перед самым началом войны с Германией, а «в конце XX века стал известен во всем мире».

Еще как стал известен-то!

Припятские земли за последние несколько веков под кем только не побывали — под украинцами, белорусами, русскими, литовцами, поляками, немцами. Когда-то и под татарами тоже, а частью и под французами.

Основную площадь бассейна Припяти составляет Полесье — обширная заболоченная и залесенная местность, несколько приподнятая по периферии.

Припять — водоприемник многочисленных каналов, которые осушают Полесье.

Припять издавна знаменита: с левого берега к ней примыкает Беловежская пуша — любимое охотничье угодье польских королей, русских царей, придворной знати, членов Политбюро. Беловежский заповедник знаменит своими зубрами.

Три зубра — Ельцин, Кравчук и Шушкевич, — встретившись в заповеднике Беловежская пуша в декабре 1991 года, объявили: отныне России, Украине и Белоруссии быть независимыми государствами. Все трое и нынче объявляют о том ежедневно, иногда несколько раз на день.

Река Припять широтного направления, странная, на взгляд Голубева, река: без берегов. Берега, конечно, есть, но очень плоские и однообразные, что справа, что слева одинаковые — смотреть не на что. Хрупкое равновесие между водою и сушией, равновесие как бы по договоренности: вода течет вот здесь, а могла бы течь и левее и правее, севернее и южнее — какая разница, берегов же нет. А ведь люди привыкли видеть и запоминать не столько реку, сколько ее берега.

Река Припять едва ли не на всем своем протяжении течет нынче в зоне повышенной до невероятных размеров радиоактивности — Чернобыль сработал.

Когда Чернобыль сработал, руководство Украинской ССР товарищи Щербицкий (секретарь ЦК компартии Украины), Ляшко (председатель Совмина), Шевченко (председатель Верховного Совета) и Романенко (министр здравоохранения) не растерялись, не растерялся и товарищ Израэль — председатель Госкомгидромета, и другие московские деятели (Голубев до сих пор никого по имени назвать не мог, разве только Щербину — Министерство энергетики). Не растерявшись, эти люди издали весьма строгие указания:

«Информация об аварии должна содержаться в секрете»,

«...информация о результатах медицинского лечения пострадавших должна содержаться в секрете»,

«...информация о степени радиоактивного поражения лиц, принимавших участие в устранении последствий аварии, должна содержаться в секрете».

Товарищ Израэль, обладая наиболее полными данными, клялся и божился (газета «Правда»), что опубликованные его комитетом карты зараженных территорий Украины, Белоруссии и России достоверны, достовернее быть не может.

Карты были ложными, Израэль же приобрел высокий авторитет и в СССР и за рубежом, МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), что ли, его поддержало? Говорили (или это Израэль сам о себе слух распустил?), будто он удостоен международной премии, будто на Международном экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро летом 1992 года он был встречен чуть ли не аплодисментами. (Голубев знал: Юрий Антониевич, член-корреспондент Академии наук, в Рио-де-Жанейро, конечно, побывал, но заседаний конгресса не посетил.)

Были, были у советских атомных энергетиков покровители за рубежом — и Колумбийский университет и Одюбоновское исследовательское общество подтверждали, что заражение не так уж и опасно.

Разве что Гринпис, как всегда, резал правду-матку и по Чернобылю, и по поводу захоронений на Новой Земле и в море вокруг, и по другим поводам, но с Гринписом Голубеву не везло, никак не налаживались с ним связи — он

только принимал (не раз и не два) участие в совещаниях по налаживанию таких связей и не более того.

Теперь Голубев плыл на служебном катере по реке Припять в группе экспертов из трех человек (от России один, от Украины один, от Белоруссии тоже один). Надо же — от России пригласили на старости лет его, Голубева, пенсионера с 1982 года (до 1982-го — доцент, специальность, само собой разумеется, — гидрология), экспертиза нынче состояла в том, чтобы взять на анализ пробы воды из разных точек русла Припяти, с разных глубин.

Дело было нехитрое, два матроса орудовали приборами, два эксперта глядели на матросов не спуская глаз, а третьему, старикашке Голубеву, было неудобно глядеть на матросов столь же пристально, он попросил у старшины штурвал и повел катер по тихой, едва-едва текущей Припяти, поговаривая со старшиной:

— Здешний?

— Ну откудава нам тут взяться-то? Здешних-то не остается, а чтобы еще и со стороны откуда-то...

— Страшно?

— Что это?

— Жить здесь — страшно?

— Живы будем — не помрем. Помрем — живы не будем. Один черт.

— А дети?

— Детей, слава Богу, нету. Живу с бабой, и ладно.

— Родители?

— Родителей, слава Богу, тоже нету: отец помер, мать в каких-то краях беженствует.

Катер шел ходко, руля слушался, Голубев задавал крутые повороты с креном и на левый и на правый борт, но в допустимых пределах, члены экспертизы время от времени посматривали на него с неодобрением, зато молоденький старшина отозвался одобрительно:

— Видать, не впервые. Когда учился-то?

— А тебя, мой друг, еще и на свете не было. Может быть, твоих мамы и папы тоже не было, — отозвался Голубев и вспомнил катер «Таран», Нижнюю, Обь и заколдованный створ Ангальского мыса.

Створ Ангальский, казалось нынче Голубеву, это створ фантастически гибельных, невероятных начинаний эпохи развитого социализма, он уже перестал быть местной вертикальной плоскостью, пересекающей Обь, он стал плоскостью горизонтальной и накрыл собою огромную страну, из плоскости возник объем — длина, ширина, высота, — и в этом объеме развивались и развивались бесконечные створные идеи.

Чернобыль был из числа тех же идей.

Травы в заповедной Беловежской пуше росли в пояс, густые-густые, деревья были окутаны в листву крупную и ярко-зеленую, ягодники — на каждой поляне усыпано, цветы повсюду, осы и одичавшие пчелы гудели громко и уверенно: нам здесь жить, меду соберем — никогда не бывало!

И птица летела нынче сюда огромными стаями — гусеобразные, хищные, куриные, журавообразные, голубеобразные, кукушкообразные, козодоеобразные, длиннокрылые, дятлообразные, воробьиные и многие другие, — летели и находили корм изобильный, жизнь веселую и страстную. Птица размножалась здесь неумемно и, отлетая на зиму на юг, запоминала маршруты, которыми сюда прилетала, от природы обостренное чувство ориентации в пространстве усиливалось у птиц еще больше: кому не захочется, побывав в раю однажды, побывать в нем снова и снова! И не привести в рай детей своих?

И живности разной, четырехногой, бегающей, лазающей и землеройной, все возрастало, а не было здесь людей, самых страшных зверей среди зверей, эти — боялись, и никто живности не стрелял, люди не хаживали нынче охотничьими тропами королей польских, царственных особ русского трона. Членов ЦК КПСС тоже не бывало здесь уже несколько лет.

Люди Полесья — древние-древние племена — нынче подаются отсюда на все четыре стороны света, поскольку имеют представление о том, что время делится на прошлое, настоящее и будущее. Вся иная живность живет только настоящим, вот и радуется ядовитому раку; но у человека опять не выходит порадоваться — будущее мешает.

Человеку ничто так не мешает как будущее — войны из-за него, революции из-за него, прогресс из-за него, разводы мужей с женами, жен с мужьями из-за него же.

Зато Голубев хотя и плыл по реке Припять в качестве эксперта будущего, но к будущему — он чувствовал — никакого касательства уже не имел.

Плыл, думал: а что, если настало время конфликта между существом и веществом?

Вещество старалось-старалось взрастить существо, взрастило, теперь настал час расплаты: существо пожелало вернуть мир в состояние хаоса — и дробит, и дробит, и расщепляет природные предметы на части и детали, на молекулы, атомы, нейтроны и протоны, высвобождая ту энергию, которая когда-то была затрачена на синтез, на соединение всех этих частиц в нечто целое. Если этот процесс пошел? Пошел успешно? Что тогда?

Может быть, другие планеты потому и безжизненны, бессуществовательны, что уже прошли через конфликт вещества с существом?

Глядя в коричневую воду Припяти, Голубев довольно-таки отчетливо представил себе этот процесс — что и как...

Какими там, на тех планетах, были министры водного хозяйства и первые их заместители (по аналогии с товарищами Н. Ф. Васильевым и П. А. Поладзаде), какой там был министр энергетики, то есть наш Непорожний, какой был на Марсе Маркс и товарищ В. И. Долгих — последний секретарь ЦК партии по вопросам энергетической политики... Можно было и дальше и дальше проводить кадровую аналогию. Не на пустом же месте безжизненная пустота произошла? Странные эти не то размышления, не то видения окончательно разобщили Голубева с двумя другими членами экспертной комиссии, тоже плывущими по реке Припять, и Голубев отошел от них в сторонку, в нос катера, устроился на ящике (из-под водки) и стал воду Припяти разглядывать, как бы даже и погружаясь в нее с головой. Припять же текла тихонечко, как будто с ней ничего не случилось, как будто она не омывала берега ядовитого рая и не собирала в себя воду с его местности, как будто ничуть не была заражена и оставалась рекой Божьей, в которой весело резвятся доброкачественные рыбки, все еще пригодные в пищу. И на уху и на поджарку.

Вот и день стоял над Припятью чудесный, солнечный. Или на том ящике из-под водки Голубев задремал, еще что в том же роде, но только показалось ему, будто на борт служебного катера, в задачу которого входило взять пробы воды на предмет определения степени зараженности реки Припять, — будто на этот борт откуда-то поднялась (спустилась?) группа не то экскурсантов, не го еще кого-то, публика, в общем-то, интеллигентная, негромко люди переговаривались друг с другом, причем на «вы», без нецензурных выражений. Что же касается одежды — были странности: длинные сюртуки и цилиндры, пенсне и трости.

Стали обмениваться рукопожатиями. Господи помилуй, да это же все были самые-самые знаменитые русские географы, родившиеся в тридцатые и сороковые годы прошлого столетия, которых совсем недавно в собственных размышлениях Голубев поминал: что бы, дескать, представляла собою отечественная география, если бы не годы, их породившие? И Менделеев тут был, и Воейков в разночинном сюртучишке, и Пржевальский в военной форме, и Певцов, и еще из другой возрастной группы, например Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович, — Голубев и его тотчас признал. Не то чтобы совершенно отчетливые фигуры, но если уже имеешь о них представление, они различаются без труда.

Перегруз служебному катеру не угрожал, катер сидел неглубоко, до ватерлинии оставалось побольше полуметра, можно было еще погрузить тонны четыре, а все, вместе взятые, классики русской географии тянули не

более чем тонны на полторы-две. Никакого барахлишка при них не было. Ни малейшего.

— Чем могу служить? — спросил Голубев, стараясь соответствовать правилам знакомств прошлого века.

— Простите, пожалуйста, нас весьма интересует география окружающей местности, — в свою очередь стараясь приблизиться к современному произношению, ответил Семенов-Тян-Шанский. Пристально взгляделся в Голубева. Через пенсне на длинном-длинном, черном-черном снурке.

— В какой форме интересуетесь? — и еще уточнял Голубев. — В форме пресс-конференции? Митинга? «Круглого стола»? Симпозиума? Рабочего совещания? Протокола о намерениях? Собеседования?

— Господа, — обратился Семенов-Тян-Шанский к своим спутникам. — Я полагаю — собеседование. А? Ваше мнение?

— Разумеется, Петр Петрович, — подтвердил Александр Иванович Вейков.

— Разумеется, — произнес и Дмитрий Иванович Менделеев.

— Разумеется, разумеется, — подтвердили все остальные.

— Значит, у вас вопросы ко мне? И много ли их, ваших вопросов?

— Десять, — уточнил Пржевальский.

— Все десять, догадываюсь, по ее поводу? По поводу чернобыльской катастрофы?

— Так точно! — подтвердил Пржевальский требовательным тоном и резким взмахом руки.

— Десять — ко мне?

— Были бы весьма благодарны. Вопросы: почему случилось? кто виновен? какие и кому вынесены судебные приговоры? какие и на кого отнесены служебные меры взыскания? какие жертвы уже имели место? какие жертвы и прочие последствия ожидаются? какие оказаны вспомоществования пострадавшим? каковы технические меры предупреждения на будущее? какие и кому выплачены суммы по страховке? какие воздвигнуты скорбные памятники на месте катастрофы и в местах прочих?

«Так и есть, надо обороняться, — ни с того ни с сего осенило Голубева. — Надо идти в решительное наступление! В отношении Пржевальского эт-то будет очень непросто! А хотя и непросто, все равно — с Богом!»

Почему Голубева осенило именно так, а не иначе — он не знал, однако факт есть факт, и весь его организм факту подчинился и принял состояние боевой готовности номер один, и Голубев набрал воздуху в легкие (воздух был почему-то липким) и закричал:

— А при чем тут я? Я, Голубев, при чем? У Израэля спрашивайте! У Долгих! У предсовмина Украины Ляшко! У генсека Горбачева! У товарища Бориса Евдокимовича Щербины — он был министром строительства предприятия нефтяной и газовой промышленности, он был заместителем председателя Совета министров, он, а не я! У Рыжкова Николая Ивановича спрашивайте, он был председателем Совета Министров, а не я! Я-то — при чем? Разве это красиво — все сваливать на рядового гражданина? А если рядовой привлечет к ответственности гениальные умы? Они-то куда в свое время смотрели?

— Позвольте! Но вы же — как это нынче называется? — вы же эколог, если я не ошибаюсь? — спросил Пржевальский, снова взмахнув рукой да еще и пошевелив аккуратными усами.

— И что из того? Что я, министр экологии или — кто? По-вашему, я министр, да? Нет уж, у Данилова-Данильяна спрашивайте, вот у кого! Он министр!

— Мы о вас много слышали... — Это, кажется, Певцов Михаил Васильевич произнес.

— Слышали, слышали! Это не довод — слышать! Я не самый главный эколог. И не самый лучший! Нет и нет! Мои возможности нынче — никаких возможностей, вот и все.

— Не поймите нас превратно. Это теперь общее положение, оно нам известно: все нынче ругмя ругают президентов, все утверждают, что они плохие, но ведь лучше-то нет? — развел руками один из классиков,

опять же Певцов, автор способа определения географической широты по звездам.

Тут-то Голубев и взорвался. Окончательно.

— Я ведь тоже могу спросить: вы-то в свое время где были? Когда открывали науки — климатологию, почвоведение, прочие ведения? Когда писали «Познание России» и «Полное географическое описание нашего отечества» — где? Социализм-то не в ваши ли годы нарождался? Мы-то марксизм из рук не вашего ли поколения получили? Ну?! Где ваша объективность? Где ваша хваленая воспитанность? У вас ко мне десять вопросов, а я к вам сотню наберу!

Дальше — больше, дальше — больше Голубев распалился, вот уже стал на классиков наступать, теснить их по левому борту катера, высказывая им все свои подозрения и упреки:

— Вы что явились-то? Не иначе с целью выяснить условия своего бессмертия? Дескать, нынешние поколения того гляди передохнут, я хочу сказать — отдадут души Богу, а кто же нас будет помнить? Некому нас будет помнить! Это вас беспокоит? Вам хорошо было в свое время умирать — сегодня умрем, а завтра восстановимся в памяти потомков! А нам, потомкам, каково? Нам перспектива не маячит. Знаете, чем все это пахнет? Злостным эгоизмом это пахнет!

Кто-то из классиков, кажется Василий Васильевич Докучаев, попробовал было Голубеву сказать: «Я бы вас просил...» Голубев этого допустить не мог:

— Как будто в конце прошлого, в начале нынешнего века вас, уважаемые, никто не предупреждал? Как будто о грядущей катастрофе Петр Аркадьевич Столыпин ничего вам не говорил? Константин Леонтьев, философ, не вам ли внушал: России социализма не миновать, но это еще не вся беда, вся будет, когда она из социализма начнет выходить! Ну? Примолкли? В то время ушами хлопали, чистенькой географией занимались, а нынче — в прокуроры? Не выйдет! Владимира Ивановича Вернадского среди вас нет ли? Он советской действительности хватил, он и об атомной энергии писал, он в советское же время и ноосферу придумал, может быть, он на все ваши вопросы лучше меня ответит? Поточнее?

Владимира Ивановича Вернадского на борту служебного катера не оказалось. Голубев снова присел на ящик, с которого вскочил в пылу полемики, и сказал:

— Примолкли? А я вас слушаю... Ну-ну?..

Ответа не последовало, а когда он глаза открыл, никого из классиков географии на катере уже не было: два матроса, два эксперта, старшина катера за рулем, Голубев на ящике из-под водки — вот и весь народ. Катер стоял на якоре, два матроса брали пробу, два эксперта на матросов смотрели. Тихо было. Было очень тихо и очень мерзостно. «Господи! — думал Голубев. — До чего же мерзостно! До чего я опустился, если с Воейковым не нашел общего языка! Если предал, если подставил великого Вернадского! Если не встал на колени перед Менделеевым, а Семенову-Тянь-Шанскому не подал руки! Если нахамил лично Пржевальскому! Откуда во мне такое хамство?! И зачем я плыву по реке Припять, заранее зная, что данные этой (сотой по счету?) экспертизы никому не нужны, ничего не изменят, только какому-то чиновнику помогут отчитаться в «проделанной работе»? Надо с этим делом кончать! Умереть надо, вот что, — догадался Голубев. — Умереть раз и навсегда, безо всяких там царств небесных, без перевоплощений души, так, чтобы и следа не осталось!»

Не надо, не надо Голубеву перевоплощаться в душу счастливого человека, в душу слона или собаки. Человеческое население Земли возрастает чуть ли не на миллиард за каждые десять лет, значит, и умирает людей в абсолютных цифрах все больше и больше, значит, за собачьими душами огромная и блатная очередь, наверное, предварительная запись, он же, Голубев, за свою жизнь в очередях настоялся, назаписывался — хватит! И бесполезно: душа ни одного толкового животного не захочет в Голубеве поселиться, в себе голубевскую душу поселить, на этот счет у него было доказательство.

В комнате его жены Татьяны над ее кроватью висел фотопортрет обезьяны — орангутанг, кажется, был, большая голова и глаза умные, у лю-

дей таких глаз не бывает. А почему бы обезьяне быть глупой? Глупую, ее сразу бы съел какой-нибудь леопард. К тому же она ведь не сделала ничего лишнего ни для себя, ни для природы, она готова жить в природе в бесчисленных поколениях, а природа готова создать необходимые условия для существования всех ее поколений, нет у обезьян и ничего несделанного, это прекрасно. Несделанное присуще только человеку — даже в большей мере, чем сделанное и достигнутое. Зачем обезьяне такая обуза?

Голубев останавливался около фотопортрета над ,Татьяниной кроватью, смотрел, всматривался. Татьяна спрашивала:

— Очень красивая? Хочешь повесить у себя такой же? У меня есть портрет не хуже.

Голубев отказывался — не надо! — но признавался:

— Кажется, что не люди должны воспитывать обезьян, а обезьяны людей. Пусть люди выступают в цирке и показывают обезьянам свою сообразительность.

Татьяна смеялась:

— Ну какой из тебя циркач?

Татьяне — что? Она экологом не была, природным человеком себя не воображала, растила Алешу с Аннушкой, и только! Татьяна в свое время Голубева просила: давай заведем собачку? Голубев наотрез: не надо! Так и не выразил в своем доме ни таксы, ни сеттера, ни пуделя, ни дворняжки какой-нибудь, так что прав у него на собачье сердце правда что никаких, на собачью душу — тем более, не потому ли он, вместо того чтобы продуктивно контактировать с классиками географии, по-совковски разругался с ними? Вдрызг разругался! И возникла в нем пустота, которая возникает только из неразрешимых противоречий, а еще из ненависти к самому себе: вот уж дрянь так дрянь! Но ведь и классики тоже хороши — не смогли загнать его в угол, спустить со старикашки штаны и хорошо выпороть! Никто даже не возразил, не крикнул: «Замолчи, сопляк! Восемьдесятителетний!»

Он бы не замолчал, но объяснился бы: «В нынешнем мире мы говорим: атомная катастрофа! Атом, видите ли, перед нами виноват — не хочет расщепляться! Не верьте! Это катастрофа человеческого мышления: человек как целое расщепляется на множество своих собственных цивилизованных потребностей — и все дела! Вылезает из собственной кожи — и все дела! Не расщепить атом ему, видите ли, никак нельзя!»

Голубев сидел на ящике из-под водки — о-о-о! а-а-а! о-о-о! а-а-а! — вдыхал-выдыхал липкий воздух, насыщенный всеми ядами, которые он всю жизнь каким-то образом ухитрялся не вдыхать. Мешанина в голове, как у самого-самого современного перестроечного человека, — и самоуничтожение, и страсть к сварам, и низвержение авторитетов, и тоска по ним. Вдруг промелькнула тоска по Евклиду — Евклид полагал, будто параллельные линии пересекаться не могут, за ним и классики русской географии так же полагали: существование человека никогда не пересечется с существованием природы.

Пересеклось. Не кто-нибудь, а Николай Иванович (опять Иванович!) Лобачевский (1792 — 1856) создал неевклидову геометрию, доказал: могут. Доказал: природа пространства — это совсем не то, что понимал Евклид.

Именно в такой стране, как Россия, и должна была возникнуть геометрия Лобачевского с пересекающимися параллелями. Больше нигде было такой геометрии-географии возникнуть.

Так что фантазируй не фантазируй — дело ясное: надо кончать. Начинал гидролог Голубев на Оби, в заколдованном створе Ангальского мыса, кончает на отравленной Припяти — логика!

Эпизод за эпизодом, эпизод за эпизодом, но ведь какой-то обязательно должен быть последним?!

Голубеву к его судьбе в свое время, в Боткинской больнице, было прибавлено тридцать — куда больше-то? Зачем ему еще один, два, три, четыре, а то и пять? Одним словом, решение было окончательным, а раз так — легче стало Голубеву, недаром же говорится: подписано — и с плеч долой!

Вернулся Голубев в Москву после Припяти. Татьяна — совсем старушка, согнулась в три погибели, но по-прежнему хлопотливая, спросила:

— Ты приехал?

— А ты как думала? Не приеду?

— Я так не думала, — замахала Татьяна руками и стала рассказывать, насколько повысились в Москве цены за время его отъезда.

— Дети не звонили?

— Аннушка звонила. У нее все в порядке, она новый фасон платья придумала. Вечерний. Строгий...

— Строгий? На строгости нынче далеко не уедешь. Алешка звонил?

— Алеша, ты же знаешь, все еще во Франции. Лекции читает. Очень успешно. По ядерной физике.

— Он так тебе и сообщил — очень успешно? По ядерной?

— А зачем мне сообщать? Я и сама прекрасно знаю!

— Я спрашиваю: звонил или не звонил Алешка?

— Не звонил.

— Так бы и сказала.

— Так и говорю.

В тот же день Голубев приступил к наведению порядка в своих бумагах. Дело-то, в общем, безнадежное — бумаги Голубева, как только они у него появились, неизменно пребывали в ужасном беспорядке, и он не знал, как иначе может быть: заведешь для бумаг папки по темам, пронумеруешь — вторая, третья, двадцатая, но бумаги по большей части такие, что каждую в зависимости от содержания можно положить и в первую и в двадцатую папку.

Мастером этого дела, конечно, была Татьяна, экономист-плановик, лет тридцать—сорок тому назад она предлагала мужу свою помощь, но муж сказал: «Что-о-о? Нет уж, нет уж, я сам!» С тех пор сам как рыба об лед бьется. Только сам. Ну и другие дела нынче были: письма написать, кое-кому позвонить, да мало ли что.

Голубев любил цифры, которые кончаются на семь (или на семь делятся), в древности такие цифры тоже почитались, поэтому он и назначил себе срок — между 7 и 17 августа, ничуть не сомневаясь в удаче своего начинания: настолько-то он был природным человеком, чтобы в этом заключительном деле природа пошла ему навстречу?! Нет сомнений — пойдет!

А еще: он лежал в кровати и взывал к мыслям. Мысли приходили, но были если не хуже, не слабее предшествующих, то и не лучше и не сильнее. А жаль! Он-то надеялся, возлагал большие-большие надежды: дескать, в эту голову, которая приняла столь неординарное решение, и мысли должны прийти отнюдь не ординарные, откровение за откровением! Ну что поделаешь — чем богаты, тем и рады.

Каждая судьба, начиная с зачатия, имеет своей задачей проникать сквозь игольное ушко.

И Голубев проникал. Вспомнить писаря, который перепутал назначения: направил его в 22-й стрелковый полк вместо полка 20-го. Почвовед Курочкина вспомнить, который в 20-м погиб вместо гидролога Голубева. А сколько подобных же случаев? Не перечесть!

Пошленький анекдотик. Доктор ставит пациенту диагноз: «Должен вам сказать, что вы импотент. Не огорчайтесь, но это так!» «Спасибо, доктор, большое спасибо: у меня как гора с плеч!»

Не так-то просто было на две-три недельки (оставшиеся до 7 — 17 августа сего года) обустроиться в мире чистой науки. Если бы он никогда не бывал в том мире — другое дело, но он там бывал, отчетливо представлял себе все значение, всю прелесть чистоты, и достигнуть ее повторно — не получалось.

Собеседников не хватало — Азовского и Полякова. Голубев давно уже жил один-одинешенек, и в заключительном эпизоде на собеседников ему рассчитывать опять же не приходилось.

По привычке Голубев полистал Большую Советскую, третье издание, в красном переплете. На букву «с»: самоубийство.

Ничего толкового, ничего кроме неопределенных юридических (псевдо-юридических?) суждений — кто и за что отвечает, если... Ну и наплевать! Он коснулся понятия вскользь, как дилетант, не более того. Понятие к нему отношения не имело, он ведь не сам с собой, он с природой договорился, природа дала ему санкцию! Он заслужил, он ведет себя корректно, ему можно, другим — ни в коем случае! Представить себе, что министры, президенты, члены Верховного Совета подобно Голубеву сами себе назначали бы сроки? Скажем, полтора-два месяца? Сколько бы они за это время наобещали, сколько бы тайно от своих избирателей наголосовали в кабинках, сколько раз успели бы объявить о режимах особого управления! О новых конституциях! И т. д. Они и предполагая жить обещали не стесняясь, без зазрения совести, а если бы знали — осталось полтора месяца? Как бы они — усатые, бородатые, безбородые и безусые — за этот срок постарались?

Танатология, учение о смерти, как ни странно, ничуть не развивается в эпоху цивилизации. В Древнем Египте это учение стояло очень высоко — а нынче? Шаг вперед, два шага назад! И это при том, что в жизни нет ничего более закономерного, чем смерть.

В 1902 году русский ученый А. А. Кулябко впервые оживил сердце, вынутое из трупа, с тех пор и пошло и пошло это ОО — «оживление организма». Тоже мне — мода! Почему-то никто не учитывает, что по алфавиту рядом с ОО стоит ОМ — «ожидание математическое», то есть вероятность тех или иных последствий, которые должны наступить вслед за совершенным действием. Конкретно — вслед за ОО.

Обижаться Голубеву было не на что: его нынешнее обустройство шло по графику, даже с некоторым опережением — тонус снижался, аппетит снижался, уверенность в благополучном исходе намеченного дела с каждым днем повышалась.

Ходить никуда не хотелось, ни в очереди в магазин, ни в ЖЭК, ни на почту, никуда. Он лежал и лежал, Татьяне говорил — отлеживаюсь после поездки на Припять. Татьяна верила. Она всегда ему верила, даже тогда, когда он говорил что-нибудь о действительности. О той, которая не могла объяснить себя Голубеву, иначе говоря, Голубев ей был не нужен, но ведь и он не оставался в долгу, и ему — на кой черт нужна была такая действительность? Без такой приятнее, и вот его решение было к обоюдному удовольствию, а наука танатология стала ему особенно близка. Ну прямо-таки как родная! Не бог весть каким он был специалистом в этой области, но не правда ли? — близость далеко не всегда сопровождается профессионализмом.

Какой опыт, какой профессионализм может быть у детей, а ведь соображают!

Дочка Алеши от его первого брака — зовут Наденькой — в семь лет перенесла тяжелейшее заболевание, слава Богу, у нее обошлось без последствий, но в детской больнице, где Наденька лежала почти три месяца, где Голубев ее навещал два раза в неделю и чаще, дети очень много, очень умно и конкретно говорили о смерти: кто и когда, кто вслед за кем умрет, кому и какие цветы принесут на могилку, кто будет жалеть тебя больше всех — папа, мама, братишка, сестренка или же все одинаково? И о душе шли разговоры: если душа очень захочет, она сможет жить и на том свете — кто ей помешает? Некому! Никто никому там не мешает, никто не болеет, поэтому там и другой свет. Другое дело, если душа не очень захочет. Дети не обладали опытом собственной жизни, вот они и относились к ней объективно как к таковой, без предрассудков, без эгоизма, без утверждений, что жизнь — это твоя собственная принадлежность, что не ты ей, но она тебе обязана.

Эта детская логика в других выражениях, но по смыслу почти полностью совпадала с «чистой наукой», которую тридцать лет тому назад прошел Голубев в обществе Азовского и Полякова.

Эта логика, если вспомнить, была и ему близка едва ли не всю жизнь, с шести лет, когда он стоял на мосту, а под мостом текла и текла река, и тече-

ние это остановило Голубева, когда он хотел в него броситься. Будь вода под мостом неподвижна, в неподвижную он без сомнения бросился бы.

Дети... Собственные дети Голубева выросли. По нынешним понятиям, хорошо выросли! Прекрасно!

Аннушка жила в Питере, женщина — огонь, она в свое время вышла замуж за тихого, светлого лицом бухгалтера Генриха, очень скромного, а настала перестройка, бухгалтер этот — ого! — стал большущим бизнесменом. Аннушка уверяла: «Честный бизнес! В нечестный я своему Генриху шагу шагнуть не дам!» Вдвоем они и растили двоих детей, мальчика и девочку, голубевских внуков. Аннушка и сама по себе, помимо детей, действовала очень активно — была ведущим модельером на большом швейном предприятии, была его совладелицей.

Модельером она оказалась поэтическим: носила с собой красивенькую, с загадочными вензелями записную книжку и то и дело изображала на ее меловых, высшего сорта листочках какие-то линии, воротнички, рукавички, бантики, еще черт знает что. Иногда садилась за стол, задумывалась и требовала от присутствующих:

— Да не вопите вы, ради Бога: я думаю! Я изобретаю! Женский пол пусть треплется, а мужики — сейчас же заткнитесь!

— Это почему? — удивлялся Голубев. — Почему так?

— Потому что мужики от природы стандартны: брюки в две штанины, пиджаки в два рукава — чего еще выдумашь? Вот и голоса у них одинаковые, детушинные. Другое дело женский пол: я вот свою доченьку, Машеньку свою, слушаю и в ее голосе угадываю фасоны платьев. Вечерних и повседневных.

Аннушка звонила родителям каждую неделю, Татьяна по звонку чувствовала: Питер! — бросалась к телефону и спрашивала:

— Как живете?

— Нормально! — отвечала Аннушка.

— А дети как? Внулата как? Коленька и Машенька — как?

— Нормально!

— А на работе?

— Нормально!

Голубев недоумевал:

— Дебилы наши дети, что ли? Ненормальные дебилы? Или попугаи?

Татьяна же счастливо улыбалась:

— Чего тебе еще надо, старый? Нормально, и слава Богу! И Коленька растет очень способным, Аннушка говорит: в дядю Алешу! Физиком будет наш Коленька. Ядерщиком. На ядерщиков знаешь какой спрос?

Спрос на ядерщиков резко снижился, но Голубев этого не разьяснял, пусть ее, она ведь в сыночке Алешеньке души не чаяла, до беспамятства им гордилась:

— Он почти что гений! А может быть, и... Все может быть!

— Запомни раз и навсегда, — объяснял Голубев жене, — всего быть не может! Мужик за пятьдесят, а ты все еще от него ждешь чего-то совершенно необыкновенного! Он свои годы уже профукал!

— Мало ли что! Жизнь у разных людей складывается по-разному! — не отступала Татьяна. — Алешу — его куда только не приглашают! И в Америку, и в Англию, и во Францию. Бесталанного приглашать бы не стали!

Что верно, то верно, каким Алексей был ученым — отец толком не знал, но в том, что он блестящий лектор, сомневаться не приходилось. К тому же ничего невозможного для Алексея по-прежнему не было. Нужно написать какую-то работу, срок — два месяца? «Два месяца? — рассуждал Алексей. — Успеть можно. Вполне. Арабо-израильская война сколько продолжалась? Кажется, шесть дней?» Нужно прочитать курс лекций на испанском языке? «Ничего особенного. В физике огромное количество понятий произносятся на английском, английский я знаю!» «Смотри, Алексей, осрамишься! Некрасиво получится», — сомневался отец. «Красиво, красиво! Тем более я же испанцев не приглашаю, они приглашают меня. Вот и пусть стараются меня понять. Хорошенько стараются».

Очень способный хлыщ! И удивительно: Аннушка, та пополнила, солидной стала дамой, представительной, с манерами, Алексей же каким был, таким и остался — тощенький, разговорчивый, легкомысленный. Легкомысленность шла к нему, он умел ее использовать, Голубев и не подозревал, что с таким характером можно быть крупным физиком.

Сам себя Алексей объяснял так:

— Я над любым специальным вопросом думаю ровно час: мой это или не мой вопрос? Если не мой — он попросту перестает для меня существовать. Если мой — ишу на него ответ.

А вот в семейной жизни легкомыслие Алексея не срабатывало, он женился в двадцать четыре года, а спустя недолгое время разводил руками:

— Ошибка вышла!

Под сорок переженился, и снова:

— Вышла ошибка!

А ведь в двух браках дважды настрогал по мальчику и по девочке (генетика была в роду Голубевых, что ни семья, то мальчик и девочка).

Вторая Алексеева жена Голубеву не нравилась, первая была гораздо лучше, а эта красотка Марлена еще легкомысленнее мужа: уже грузино-абхазский конфликт заварился, она все равно потащилась в Гагры. Вместе с детьми.

Алексей был в Америке. Голубевы уговаривали Марлену не ехать, она не послушалась.

Спустя месяца полтора Голубев встречал Марлену с детишками на вокзале, долго встречал, суток около двух. Расписания и для нормальных-то поездов не было, Марлена же ехала поездом ненормальным, с беженцами.

Двое суток на вокзале (Татьяна привозила ему поесть) — Господи, чего он только не насмотрелся! Люди вповалку на скамьях и под скамьями, около касс драки и грабежи, дети грязные, те, что в пеленках, в пеленках неизменных и день и другой, в туалеты огромная очередь, а заплати каким-то проходимцам — путь свободен, еще и соответствующую бумажную продукцию предложат (по особой таксе). Были женщины — они испражнялись тут же в вокзале, о мужиках и говорить нечего.

Наконец беженский поезд пришел — слезы, вопли, кого-то ограбили, у кого-то что-то потерялось. Марлена чмокнула Голубева в небритую щеку.

— А вот и мы! Мы приехали! Я же говорила: обойдется!

Дети — некрасивый, сивый с рыжим (в деда Голубева?) мальчик Ольвиан и смуглая красотка, вся в мать, девочка Олимпия — каким-то образом были очень похожи друг на друга, и тот и другая безрадостно и безо всякого интереса уставились на Голубева: что за человек? седой? А ведь до отъезда на Кавказ с этим человеком отношения у них были дружеские, уважительные, родственные.

Пока выбрались с платформы, из беженской истерики, пока за баснословные деньги нашли левака, чтобы он на своем истрепанном, в пятнах ржавчины «жигуленке» отвез их домой, Марлена, ни на минуту не замолкая, объясняла и объясняла Голубеву, какая она все-таки умная, как ловко давала железнодорожникам взятки, чтобы уехать, золотой крестик, подаренный ей свекровью, с себя сняла, а дети так и не проронили ни слова. Приехали на квартиру Голубевых-старших, Татьяна пришла в ужас, принялась внучат отстирывать и мыть, одежку с них снимать, что-то из одежки выбрасывать в мусоропровод, что-то зашивать, все это охая, ахая и плача тоже. Детишки понемногу отошли, робко, но стали улыбаться, посмеиваться. Марлена же искренне своим кавказским приключениям удивлялась:

— Как в настоящем спектакле!

Марлена считала себя знатоком театрального искусства, писала пьесы, но почему-то у нее не получалось, театральные завлиты, злодеи, ее зачем-то прямо-таки преследовали.

Неделю Марлена с детьми прожила в доме Голубевых (и начала писать новый киносценарий), потом уехала на свою собственную квартиру. Татьяна за это время совсем изошлась — еще поседела, еще сторбилась, для Голубева же если уж не вся нынешняя жизнь, так вся перестройка, все заседания Верховного Совета, все президентские выступления стали с этого времени

ассоциироваться с вокзалом, на котором он провел двое суток (президента бы туда! хотя бы на сутки!). Голубев и хотел бы иначе все видеть, но иначе у него, хоть убей, не получалось.

А еще вспоминался ему недавний — месяца два тому назад — разговор с сыном.

Голубев просто так, к слову, упрекнул Алексея в легкомыслии, а тот вдруг отреагировал.

— Ну что ты, право, отец! «Легкомыслие, легкомыслие!» Скажи, что такое легкомыслие? Если я не проповедаю ноосферу по Вернадскому — значит, я легкомысленный?

— Вернадский и в самом деле тут необязателен. Но для тебя не существует будущего! Вот в чем все дело!

— А для кого оно существует?

— Для России и для меня. Для миллионов.

— Ну как это оно может существовать для меня, отец, если его уже многие века не существует для России?

— Что-что? Объясни, пожалуйста!

— Дело ясное. При Екатерине Россия выиграла Семилетнюю войну — и что? Что она имела от этой победы в последующие времена? Ровным счетом ничего, одна мороза.

— Ну, это дело известное. Что правда, то правда. А война с Наполеоном?

— Россия Наполеона доконала, верно, планы Наполеона не сбылись, верно, он Австрию не завоевал, в Англии не высадился — верно, а нам-то какое было дело до всех этих европейских счетов-пересчетов? Ну сидели бы родственники Наполеона на троне в Вене и Неаполе — нам-то что? Нам что нужно-то было — историческая роль, казаки в Париже или собственное благополучие, собственное будущее?

Голубев захлебнулся от злости, от собственной растерянности. Алексей, посмеиваясь, будто бы между прочим гнул свое: 1905 год — это будущее? 1917 год — тоже будущее? коллективизация и ГУЛАГ — это оно? победа в 1945-м — оно? Мы победили, это правда, но теперя побежденная Германия помогает нам выкарабкаться из ямы. Уступим Японии Курилы — и она поможет. Мы заняты суверенитетами, кровавыми уже сегодня, а с каким живем завтрашним днем — никто не знает. И спекуляциями заняты. И воровством. И коррупцией. И алкоголизмом. Это — будущее? Самая богатая в мире страна ходит по миру с протянутой рукой — будущее? Политика без прогноза — это авантюра. Наше будущее? Это — как? Это по Вернадскому?

Голубев пришел в ярость:

— Русофоб! Циник! Я и не знал, кого я воспитал!

— Успокойся, отец. С тобой откровенно и поговорить-то нельзя. Будь добр, успокойся! Если бы я был русофобом, хотя бы человеком не русским, я бы давно из России умотался — у меня на каждый месяц две таких возможности. Но я человек, к твоему сведению, русский. У моего отечества нет будущего и у меня его нет — вот и все. Так бывает. И не очень редко. Не у каждого человека есть будущее и не у каждого народа. История это подтверждает — неужели непонятно? Лично мне понятно, но я не бегу из России. У меня две семьи, и обе здесь. Значит? Значит, я патриот. Если я патриот легкомысленный, это логично: уж наверно, я последний в нашем роду патриот, а все последние всегда легкомысленны. Как ты думаешь, отец, что такое легкомысленность?

— Наверное, отсутствие глубокой мысли.

— Ничего подобного! Просто легкомысленный человек недолго помнит все плохое. Я когда-то, лет двадцать тому назад, один час шестнадцать минут думал и пришел к выводу: все плохое и все самое трудное — не мой вопрос, не моего ума дело. Вот и экология — да разве она моего ума? Вот и вы, мои старички, тоже русские. Также в России. Ну вот и терпите, набирайтесь легкомыслия. Тебе, отец, с Владимиром Ивановичем приходится терпеть. Трудновато? Да?

Голубев был ошеломлен, не нашелся, что сказать. Еще и потому не нашелся, что Алексей вдруг погладил отца по голове. И слегка по плечу. А Голубев не припомнил другого такого же случая — не было

Такой разговорец с Алексеем два месяца назад.

Перед Голубевым был его сын, малознакомый человек, легкомысленный, но — муж, с собственной логикой. Перед его логикой отец отступал, хоть и не признавался в этом. Не повлиял ли тот разговорец и на встречу Голубева с классиками географии? На реке Припять?

Все может быть: повлиял.

В России принято умирать с музыкой, вот Голубев и устроил музыку классикам-географам. Почему бы не устроить похоронную сюиту, если мелодия сама напрашивается? Почему бы не сорваться с цепи? Уважал-уважал классиков, считал себя продолжателем их дела и вот наскандалил. Не для того ли, чтобы самые невероятные для себя вещи приравнять к нулю? Приравнял, а тогда никакие величины над тобой не тяготеют, и вот уже ты свободен принять окончательное решение:

— Дашь занавес!

Время шло. 2 августа 1993 года, времени оставалось минимум четыре дня, максимум пятнадцать. Голубев сожалел: почему прекрасная мысль не пришла к нему на год-другой пораньше? Хотя бы на полгодика. На четверть годика. Припяти, что ли, ему не хватало?

Он, Голубев, два месяца тому назад глаз лечил — катаракта, хлопот было, хлопот! Он к Святославу Николаевичу Федорову хотел устроиться в больницу — не вышло, а в больнице рядовой ему сделали что-то так, что-то не так, пришлось дважды ложиться в больницу, в палате больные здорово матерились по политическим и другим поводам, играли в карты и выпивали, все это Голубеву не нравилось, он вздыхал, — а что поделаешь? Ничего другого не было, быть не могло. А выход был: уже тогда принять решение — и черт с ней, с катарактой, не все ли равно стало бы, есть она или нет ее?

А зачем было Голубеву, старику, пенсионеру, два-три лишних месяца, два-три лишних года толкаться в очередях? Давиться в трамваях и метро? Бр-р-р!

А зачем Голубеву был и еще какой-то плюс к тридцати, если само-то экологическое движение в России быстро-быстро шло на убыль, если его прибрали к рукам дельцы и спекулянты? Заплатят такому специалисту «как следует», и любая экспертиза с предусмотренным результатом — вот она, готовенькая: экологическое состояние Н-го комбината удовлетворительное, рекомендуется осуществить такие-то и такие-то мероприятия...

А то экологический пароход поплывет по Волге либо по пути из варяг в греки, в каждом городке экологи (артисты, писатели, лекторы) останавливаются, устраивают для местных жителей концерты, танцуют, просвещают народ по проблемам охраны природы, играют на гармонике, на других музыкальных инструментах — и вперед, к следующему причалу!

Голубев в таком вот экомаршруте однажды участвовал. По Волге. Маршрут был трехнедельный, он не выдержал и через неделю сбежал. И это в то время как среди разрухи и безвластия снова возрождаются проекты переброски речного стока? Упаси Бог! Снова васильевы, полад-заде, воропаевы — упаси Бог!

Был у Голубева и технический вариант, по всей вероятности, прогрессивный: со времен болезни сосудов сердца и головного мозга, с тех счастливых времен, когда он беседовал с Азовским и Поляковым, он не мог спать на левом боку: засыпает прекрасно, безмятежно, а спустя час-другой просыпается от судороги предсмертной — сердце бьется, в голову удар.

Так вот чего бы, кажется, проще: всякий раз засыпать на левом — рано или поздно должно ведь сработать? Мгновенно? Но что-то мешало провести такую серию, которая и на год могла растянуться, и каждый вечер на ночь глядя он лез бы в петлю очень ненадежную — то ли петля выдержит вес тела, то ли не выдержит? Нет, этот способ Голубев не мог счесть благом.

Или вот: характер у Голубева стал прямо-таки дрянь. Раз в неделю ему хотелось бить окна, раз в месяц — посуду, еще что-нибудь, а ворчать, дескать, «и чего живу, когда помирать давно пора?» — так это чуть ли не каждый день. Окна он не бил, посуда, к сожалению, билась сама, замечания по поводу смерти до поры до времени были некорректными, даже унижительными: ворчать ворчишь, а не помираешь. Зато когда к нему пришла счастливая мысль, тут все и встало на свои места, и впервые в жизни он был уверен: завтра будет лучше, чем сегодня, и так до самого конца! Что и говорить — обладала река Припять собственной, ни одной другой реке не свойственной мудростью, научила плователя Голубева!

А еще беда человеческая: разучились люди умирать. В суматохе, никто не исповедуется перед смертью, родственники не собираются попрощаться с умирающим — разве что похоронный митинг устроят: «Мир праху твоему, отличный товарищ!»

Войны, дележ суверенитетов, одиннадцать чемоданов вице-президента Рудкого в России, бесчисленные чемоданы в других странах бывшего СССР, жизнь — копейка (рубль, два рубля по новому курсу), ну а если жизнь так дешева, откуда же взяться дороговизне смерти? Высокой ее квалификации? Похороны — да, стоят дико дорого. Но умереть стоило гроши.

Средства массовой информации тоже смотрят на вопрос сквозь пальцы — обратились бы, не откладывая на будущее, к Голубеву, откуда он еще в памяти, много любопытного могли бы почерпнуть. Но ТВ не интересуется, а Голубев даже от Татьяны скрывается:

— Отдыхаю... После Припяти... Отдохну — поговорим.

Представить себе невозможно, но был человек, который догадался о том, как в действительности обстоит дело, почему день-деньской лежит и не встает Голубев, что Голубев задумал. И по телефону догадался-то, по самой, казалось бы, неуловимой интонации.

Этим человеком был Мотья Краев, он позванивал между десятью и двенадцатью утра, потом сказал:

— Брось дурить, Николашка. От меня не скроешься!

— От тебя не скрываюсь, — признался Голубев. — Бесполезно. Однако учти: это дело не твое!

— Вот так раз! Не мое! Оскорбить меня хочешь?

— Нет, право же, Мотя, не лезь не в свое дело. Тем более дело решенное!

— Честное слово — решенное? Если так, не полезу.

— Я тебе благодарен. Скажи — а ты неужели не собираешься? До хаты?

— Вот еще! Будто у меня других нету хлопот! Их у меня и без этого по уши!

Они еще потрепались, потом Мотья (за восемьдесят, а он все еще Мотья!) сказал:

— Давай кончать. А то у меня слезы на глазах. Желаю успеха!

— Это я тебе желаю: будь здоров!

И Голубев отдыхал в полном смысле слова, как нигде в жизни, вспоминая то, что ему и хотелось и требовалось вспомнить, о чем стоило заключительно подумать.

Об Асе думал: Ася не обманывала, когда сказала главному врачу детской больницы, что уезжает того ради, чтобы умереть. Так оно и было, точно так, и уверенность эта еще подкрепляла его спокойствие: не он один принял подобное решение, Ася уже давно-давно приняла такое же, разные обстоятельства жизни приводят к одинаковым решениям. Снова очень близка ему Ася. Мало все-таки он о своей любви до сих пор думал, мало, мало! Пусть и не стала их любовь их настоящим, но разве только о настоящем люди думают?

Время шло. График исполнялся. 4 августа 1993 года было, и тут интересно сделалось Голубеву: почему же все-таки он природный человек, чем природен? Сомнений не было, а все-таки? Был же какой-то смысл, какие-то

у него склонности, вот он (по Вернадскому?) и ощущал живое вещество. В жизни своей он никогда не имел собаки, но неизменно ощущал себя среди множества собак, кошек, лошадей, слонов, жуков и червяков. Хорошо это или плохо, но существование жизни было ему значительнее какого-либо существа, а любой пейзаж уходил за видимый горизонт в пространство земного шара, а вращение этого шара вокруг собственной оси и вокруг Солнца было и его собственным вращением, он это улавливал.

Как жаль, как жаль, что в свое время ни Азовскому, ни Полякову он не успел об этом рассказать!

Так или иначе, а с некоторого времени и едва ли не каждый день Голубев переживал часы ненависти к себе. И не по одному, а по множеству пунктов.

1. Да, он выступал против проекта Нижне-Обской ГЭС, да, одержал верх, был очень горд. Но если бы ГЭС построили, если бы она дала ток, разве он, Голубев, отказался бы от нижеобских киловатт-часов? Ни в жизнь! Как пользовались бы энергией Нижне-Обской ее проектировщики инженеры Чиликин, Мальков, Большой Начальник, сотрудник странного учреждения Томилин, так же, не больше, но и не меньше, пользовался бы и он, Голубев.

Фарисейство!

2. Когда-то он сказал Асе:

— Ася! Ты любишь меня только на расстоянии, вблизи — ничуть. Вблизи, случается, ты меня ненавидишь!

— Если и ненавижу, бывает, но все равно потому, что люблю, — ответила Ася и вскоре скрылась от своей любви.

Он все еще любил Асю, живую ли, мертвую — не знал какую.

3. Он никогда не понимал своих детей — Алешу и Аннушку. Они тоже не понимали его. Следовательно, жизнь его была неполноценна.

4. Чем очевиднее истина человеческого бытия, тем она беззащитнее — давно надо было догадаться, а не только что.

Нет ничего реальнее аксиом, между тем защитить аксиомы можно лишь с помощью неестественных доводов, и это только говорится, будто аксиомы и догмы не требуют доказательства. Еще как требуют! Вот этого-то он никогда и не понимал, недоумок. Недоумок и есть!

5. Чернобыльская катастрофа — это вовсе не частный случай современности, но сама современность, это чернобыльская действительность экономики, нравственности, государственности, общественной жизни, не говоря уж об экологии. Вот в какой действительности он жил, не справляясь с задачей жить, не умея задачу обдумать.

6. Голубев сам о себе воображал, будто он борец. Да еще какой! На самом же деле никакой он не борец. Его природным предназначением было развивать тезис Воейкова «реки — продукт климата», изучать формирование речного стока, опираясь на теорию вероятностей и конкретные географические условия. Вот и все. Так оно и было бы, если б с какого-то потолка на него не свалились Гипроводхоз, Минводхоз, Минэнерго, а ему пришлось против них обороняться.

Он всю жизнь просидел в обороне, потому в голове его так и не зародилось ни энергетической, ни мелиоративной альтернативы, которую можно было бы выдвинуть против своих противников. И вообще, может ли быть эколог нападающим? Эколог всегда обороняется, оборона никогда не приносит решающей победы. Экология — это наука не прогресса, а стабилизации.

7. Ничего-то он не открыл в природе, ни одного неизвестного ее качества и закона, ни одной ее тайны даже чуть-чуть не приоткрыл. Должно быть, предвидя этот исход, еще ребенком он хотел броситься в реку с моста. Вот когда он был умен!

8. Если на то пошло, значит, ему надо было поступать не на географический, а на юридический факультет. В США 85 процентов всех проектов природопользования проходят через суд, а у себя в стране Голубев так и

не смог начать ни одного сколько-нибудь заметного уголовно-экологического процесса, привлечь к суду крупного экологического преступника.

9. Голубев чем дальше, тем все сильнее чувствовал себя $\frac{1}{6\,000\,000\,000}$ одной шестимиллиардной частицей человечества. Быть всего-навсего $\frac{1}{6\,000\,000\,000}$ чего бы то ни было — это очень прискорбно, без самоуничтожения при этом не обойдешься. Он и не обходился.

10. Голубев был русским человеком, а кто это такой — русский человек сегодня? Во что он верит? Какие свободы и нынче ему предоставлены? Свобода грабежа (не умеешь грабить — ограбят тебя)? Свобода нищенства (не будешь богатым — будешь нищенствовать)? Свобода лжи (не умеешь лгать — оболгут тебя)? Голубеву припоминалось: когда-то в союзном парламенте премьер-министр Рыжков предложил повысить цены на 30 процентов. Что поднялось! Парламентарии-оппозиционеры заявили, что они лягут на рельсы, но не позволят грабить народ! Теперь они у власти (к власти их привели гэкачеписты, это тоже русская ситуация). Кто же виноват? Русский человек всегда и тщетно ищет виновников. Но не сам ли он и виноват?

11. Голубев-то разве не виноват? Куда ни кинь — везде! Ну а если уж он юрист, если он прокурор, так прежде всего самому себе.

12. С некоторых пор Голубеву стало казаться (казаться ли?), что он на чьей-то худой заметке. Вот уже и газеты перестали печатать его статьи по экологии. Трижды в последний год были сняты его выступления по ТВ. Видимо, так и было: он отработанный элемент, а двенадцать пунктов — цифра для случая вполне подходящая, не надо тринадцатого. Двенадцать тоже возводится и в квадрат и в куб и т. д.

В конце-то концов он ведь переживал счастливые дни, рассчитываясь с самим собою по своей воле — вот уж свобода так свобода!

Вот уж свобода так свобода, но пункт тринадцатый и в этой свободе не отступился.

13. Нет, не мог он жить в обстановке таксомоторного парка (№ 13?), где нет ни одной новой машины, нет запчастей к старым, нет и ни одной мысли по поводу завтра, а все держится на соплях и хамстве, с которым таксисты «координируются» с пассажирами, а начальник парка и начальники колонн тоже строят себе шикарные дачи.

Если же это не таксопарк, а ресторан какой-нибудь или какое-нибудь высокое государственное учреждение — какая разница? Никакой!

Если уж пункт тринадцатый так или иначе складывался, надо бы оставить его в виде записки.

Он записал строчку, но другого, отвлеченного, содержания:

«Из хаоса еще никогда не возникала демократия».

Проблема переброски, за и против, стала первой (перестроечной?) схваткой между беспартийностью и партийностью. Академики А. Л. Яншин, Г. И. Петров, А. А. Дородницын, В. П. Маслов, Б. С. Соколов были беспартийными, они и выступили против министров (беспартийных министров в СССР не было, не могло быть), против партийного правительства, в поддержку природы. Не таким уж четким было это разделение на «б/п» и «чл. КПСС», а все-таки было — не удалось Сталину сделать всю интеллигенцию партийной. «Наверное, потому, — думал Голубев, — что беспартийна сама природа — ей чужда идеология».

«К сожалению, — еще думал Голубев, — беспартийности не хватило на перестройку. Невероятный дефицит!»

Слово «природа» соседствует в словарях со словом «Припятть»! Специально для Голубева, что ли? А он-то, он-то: до сих пор не сделал из словарей и энциклопедий выписок всех значений этого слова. Силенок еще хватало, и вот с помутневшим уже зрением, дрожащими руками, но с энтузиазмом он принялся за дело.

Настольный словарь (1864):

«*Природа* — то же, что и мир, все предметы, постигаемые нашими чувствами, которых не коснулась рука человеческая, врожденное свойство лица или предмета»

Владимир Даль (1882):

«*Природа* — естество, вся вселенная, все мироздание, все зримое, подлежащее пяти чувствам, противопоставляется Создателю».

Большая энциклопедия (1904):

«*Природа* — окружающий нас мир в своих закономерных изменениях и со всем своим содержанием, насколько последнее не подвергалось еще изменению под влиянием людей, противоположность культуры и искусства. Идеи возвышаются над природой до оценки прекрасного, доброго и целесообразного».

Большая Советская Энциклопедия (1940):

природа — такого понятия в этой энциклопедии нет (есть «Припять», «Приручение животных», «Присвоение власти»).

Большая Советская Энциклопедия (1955):

«*Природа*: окружающий нас материальный мир. Вселенная никем не сотворена, бесконечна во времени и пространстве. Человек и его сознание есть высшее порождение природы».

Большая Советская Энциклопедия (1975):

«*Природа* — все сущее, весь мир в многообразии его форм. Объект науки... предельная абстракция, основными характеристиками которой являются универсальность, законообразность и самодостаточность. Общее понятие, задающее принципиальную схему понимания и объяснение того или иного конкретного предмета изучения... совокупность конкретного предмета изучения... совокупность естественных условий существования человеческого общества... потребление заменяется покорением природы... отношения глобального управления... границы допустимого воздействия... капитализм — хищническое отношение к природе... Сама сущность социализма активно благоприятствует рационализации отношения к природе... на Западе — экологический пессимизм... социализм показывает, что общество, основанное на общественной собственности, в состоянии разумно регулировать свои отношения с природой».

Советский энциклопедический словарь (1990):

«...все сущее, весь мир в многообразии его форм — материя, универсум, Вселенная. Объект естествознания. Совокупность естественных условий существования человеческого об-ва. Осуществление обмена веществ между человеком и П. ...Совокупная деятельность об-ва оказывает все более заметное влияние на П., что требует установления их гармоничного взаимодействия. См. *Охрана природы*».

Голубев посмотрел:

«*Охрана природы* — комплекс мер по рациональному (неистощительному) использованию живой и неживой природы... В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР в 1988 г. определены главные задачи и основные направления природоохранной деятельности. Создан союзно-республиканский Гос. комитет СССР по охране природы».

Надо же, а он, Голубев, и не помнил этого постановления. Ах, нехорошо, ах, нехорошо! Впрочем?

Впрочем, сойдет: СССР уже нет!

Слишком мало случаев и эпизодов, соединяющих человека с человечеством, а человечество с природой. Природа, ее живое вещество, — тоже ведь общество, а не только среда обитания. Какая же это среда обитания, если любое живое вещество более требовательно к условиям своего существования, чем человек? Южные бактерии, и червячки, и животные не живут на полюсах, но человек живет везде. Это по Адаму Смиту, Марксу, Ленину, Сталину природа — не более чем одна из трех составляющих производственной деятельности человека (две других — труд и капитал).

Лето шло вокруг дождливое, ненастное, грозное, но это уже не касалось Голубева, не его это было дело... Единственно что он воспринимал отчетливо и с удовольствием, это громы: они гремели естественно, без участия художественной литературы, ядерной науки и политики, сами по себе.

Очень приятно! Природа, слава Богу, не забывала его, забытого человека, жизнь которого была тревогой за жизнь.

Голубев был не прочь спрятаться от многих-многих проблем, но прятаться надо вовремя, а не после того как проблема рассмотрит тебя со всех сторон и во всех деталях. Он опаздывал неизменно.

Ядерное оружие безобидно в режиме хранения, но складирование искусственных радиоизлучающих отходов (в том числе и сами АЭС, проработавшие свыше тридцати лет) может разорить самую богатую страну.

«Атомные станции — позорное прошлое человечества», — когда-то прочел Голубев.

Сорок килограммов ядерного урана изымается в Ираке. Этого достаточно, чтобы изменить лик планеты, вес которой составляет $5976 \cdot 10^{21}$ килограммов, а площадь поверхности 510,2 миллиона квадратных километров.

В России первых лет XX века было двенадцать инженеров-гидротехников сельского хозяйства, но один только Жилинский Иосиф Ипполитович осушил-оросил-обводнил больше миллиона десятин и ни одной десятины при этом не испортил. В кадрах Минводхоза два миллиона человек, тысячи инженеров, и они списывают и списывают миллионы гектаров «улучшенных» земель.

Уже Платон был социалистом, уже Аристотель, ученик Платона, социализм не признавал, уже большевики отлучили Платона от социализма: он не выбросил лозунга «рабы всех стран, соединяйтесь!».

Пока двигателями для человека были животные — лошади, буйволы, ослы, верблюды, собаки, олени, — которые двигались со скоростью, присущей им от природы, человек и не вступал в противоречие с природой, но паровая машина, знаменитые Ползунов и Уатт, вывели человека в исходную точку антиприродного движения.

Земледелие, правда, и до сих пор остается природным промыслом, потому что почвы и растения не допускают скоростей пахотных и уборочных агрегатов выше вполне определенного предела, близкого к скорости движения лошади, запряженной в плуг либо в жатку. Стоит превысить эту скорость — и почвы уплотнятся, как уплотняется дорожный грунт, распылятся, как распыляется дорожная пыль, а стебли растений полягут наземь, минуя жатвенный аппарат, либо вместе с семенами превратятся в бесформенное месиво. Это значило, что земля ставит свои условия земледелию.

Если бы Ельцин и Хасбулатов знали, как надоели они Голубеву! Природы для них уже не существовало.

При жизни Голубева не было в России такого правительства, которое не обманывало бы его, выполняло бы свои обещания: Николай II, Львов, Керенский, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев.

Правда, к трем из этих девяти у Голубева было особое отношение — пусть и под давлением обстоятельств, а все-таки они ушли от власти сами и объяснили, почему ушли.

Эти трое: Николай II, Львов, Горбачев.

Но все бы перенес Голубев, если бы не чернобыльская катастрофа, уж очень она долговечна! Более долговечных проблем, может быть, и не было.

Да здравствуют экологические правительства всех государств и народов! (Таковых все еще нет, но если в ближайшем будущем не будет — человечества тоже не будет.)

Все дело в отношениях между целым и частью. Между системой и ее составляющими.

Вот он человек — член семьи. Семья как составляющая общества. Множество различных обществ, составляющих человечество. Человечество и живое вещество Земли (и неживое тоже). Земля и Солнечная система — всде часть и целое.

По поводу Земли Голубев проделывал — и ему казалось, будто удастся, — мысленный опыт: одну за другой лишал Землю частных, прежде всего чисел. Чисел веса Земли, ее объема, размеров, ее орбиты и ее времен — и что же? От Земли ничего не оставалось, кроме нечисленной бесконечности. Нынче Голубев и сам себя запросто представлял уходящим в бесконечность. Еще недавно он предполагал — изойдет в нуль, но нет, ничего подобного, теперь уже было ясно как день: его ждет бесконечность! С нетерпением ждет. И у него тоже проявлялось нетерпение: ведь в принципе бесконечность — начало всего, поскольку в ней существует бесконечное количество космических тел, одно из которых в конце концов может стать Землей. Вернее всего, это может случиться не без участия некоей Высшей силы, думал Голубев, он был согласен с принципом Высшего созидания, но сомневался в том, что Творец может проследить за эволюцией и поведением всего того, что Им создано. Впрочем, это другой вопрос, но так или иначе, а только Земля приобрела собственные, ей одной присущие числа, ей одной свойственные условия, необходимые для существования живого вещества. Нужны условия, а тогда будет все, что в этих условиях может быть, вот и жизнь стала есть только потому, что могла быть. Любопытно, как никогда прежде в жизни Голубева, и, значит, так: Земля — третья от Солнца планета (148 миллионов километров), а попробуй поживи и поразмножайся на планете второй, Венере (108 миллионов километров), если там температура поверхности 750°C , а сутки равны 224 суткам земным? Марс (228 миллионов километров) — планета четвертая, температура от $-80 - 60$ до $+43^{\circ}\text{C}$, сутки — что-то около 700 (687) земных, тоже не сахар. А вот Земля — это не просто она, а рай земной. (Такие же рассуждения, думал Голубев, применимы и к Солнцу в системе галактики, и к галактике в дальнейших системах.)

И все бы хорошо, всем был бы прекрасен тот невероятный Случай, который — Земля, если бы человек не принял роли Антихриста. Конечно, далеко не все живые (да и мертвые тоже) люди с этим согласятся, но Голубеву всегда были близки интересы, физиология и умонастроения всего живого вещества, он точно знал: там другого мнения быть попросту не может. Тем более не может, что там и выбора не было, а здесь выбор был — Христос и Антихрист.

Но Христос, Магомет, Будда и другие так и не смогли отвратить человека от его антиприродности. Чего же тогда с Голубева-то спрашивать?

Произвол памяти: апрельская 1986 года чернобыльская катастрофа, она ведь в тот раз не кончилась, она (это привлекло внимание лишь немногих) продолжилась 11 октября 1991 года в 20 часов 36 минут, когда на Чернобыльской произошло короткое замыкание, большой пожар. Горела крыша машинного зала, два ее пролета, отключены блоки третий и пятый (четвертый взорвался в 1986 году). Все рушится, взрывается, грохот, беготня, паника (В. Ф. Склярков, «Завтра был Чернобыль»).

И — пронесло...

Чуть ли не каждый день Голубев узнавал по ТВ: там взрыв, тут поезд долой с рельсов, отравлена река, истреблен лес, где-то пожары, стрельба, ракеты, — но все еще не доходит до катастрофы глобальной, все еще пронесит и пронесит, все еще милует Бог.

Наверное, академика Валерия Алексеевича Легасова милость не устраивала, он переживал ужас (многое пережил и Голубев, но ужас — увь! — его миновал), не мог Легасов согласиться с тем, что:

до сих пор даже и не сформулирована концепция создания устойчивых экологических систем;

до сих пор нет критериев эффективности самовозобновляемых, самой природой к энергетике предназначенных источников энергии (солнца, ветра, приливов-отливов);

до сих пор строим АЭС и только через пятнадцать — двадцать лет убедимся в их бесперспективности.

Академик Легасов Валерий Алексеевич эти пятнадцать — двадцать лет принять не мог, 24 апреля 1988 года он покончил с собой.

Есть люди, для которых чернобыльская действительность оказалась их собственной действительностью.

А ведь пора бы уже, пора прикоснуться к чему-то душевному, исповедально-завещательному! Или Голубев был лишен такой способности, или эта способность выражалась в нем не как у людей?

Когда-то, вернувшись из мира чистой науки, Голубев сказал сыну:

— Знаешь, сын, я и сам не знаю — то ли стоит жить, то ли не стоит?

Алешка, совсем еще в то время парнишка, отозвался так:

— У меня, отец, правило: сам выдумал, сам и думай.

— Ну все-таки?

— А чего тут думать? Будто ты один такой. Больше или меньше, но все такие же!

Алеша! Сын!

Как сложилось: я закончил «круглый стол» с самим собой, но с тобой мы расстаемся, так и не повидавшись. Где тебя носит по белу свету?

Алеша! У меня, географа, к тебе, физику, всегда были серьезные вопросы, но я стеснялся к тебе обратиться. Когда-то мои родители ни на один мой вопрос не ответили толком, вот и я не надеялся на себя.

Это такие разные вещи — география и физика, но и то и другое — природа. Я природу боготворю, но и у меня всегда была к ней претензия: мне казалось, что она скомпрометировала себя ледниковым периодом. Не будь ледникового — и людям не было бы необходимости бороться за собственное выживание и с природой и между собой за кусок мяса мамонта, может быть, не было бы и племенной вражды, провокаций, воровства и взяточничества, а было бы по Голубеву: смыслов всякого существования стало бы содержание природы. Пони-май человек ее содержание — и все остальное станет для него на свои места! А теперь? После ледникового — что за перестройка? И возможна ли в принципе ноосфера по Вернадскому, если из бытия природы не исключены ледниковые периоды?

Я только что сделал выписки из словарей и энциклопедий, но ответов не получил.

То, что природа — это окружающий нас мир, люди знают и без книг и без знаний, но почему же не отдать себе отчета в том, что мы тоже окружаем природу, только гораздо гораздо плотнее и более жестоко, чем она нас?! Что мы обустроиваем ее в системе ГУЛАГа, в системе, которую заведомо не переживут ни эки, ни конвоиры — никто? Что мы — среда обитания природы?

Все, что есть, есть только потому, что может быть. Может быть в природе. Чего в ней не может быть, того нет, нет в ней ничего лишнего да и только. Природа — высшая степень реализации возможностей, и весь вопрос в том, насколько природно такое производное природы, как человек.

Ты, физик, что думаешь на этот счет?

И как это можно говорить о природе, умалчивая, что она есть непосредственная причина жизни, ее исполнительная и законодательная власть? Наверное, природа тоже существует по Чьей-то причине, это дела не меняет. Причин случается множество, иначе откуда бы явилась бесчисленность следствий? Откуда бы возникли бесприродные философии, которые так и не знают своих причин?

Сын Алеша! О чем прошу пожалуиста, посмотри мои выписки, добавь к ним свой, продолжи своего отца. Меня всегда удручало, что все, о чем я думал всю жизнь, совершенно не касалось тебя. А ведь твой опыт и твое мышление физика, опыт изучения неодушевленного и внегеографического вещества совершенно

необходимо приложить к веществу живому, климатическому, поскольку и то и другое — природа. Продолжи меня хотя бы на шаг, для чего-то, но мне так нужно. Представляю себе, что этот шаг окажется для тебя безрадостным и скучным, но сделай его. Наука да и все наше мышление увлечены анализом, бесконечными проблемами по разным специальностям, которые знают не знают друг друга, и вот уже никто не представляет себе целого и даже не задумывается о нем. Целое, повторяю, окружено колючей проволокой — кто ее, колючую, изобрел, почему неизвестен автор? — и только частности суетятся вокруг, полагая, что их суета и есть свобода, что для них ничем ни Чернобыль, ни озоновая дыра.

Сынишка! Ты, бывало, говорил своему отцу: «Батя! Ты поменьше думай, побольше соображай!» Прекрасный совет! Не сказал бы, что ты слишком много думаешь, но посоображать тебе не помешает. Во всяком случае, я не желал бы тебе такой жизни, в которой ты так никогда и не помучился бы этим вопросом.

Зенон из Китона: «Ум нужен человеку, чтобы сделать невозможное, разум — чтобы определить, нужно ли это делать вообще».

Правда, я не могу подсказать, что ты должен сообразить, но обязательно должен, без этого нельзя.

Да-да, учти: в человеческой жизни (но ни в какой другой) очень часто даже в большей мере, чем сделанное, присутствует несделанное.

Будь здоров, Алеша. Побереги маму. Обо мне не горюй, не в твоих привычках горевать, вот и не изменяй себе, я же, ей-богу, если уже не счастлив, так спокоен как никогда.

Твой отец.

14.VIII.93.

Р. С. Если тебе придет соображение, что твой отец чайник — таскал-таскал по редакциям статьи, а вот уже его и гонят в шею, — не смущайся: у чайников тоже бывают дети.

Р. Р. С. Реки я отношу к живому веществу. Уже по одному тому, что все живое вещество, так же как и река, есть «продукт климата».

Кроме того: нет вещества, в состав которого не входила бы вода, она содержится и в золоте и в граните — везде, а жизнь на планете Земля теоретически возможна до тех пор, пока Земля не растеряет свою воду в космическом пространстве. По Вернадскому, это может произойти через 80 миллионов лет.

А еще то, о чем он сыну не написал:

он никогда не был альтруистом, не был в восторге от человечества — да и кто и когда был от него в восторге? Тогда почему же ему перед людьми-то было нынче стыдно? За какую такую вину? Может быть, за то, что он не был ни Вернадским, ни Воейковым, ни Шуховым?

Голубев руководил небольшой общественной, довольно известной экологической группой, она действовала против проектов переброски стока, против ленинградской дамбы, против строительства канала Волго-Дон-2, против строительства ГЭС на реке Белой в Башкирии, против Катунской ГЭС на Алтае. Что-то вроде Гринпис, только советского происхождения и безденежное.

Организация называлась «Эко», люди — высокого класса эксперты, работали в поте лица и совершенно безвозмездно, а правой рукой Голубева была в «Эко» все еще моложавая старая дева из города Барнаула, с улицы имени партизана Мамонтова, звали Нелли, фамилия — Юркова; ей Голубев доверял едва ли не больше, чем самому себе, о ней говорил: вот человек — всю себя посвятила благородной проблеме, даже и семью не завела, даже и на мужчин не смотрит, деловая, аккуратная, организованная, знающая, преданная, религиозная, спортивная... Нелли Юркова была ученицей Голубева, слушала у него курс лекций по гидрологии.

И что же? Оказалось, под общественным статусом «Эко» Юркова устроила частную фирму, со своими же банковскими счетами, со своей коммерческой деятельностью, со своими зарубежными связями неизвестного свойства. Вот она какой оказалась, эта барнаульская дева, и выжила из «Эко» всех, кто ее в чем-то не устраивал, кто догадывался о тайном существова-

нии ее частной фирмы под эгидой «Эко». Голубева даже и не сама Нелли Юркова ошеломила, но та дьявольщина, которая за ней вдруг стала. Откуда?

Вот и Юркова. Вдруг явится у нее доброта к умершему Голубеву? Не дай Бог! Какому-никакому писателю, а такой бы типаж! Находка!

И дошло до того, что однажды он дал себе зарок: «Буду умирать — прокляну Нелли! Если не сдержу слова — прокляну самого себя!»

Конечно, для этого гораздо больше подходило бы другое лицо — министерское, академическое, президентское, но обиды не очень-то считаются с логикой...

Был и такой пасквилянт — Юрочка Костлянский (лет за шестьдесят), в недавнем прошлом писал брошюры о руководителях художественной жизни СССР, а еще выискивал (и находил) ошибки в статьях и выступлениях Голубева, но Юрочка — что? Большеротое ничтожество, и только, другое дело Юркова Нелли!

Нелли обладает потрясающим самомнением, а Юрочка — что? Таракан и с Марса на Землю упадет — не разобьется.

Последним соображением Голубев соображал: «Плюнь! Куда тебе, если от тебя осталась одна десятая, не более того!» — но было уже 9 августа 1993 года, дальше-то куда откладывать? 10 августа от него, Голубева, уже и одной десятой не останется.

И он набрал воздуху, поудобнее устроился на спине и произнес... в адрес Нелли. И стал слушать — что же с ним самим в эту минуту еще случилось?

И не успел понять, как в смежной комнате раздался голос Татьяны, голос прежде неслышанный и незнакомый, чужой голос, совершенно чужой, но Татьяны, умирающей, уже умершей больше и дальше, чем к этому времени, к 17.30 понедельника, августа девяносто третьего, умер сам Голубев...

Голубев вскочил, упал, снова вскочил и в соседней комнате увидел Татьяну — она лежала на полу в позе неестественной, с вывернутыми в разные стороны руками, одна нога вытянута, другая согнута под юбкой, под головой — телефонная трубка, гудит прерывисто и громко, заглушая прерывистое дыхание Татьяны. Уже и не дыхание, а только хрипы изнутри скорченного тела.

Голубев пытался ее поднять, но не мог, ее тяжесть сопротивлялась, сил никаких. Он опустился на пол рядом, вынул из-под ее головы телефонную трубку и стал вызывать «скорую».

«Дети!» — подумал Голубев, и только подумал, как Татьяна открыла глаза, сказала: «Алешенька!..» — и снова глаза закрыла.

Приехала «скорая». Врач сделал Татьяне укол, помог уложить в постель, указал Голубеву не спускать с нее глаз, поить прохладной водой, давать таблетки нитроглицерина, кормить с ложки, ничем не тревожить, не вступать с больной в разговоры, разве только выслушать ее — что же все-таки случилось?.. Надо бы в больницу, но мест нет, для молодых и то мест не хватало, сказал врач. «Ничего, думаю, обойдется».

Голубев Татьяну поил, давал таблетки, кормил с ложечки и узнал от нее: во Франции, где-то под Лионом, в автомобильной катастрофе погиб Алеша. Кто-то откуда-то ей позвонил, сообщил об этом, кто, откуда — она не знала.

Ну да, Алексей мог и должен был кончить так, как он кончил, — он обо-жал безумно быструю езду, не мог без быстроты, он так и оценивал легковые машины и самолеты: если быстро двигается, значит, хорошая, отличная машина, для него машина.

Татьяна поднялась через неделю, еще согнулась, еще поседела, разговаривала с заиканием:

— Н-не ве-вер-рю... н-не в-в-ве-рю... О-он б-был н-на-к-ка-нуне в-великого от-от-открытия! Я знаю!

Привезти мертвого Алешу из Франции в Москву и думать было нечего: валюта — где она? А порядки: по меньшей мере месяц нужен, чтобы оформиться через ОВИР, чтобы купить билет.

Аннушка из Питера ринулась было во Францию, ничего у нее не получилось.

Как был похоронен Алеша — Голубевы по-настоящему и не знали.

Аннушка приезжала к родителям в горе:

— Что со мной случилось: не могу я без Алексея! Жив был — и не вспоминала, редко-редко, теперь — не могу! Вот и фасоны свои перезабыла, не идут они ко мне... Только и остается позаботиться о племянниках, еще о вас, мои старички!

И Аннушка заботилась, но все равно не хватало, и пришлось продать (за валюту французам) квартиру Марлены и всем жить в трехкомнатной голубевской.

А еще Аннушка звонила из Питера, сокрушалась:

— Мой-то! Генрих-то! Ударился в сомнительный бизнес! Говорит, иначе нельзя!

— Ну, если ты об этом знаешь, почему молчишь? — спрашивал Голубев.

— Какое там молчу! Ору и реву целыми днями! Сама себя не узнаю! Бесплезно: Генрих меня не боится. Он Алешу боялся...

— Алешу?

— Только его... Да вот и сынишка мой: «А в кого мне теперь быть, если дяди Алеша нету?!»

Ну а Марлена хотя примерной женой не была, примерной вдовой стала: вся комната в Алешиних фотографиях, заказала она и маленький памятник из мрамора, модель того, который поставила бы во Франции или в России, если бы у нее были деньги. Памятник как памятник, горизонтальная плита, стела с мелкой-мелкой надписью: «Незабвенному...»

Модель эту Марлена поставила на письменный стол Голубева рядом с моделью башни Шухова («Папа, я думаю, это и для вас будет так, как надо»).

Утрами Марлена молча сидела перед этим крохотным (двадцать два на пятнадцать сантиметров) памятником, иногда плакала, а днем училась на курсах, которые назывались, кажется, курсами компьютерных диспетчеров — у нее не было сколько-нибудь определенной специальности.

Месяц прошел. Голубев вспомнил: он же умирал! вот на этой кровати! по собственному желанию! Он счастливо, вполне доверительно и корректно договорился на этот счет с природой, природа милостиво с ним согласилась, ушла его заслуги перед нею...

Но? Какой уж там дар природы, какая смерть, не до смерти было нынче Голубеву, надо было воспитывать Ольвиана и Олимпию, помогать по дому, стоять в очередях, торчать в коридорах жилищного управления, мало ли где еще торчать. Марлена училась, у Татьяны сил становилось меньше и меньше, ее надо было беречь да беречь, а для всякого убережения сколько надо с утра до ночи успеть? Он один был теперь в доме мужчина, немощный, а мужчина...

Ольвиан и Олимпия росли сами по себе, то в садике, то дома (они часто пропускали садик) помимо мамы, бабы и деда; они были легкомысленны в отца, в мать были непослушны и недружны, все что-то делили («мое!», «нет, мое!») и все еще были без характеров — без привычек, без привязанностей.

Олимпии было почти четыре, Ольвиану шесть лет — большой мальчик, но ни о чем не думающий. Голубев себя вспоминал в шесть лет. В шесть, около семи он на мосту через речку стоял, решал вопрос: стоит, не стоит жить?

Ольвиан с возрастом почему-то продолжал дурнеть, Олимпия все хорошела, и приходилось удивляться — почему они все еще похожи друг на друга?

И в том и в другой Голубеву мнилось и мнилось что-то вокзальное, что-то от того поезда с беженцами, который не так давно — года не прошло — он встречал двое суток.

Вокзальность надо было исключить из существования и мальчика и девочки — Голубев с ужасом замечал, что такого рода склонность у них была.

Об экологии ни тот, ни другая понятия не имели, это естественно, но похоже было — никогда и не будут подобных понятий иметь.

Рядом с детьми, в хлопотах, заботах Голубев, природный человек, о природе тоже забывал, какое там! О том, что минувшие тридцать лет и те уже были для него будто знаком плюс, плюс ко всей предыдущей и закончившейся в мире чистой науки жизни, он тоже думать не думал. Теперь он стал предполагать — плюс к тридцати ему выпадет еще один, два, три, четыре, а то и все пять, стал делать по утрам физзарядку. Чернобыль и ноосфера по Вернадскому его больше не волновали, некогда, некогда: надо было жить. То есть выживать.

Кто пожил в России, тоже знает, что значит — выживать, что значит существовать в качестве живого вещества. В любых событиях, в любых ледниковых периодах. Впрочем, для России не в первый раз... А для русской природы? Кто ее спасет? Старые девы Нелли Юрковы? Министры? Президенты и вице? «Подумаю час, час пятнадцать», — решил Голубев. Опять не получилось: Ольвиан и Олимпия вступили в конфликт — кому принадлежит старый-старый плюшевый медведь с одним ухом? Ему, Ольвиану, или ей, Олимпии? Дело зашло так далеко, что Голубеву пришлось вступить, искать компромиссное решение.

Ноябрь 1992 — август 1993.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

ИЗ ТЕТРАДИ 1993

* *
*

Лазурно-изумрудное сиянье
Всегда, где сад, особенно где лес.
Стволы — земной юдоли достоянье,
А листья — достояние небес.

И птиц федеративная держава
Вьет гнезда на земле и в облаках,
И, как у нас, их певческая слава
Основана на разных языках.

И не грозит им участь Вавилона...
Об этом мне и говорить грешно,
Мне, не постигшей главного закона,
Как отличить от зеркала окно.

Мне все одно — в себя или наружу
Глядеть, поскольку вижу я всегда,
Как изумрудный свет втекает в душу
И как душа взлетает из гнезда.

* *
*

Твоя комната широкоокая
Над рекою повисла,
Вот и бродишь вокруг да около,
Вот и бредишь без смысла.

Гласных гладкое клокотание,
Спотыканье согласных, —
Ты отдай свою речь на закляние
Ради истин алмазных.

Не отдам я слова многотерпные
На заклянье идее,
В них колеблются веточки вербные
И пески Иудеи.

* *
*

К чему внимание заострять
На том, что вместе мы и поврозь?
Стрела амура — чтобы застрять.
Стрела Господня — чтобы насквозь.

Сквозь щель поменее, чем ушко,
В какое тщился верблюд пролезть,
Проходит то, что давно прошло,
И то, что будет, и то, что есть.

Вся смерть, прошедшая сквозь меня,
Всем чудом жизни во мне болит,
И воздух, дующий сквозь меня,
Паучьи волосы шевелит,

Колышет иву, колеблет пруд,
Толкает музыку сквозь камыш...
И если песни мои умрут,
То, значит, правду ты говоришь,

И, значит, нету меня темней,
И бред мой суший — не вещий бред,
А ты бессмертен в толпе теней,
Поскольку свет сквозь тебя продет.

Береза и алоэ

Елене Макаровой.

Что за время удалое?
Алый бант в косе алоэ
Там, где ты, мое дитя.

Здесь, где я, твое былое
Машет, по небу летя,
Машет веточкой березы
Сквозь невидимые слезы,
Но сквозь видимый туман.

Красный цвет, вплетенный в косы...
Моря Мертвого стакан...

А на дне того стакана,
Как ни глупо, как ни странно,
Косу времени плетя,
Нахожусь я постоянно,
Там, где ты, мое дитя.

* *
*

Смерть стала роскошью.
С. Липкин.

Видно, мой ангел-хранитель — одна из ворон,
Только закаркает — в комнате запираюсь,
Так бережливо к столу своему прикасаюсь,
Словно сгодится и он для моих похорон.
Слишком уж дорого вечный обходится сон.

Вот и боюсь, что родне я в копеечку встану, —
Смерть стала роскошью, вот и себя берегу:
Не выхожу я на улицу в дождь и в пургу
И с подозрением я отношусь и к туману.
И молоко от простуды пью в день по стакану.

Днем ем овсянку, а к ночи кастрюлю скоблю.
Вряд ли нужна я родне, и тетради, и другу...
Ангел-ворона, прости меня, горе-хитрюгу, —
Нет, не себя, эту нищую жизнь я люблю.

* *
*

Пойму не сразу и не вдруг
Лишь у последней остановки,
Что меж живыми нет разлук,
А есть разрывы и размолвки.

Омоет дождик сентября
Меня — скудельную причуду,
Сперва забуду я себя,
А после землю я забуду,

Священника не призову,
Сама соборованье справлю,
Покаюсь, упаду в траву
И листья палые восславлю.

Забуду и во смерть войду
И положу конец разлуке —
Слепыми пальцами найду
Меня заждавшиеся руки.

* *
*

И если даже умру,
Не верь, что я умерла,
Живущая на юру,
Я стану тенью орла.

Приди и встретишь меня,
Два разных глаза поймешь,
Один — это правда дня,
Другой — это ночи ложь.

Двуглавый, он на гербе
И в жизнь и в гибель глядит,
Доверься моей мольбе,
Приди, когда повелит.

Пусть — тень я, но подопру
Надломленные крыла,
И если даже умру,
Не думай, что умерла.

* *
*

У тайны нет загадочной повадки,
Она проста, как мой житейский сон,
Где яблони стоят в своем порядке
И муравьи свой строят Вавилон.
Сокрыт ромашкой телефонный кабель
И муравьиный Вавилон сокрыт...
Еще мне снится, что воскреснет Авель
И Каина ревнивого простит.



БОРИС ЕКИМОВ

*

НАБЕГ

Рассказ

1

Из одним июльским утром через хутор Найденов проехал черный мотоцикл участкового милиционера Листухина. По хутору он промчался быстро. У колхозной кузницы, где народ толкся как обычно, не остановился. Видно, спешил.

— Либо где украли чего? — вслух подумал кто-то из мужиков.

— Похмеляться летит, в Ярьжки, к Мане Хромой.

Вторая мысль была интереснее, но имела изъян, который тут же выплыл наружу.

— А то бы он ближе не нашел похмелку... Любые ворота настезь.

Мотоцикл Листухина, перебравшись через плотину за речку, не прямо покотился к Ярьженскому хутору, а взял круто правее, к займищу, и скоро скрылся в прибрежной зелени.

Здесь, на давно неезженной, затравившей дороге, скорость пришлось сбавить. Мотоцикл тащился порою шагом, продираясь в сомкнувшихся над дорогой ветвях; лишь на полянах прибавлял он ход. А ведь еще недавно колея была набитая: за сеном ли, за дровами, зимой и летом ездили лошадьми. Чаще ночами, таясь, потому что за речкой начинались уголья лесхозовские, куда хуторянам заказан был путь. Но жизнь велела свое. Потаясь косили, рубили.

Теперь лежали поляны некошенные, забитые сухим старником. Никому не надо: ни лесхозу, ни колхозу, ни добрым людям.

Дорога в конце концов выбралась из займищной уремы и весело запетляла меж березовыми с осиной колками. Пахнуло скотным духом, пресной водой. На речном берегу, на песчаном сухом угоре, открылся летний баз, обнесенный жердями, да рядом, под раскидистыми вербами, немудреное человеческое жилище: землянка, летняя печка, стол под навесом.

— Здорово живешь! Живой-крепкий? — сойдя с мотоцикла, приветствовал Листухин хозяина, Николая Скуридина, немолодого, худощавого мужика, который растапливал печь.

— Слава богу, — ответил Николай. — Вовремя поспел. Щербу будем хлебать.

— За тем и спешил, — усмехнувшись, ответил Листухин.

Окинув взглядом жилище, скотий баз и приречную луговину, он похвалил:

— Хорошо устроился. А скотина где?

— Внук пасет.

Листухин всю жизнь прослужил колхозным участковым милиционером, имел на плечах погоны лейтенанта и по окрестным хуторам ведал все и обо всех. Про скуридинского внука он знал, что состоит тот в райотделе на учете, имеет три привода и к деду на хутор его отослали родители подальше от греха.

— Вот и хорошо, пусть при деле ума набирается, чем на станции гайды бить, — наставительно сказал Листухин. — А сам так и не пьешь?

— Нет, — мотнул головой Николай. — Язва желудка. Не имею права.

— Она у тебя всю жизнь, — напомнил Листухин.

Николай лишь вздохнул, а потом добавил:

— Выпил, видать, свою бочку.

— Не одну, — уточнил Листухин.

Ему ли было не знать, сколько выпил Николай Скуридин на своем веку. И ловил он его, по пьяному делу, на воровстве зерна и дробленки, и привлекал вплоть до пятнадцати суток. В райцентр приходилось возить. Всякое бывало.

— Правильно делаешь, что не пьешь, — похвалил Листухин. — Я тоже скоро завяжу. Возраст.

Слова участкового Николай понял и поднялся, сказав:

— Сейчас принесу.

— погоди, — остановил его Листухин, вспомнив, зачем приехал. — К тебе не надъезжали чужие?

— Надъезжали.

— Черные?

— Они.

— И чего?

— Продажную, мол, скотину ищем.

— Ищут. Где плохо лежит. Гляди в оба, — построжел Листухин. — На Борисах пять голов гуляка увели. На Кочкаринском — две коровы, телка и бычок. Под Исаковым — двадцать пять голов, ночью, как сквозь землю. А ты — на отшибе. Не дошумишься. Сколь голов у тебя?

— Полторы сотни.

— Да своих, да лесничего, да директора лесхоза, да элеваторских штук пять, — пронзительно глядя на Николая, считал Листухин. — Точно?

— Вроде того... — уклончиво ответил Скуридин.

— Это дело ваше, меня не касается. Тем более новая политика: там — хозяин, там — фермер. Ты еще не фермер?

— Нет. По договору с колхозом.

— Гляди. Нынче же ружье попроси на хуторе. У Зрянина, у Кривошеева. Ружье и патроны. Когда приезжали гости?

— На той неделе. Вроде в субботу.

— Вот и жди. Приценились — теперь карауль. Ночью. И днем вназирку скотину держи. Парня упреди. Понял?

— Понял, — ответил Николай и спросил: — И никого не поймали?

— Поймаешь... — ответил Листухин. — Хвост — в хвост, и нету их.

Окончив разговор, он одернул голубую форменную гимнастерку и причмокнул. Николай понял его, о закуске спросил:

— Малосольного или молочка кислого?

— Огурец.

Участковый Листухин, при исполнении обязанностей находясь, выпивал всегда одну и ту же меру — граненый стакан. При гульбе — дело иное. А при исполнении — лишь стакан и катил дальше. Под началом его лежала целая страна, когда-то двенадцать хуторов, теперь — поменьше, но земли остались те же: полста километров вдоль Бузулука и двадцать — поперек. Еще в давние времена, из сынишкиной географии, Листухин выяснил, что подначальный район его по площади почти равняется европейской малой, но все же стране под названием Люксембург. Он этим очень гордился и часто говорил: «Равняюсь стране — и везде воруют». И если в райотделе его упрекали, ответ был один: «А я равняюсь целой стране».

Вот и сейчас, опрокинув стакан и закусив, Листухин сказал:

— Упредил. Оружием пользуйся. И надейся на себя. У меня сам знаешь: целая страна — и везде воруют. В Дубовке аккумуляторы сняли, в Вихляевке — резину, в Клейменовке у бабки Лельки пуховый платок унесли.

Листухину можно было и уезжать. Но сладостно расходилась по крови вонючая трава и все вокруг: близкая речка, летняя зелень, покой, — казалось таким сердцу милым.

— Взять отпуск и к тебе на неделю, порыбалить, — помечтал он. — Тут никто не найдет.

— Приезжай, — пригласил Николай.

— Приедешь... — горько посетовал Листухин. — Голова кругом. Все поновому. Раньше торгуешь с рук — спекуляция. Привлекаем. В колхозе не желалось трудиться — тунеядец. Привлекаем. Властям поперек идешь — приструним. А ныне кто во что горазд. К примеру, тебя взять. Пасешь на лесхозной земле. Привлекать? Земля-то лесхозная, трава, речка. Надо бы привлекать, а тебя беречь требуют. А ты к зиме миллион огребешь.

Николай стал оправдываться:

— Люди набрешут. Концы бы с концами свести. Колхоз мне сам навязал этих бычков, дохлину. Они дышали через раз.

Но Листухин его не слушал и, поднимаясь, повторил прежнее:

— Возьми ружье. И стереги. Чуть чего, стреляй. Разрешается.

Черный мотоцикл участкового резво взял с места и покатил. Николай постоял у дороги, пока не смолк гул мотора, а потом пошел к своему жилью.

Землянка была выкопана на пригорке, под раскидистой вербою. Чуть не в человеческий рост она уходила в землю; стены обложены сухим камышом, им же — накрыто. У стен — два топчана. Под одним из них, в брезентовом грубом мешке, туго запеленутое, лежало ружье. Николай достал его, повесил у входа, на гвоздь.

Солнце между тем поднялось высоко, к полудню. От близкого колка показался гурт. Скотина не торопясь брела к водопою. Перегнав ее, проскакал к речке всадник и, сбросив одежду, кинулся в воду.

Речка была невеликой, с песчаной отмелью на этом берегу, с глубиной и камышами — на том. Туда и поплыл купальщик. И скоро донесся крик:

— Деда, ведро носи!

Николай поспешил к берегу. От камышей, с той стороны, летели друг за дружкой раки, шлепаясь на берег и в воду, на песчаную отмель. Внук нырял и нырял, шаря в камышах.

— Будет! — сказал Николай. — Полведра уже. Вылазь, Артур! — и стал подворачивать скотину к базу, где за жердевой огородей, в тени тополей и навеса, отдыхали бычки, пережидая полуденную жару.

Оставив промысел, Артур из воды не вылез, а призвал к себе собаку и плывал с нею наперегонки. Николай успел коня расседлать, оживив огонь, поставить на печь казанок для раков, накрыть нехитрый обед себе и внуку: уха, вареная рыба с картошкой, яйца да зелень; собаке — хлебово. Тут и они прибыли: Артур и Волчок.

Внуку исполнилось шестнадцать лет. Он выдался рослым и крепким, волосы носил длинные, до самых плеч — черной волной. После купанья они были мокры и спутанны. Он тряс головою, брызги летели в стороны, словно с Волчка, который рядом отряхивал серую короткую шерсть.

Всегда Николай пас скотину с собакой, приучая к делу с первого года. Волчок — не чистая в породе, но овчарка — пастушил третий год.

— Кто приезжал? — спросил Артур.

— Участковый.

— Мент? — переспросил Артур, настораживаясь.

— Наш, Листухин. Упредил. Скотину воруют. Кавказские вроде, чечены. В Борисах, в Исаковом увели, — передал он услышанное. — Надо беречься. К нам же подьезжали усатые. Может, приглядались.

Народ кавказский в здешних местах появился в последние годы, селясь на пустых хуторах. Водили скотину, колхозных порядков не признавая.

— Приглядятся, — продолжил свою мысль Николай. — Где пасем, где ночуем. Тут и днем, коли рот разинешь, могут шайку от гурта отбить, в лес ее — и ищи-свищи. А ночью тем более. С хуторов угоняют, с ферм, а тут — воля... — повел он рукой, словно отворяя немереный простор: прибрежные луга, колки, лес, уходящий к чужим хуторам.

— Я им пригляжусь! — вскинулся от еды Артур. — Я их на станции изучил... Наглые рожи... Ружье нынче с хутора привезу.

— Есть ружье, — сказал Николай.

— Где? Покажи! — вскочил из-за стола Артур.

— В шалаше висит.

Артур кинулся к шалашу и вернулся с ружьем, переламывая на ходу стволы, щелкая курком.

— Нормальный ход, — одобрил он. — Патроны чем заряженные? Надо волчиной дробью да жаканом. У них шкуры толстые. Я им кое-что еще придумаю. Кое-какие подарочки, — пообещал Артур, откладывая двустволку и возвращаясь к еде.

— Ты не балуй с ружьем, — предупредил Николай. — Это на крайний случай. И чего случись, не по людям стрелять, а лишь пугнуть.

— Пугну, пугну. Я их пугну, — пообещал Артур, и в голосе его прозвучала такая холодная злость, что Волчок поднял голову от миски с едой.

Опустили в кипящую воду раков. Острый укропный дух поплыл над становьем.

Артур хорошо ел: вареные яйца, рыбу, помидоры, картошку. Лишь молодые зубы посверкивали. Николай же страдал желудком, язвою, и не всякая еда была ему впору, да и годы уже к еде не манили. Ключенья того-сего — и шабаш. Тянет к куреву, которое, по-умному, бросить давно пора. Да все не получается.

Внук тоже курил. Но вначале он раков съел, деля добычу с Волчком, который с хрустом грыз и глотал.

Раков прикончили. Волчок улегся в тени. Артур задымил сигаретой. Николай не ругал его: какой прок? Сам в его возрасте баловал.

— Пасутся хорошо, — докладывал деду Артур. — Не бзыкают. Ложиться я им не давал. Пускай кормятся, наедают мяса. Звездарь ногу еще волочит, но помене. Шварцнегер Жеваного гонял. Алка Пугачиха все куда-то стремится. Ревет и целится убежать.

Все быки, которых пасли Николай с Артуром четвертый месяц уже, не враз, но заимели клички. Звездарь, Гусар — нарекал Николай по характеру ли, по виду. Артур лепил имена посерьезней: могучего быка звал Шварцнегером, горластого — Алкой Пугачевой, были у него и Марадона — приземистый черный бычок, и неразлучные Горбач да Ельцин, Рэмбо, Менторез...

Николай согласно кивал, слушая доклад внука. Потом Артур заснул на телогрейке, в тени, рядом с собакою. Николай же, собрав грязную посуду, спустился к речке.

Вода на береговой отмели была тепла. С пологого берега, с лугов, стекал осязаемый полуденный жар. Помыв посуду, Николай было задремал, прямо на берегу, на солнце, но быстро очнулся. Что-то кольнуло сердце, заставило подняться к становью.

Мирно подремывала на базу скотина, укрывшись в тени тополей, под навесом. Дремал Волчок, верная собака. Раскинувшись, спал Артур.

Лицом и статью внук похож был на всех Скуридиных во младости: такой же рослый, бровастый, черные жесткие волосы, словно конская грива. Остричь бы его, чуб напустить из-под фуражки, по-старинному, по-казачьи, — вылитый с карточки дед и прадед, покойники. Николай хотел, чтобы первого внука назвали по деду Михаилом. Но премудрый зять удумал какого-то Артура. Теперь-то привыкли, а прежде язык ломали. Вроде не имя, а кобелю кличка.

Привыкли... Внук вырос у деда с бабкою. Смальства и в хуторскую школу ходил. Уже большого забрали его родители, в райцентре осев, когда намыкались с переездами. Все искали они длинный рубль да божий рай, где не сеют, не пашут. На севере да на юге. Крым да рым...

Но лучше бы пацана не забирали. На хуторе он рос как все, учителя и соседи не жаловались. А за три года райцентровской жизни Артур в милицию на учет попал, курить, выпивать научился, бросил школу. Да и в чем парня винить, если под родительским кровом мира нет, а всякий день лишь ругня да пьянка.

В подножии старой вербы, на корневище, было у Николая удобное сиденье, словно кресло. Нагретое солнцем дерево хорошо держало тепло. И видно было далеко вокруг: вилючая дорога, луговина, лес, летнее небо над ними.

Участковый приезжал не зря. Теперь надо глядеть и глядеть. Вспомнились слова Листухина о деньгах: «Осенью миллион огребешь». Покатилась теперь

молва. В чужом кармане люди умеют считать. А курочка-то пока в гнезде. И какое яичко снесет она, знает лишь бог. И сроду не взялся бы за это дело Николай, когда бы не внук, не Артур. Для себя совсем иную жизнь придумал он нынешней весной, когда вернулся из больницы.

2

Николай Скуридин вернулся на хутор из районной больницы в начале марта. Он приехал попутной машиной и три дня носа со двора не казал. Но его угладили. На четвертый день, поздним утром, объявился в скуридинском доме сам Чапурин — колхозный хуторской бригадир.

— Здорово живете... С прибытьем! — поприветствовал он с порога и здесь же, на кухне, сел, далеко протянув большие длинные ноги.

— Слава богу, — ответил ему хозяин, откладывая в сторону нож и картошку, которую чистил, готовясь обеденные щи варить.

Из боковой спальни выглянула жена Николая — Ленка и, наскоро покрыв нечесаную голову большим пуховым платком, трубно загудела, жалуясь:

— Да, ему, куманек, все слава богу... В больнице лежал-вылеживался целый месяц. А я тут одна-одина. Туды-сюды кинусь. Он пришел — как жених, а я — некудовая.

Толстомясая Ленка сроду была ленивой, а нынче, старея, и вовсе к домашним делам охладела, колхозных же не знала век. И тот месяц, что лежал Николай в больнице, показался ей годом, хоть на базу у Скуридиных коровы не было, лишь козы да овцы, поросенок да десяток кур.

— Он — курортник, а меня — в гроб клади, — подступала она к мужу и бригадиру.

В свои полсотни лет гляделся Николай незавидно: худой, черноликий, вечная седая щетина, зубов половины нет. А из больницы приходил подстриженный, чисто бритый и ликом светел. Какой-никакой, а отдых: спи день напролет, кормят три раза, пьянки нет и за курево ругают. Нынче тем более резать его не стали — и так исшматкованный: не желудок, а гулькин нос — подлечили таблетками да уколами.

— Он — жених! А у меня ноги не ходят, руки не владают, в голове...

— Вот теперь и отдохнешь, — уверенно пообещал бригадир и спросил Николая: — На работу когда думаешь?

— Все не думаю, — усмехнулся Николай. — Пока — больничный, а там — может, куда на легкую... Доктора велели.

— Доктора... — махнул большой рукою Чапурин. — Им абы сказать. Где она — легкая? На печи лежать? А семью поить-кормить кто будет?

Привычный бригадирский довод Скуридин отмел легко:

— Откормил, слава богу.

Чапурин даже удивился: ведь и вправду откормил. Пятерых Николаю Ленка родила. Сама не работала. Все — на нем. Прошлой осенью последнюю дочь выдали замуж. А казалось, недавно кипел скуридинский двор мелюзгой.

— Да-а... — задумчиво протянул бригадир. — Вот она, наша жизнь...

Подумалось о своем: сын и дочь тоже взрослые, внуки уже. Но в сторону убирая лишние теперь мысли, он сказал:

— Все равно — работать. До пенсии далеко.

А Николая вдруг осенило:

— Ты мне не ту сватасшь дохлину, какую вчера гнали?

Он на базу прибирался и видел, как тянулся по вихляевской дороге гурт скотины, еле живой.

— Бычки, — сказал бригадир. — Головские.

— Лягушата, — ответил Николай. — Половина в грязь ляжет.

Чапурин тяжело вздохнул. Нечего было ответить. Он отпихивал этот гурт, сколько мог. Навязали.

— Там, в Головке, и вовсе ни людей, ни кормов, ни попаса, — объяснил он. — Там точно передохнут. У нас все же...

— У нас тоже недолго проживут, — сказал Николай. — Им два дни до смерти.

— Значит, не хочешь?

— Нет. Пока на больничном, а там видно будет.

Чапурин поднялся, к порогу шагнув, сказал:

— Ты все же подумай... Дома не усидишь. Надойди завтра в контору. Поговорим. Условия хорошие. Договор дадим... Заработаешь хорошие деньги. Бригадир нагнулся под притолку низковатого для его роста скуридинского дома и вышел.

Николай похмыкал, головой покрутил, на жену поглядел внимательно. Та поняла его по-своему и завела прежнее:

— Чисти, чисти картошку. Цельный месяц гулюшкой жил, вольничал, а я тута руки обрывала, последнего здоровья лишилась. — От жалости к себе Ленка заслезилась и подалась в спальню, долеживать.

Тридцать лет прожили. Пятерых детей подняли. Привык Николай слушать жену и не слышать ее, делая и думая свое. Чистил он картошку, капусту крошил для шей, а на плите, в кастрюле, уже кипело.

Была у Николая мысль, которая появилась в больнице, а теперь все более пленяла. Очень простая мысль: не работать в колхозе. Послать всех... И сидеть на своем базу. От своего огорода, скотины, конечно, никуда не денешься. Иначе ноги протянешь. А на колхозную работу не ходить. Он — человек большой. Это все знают. Отработал свое честно, тридцать с лишним годков при скотине. Хоть на базар стаж неси. Работал, детей поднимал. Теперь вдвоем остались. И много ли им надо? Прокормят огород, козий пух. Еще бы корову, чтоб молочную кашу варить. И больше ничего не надо. На себя трудиться. А колхозное — с плеч долой. Спокойно пожить. Порыбалить на пруду, на речке. Николай любил с удочкой посидеть. Но редко удавалось.

И еще один был резон, очень весомый. Николаю пить надоело. Водочку эту, пропади она... Смолоду — весело. А нынче стало уже тяжело. В больнице полежал, трезвый, и как-то особенно ясно понял: хватит пить. Как вспомнишь на трезвую голову, даже за сердце берет: то ли стыдно, то ли жалко себя. Жизнь уже на краю, на излете. А чего в ней видал, в этой жизни? Скотина, ферма, навоз... Стылый ветер — зимою, летом — пекло. От темна до темна. Круглый год одна песня, из года в год. В отпуске ни разу не был. То подмены нет, то копейку лишнюю стараешься сбить. Пятеро детей — не шутка. Одежда, обувь... И чем старше, тем больше надо. А женить ли, замуж выдавать — вовсе пожар. Последнее улетает. Но теперь, слава богу, все позади. А себе ничего не надо. Лишь покоя просит душа.

Такие вот мысли бродили в голове Николая Скуридина. Пришли они в больницу. А теперь все более забирали.

Три дня потихонечку прожил, из двора не выходя. И был рад этому. Не торопясь на базу управлялся. За месяц скопилось дел. Но никто не гнал. Можно было и посидеть на мартовской весенней воле, где за день — сто перемен. То припечет солнце по-летнему, то вдруг — ветер, туча, метель, сумятица снежных хлопьев, соседские дома тонут в сумерках. В дом уйдешь, там — тепло. А на воле тем временем снова — солнце. И тугой, ровный ветер несет и несет с полей дух парящей земли и первой зелени, особенно сладкий после больничной неволи.

Так прошел день, другой, третий. Чапурин, хуторской бригадир, объявился и пропал. Жене Николаевы планы пришлось по нраву: при муже-домоседе она могла спокойно болеть и болеть, не отвлекаясь к делам домашним.

В конце недели, в полуденную пору, подъехал к скуридинскому дому новый гость — главный зоотехник колхоза, молодой еще мужик, белокрытый, улыбочивый. Он в хату зашел, поздоровался, спросил у Николая:

— Ружье где?

— Какое ружье? — не понял Николай.

— С каким ты жену сторожишь. В конторе так и сказали: Николай Ленку с ружьем от миланов охраняет.

Николай усмехнулся. А в спальне-боковушке заскрипела кровать, и неожиданно резво выбралась к мужикам сама Ленка, успев на голову цветастый платок накиннуть.

— Бесстыжие... Наплетут... Языки бы у них поотсохли... — принялась корить она хуторских брехунов.

Но эта небьль пришлась ей по душе, взбодряя вялую стареющую кровь.

— А чего... — не унимался зоотехник, прошупывая ее взглядом и ободряя. — Ничего еще.

Круглое лицо Ленки оживело. Взбодрил ее голос и вид молодого мужика, усатого, белозубого, с охальным взглядом. Она таких любила. И прежде приход этого белобрысого кончился бы лишь одним. Теперь пора ее миновала.

— У нас наплетут... Лишь слухай... — опуская глаза, оправдывалась Ленка.

— Наплетут. Вы сами такое сплетете — не вырвешься, — посмеивался зоотехник. А потом Николая спросил: — Чего домоседеешь? Хвораешь?

— Да так себе... — пожал плечами Николай. — Хвалиться дюже нечем, а гориться не с руки — живой.

— Не хочешь гурт принимать?

— Дохлину?

— Это точно, — признал зоотехник. — Довели до ручки. Но можно поднять.

— Он уж отподымался, — встряла в разговор Ленка.

— Точно? — весело хохотнул зоотехник, намекая на стыдное. — Отподымался? При такой бабе? Не верю.

Ленка засмушалась, довольная.

— Кто об чем... Вы, мужики, вечно об своем.

— Дело житейское, — оправдался зоотехник и посерьезнел. — Разговор к вам, к тебе, Николаю, и к супруге. Тот гурт, конечно, дохлина, один день до смерти. Но на нем можно хорошо заработать. Скотину ты знаешь, всю жизнь при ней, не мне тебя учить, лучшего скотника колхоза. Ты сможешь его поднять. И дома ты все равно не усидишь. Бери этот гурт на договор. Ныне ли, завтра переважим. Весь привес при сдаче твой. Оплата — по сложившимся ценам. Какие осенью будут, по тем и платим. Корма, какие возьмешь, — с тебя. Остальное — в твой карман.

— Их половина передохнет, — сказал Николай.

— Отбракуй. Вовсе некудовых мы сактируем, спишем. Лишь бы остальных поднять.

— Это вы ему новую казнь придумали, — враз определила Ленка. — Новый хомут, какой для дураков.

— Всем нам, Елена Матвеевна, в новый хомут лезти, — поскучнев, сказал зоотехник. — Сами видите, слышите. Телевизор гадит и газеты. Указ президента, постановления. Новая метла метет. Куда деваться. А для вас дело предлагаем выгодное. Бычата плохие, но были бы кости, а мясо Николай сумеет нарастить. Не впервой. За него и получит.

— Кто-то за него получит, — впрямую залепила Ленка. — Начальнички получают, а дураку — лишь взащей.

— Нет! — твердо сказал зоотехник. — Все как на ладошке! Переважим бычков, подпишем договор, и они в твоей воле: хочешь — в колхозе корма бери, хочешь — на базаре, нас не касается. Сдаточный вес наберут — примем по сложившимся ценам. Какие будут. А управляйтесь сами. Сладишь — один работай. Захочешь — возьми напарника. Зятьев призови, сынов. Апрель, май... — считал зоотехник. — Семь-восемь месяцев впереди. Таких можно быков выкормить — по пять центнер. Не меньше ста тысяч заработаешь.

— Заманывать мастера... — не поверила Ленка. — Набрешете — кобель не перепрыгнет.

— Пишу расписку, — с ходу предложил зоотехник. — Если Николай при сдаче получает меньше ста тысяч, я доплачиваю из своего кармана. Писать?

— Чего это ты добрый такой? — спросила Ленка.

— Я не добрый, я считать умею. Не выйдет сто тысяч, доплачу. Но... — погрозил он. — Если будет выше, то все, что сверху, отдашь мне. Вторую подпись тоже поставь. Ясно?

Такой поворот Ленке не понравился, она поглядела на мужа вопрошающе.

Николай лишь сидел и вздыхал, слушая зоотехника да жену. Он понимал, что взнуздывают его и хотят запрячь, а потом придется везти. Не хотелось. Нароботался он за жизнь. Наломался.

А деньги что... Денег, если припомнить, было и перебыло в руках. Но проку от них? Не денег хотелось — покоя. И потому ответил он зоотехнику прямо:

— Не пойду. Ищите других, помоложе.

И, провожая гостя на волю, к машине, повторил еще раз:

— Не пойду. Лишь из больницы. Не оклемался. Врачи велели полегче тянуть.

Вечерний автобус из райцентра прогудел у амбаров и покатил на Вихляевку. Видно, дорога совсем обсохла.

Николай с Ленкой гостей не ждали, а они уже были рядом, пройдя от автобусной остановки задами, через гумно.

Стукнула дверь, и объявились. Старшая дочь Анна шагнула через порог:

— Хозяева дома? Живые? Здорово дневали!

За спиной ее, возвышаясь над матерью, стоял Артур, без шапки, черные волосы до плеч.

— Здравствуйте, — тихо промолвил он.

Николай поднялся навстречу. Ленка заохала, выбираясь из кровати. Упреждая вопросы, дочь объявила:

— Я тем же автобусом — назад, шофер скоро подъедет. Привезла вам сыночка, пусть перебудет хоть месяц. Иначе в тюрьму посадят.

— Языком болтаешь... — хмуро проговорил Артур, подсаживаясь к печке. Курточка на нем была легкая, а под ней — тонкая футболка с портретом девки ли, парня с длинными волосами.

— Замолчи! — возвысила голос Анна. — Спасибо тетке Таисе, ее Лешка — в милиции, передал. На хутор его отправьте, к дедам. Взорвали киоск у армян.

— Ты знаешь?! Я его взрывал?!

— Замолчи! Тот вечер от тебя и вправду гребостным несло, какой-то гарью. А раньше мопед украли.

— Я украд? — зло спросил Артур.

— Замолчи! Тягали-тягали с этим мопедом. Потом с мотоциклом. Участковый замучил. То подрались возле клуба с чеченами. Тетка Таиса так и сказала: тюрьма по нем плачет. Пусть на хуторе перебудет месяц-другой.

— Ага... Буду я тут два месяца сидеть... Жди... — угрюмо пообещал Артур.

— Замолчи! Будешь сидеть.

Толком и не успели поговорить. Лишь собрали дочери картошки, луку да сала, как засигналил автобус, и она уехала.

Артур в хлопотах участия не принимал. Как сел у печки, так и сидел.

Николай внука жалел, но с горечью понимал, что на хуторе тот долго не просидит, хорошо, если выдержит неделю-другую. И запылит. А там, в райцентре, снова те же дружки, те же дела. И днем раньше, днем позже, а тюрьмы не миновать. Нынче вывернулись — завтра попадутся. Посадят, и сгубится там навовсе. А жалко... Так жалко... Виделся внук маленьким, ласковым. Он и сейчас был неплохим. В больницу к Николаю ходил, печенье приносил, мягких булок, домашних блинцов. В плохое не верилось, а оно уже подступало. И как его отвести...

Наутро Артур долго спал. Вчерашняя злость прошла. И вправду стоило отсидеться на хуторе, пока утихнет весь шум и гам вокрут этого паршивого киоска.

В хате топилась печь. Шкворчала яичница с картошкой и салом. Дед Николай, увидев, что внук проснулся, спросил с улыбкой: «Выспался?» Все же хорошо было у деда на хуторе: тепло, сытно и никто не ругался. Не то что дома.

Потом во дворе разбирались в сарае, вытягивая оттуда всякий хлам. День был не больно погожий, порой моросило; но одели Артура в шерстяной, пополам с козым пухом, вязаный свитер да телогрейку, на ногах — сапоги, теплые носки, в портянках. После сытного завтрака, в доброй одежде весенняя морось лишь свежила молодое лицо.

Вытащили разошедшиеся бочки, разломали мазаный плетневый хлебный ларь. Отыскались два старых облупленных мопеда, на которых катался Артур,

когда рос у деда на хуторе. Эти железяки он сам из хлама собирал, налаживал, и они ездили, к удивлению Николая.

— Может, подделаешь? — спросил Николай.

— Народ смешить. Люди на «Явах» летают, а я буду на драндулете.

Николай ответил просто, как думал:

— Заработай и купи «Яву».

— Заработай... — желчно передразнил Артур. — Уже раз заработал, хватит.

Прошлым летом он устроился в райцентре на местный заводик. Месяц честно трудился. Получил копейки.

Сам Николай когда-то в таких годах мечтал о гармошке да хромовых сапогах.

Он вынул кисет с табаком, какой успел с утра насечь и высушить. Артура угостил, тот не отказался, но спросил:

— Ты же бросил? В больнице не курил?

— Брошу, — пообещал Николай и сказал главное: — Можно заработать на «Яву». Есть одно дело.

— Знаешь, сколько сейчас «Ява» стоит?

— Я говорю, можно заработать, — повторил Николай. И продолжил: — Меня сватают на гурт. Но скотина плохая, дохлина. Бригадир приходил, за ним — зоотехник. Я отказался. Тяжело. Напарника взять? Кого? Челябинского зятя? Или Кирюшку? Работать на них? Не хочу. А вот с тобой вдвоем я бы взялся. Ты — молодой, в силах. А главное — свой. Если хорошо потрудимся, на мотоцикл заработаешь, я — на корову.

— На какую корову?

— Коровка нужна. Я же — молошный. Тем более язва. Надо заводить. А добрая корова, из хозяйских рук, нынче в цене. Не меньше пятнадцати тысяч, а к осени — вовсе дороже. Денег нет, все на Таисину свадьбу ушли. Потом болел. Так что гляди. согласишься, с тобой я возьмусь. Гурт тяжелый. Много работы. Особенно попервах, пока на ноги поднимем да зеленка пойдет.

— А точно заработаем?

— Чего бы я брался?

— Это же до осени?

— До осени. В сентябре — октябре сдавать.

— Деньги мне лично отдашь? — по-прежнему не верил Артур.

— Договор будем вдвоем подписывать. Получать всяк свое, на руки.

Алый мотоцикл... Стройное его тело, теплое, живое, дрожащее от нетерпения... Скорости просит, бешеной гонки, полета... Как он желал его. Не надо еды, тряпок, джинсов этих поганых, кроссовок, курток. Лишь мотоцикл. Сияющую краской и никелем красавицу «Яву».

— Ты меня не обдуришь, дед? — тихо спросил Артур, глядя недоверчиво, исподлобья. — Не обдуришь?

— Тебя дурить — значит себя дурить. Паспорт имеешь на руках, сам договор подпишешь. Работа пополам. Барыш пополам. Бухгалтерия мне твоих денег и не даст. Не положено, по закону.

— Тогда берем, — так же тихо сказал Артур.

— Тяжелый гурт, — еще раз упредил Николай. — Тошак. Работы с ним много. А я из больницы. Больше на тебя надежа. Гляди, парень.

— Берем, — громче повторил Артур и добавил твердо: — Я сказал: берем!

— Берем так берем.

3

Переживая полуденную жару, скотина отдыхала на базу, в тени, чтобы снова пастись дотемна. Бычки за лето отъелись: тяжелые лобастые головы, могучие загривки, просторные спины, хоть гуляй на них; короткая шерсть атласно светила. Скотина не помнила, какой была она по весне. Но Николай помнил, как пришли они с Артуром и колхозным начальством на скотный баз и как тяжело было глядеть на колченогих задохликов в сбитой шерсти, в

грязных сосулях. Острые кабаржины спины, крестцы и ребра — наружу, потухшие глаза. Ни голову, ни хвоста не поднимут. Теснились бычки в затишке, а десятка два вовсе лежали под крышей, во тьме, отдыхая после долгого перехода, а вернее, готовясь к новому, в мир иной.

В этот день председатель колхоза, говорливый Липатыч, слова поперек не сказал, принимая все условия Николая: цены покажет время, так и записали: «по сложившимся на октябрь — ноябрь ценам»; пять голов, какие уж почти не дышали, сразу оформили актом как падеж.

Председатель подписал договор и уехал; раз-другой наведаясь и с тех пор везде говорил: «Требуют из района, чтоб перешли на новые формы работы. Вот и переходим. Скуридин у нас на полной свободе».

Чего-чего, а свободы Николаю за глаза хватало. Особенно на первых порах, когда оказался он с пустыми руками да полудохлым гуртом, которому для поправки были нужны не солома да кислый силос, а добрая еда.

Свободы нынче и впрямь хватало.

Два десятка доходяг из гурта переправили домой, на свой баз. Артур там хозяйничал, трижды в день готовил для бычков горячее пойло, запаривал свеклу, картошку.

Зоотехник, ветврач помогли лекарствами. А корма добывали сами.

Освеживали овечку и в обмен из райцентра с мельницы привезли две машины мучных отходов. Добыли свеклы и патоки. Лесничему отвез Николай большого сизопухого козла, на него вся округа завидовала. И стоворились быстро: два воза сена взаимы, а главное — лесхозовская земля. Снег сошел — и паси там: сначала старая трава, а потом зеленка пойдет. Лесхозовскому директору Николай выделил двух бычков из списанных, всю скотину лесничего взял до осени под свою опеку. Наука была простая и верная ты — мне, я — тебе.

И теперь лесхозовские угодья, отрезанные от иных земель огромной речной дугою, были в Николаевой власти. Над речкой поставил он летний баз, землянку и ранней весной ушел из хутора со скотиной и молодым помощником — внуком.

Жизнь потекла вроде прежняя: паси да гляди; лишь на хуторе пошли разговоры, что Скуридин колхоз обманул и осенью огребет миллион

Но до осени еще нужно было дожить. В полях царило лето зеленое. И выпущенный Николаем гурт неторопливо вытекал с база на волю.

Чуткий Волчок тут же поднялся и рыкнул, будя молодого хозяина. Тот быстро собрался — коня подседлал, взял в сумку харчей и прогарцевал мимо Николая: старая шляпа надвинута на лоб, черные жесткие волосы — до плеч, ружье — за спиной.

— Ты, гляди, не балуй, — предупредил Николай. — А то зачнешь сорок стрелять.

— Порядок, дед, порядок... Стрелять будем нужных.

Артур прищпорил коня и поскакал, обгоняя гурт. Верный Волчок бежал, чуть отставая от лошади.

У Николая же были свои заботы. С майской поры косил и косил он, набирая сено. Разжился конной косилкой да граблями. Выбирал хорошие поляны в займище, в лесу. Косил, сушил, ставил копны Отдал долг лесничему. Свое сено на хутор свозил. И снова косил, сушил, запасаая

На займищных полянах, в безветрии, томился сухой жар. Но дышалось легко.

Николай летнюю пору любил. Все хвори уходили, прогревались кости и жилы, настывшие за долгие зиму да осень, в слякоти, на ветру, под зябким небом, когда защита одна — заношенный серый ватник да стакан-другой вонючего самогона. Летняя жара была Николаю в подмогу, бодря остывающую кровь. Работалось в такую пору легко. Тем более нынче, когда вилами воровал он скошенные вчера и уже подсохшие легкие валы сена.

Прошел час и другой. Солнце стало клониться к вечеру. Пора было внука подменить, отправив его за харчами на хутор.

У стана Николай не задержался, лишь коня заседлал и поехал к гурту. Скотина паслась в просторной луговой падине, перед лесом. Еще издали

Николай услышал девичий смех и не удивился. Напрямую, через речку, до хутора было верст десять. И давно уже, с самой весны, прибежала к Артуру зазноба, как и он сам, зеленая девчонушка.

Заметив Николая, молодые вышли навстречу из-под сени дубков.

— Надбеги на хутор, — приказал Николай. — Хлеба, картошки возьми, яичек, другого чего.

Артур деду ружье передал, девчущку посадил на коня, задирая сарафан донельзя, и сам в седло уместился.

— В тесноте, да не в обиде, — с усмешкой проговорил Николай, провожая их взглядом.

Гурт пасся, вольно рассыпавшись зеленою луговинной. Николай взглядом его обошел и слез с коня. Верный Волчок, проводив молодого хозяина взглядом, к Николаю поднял глаза, словно сказал: конечно, хотелось бы пробежаться до хутора... Но понимаю, работа...

Дневная жара спала. Близился вечер. От желтого солнца тянулись длинные тени. Как всегда, по прохладе бычки начинали кормиться истово, жадно, словно стараясь наверстать упущенное во dniu.

Легкий земной ветер шелестел маковками дубов и берез на опушке. Ветер небесный гнал и гнал полегоньку несчетные стада далеких, белью сияющих облаков. Над приречным зеленым займищем, над лугами летнее небо лежало так просторно, что лишь малую часть его охватывал взгляд и бродил там от близкой лазури, голубизны к далекой, за лесом клубящейся сини.

Покойно клонились к вечеру земля и небо, баюкая людскую душу миром и тишиной.

В который раз уже Николай, усмехаясь, думал, что больничные мечты его неожиданно-негаданно стали явью. Хоть и работать пришлось — куда ж без работы? — но никто не шумит и пьянки нет, а с ней — ругни. Текут дела, дни бегут. Вот он — август. Месяц-другой — и работе конец. И о дне завтрашнем можно думать спокойно, прикидывая так и эдак. Сенцо есть, дробленка и жмых. Можно телят купить осенью, поездив по хуторам. И поставить в зиму на своем базу. Но уже та скотина будет своей. Коли приходит новая жизнь, чего бояться ее. Может, она и лучше будет, чем колхозная. Там ведь сроду хозяина нет и товар плачет.

Поздно вечером, когда уже остывали высокие розовые облака, вернулся Артур. Волчок прежде хозяина услышал мягкий топот копыт, насторожился, на Николая глянул.

— Чего? — спросил Николай.

Волчок взвизгнул от нетерпенья, подаваясь навстречу Артуру, но прося дозволения.

— Беги встрейвай, — разрешил Николай, — и ворочайся сюда. Будем ставить скотину на баз.

Волчок унесся стремглав к молодому хозяину. Тот был уже близко, сворачивая к жилью.

У землянки Артур быстро спешился, снял мешки с харчами и, поглядев в густеющую тьму, туда, где был Николай, отвязал от седельной луки дерматиновый школьный ранец. Его он унес и схоронил с глухой стороны землянки, под камышовой крышей. А уж потом поскакал к деду, гнавшему быков на ночлег.

Скотину заперли на ночь. Поставили чайник. И только здесь, в неверном свете печного огня, Николай углядел, что за плечами внука новое оружие.

— Это что? — спросил он.

— Мелкашка. Сгодится, — сказал Артур, снимая винтовку. — Нас ведь двое, а ружье — одно. Пусть только сунутся. Я им покажу... Я им устрою, — грозил он, жалея, что нельзя похвалиться привезенным в дерматиновой сумке. Лучше утаить до поры.

Зато содержимое харчевых мешков он выложил без утайки. Николай привозил из дома хлеб, крупу, старое сало да огородную зелень. Артур — свежесбитое масло, сметану, пирожки да пышки — словом, тещины гостинцы.

— Не зря тебя кормят... — посмеивался Николай. — На Покров быков сдадим да засватаем.

— Меня «явочка» ждет, дорогуша... Сил набирается, — отнекивался Артур.

— А то гляди... Прадед твой, мой отец... его быки женили. Пора пришла, девка по нраву есть, а свадьбу играть не на что. Нет денег. И тут пропадает пара быков. После уборки. Какая беда... туда-сюда кинулись, искали-искали. Нет быков, свели. А к Никольской ярмарке вдруг объявились. Да такие рогаги: откормленные, аж блестят. Оказывается, отец их угнал тайком через Мартыновский лес, к Дону, в самую глухомань, от жнивья далеко. Там остров есть, просторный, с травой. На остров переправил, там и паслись. Корм хороший, отъелись они; потом лист падал, зажирели. На ярмарку их пригнали, в станицу. Купец Чертихин из Москвы как увидал, аж затрясся. Двести шестьдесят пять рублей сразу дал. Продали, себе купили худых быков, за сто семьдесят рублей. Остальные деньги — на свадьбу. Вот тебе и быки... Женили. И тебя — тоже...

— «Явочка» меня ждет... — твердил Артур, посмеиваясь над добрым, но непонятливым дедом. — Летать будем. В-ж-жить! — и на хутор. В-ж-жить! — и на станции. В-ж-жить! — и на краю света. Ты понял? — счастливо жмурился Артур. Он видел и чуял себя в седле, на дорогой сердцу «Яве».

Рев и скорость!

А когда, отужинав, ушел он в шалаш и уснул, то во сне видел то же, что наяву: алый мотоцикл, летящий теперь уже по иным, небесным, дорогам. Провожал его раскатистый громовой грохот; звездная пыль отлетала прочь. Сердце обмирало не от испуга — от счастья.

Грохот и разбудил его посреди сладкого ночного сна. Что случилось, он понял не вдруг. Но грохнул другой выстрел. И пришло понимание.

Выбежав из шалаша и не забыв про мелкашку, он крикнул в темноту:

— Дед! Ты где?

— Здесь я... — ответил Николай, невидимый во тьме.

Артур припал на колено, вглядываясь в брезжущую темь августовской ночи, и в тишине услышал голос уходящего автомобильного мотора.

— Уезжают, дед?! — громко спросил он.

— Вроде...

Тогда Артур кинулся по белеющей во тьме дороге. Пробежав десяток метров, он поднял винтовку и выстрелил в уходящий звук, тут же вспомнив, что коробка с патронами в шалаше.

— Куда побег?! — окликнул его дед. — Догонять, что ль?

Артур вернулся и не сразу углядел Николая. Тот стоял во тьме, сливаясь со стволом дерева, подле самого база. Рядом рвался с поводка Волчок.

— Куда побег? — повторил Николай. — Стой здесь. Может, кто притаился.

Артур не послушался, но уже крадучись, с оглядкой сбегал в шалаш за патронами. Он и потом к деду не вернулся, а, присев с винтовкой наизготове, стал вглядываться. Глаза обвыклись. Слух обострился, но ловил лишь ропот листвы да нетерпеливое повизгивание Волчка.

До утра еще было далеко. Звездного света хватало, чтобы увидеть темные купы деревьев, горбылевую огорожу, дальше сгущалась мгла.

Артур только что не повизгивал, как Волчок, но била его крупная дрожь нетерпенья. Внагибку он подбежал к Николаю и спросил негромко:

— Чего было?

Николай, насторожив ухо ладонью, вслушался во тьму:

— Не слышать?

— Нет.

Николай отдал ружье внуку:

— Оба ствола заряжены. Сиди здесь, а я пойду погляжу, — и добавил громко: — Чуть чего, стреляй картечью! Бей напрямую!

С собакой на поводке, с мелкашкой наперевес, Николай пошел вдоль городьбы база, проверяя ее. Встревоженная скотина сбилась темной кучею. Обошли почти всю городьбу, но в дальнем углу, возле навесов, Волчок вдру рыкнул и натянул поводок.

— Со мной... — приказал Николай и громко спросил: — Кто здесь? Артур! — крикнул он. — Держи на мушке! — И снова спросил: — Кто здесь? — Лупану! Лишь шумни! — отозвался Артур.

В сумраке скотьего навеса ничто не шевельнулось. Волчок продолжал тянуть от база. Николай с трудом держал его, приказывая: «Со мной...» Миновав стену навеса, Николай вынул фонарик, зажег его и, вернувшись, прошел прежний путь, освещая горбылевую огорожу желтым лучом. Все было цело.

Не до конца поверив, что опасность ушла, Николай вернулся к Артуру, сказал ему: «Присядь» — и сам устроился рядом, в подножии дерева, стал рассказывать:

— Ты уснул. Я прибрался. Волчка привязал тут, у база. Хотел лечь. А потом думаю, дай посижу покараулю. Далеко, услышал, машина гудит. Гудит и гудит. Вроде идет к нам, а света не видать. Из леса выехала, должен быть свет, а нету его. Хотел тебя будить, а машина смолкла, остановилась. Но от нас вроде далеко. Я жду, а ее — нету, молчит. Молчит и молчит. А потом Волчок как кинется... Я кричу: «Кто идет?» Молчат, а Волчок рвется. Тогда я и пальнул; не дюже низко, скотину боялся задеть. Пальнул — и чую, кто-то побег. Убегает. И вроде не один. Я еще пальнул. Бегут. А потом машина завелась.

— Надо бы не верхом. Надо бы напрямую их, гадов, — сказал Артур.

Прислушались. Ночная тишина молчала. Шумно вздыхали быки. Ветер шелестел в маковке дерева. Стрекотали сверчки.

У-гу! у-гу! у-гу! — прокричала за рекою птица.

Первые петухи начинали петь далеко, на хуторе.

Посидели еще, подождали. И теперь уже вместе, Николай с собакою впереди, пошли к дальнему углу, где рвался Волчок.

И снова он потянул от городьбы в сторону.

— Стой здесь, я пройду, — сказал Николай.

Прошли недалеко. Волчок кинулся и схватил что-то темное.

Это была кепка. Уже потом, на свету, разглядели ее: большая серая кепка, новая, но уже сальная от грязи на подкладке, по ободу околыша. Пахло от нее одеколоном.

Остаток ночи не спали. Когда развиднелось, сходили дальше и нашли след машины, разворот ее.

4

С утра Николай отослал Артура на хутор с наказом:

— Кум Петро вечером пускай надъедет, с ружьем. Передай ему, что и как, но чтобы не болтал. Узнает начальство, заставит на ферму вернуться. А там не привесы пойдут, а отвесы.

Артур ускакал, Николай пас быков, стараясь держать их дальше от леса. Он курил за сигаркой сигарку, боясь задремать, и слушал, не раздастся ли гул мотора, редкий в этих местах, а теперь и опасный.

Но тихо было в лугах. Лишь трель жаворонков, щебет ласточек да быстрые скворчиные стаи с шумом проносились над головой.

Гул автомобильный все же появился. Машина шла по займищному лесу, от Ярыженских лугов, от хутора, а значит, была колхозной. Но Волчок настрожился, и Николай, тревожась, вглядывался в зелень уремы: кого еще бог несет?

Наконец из займища выбрался «УАЗ». Добежав до первого пригорка, он огляделся с него и покатил напрямик к гурту. Машина была колхозной. У Николая от сердца отлегло. Волчок еще порывкивал, тревожась, пока хозяин не успокоил его:

— Свои, Волчок, свои...

Машина остановилась недалеко, и Николай пошел к ней, встречая председателя колхоза — Липатыча, Алексея Липатыча, для кого как.

Липатыч два десятка лет уже начальствовал в колхозе, поседел здесь. А прозвище имел Медовучий — за сладкие речи

— Здравствуй, здравствуй, хозяин, — выходя из машины, с улыбкой приветствовал он Николая, жал ему руку. — Хозяин, настоящий хозяин. Скотина, попасы — все вокруг твое, — разводил он руками. — Кузьма Скоробогатый. Вы все теперь — хозяева. А Липатыч — на подхвате. Достань, добудь, обеспечь. Вот мои функции.

Николай переминался, смущенный.

— Такая жизнь пошла, — продолжал председатель. — Спасибо, что в шею не гоните. А то ли еще будет? Да, уже сейчас... Вчера в пять часов дня подъезжаю к комбайнам, они просо убирала. Комбайнеры домой собираются. Конец рабочего дня. И я им — не указ. Ты, например... С хутора увялся, и слуху о тебе нет. Где ты, что... Может, половины гурта уж нету. Воровство вокруг.

Липатыч лил и лил свои речи, гурт обходя и оглядывая бычков.

— Но за тобой как в затишке. Ты — человек надежный, — хвалил председатель. — Тем более не пьешь теперь. Не пьешь ведь?

— Не имею права. Язва, — объяснил Николай. — Да и годы...

— Таких людей мы всегда поддержим, — обещал Липатыч. — А то едут из города, землю им подавай, новым хозяевам. Бычка от телки, пшеницу от ячменя не отличат... Дай землю! Будем жаловаться! И жалуются... — сокрушался Липатыч и тут же строжел: — Но мы у них в поведу не пойдем. Мы своих людей будем поддерживать, таких, как ты. Быков вырастил на завид! Они, считай, подыхали. Я помню весну, когда их из Головки пригнали. Вот ты — настоящий хозяин. И внук при тебе, молодые руки. Хоть сейчас берите любую ферму. На Соловьях — золотое место. Ферма, вода рядом, попасы. Сдашь быков, пиши заявление. Своим людям, какие колхозу жизнь отдали, мы всегда пойдем навстречу. А пришлым... Извините. Колхоз разбазарить легко. А кто потом страну кормить будет?

Когда гурт обошли и возвратились к машине, Липатыч сказал:

— Просьба к тебе. Не приказ, а большая просьба. Приказывать я тебе не могу. Договор подписан, ты — хозяин. Но прошу убедительно. Выбери пяток быков на продажу. Денег в колхозной кассе нет. Ни людям заплатить, ни купить чего. Плохо с деньгами.

— Самый нагул, привесы идут, — принялся объяснять Николай. — Тут и на погляд видать, не меньше килограмма в день прибавляют...

Липатыч остановил его:

— Все верно. Я сам по специальности зоотехник, понимаю: не время под нож пускать. Но положение безвыходное. Пустая касса. Надо... Понимаешь такое слово: надо.

Николай знал, что нельзя отдавать быков. Не их, а деньги свои он отдаст, заработанное. Но извечная привычка, покорность ли вязали язык и волю. И он лепетал:

— Самое время... привесы...

— Ни по-твоему, ни по-моему, — постановил Липатыч. — Не пять, а три бычка. Я это не забуду. При расчете мы тебя не обидим. Надо... Пойми...

Мягкие ладони Липатыча сжимали Николаевы руки. Голубые глаза тонули в лучистых морщинах, светили тепло.

— Надо... Понимаешь?

И Николай понимал: надо.

Вместе с Липатычем и шофером выбрали и отбили от гурта трех быков. Шофер их и погнал напрямую, через речку, к хутору. Липатыч сел за руль и покотил обратной дорогой, оставив Николая в немалой досаде: он знал, что грешно в такую пору скотину забивать, лишая себя заработанного.

Умная собака Волчок глядела то вслед уходящим быкам, то на хозяина, ожидая команды. Стоило тому лишь промолвить: «Заверни», и Волчок помчался бы и мигом вернул уходящих к гурту. Но Николай лишь вздыхал.

Бычки неторопко тянули через луг, пытаясь на ходу кормиться. Но властно подгонял их новый хозяин: «Геть-геть! Геть-геть!» Миновали низинный, заливной, луг, через речку перебрались по мелкому и пошли набитой, конной да человеческой, тропой сквозь густые талы.

Артур встретил их на полдороге. Он спешил от хутора к деду, подгоняя коня, но издали услышал: «Геть-геть! Геть-геть!» Сразу подумалось нехорощее.

Нынешняя ночь была на уме. Коня он придержал, перейдя на шаг, вглядываясь с высоты седла, и наконец увидел трех быков и пешего человека. Быков он узнал сразу же: могучего Шварцнегера, Звездаря с белой отметиной на лбу, глупого Дубаря. Человек был незнакомым.

Выехав из кустов поперек пути, Артур спросил:

— Куда быков гонишь?

— Тебе какое дело? — ответил председательский шофер.

— Мои быки, — твердо сказал Артур.

— Сопли под носом твои! Зеленые! — вскипел мужик. — А ну, геть с дороги!

— Шварчик, Дубарь! Гоп-гоп, пошли! — Артур тронул коня, винтовку положив поперек седла. — Гоп-гоп! Звездарь, ходом!

Знакомый голос и лик убедил быков. Они разом повернули и потрусили обратной дорогой.

— А ну верни! — закричал шофер. — Верни, отвечать будешь! Ответишь! — Он пробежал недолго и стал.

Артур развернулся. На коне, с винтовкой поперек седла, плечистый и не улыбочивый, гляделся он серьезно. Председательский шофер, сплюнув, сказал:

— Сам пригонишь... Сам! — и пошел той же тропой к хутору, матерясь на ходу.

Николай заметил быков и внука издали.

— Либо убегли? — встревожился он и пошел навстречу. — Убегли быки?! — крикнул он. — Ты где их перенял?

— Тебя надо спросить, — подъезжая, ответил Артур. — Ты караульщик. Убегли они или их украли?

— Кто их крал? Человек их погнал, на хутор. Липатыч приезжал, председатель, попросил... Говорит...

Артур, не слезая с коня, выслушал и решил:

— Ты лопух, дед. Сам говорил: привес пошел, кормить и кормить, потом — дробленка, жмых. Чтоб как на ярмарку, чтоб блестели. Сам говорил, а теперь? Мало что твой председатель напоет. Только слушай. В два счета растянут. Останемся на бобах. Ты без коровы, я без «Явы». У нас договор есть? Он подписан?

— Подписан.

— Ну и пошли они!! — заорал Артур, так что быки шарахнулись в сторону. — Сволочь! Сегодня — председатель, завтра — заместитель! Тут на велосипед не останется! С таким лопухом, как ты!

Артур спрыгнул с лошади и встал перед Николаем, напряженный, злой:

— С тобой уговор был, что работаем вместе и деньги пополам?

— Был.

— Я работал? Сачка не давил?

— Работал.

— Я ночами не спал! — снова закричал Артур. — И день напролет от них не отходил! Варил да кормил. У одного — дристан, у другого — запор. Я все делал, а теперь... — Он шумно выдохнул, раз и другой, словно спускал лишний пар, а потом сказал спокойно: — Теперь я ни на шаг от гурта. Не чеченов, а тебя да твоих начальников надо бояться. От вас сохранять.

К сену Николай нынче не поехал, чтобы внука одного не оставлять. На базу, где гурт ночевал и дневал, под навесом устроил он сиденье ли, лежанку, чтобы ночью быков стеречь; потом щи варил и ждал председателя.

Липатыч приехал к обеду. Сам за рулем. Из машины вышел, разулыбался, словно готовился доброе сказать. Николай встал из-за стола навстречу. Артур сидел, дохлебывая из миски.

— Ты думаешь, я удивился? — спросил Николая Липатыч. — Нет. Я привыкаю. Говорил же я тебе, не председатель в колхозе хозяин, а — люди. Ты внук твой, — показал он на Артура. — С тобой договорился о бычках, а молодому хозяину не доложил. Он — в обиду и все поломал. Так и живем. Называется — демократия.

Улыбка на лице председателя гасла. Голубые глаза притухали, темнея.

— Да, — продолжал он. — Демократия. Что народ решит. Не один, не два человека, не ты, да я, да твой внук, а девятьсот восемьдесят семь членов колхоза. Понятно? А вот они говорят, что я неправильно тебе гурт отдал, с нарушением колхозных законов. И те пять бычков... Они же не сдохли. А числятся — падеж. Тоже грубейшее нарушение. И чем ты кормил бычков? Люди говорят: воровал. Да-да... Месяц — на хуторе, на ферме, а по документам они лишь дышали. Ни соломы для них ты не брал, ни силоса...

— Все знают, чем я кормил, — сказал Николай. — Тут нет секретного. Сено я...

— погоди, — остановил его председатель. — Я не разбираться приехал. А сообщить, что народ требует собрать правление и переиграть все это дело. И вот мой сказ, — закончил он жестко, выпрямляясь и строжея. Стоял уже перед Николаем не Липатыч по прозвищу Медовучий, а председатель в темном костюме, при галстукке, в седине. — Сказ такой: сейчас твой внук, — указал он пальцем на Артура, — отгонит на хутор и сдаст управляющему пять быков. Повторяю: пять. Иначе сегодня же соберем правление.

Он повернулся, сел в машину и уехал.

Солнце стояло в полудне. Мягко был зной его.

В огородах, в садах нынче все спеет и зреет. И если бы он, Николай, не пошел по весне к быкам, не связал себя, то теперь самая пора: живи и живи.

На мгновение Николай словно забыл, где он и что с ним: грело солнце, слепила глаза сияющая склянь реки — доброе лето, о каком мечтал он зимою в больничной палате.

Он очнулся. Надо было возвращаться к обеденному столу и к внуку. Два шага всего...

Спасение было, он знал его. Пойти в землянку и выпить залпом стакан водки. Сразу полегчает. Потом еще выпить. И все станет к месту: жалость к себе, гордость и бесшабашная удаль. А потом все утонет в беспамятстве и само собой поплывет и покатится, как бог велит; и чем горше, тем, может, и лучше. Будет о чем плакать во хмелю. Так было всегда. И нынче манило выпить. Но глядел исподлобья, глазами жег, словно связывал, внук молодой.

— Ну что, дед? — не выдержав, спросил он издали. — Давай отбирать каких получше. Да не пять, а десять бычков отгоним, порадуем начальство. А то и всех... Тебе похвальную грамоту дадут. Еще одну к стенке на кухне прилепишь.

Николай молча прошел к столу, уселся остатнее доедать. А внук корил и корил его:

— Вы как овечки. Бригадира, председателя, участкового — всех боитесь. А вот чечены никого не боятся и потому живут. Армяне на станции тоже никого не боятся. Ларьков наоткрывали, торгуют внаглую. Не боятся — и правильно делают. А вы, как кролы, день и ночь труситесь.

Николай поднял голову, кротко спросил:

— Чего ты запенился?

— Но ты же гнать собрался быков. Я вижу... Начальник приказал. А что договор подписан, там все указано, на это наплевать. Знают, что ты — слухменный.

— Охолонь... — остановил его Николай. — Волчок дремет, и ты подреми. Скоро скотину подымать.

Артур поглядел на деда недоверчиво, но послушал его: лег, кинув на землю телогрейку. Сквозь смеженные веки глядел он, как дед взбодряет огонь, ставит чайник. А потом ресницы тяжко сомкнулись, пришел долгий сон.

Полуденная жара спадала. Николай отворил ворота база, пуская скотину на пастьбу. Понемногу, за шагом шаг, уходили от становья и крепко спящего внука.

Артур проснулся, когда вербовая тень давно ушла в сторону, по-вечернему удлиняясь. Он вскочил в испуге. Показалось ему, что проспал он все на свете: скотину и деда, который недаром не разбудил его.

Сердце на мгновение замерло и застучало отчаянно. Забыв о коне, Артур побежал прочь от становья. Он мчался быстрее и быстрее, стараясь увидеть впереди Николая и быков или понять, что потерял их навсегда. Он миновал один колок, другой. И, уже задыхаясь, отчаиваясь, увидел наконец пасущийся вдали скот и деда. Увидел и побежал еще быстрее. Теперь уже хватало сил и дыхания.

— Родные!! — закричал он, подбегая к гурту. Так счастлив он был, словно потерял их и снова нашел. — Родненькие! Гусарик! Купырь!

Одного на ходу он погладил, с другим поборолся, ухватив за короткие рога, третьего боднул в мягкий бок.

— Шварцик! Кулема! Звездарь! — звал он любимцев своих. И они мчались на зов, неуклюже кидая в стороны задними ногами. — Алка! — кричал он. — Запевай!

Му-у-у! му-у-у! му-у-у! — послушно отозвался бык.

Гурт ожил, сбиваясь возле молодого хозяина на зов его, как всегда с той давней поры, когда день за днем он кормил их, поил, спасая от горького. Память животного крепка.

Артур баловал, убегая от Шварцика, потом оседлал его, лежа на просторной спине. И снова теребил всех подряд: Тихоню, Рэмбо, Горбача.

Объявился Волчок, и вовсе завертелась карусель.

— Либо кнутом вас разгонять? — с усмешкой издали спросил Николай, глядя, как озоруют внук, Волчок, скотина.

Но молодые игры взбудрили его. Подумал, что в конце концов все образуется. Председатель отступит. Ведь сколько сил положено. И вот они, быки, как из теста лепенные.

В оставшийся день, словно стоворившись, дед и внук не вспоминали нынешнего, будто и не было ничего.

Вечером ждали подмогу. Стемнело. Кум Петро не ехал.

— Ложись и спи, — приказал внуку Николай. — Потом сменишь меня. Чего вдвоем сидеть?

Артур было отнекивался, не желая деда оставлять одного. Но тут издали, из-за речки, стала пробиваться песня:

Из-под то...
Из-под тоненькой блузочки!
Тяжело моему сердцу страдать!

Кум Петро добирался до стана долго. Он пел и пел, голос медленно приближался.

Из-под то...
Из-под тоненькой блузочки!

Взбудрили в костре огонь, чтоб заметил.

И наконец объявился помощник, пьяненький, с велосипедом, через плечо — ружье.

— Вот он и я! — торжественно объявил кум Петро, бросая велосипед и раскрывая объятья. — Ты приказал — я прибыл. Потому что мы с тобой — годки, родились вместе, возрастали и вместе служили, значит — полчки, односумы и кумовья... Самая родня из родни!

Артур посмеялся и ушел спать. Он лег не раздеваясь и, засыпая, слышал, как грозил Петро: «Посекем их на капусту... Учужали... Посекем...», и песню пел:

Ворошиловский стрелок
Промаху не знает!

Потом была ночь. И резкое пробужденье. Голос деда: «Вставайте!» — выбросил Артура из постели. В этот раз не было ошаленья. Он вскочил, словно не спал, все сознавая.

— Дед?! — крикнул он в темноту.

— Буди Петра, ружье берите, — сказал Николай. — Гости едут.

Артур сдернул Петра с кровати: пусть очухивается со сна да похмелья, а сам ухватил ружье и хоть и во тьме, но внагибку пробежал за шалаш и вынул прихороненный ранец с припасом, который берет до поры.

Николай дежурил в самом базу, под навесом. Но когда услышал машинный гул, выбрался на волю и пристроился, как и прошлую ночь, возле тополя.

Машинные фары нынче светили. Дальний прожекторный свет их, повиливая, выхватывал из темноты деревья, городьбу база, уходил далеко за речку.

— Не хоронятся! — громко сказал Николай и приказал Артуру: — Ты возле шалаша будь, а Петро — по правую руку.

— Иду, иду... — бормотал в шалаше Петро.

Машина остановилась рядом с базом и смолкла. Но фары ее светили. Щелкнула, отворяясь, дверца. Кто-то вышел.

— Уезжай, будем стрелять! — крикнул Николай. — Нас много!

— Хозяин! Слушай меня! — раздался от машины громкий голос. — Слушай хорошо! Даю пятьсот тысяч! Вы спите до утра! Проспали! Ничего не знаете! Кто угнал, куда угнал! Ты понял, хозяин?! Пятьсот тысяч!

— Уезжай! Будем стрелять! — ответил Николай.

— Думай хорошо! Пятьсот тысяч!

— Уезжай! — повторил Николай и перебежал в сторону, к другому дереву.

Свет машины погас. Голос смолк. Затаясь, сидели и слушали, надеясь. может, уедут?..

— Я как штык! — выбрался наконец из шалаша кум Петро. — Тут, парень...

Недоговорил он и рухнул на землю, услышав выстрел за выстрелом. Затрещала городьба. Николай вскинул ружье, ударил на треск. Скотина шарахнулась.

Артур побегал от шалаша внагибку, прижимая к себе сумку. Укрывшись за стеной навеса, он пробрался вдоль нее и, глянув из-за угла, во тьме не увидел, а скорее почувал людей, их движенье. Вынув из сумки ракету, он дернул шнурок. С шипом ракета ушла в небо и там, высоко, взорвалась багровым свеченьем, озаряя степь, скотий загон, трех незваных гостей, их машину, разломанную городьбу.

— Держите, тараканы!! — крикнул Артур, швыряя взрывпакет. — Огонь!

Грохнуло. Зазвенели стекла. Истошно завопили. Ломая городьбу, скотина кинулась прочь. Но вопль Артура перекрыл все звуки:

— Недолет!! Заряжай!! Держись, тараканы усатые!! Огонь!

Еще один взрывпакет полетел. Снова грохот. Сомкнулась багровая тьма.

— Заряжай!! — снова крикнул Артур.

Николай, ничего не поняв, лишь чуя и видя взрывы за базом и голос Артура, бросился к внуку:

— Ты где, Артур?! Ты — живой?

— Здесь я! — громко отозвался Артур. — У миномета! Уезжают... — проговорил он тише, услышав гул мотора.

Николай, еще не веря, во тьме ощупывал внука:

— Ты — живой? Живой?

— Убегают! — крикнул Артур. — По щелям!

Он уже не прятался.

— Это ты — в них? — спрашивал Николай. — Из чего?

— Из пушки, — ответил Артур. — Из гаубицы, прямой наводкой. Погоди, дед. Я и тебя научу. Будешь артиллеристом...

Кум Петро объявился и шепотом сообщил:

— Чуток меня не убило. Как пчела прожужжала. Возле уха. И я враз трезвый сделался.

Как-то сразу поверили, что опасность ушла. Стали собирать разбежавшуюся скотину.

— Волчок, сгоняй! — приказал Николай.

Собака умчалась во тьму, чтобы, делая за кругом круг, сбивать испуганную скотину в кучу.

— Шварцик! Шварцик! Рэмбо! Тихоня! Алка! — звал Артур, и быки спешили на голос. — Звездарь! Гусарик, Гусар! Кулема! — звал и звал он своих.

Собирали быков, чинили разломанную городьбу, провожая ночь и встречая новое утро.

Только-только управились и проводили кума Петра, как увидели: с той стороны, от речки, мчится на велосипеде Артурова зазноба.

— Деда Коля! Артур! — издали закричала она. — К вам едут! Гурт отымать!

Она подкатила и упала бы вместе с машиной, но Артур подхватил ее.

— Едут... — повторила она. — Председатель, участковый, бригадир. Вчера было правление. Сказали: отберут. Нынче с утра приедут.

Платье на девушке было мокрым. Видно, через речку брела по глубокому.

Артур приголубил ее:

— Молодец...

— Спешила... — Девчонка рассияла и принялась расправлять мокрое платье.

Артур твердо изрек:

— Я им, дед, быков не отдам. Я их так шугану! — В глазах его загорелось бешенство. — Я их... Остались еще подарки... Не отдам!

— Не отдашь, не отдашь... — повторял Николай, еще не понимая, как быть им, но чуя, что внук может наделать беды.

И вдруг Артур, мгновенно остывая, сказал:

— Уходить надо, дед. Давай уйдем на тот остров, где прадед Миша быков хоронил. Он далеко?

— Далек.

— Людей возле нет?

— Там и в старые годы их не было. А нынче и вовсе.

— Вот и уйдем. Схоронимся. Ты помнишь дорогу, дед?

— Помнить-то помню... — ответил Николай.

— Дед, погнались... — заторопил Артур. — Я им не отдам быков. Все равно не отдам. Я их, как усатых, учить буду. У меня есть чем... — снова начал он злиться.

И, видя горячечный блеск в глазах и чуя решимость внука, Николай согласился:

— Гони... Они с утра обещались? — спросил он у девушки.

— С утра.

— Бери харчей и гони. На брод, а потом вдоль речки к Мартыновскому лесу. На Бабской протоке вернешься на этот берег и пойдешь старой дорогой, она уже заросла, но найдешь... До озера, до Култука, доберешься и там меня жди. Я тебя нагоню. Пока собираюсь, пока гостей встрену.

— А чего ты им скажешь?

— Найду чего сказать. Гони! Ты чуток его проводи, — сказал он девушке. — И — на хутор. Мы дадим тебе знак.

Гурт уже вытекал от толоки, к пастыбе. Наскоро собрав харчей, Артур сел на коня и посакал, догоняя скотину. Равняясь с ней и уходя вперед, он стал подгонять быков, звать их за собой.

— Гоп-гоп, пошли! Ходом!

Тяжелые бычки, молодые, но тушистые, с короткими рогами, окружая всадника, спешили за ним.

— Вперед, ребятки, вперед. Очкарик, Дубарь! Прожора, гоп-гоп! Успеешь налопаться!

Он был хорош на коне: в седле сидел крепко, черные волосы — до плеч, надвинутая шляпа, ружье — за спиной.

— Гоп-гоп, красивые! — торопил он. — Родненькие, ходу!

Гурт уходил быстро и скоро скрылся в займищной зеленой уреме.

Оставшись один, Николай стал собираться, навьючивая на лошадь мешки да сумки. Жаль было покидать обжитое и кое-что из нажитого:

стол, скамейку, топчаны не заберешь с собой. Собрался он ко времени, стал ждать и наконец услышал машинный гул.

Председательский «УАЗ», привычной дорожкой подкатив к стану, выпустил из тесной кабины не только Липатыча да шофера, но участкового Листухина, хуторского бригадира Чапурина, заведующего фермой Кривошеева. Долговязый Чапурин, выбравшись на волю, охал, разминая занемевшие ноги да поясицу.

— Приехали тебе сообщить, — с ходу начал Липатыч. — Вчера собиралось правление колхоза, вот выписка его решения, — показал он бумагу. — Договор с тобой считать недействительным. Скотину изъять и поставить на колхозный баз. Прочитай, ознакомься.

Николай от бумаги отмахнулся, сказал:

— Нету скотины.

— Как нету? — не понял председатель. — Пасется...

Николай выложил разом:

— Чечены тут напали. Сломали городьбу. Еле отбились от них. Решили мы скотину в надежное место угнать, подальше от греха. А вы пустого не толочите. У нас был договор, руку приложили, с печатью. Комар носа не подденет. Ко времени вся скотина будет на месте, — пообещал он. — Сдадим по головам и по весу. Все, бывайте здоровы, — закончил он и стал отвязывать лошадь.

Приезжие, не поверив и не поняв, переглянулись. Шофер, ухмыльнувшись, присвистнул.

Между тем Николай уже был в седле.

— Погоди... — шагнул к нему бригадир. — Ты чего задумал? Ты — в уме?

— Пьяный, — махнул рукой председатель. — И не проспался. Скотина где?

— Вы меня слухали? Или лишь глядели? — поворачивая коня, спросил Николай. — Я вам по-людски сказал: скотину не увидите и вам она не нужна. У нас договор. Ко времени пригоним, сдадим. И ни один прокурор нас не тронет. Договор! — весомо повторил он, трогая коня.

— Стой! — закричал Липатыч и участковому приказал: — Арестуй его! Стой, говорю! — побежал он догонять Николая. — Стой! Отвечать будешь!

При костюме и галстукe как-то неловко было гнаться. Два шага пробежав, председатель встал, оглядываясь и призывая помощников:

— Вы чего глядите?!

— Да он вернется... Куда он денется... — неуверенно проговорил участковый Листухин.

— Николай! — пошел вослед всаднику бригадир. — Погоди! Надо по-людски! Чего ты бзыкаешь?! Не молоденький...

— Не троньте нас! — оглядываясь, зло проговорил Николай. — Не доводите до греха. А то мы чеченам гурт отдадим. Вот тогда ищите его. Ни вам, ни нам.

Обвешанная сумками да мешками лошадь уходила от летнего база и стана, от людей, которые глядели вослед: кто растерянно, кто недоуменно, а кто и угрюмо.

Николай спешил, догоняя внука.

ЧИТАЙТЕ В 1994 ГОДУ
ЦИКЛ ОЧЕРКОВ БОРИСА ЕКИМОВА
«В ДОРОГЕ»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

(1925 — 1993)



ГОЛУБАЯ ВЕЧНОСТЬ

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНИЛ

Когда подведен печальный итог, становится яснее, что итога личности, таланту, произведениям поэта подвести невозможно. В принципе. Навсегда останутся загадки, ощущение какой-то возможной новизны в будущем прочтении тех же книг, давно известных стихов.

С психологической точки зрения, мне всегда казалось, что в душе у Винокурова Сальери, вместо того чтобы травить Моцарта, стал с ним сотрудничать. В его музыке, в его поэзии, несмотря на трезвость мысли, а то и обнаженность приема (когда порою кажется, что стихотворение — на грани сухой схемы), все-таки сохраняется, каким-то образом присутствует и нечто иррациональное.

Тут нельзя не обратиться к главному, генеральному мотиву в его творчестве, причем прямо декларированному во многих стихах, в том числе и в публикуемой ниже подборке. Помню, как меня поразило одно стихотворение. Автор не раздобылся в нем ни на один спасительный эпитет, ни на одну вырочающую метафору:

Любят падчерицы мачех,
Я слышал в болотах рачьих
Свист. Но я вас потрясу:
Я видал, как бьют лежачих
Каблуками по лицу!
Хвост цыган пришел кобыле.
Было раз — скалу разбили
Криком: «Отворись, Сезам!»
Я видал: лежачих били
По глазам и по слезам.

Казалось бы, какая уж тут поэзия. В этом крике раненого сердца. Нет! В этом и есть суть мастерства Винокурова, избегающего демонстративного мастерства.

Но в чем же оно проявилось в данном случае? А вот в чем. Четырехстопный веселый хорейчик с набором частушечной чепухи вдруг обрывается, и в ту же легкую поэтическую ткань, в радужный целлофановый мешочек неожиданно вдруг бухнул тяжелый кровавый свинец страшных последних строк в первом и втором пятистишиях... Это — вызов стихоплетству, поэтической болтовне, словесной пиротехнике. Ибо пустота, даже прекрасно декорированная, была наипервейшим пожизненным врагом Винокурова, потрясенного страшным контрастом, характерным для нашего века: палачество в жизни на фоне кинокартин «Светлый путь», «Кубанские казаки» и социально благодетельных стихов Лебедева-Кумача. Частушки — и кровавая трагедия...

Да, Винокуров всю жизнь жаждал истины: «Пусть кто-то сказку любит. Я же рад — исподтишка, коль истина проступит как шило из мешка!» И тем не менее, несмотря на постоянную, иногда до назойливости, декларацию поэтического аскетизма, он был прелестно противоречив, как сама жизнь, сам мир. Вот его определение вдохновения:

Нет, не гордое паренье,
Вид у ней нехитр и прост,
Ящерица вдохновенья
Ускользнет, оставив хвост...

Какая же голая суть, кратчайшая прямая, чистый смысл, если необходима эта трудноуловимая, почти иррациональная ящерица вдохновения, являющаяся к тому же героиней великолепной метафоры? Именно особое «чувство иррационального», свойственное каждому истинному поэту, и вознесло его в свое время к «Синеве». Книге, исполненной чистейшей, я бы сказал — небесной поэзии.

В молодости он был истинным гедонистом и даже, пожалуй, немножко эпикурейцем. Естественно, когда позволяло здоровье. И жил соответственно, при сохранении условностей и рамок, диктуемых осторожностью в обстановке жесткой партийной морали.

Тяжесть потери... Единственное утешение: человек прожил жизнь достойно и более или менее счастливо. А Винокурову, можно сказать, даже повезло: он не погиб на войне, не был репрессирован, не был исключен из института (определение счастья в России в наш век начинается с частицы «не»), не был обижен критикой, не был обойден издателями. И даже работал в Литинституте, в журналах «Молодая гвардия», «Октябрь». Тринадцать лет заведовал отделом поэзии в «Новом мире».

Публикуемые стихи свидетельствуют, что Винокуров до конца своих дней остался верен собственным художественным принципам.

Если не ошибаюсь, Розанов сказал, что секрет писателя заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может сделать из себя писателя. Но он не писатель. У Винокурова была эта музыка от рождения и до конца его дней.

И еще хочется вспомнить слова Баратынского: талант — это поручение. Винокуров это поручение выполнил.

Вадим СИКОРСКИЙ.

Сухость

Карлик в перевозбужденном цирке
прыгал, многоцветен и горбат,
между тем на радужной подстилке
медленно работал
акробат...
Я сидел с отцом на верхотуре, —
доставал макушкой до плеча!..

Чувствовал я:
не в моей натуре
пестрота и ловкость
циркача.
Вырос я
и вот теперь взыскую
честного и грубого
стиха.
Я люблю поэзию
такую, что была б
бесцветна
и суха...

Впервые

Помню:
когда-то я баржи грузил
в полном составе полка...
Был от усталости смертной без сил...
Белой — звалася река...
Где-то была в отдаленье Уфа...
Вдруг мне, как будто в бреду,
в жизни впервые простая строфа
странно пришла на ходу.

Вдруг я увидел неведомый свет, —
Голос во мне не затих!..

Так же ведь вздрогнул
и сам Магомет,
божий услышавши
стих...

Маркс и Энгельс

Похвально
презирать буржуя...

И человечество уча,
и мир в умах преобразуя,
пьют пиво
два бородача...
Да, в будущее путь
неведом, —
там люди разберутся, но...
Да, но ученым и поэтам
гадать о будущем
дано...
Открыть
мировых законов!..
Двоим дана над миром власть!..
Да, но десятки миллионов
людей
должны за это пасть!..
То истинно, что справедливо,
нет в мире истины иной.

Глотают мюнхенское пиво
два друга в сумраке
пивной...

* *
*

Мы не были с отцом
чужие, —
читал я тоже «Капитал»...

И к мировой буржуазии
я просто ненависть питал!..
Хочу я разобраться в сути,
ведь разобраться-то пора!..
Дельцы же ведь такие ж люди
и тоже ведь корпят
с утра.
Когда я многим был моложе,
тогда я был не прав вполне!..

Но и сейчас скажу я
все же:
чужие
эти люди
мне...

* *
*

Был отец фанатик.
Это плохо.
Жизни не щадил, как большевик...

Разве
виноват он, что эпоха
показала
свой кошмарный лик?..
Что он видел?..
Перед ним эпоха
чертовым кружилась колесом!..
Он и в книгах разбирался плохо,
что он понял
на веку
своем?..
Он читал, как Библию, газету,
Маркса, что ему не по уму!
Но ему все ж оправданья нету,
как и миру нашему
всему...

Мысль

Не ходил давно уж в гости я...

Я встречать привык рассвет
за столом...
И удовольствия
более на свете
нет...

Внутреннего путешествия,
видимо, настал черед.
Мысль —
таинственная бестия —
мне покоя не дает...
В небесах бывал и в бездне я,
на земле и на воде...

...Но раздумья
интереснее
не изведаль я
нигде...

Подпись

Художник бы
рычал свирепо —
была натура нелегка!..

Вино в цветном графине,
репа,
стакан высокий молока,

с большими грушами тарелка,
с вином алеющим бокал...

— Бери! А это не подделка?! —
распоряжается нахал.

Оранжевая занавеска,
горох рассыпан по столу...
Мэтр подписал когда-то резко
свою фамилию
в углу...
Но для тщеславного кретина
важны ведь были не мазки.
Не то, что бьет в глаза картина,
а подпись старческой
руки.

В сибирской глуши

Живет малыш на дальнем хуторе.
Его с ладошки кормит мать...
Не на каком-нибудь
компьютере,
на счетах учится
считать!..

На нем рубашка вся залатана,
ему шалить уже нельзя...

А ведь на свете эра
атома,
смерть медлит, над землей скользя.
У нас эпоху предвоенную
разбудит страшный взрыв...
И лишь
останется на всю вселенную,
быть может,
тот
один
малыш...

Бандеровка

Вспоминаю
в радости и в грусти
позабытую мной
до сих пор
в дальнем украинском захолустье
деревеньку у Карпатских гор...

...Подносила
кротко и стыдливо
в этом удивительном краю
девушка
в макитре желтой
пиво,
говорила ласково:
— Люблю... —
Песни, прибаутки, поговорки,
древние ковры,
цветной наряд...

А народ тот назывался
«бойки»,
охранял старинный свой уклад.
Близкие язык, душа и вера,
но различная
была судьба...

Их вождем был сам
Степан Бандера,
и стояла по ночам
стрельба.
Вечерами теплилась лучина.
Ты все пела,
голову склоняя...
Ты была бандеровкой,
дивчина, —
как же не убила ты
меня?
Бандуристы распевали были...
Жизнь была в те дни недорога!..

Как же мы друг друга не убили,
два друг друга
любящих
врага...

Грех

Я
в молодости был скитальцем...

И как-то раннею весной
я стал случайным постояльцем
в доме
у женщины одной...
Я ей носил с водою ведра
и делал мелкие дела...

Смотрел я, обомлев, на бедра,
когда она полы мела
или копалась в огороде...

Я же ворочался во сне,
и ощущение тайной плоти
покою не давало мне!
И я теперь уже не скрою,
я далеко ведь не монах, —
я целовал ее порою
в тех ею вымытых сенях.
Я был в какой-то тайной власти,
в слепом плену ее утех!..

Ту страсть
я не назвал бы страстью,
тот грех
я не назвал бы
грех...

Слово

Туземец
 ранил леопарда,
 но он решил его добить
 в пылу счастливого азарта,
 чтоб шкуру пеструю
 добыть...
 И он сменяет эту шкуру
 на ниточку стеклянных бус.
 А это ведь совсем не сдуру —
 он просто молод
 и не трус...

Я ж
 от тебя хотел бы снова,
 как тот отчаянный зулус,
 не что-то,
 а простое слово, —
 как ниточку стеклянных
 бус...

Абсурд

Будет
 все то, что когда-то уж было...

Снова полюбишь, вконец разлюбя.
 Женщина та, что тебя разлюбила,
 через полвека полюбит тебя...
 Век мой наступит —
 тот самый, что прожит...
 Снова замкнется классический круг.
 Та, что влюбилась однажды, —
 та может
 вновь разлюбить тебя запросто вдруг!..
 Взрослые к старости
 станут как дети.
 Скептик уверует сразу во все!..

Вечно так будет крутиться на свете
 это
 всемирное
 колесо...

* *
 *

Казалось, был он напорочен
 в дни юности.

Но вышло так,
 что оказался он непрочен,
 предсказанный мне
 прочный брак...
 Я в предсказанья верю свято —
 и по руке, и по глазам...

Не ты, гадалка, виновата, —
 а тут уж
 я виновен
 сам..

* *
*

С утра
ни спереди, ни с тыла
нельзя к ней было подойти...
Она сидела
и грустила,
считай, в отчаянье почти.
Она смотрела зло и строго.
Ее я в этом не виню.
У женщин настроений
много,
сто раз сменяется на дню.
Я знал —
пожил на этом свете, —
что был не я тому виной!..

И тот, кто знает
тайны эти,
тот долго будет
жить
с женой...

Дом

Много разных стран на свете видел!..

С многими поэтами дружа,
привозил от них то плащ, то свитер
непрерменно
из-за рубежа...
Но другая вдруг пора настала, —
сделалась иной душа моя
или просто намертво
устала
от поездок в чуждые
края...

Будь же проклят дом, —
но по-иному
дом я осознал,
и стар, и сед...

К родине моей несчастной,
к дому
намертво
прибит я,
домосед...

Мещанин

«Мещанин», —
произносим мы часто,
ожидая ухмылки в ответ,
между тем как святое мещанство
наполняет собой
этот свет.
Но что значит то слово
по сути?

Почему им привыкли бранить?
 Это ж просто лишь
 честные люди
 без потребности мир
 изменить.
 Он живет в мире том,
 где кроваво,
 там, где небо багрово на цвет!..

...Презирать его может лишь, право,
 в мире этом
 лишь только —
 поэт.

Осень

Из пиджачишки
 нос высовывая,
 дрожит прохожий на ходу...
 Температура минусовая
 и даже лужицы во льду.
 И как уже ведется исстари,
 висит над улицею муть...
 Девчонка-дикторша
 в транзисторе
 боится, как бы
 не чихнуть...
 Бродяге псу какой-то помеси
 уже на свете счастья нет...

Лишь космонавт,
 в бездонной пропасти,
 вдали
 от этих всех
 сует...

* *
 *

Хотя дано Адаму было тело,
 хотя земная плотскость хороша,
 но голубая вечность
 без предела —
 и в беспредельность
 тянется
 душа...
 Хотя,
 земную чашу подымая,
 придя с нелегкой пахоты,
 Адам
 уже совсем забыть не может Рая
 и как в блаженстве жил когда-то там.
 И хоть ночами спит, сопя, на ложе
 и за сохою ковыляет днем,
 Адам о небе позабыть
 не может,
 и голубая вечность
 где-то
 в нем...

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭММА ГЕРШТЕЙН



ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ

Сцены из московской жизни

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вернувшись в Москву, я продолжала прежний, так увлекший меня образ жизни. Архивы, рукописный отдел Библиотеки имени Ленина, Литературный музей... Однако вскоре я лишилась благоволения Бонч-Бруевича. Что же произошло?

Я уже говорила, что в музее я работала в отделе комплектования. Через наши руки проходили материалы, предлагаемые музеем для приобретения. И вот как раз через меня стали поступать рукописи Сергея Антоновича Клычкова. Приходили они частями. Проданы были также и некоторые письма к нему знаменитых и именитых людей, в частности письмо от Ворошилова. Но все это приносил не сам Клычков, а поэт Пимен Карпов.

Очень расположенная к Клычкову, я пришла к нему спросить, поручал ли он Пимену Карпову продавать свои рукописи. Мое известие произвело ошеломляющее впечатление. Оказывается, нищенствующий и бродяжничающий Пимен Карпов постоянно ночевал у Клычковых, и стелили ему на сундуке, где хранились рукописи. Вот он оттуда и таскал украдкой бумаги Клычкова и понемногу продавал их в музей. «Только что, — восклицал Клычков, — я собирался пойти в «Красную новь» и говорить там о дружбе и доверии, необходимых в нашей писательской среде! Теперь не пойду».

Тогда-то и выяснилось, что Клычковы слегка уязвлены исчезновением Левы. Сергей Антонович как-то неуверенно спросил меня, правда ли, что Лева Гумилев в Москве. Пимен Карпов утверждал, что видел его в читальном зале Ленинской библиотеки. Клычков облегченно вздохнул, узнав, что это недоразумение — Лева, как мы знаем, не приезжал из Ленинграда. Но не удосужился известить о своем восстановлении в Ленинградском университете не только меня, но и Клычковых. Хорош был, однако, и сам Клычков. Он пошел в Литературный музей и устроил там грандиозный скандал. Это он сделал, не согласовав со мной, и, очевидно, открыл источник своей информации. Бонч-Бруевич и воспитанные им секретарши поняли, что в моем лице они получили сотрудника, не умеющего хранить ведомственные тайны, или, если угодно, секрет фирмы. Впрочем, может быть, до Бонча дошло, что я была причастна к делу Манделъштама?

Когда мне сказали, что музей не располагает более средствами, чтобы заключить со мной договор на следующий квартал, я настойчиво стала добиваться приема у директора. Но в течение месяца кроме «Владимир Дмитриевич занят» или, что еще хуже, «подождите», а после трех часов ожидания «Владимир Дмитриевич уже уезжает» — ничего не добилась. Я поняла, что моя карьера в этом учреждении оборвалась навсегда.

Зато в Ленинской библиотеке мои дела пока шли хорошо. Там у меня была более интересная работа, чем в музее. Так, я почти целый год занималась разборкой и описанием огромного фонда Елагиных. Хозяйка знаменитого московского литературного и политического салона Авдотья Петровна Елагина была окружена многочисленным семейством. Старшие ее сыновья от первого брака (братья Иван и Петр Васильевичи Киреевские, как известно — вожди славянофильства) и остальные дети от второго брака (студенты Елагины и младшая дочь Лиля) постоянно переписыва-

лись. Особенно часто молодежь писала отцу в деревню, подробно рассказывая, кто был у них в очередное «воскресенье», кто, что и как говорил, о чем спорили. Так я прониклась духом московской духовной жизни 40-х годов прошлого века, представляя себе обстановку этих собраний в живых красках. Но до того как я надолго погрузилась в атмосферу московских интеллектуальных споров, мне поручали для обработки другие фонды, меньшего объема. Среди них была коробка, может быть, отколовшаяся от большого архива историка С. М. Соловьева. В ней были его незавершенные рукописи и переписка. Вероятно, эту коробку никто до меня еще не открывал, потому что я обнаружила там два ценных неопубликованных письма. Одно от Н. А. Некрасова, другое от Льва Толстого.

В Ленинской библиотеке установился обычай предоставлять право первой публикации тому, кто нашел неизданный документ. Это правило кажется мне неразумным. Во-первых, никакой заслуги нет в том, что без всякого предварительного труда мне, например, посчастливилось первой протянуть руку и вынуть из коробки драгоценные письма. Во-вторых, чтобы комментировать письмо Некрасова о печатании в «Современнике» статьи Соловьева или запрос Л. Н. Толстого о некоторых подробностях царствования Петра I, надо досконально знать предмет. А стоит ли погружаться в специальную литературу ради одной эпизодической публикации? Обычно неспециалисты отделяются общими местами, списанными из уже напечатанных работ. Эта перспектива меня не увлекала, и я, к удивлению окружающих, отказалась от публикации письма Толстого. А за письмо Некрасова взялась. Но и тут оказалось, что без квалифицированной помощи мне не справиться с этой задачей. Я попросила Евгения Яковлевича хотя бы оснастить мой комментарий словами из обязательного марксистского лексикона, но он тоже не был силен в этом жанре. Однако с легкостью надиктовал мне какие-то общие фразы, но они были так поверхностны, так мало вскрывали сущности дела, что в полном отчаянии я поехала к Николаю Ивановичу Харджиеву. Мне уже давно хотелось встретиться с ним не только у Надежды Яковлевны, где он всегда приветствовал меня очень дружелюбно. Однажды я даже попросила Леву прийти ко мне вместе с ним. Это было уже поздней осенью, очевидно, 1936 года. Оба приехали в летних полотняных туфлях за неимением другой обуви. Тем не менее были очень веселы. Теперь, спустя полгода, я поехала к Харджиеву в Марьино рощу показывать ему наметку комментария или вступительной статьи к публикации неизвестного письма Н. А. Некрасова. Он просмотрел ее и стал задавать вопросы. Как вообще проходили в некрасовском «Современнике» исторические статьи? Часто ли печатался такой материал? Что представляла собой статья С. Соловьева, о которой шла речь в письме? Была ли она напечатана и когда? Почти ни на один из этих вопросов я не могла ответить. «Уберите с моего стола этот вздор», — сказал Николай Иванович в заключение. Программа работы для подготовки публикации была им начертана. Да и вообще приоткрылась дверь в мир исследовательской работы, совершенно незнакомый публицистам, пропагандистам и авторам исторических романов.

Я стала работать в читальном зале Ленинки. По мере накопления нужных данных приезжала советоваться с Николаем Ивановичем. (В один из таких приездов я и встретила с бежавшими от шпиков Мандельштамами¹.)

Оказалось, что в специальных трудах, посвященных некрасовскому журналу, вопросам русской истории уделялось еще очень мало внимания. В конце концов у меня была готова статья «Русская история в «Современнике» Некрасова», которая заканчивалась новонайденным письмом. Когда она была напечатана, Евгений Яковлевич отозвался о ней скептически: само письмо было загнано в конец статьи. Да, она была сделана не по-журналистски, но зато новый материал был правильно осмыслен.

Николай Иванович стал для меня самым необходимым человеком. Я терпела его капризы и причуды, знала, как с ними обходиться, и была вознаграждена общением с образованнейшим человеком оригинального ума, уже много сделавшим в литературе и влюбленным в свою работу. Он тогда готовил своего неизданного Хлебникова. Это требовало каких-то сверхспособностей — тонкого текстологического анализа и наития, бесенного трудолюбия и окрыленного натиска.

Приближалась шестидесятая годовщина со дня смерти Некрасова. Николай Иванович посоветовал мне снести мою статью в журнал «30 дней». «Безусловно напечатает», — утверждал он. Так оно и вышло. Статья появилась в первом номере журнала за 1938 год. Не дожидаясь его выхода, я поехала сразу после Нового года в Ленинград — работать в архивах.

¹ См. «Новое о Мандельштаме» («Вокруг ареста и ссылки Мандельштама»).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В первый же день в Ленинграде я пошла к Анне Андреевне. Конечно, Лева был там и ждал меня, конечно, он пошел меня провожать («Как я рад, как соскучился, я уже хотел ехать в Москву»). Мы пошли на Васильевский остров. Осмеркин дал мне ключ от своей мастерской в Академии художеств, а сам оставался еще в Москве. Я там хорошо жила, никто нам не мешал. Лева повзрослел, поумнел, ему уже было двадцать пять лет. И разговоры стали интереснее. «Я целый народ открыл за Байкалом», — радовался он. А я тревожусь в ожидании моей первой публикации — не пропустила ли я что-либо в верстке?

В университете Левины дела теперь были хороши. Староста курса подошла к нему, посмотрела на него («своими черными глазами — она еврейка») и предложила напечатать статью в курсовом журнале. Он охотно согласился. Говорили мы о Манделыштамах. Ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как Осип Эмилевич приехал в Ленинград за денежной помощью. Лева не совсем одобрительно отозвался о нем: «Слишком цепляется за жизнь». Мы недостаточно хорошо понимали, что последние месяцы жизни Манделыштама на воле были уже его агонией. Поэт чувствовал верхним чутьем, что он погибает, но не хотел этого знать. Все его поступки в этот год были не поступками, а судорожными движениями.

Разговор перешел на религиозное чувство смерти. Лева говорил о монистическом сознании Манделыштама, а христиане — дуалисты. Дух — это одно, плоть — другое. Только при таком понимании могло и явиться учение о бессмертии души.

Каждый день, кроме архива, я ходила один раз к Эйхенбауму, другой раз к Рудаковым, третий на Фонтанку к Анне Андреевне. В конце недели мне предстоял совершенно свободный вечер. Я звоню Леве, зову его прийти пораньше и слышу ошеломивший меня ответ: «Я не могу, я иду в гости». «Как это в гости?!» Я прямо зашла от негодования и обиды. Чем дальше, тем больше. Удовольствие — сидеть в чужом городе, в пустой мастерской, в полном одиночестве. Я была вне себя. Наконец ему пришлось сказать: «Ну, я не в гости иду, я иду в церковь». Оказывается, дело было 6 января, то есть в Сочельник. Я хорошо знала эту дату, но тут, в Ленинграде, потеряла счет дням. Потом, когда мы помирились, он меня нежно корил: «Эх, заставила меня по телефону сказать про церковь».

Да, опасности подстерегали его со всех сторон. Прочел мне свои стихи из какой-то поэмы или даже исторической трагедии: «Наши руки сильны...» — и так далее, я не помню слов, это был какой-то монолог пленного воина. Рассказывал: «Ребята кулаки сжимают, когда я им это читаю». Вот как, он студентам такие свои стихи читает. У меня холодок пробежал по спине. Это уже не те шалости, о которых он мне рассказывал еще в Москве. Студенты распевали хором стишки, обращенные к их командиру, ведущему в университете военное дело. В те годы обращение к такому чину в Красной Армии было, кажется, «товарищ командир». Ну а Лева сочинил: «Господин полковник Мей, Водки ты себе налей..... И селедок не жалей». Или куплеты с припевом: «Шабаша нам нужны». Упомянул он об одной востоковедке. Она его учит японскому языку, а он ей за это читает стихи Анненского, Гумилева и Ахматовой. Не понравилось мне это. Вообще как он тут живет, я не спрашивала. Правда, в Москве в первые годы я как-то спросила, с кем он видится в Ленинграде. Он назвал имя какого-то детского писателя. «Хороший писатель?» — «Нет, плохой». Бывал также у одного художника. «Хороший художник?» — «Нет, плохой». Посещал какую-то даму. «Интересная?» — «Нет, не очень». — «Левушка, почему ж такие бесцветные знакомые?» — «Таких Бог послал».

Впрочем, мне смутно помнится, что Лева навещал Евгения Павловича Иванова — друга Блока. Если это так, то шестидесятилетнего человека, вероятно, связывал с юношей Гумилевым общий интерес — религия, вернее православие. Может быть, они были прихожанами одной церкви и там встречались.

Теперь в мастерской на Васильевском острове Лева в свою очередь спрашивал меня, как я живу в Москве, но спрашивал ревниво, а я уклонялась от ответов на примитивные вопросы. Он часто глубоко задумывался: «Какой у нас длинный и благополучный роман — целых четыре года». «Это не роман, — возражаю. Объясняю: — Мы редко видимся, поэтому между нами не стоит ничего раздражающего, повседневно. Если бы мы жили в одном городе, все было бы иначе». А он будто и не слышит, думает о своем и вот о чем заводит речь: «Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь восемь лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать как метисов или мулатов».

В другой раз, лежа в дальнем углу на кровати Осмеркина, молчал, молчал и проронил: «Я все думаю о том, что я буду следователю говорить». А я, как всегда, не задаю вопросов.

Прошло недели три. Я стала собираться домой. Лева просил меня остаться еще. «Не могу, — отвечала я, — в ленинградских архивах все уже сделано». А на самом деле у меня денег больше не было. Не могла же я сказать об этом Лева, у которого с Акселем была одна рубашка на двоих.

Тут приехал Осмеркин. Он меня пригласил: «Поживите у меня в гостях». Я, конечно, согласилась. Мастерская большая, помост ее перегораживает. Александр Александрович меня кормил. Неплохо мы с ним жили. Он человек шумный, открытый, компанейский. Вечером гостей приглашал. Лева приходил ко мне днем, когда Осмеркин был в академии.

Позвали мы с Александром Александровичем Анну Андреевну вместе с Пуниным. Я заехала за ней. Пунин должен был прийти прямо из академии. Мы с Анной Андреевной много прошли пешком через один из больших садов, потом по Невскому. И опять я остро чувствовала город. Эту плоскую мостовую, мягкую зиму, серое небо, влажный ветер и необычайно угрюмые, озабоченные, даже изнуренные лица прохожих. Анна Андреевна никого не замечает. Она думает о своем, вернее, продолжает какой-то разговор сама с собой. Мы идем по бульвару Большой линии, а она говорит о Блоке, о моем любимом стихотворении «Своими горькими слезами...». Анна Андреевна сердито и остроумно ругает его. «Какое противное стихотворение, — говорит она. — Скажите пожалуйста, она плачет и клянет его, а он — „но ветром буйным, ветром встречным мое лицо опалено“». С непередаваемым юмором, даже сарказмом, она цитирует заключительную строфу, комментируя: «Какое мужское самодовольство: „Не знаю, я забыл тебя“». Вероятно, Анна Андреевна думала в эти дни о Пунине — не далее как осенью того же года они окончательно разойдутся. А еще недавно в Москве, долго говоря о нем, она как бы вскользь заметила: «...которому я так надоела» — и провела рукой у горла.

Мне рассказывал Харджиев, как в том же январе 1938 года в Ленинграде Пунин прочел свой новый рассказ о любви. «Вы думаете, это про меня? — спокойно обратилась Анна Андреевна к Николаю Ивановичу. — Это совсем про другую женщину». Но когда мы ужинали в мастерской Осмеркина, никаких шероховатостей между Пуниным и Ахматовой не было заметно.

Напротив мастерской был рынок, кажется, Андреевский. Я там что-то купила, приготовила закуску под водку. Сделала это неумело, но все отнеслись ко мне снисходительно. В разговоре вспомнили Леву, говорили о нем как о мальчике. Я подло поддерживала этот тон. Когда они уходили, я состригла: «Александр Александрович, вы пойдете проводить гостей, а я пока уберу наше гнездышко». Прибрать в этом гнездышке было невозможно. Прямо на полу в углу возле печки была сложена поленица дров, сборная посуда хранилась в простецком деревянном шкафу, выкрашенном в черный цвет. Над изголовьем железной койки висел огромный амур, на котором под слоем пыли проблескивала позолота, и так далее. Но пошутила я неосторожно, забыв о миазмах, пропитывавших атмосферу вокруг Ахматовой, так же как раньше у Манделштамов в Нащокинском. Каждое слово подхватывалось и фигурировало в пересказе в нужном контексте. Имею в виду только сферу личных отношений.

На следующий вечер был у нас Лева. Он пришел с приятелем-ровесником Вовкой Петровым (в будущем известным искусствоведом). Очень розовенький мальчик. В хорошенком тепленьком пальто с дорогим меховым воротником. Чем больше пил, тем бледнее становился. Наконец стал белым как скатерть. Когда они ушли, мы хохотали, представляли себе, как Вова в других разных случаях выглядит. Осмеркин повторял: «А он все бледнеет и бледнеет...» Хохотун на нас напал. А ведь юноше, вероятно, просто нельзя было пить. Я говорю: «А у Левы какой землистый цвет лица по сравнению с Вовой, прямо испитое лицо». «Что ж вы хотите? Ведь он прошел огонь, и воду, и медные трубы». Не знали мы тогда, что это только начало Левиного пути, самое страшное еще впереди. «А что это за клок у него висел на куртке?» — «Это его старая-старая куртка, из нее вата вылезла». — «И никто не зашьет?» Осмеркин все возвращался к внешности Левы, оценивал ее как художник: «У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны».

Ни с того ни с сего Осмеркин вздумал ухаживать за мной, и очень настойчиво. У нас с Леной этого не водилось никогда: ее муж был для меня как брат или родственник. Но у него в это время были какие-то счеты с женой. Недаром он меня уговаривал: «И с Леной будут интереснее отношения». (Может быть, ему было бы интереснее,

но мне эта перспектива была совсем неинтересна.) Мой равнодушный отказ его обидел, и, увы, он стал с тех пор моим врагом, и это имело для меня неприятные последствия.

Пора было ему в Москву, и, естественно, я с ним уезжала. Накануне отъезда условилась слевой, что он придет в 10—11 часов утра. Он запаздывал, и я с непонятным чувством облегчения решила уйти. Предварительно позвонила Николаю Ивановичу, он остановился у своих знакомых. Я хотела с ним повидаться. Но он стал кривляться, капризничать: «Зачем вы меня разбудили?» Я рассердилась и ушла в Эрмитаж. Сегодня уезжать, а я не успела даже походить по музеям, посмотреть хотя бы Рембрандта. Я ушла.

После обеда у Осмеркина был какой-то художник, скучный-скучный. Пришел Лева — нас провожать. Я ушла с ним за помост поговорить на прощание. Он злился: «Я мчался, торопился, не завтракал, и что же? — поцеловал замок». Говорил бледный, алой, а Осмеркин поглядывал на нас ехидно.

Поехали на вокзал. Лева держал в руках черный жестяной поднос с яркими цветами, который Осмеркин высмотрел и купил на базаре. Когда мы сели в вагон, а Лева стоял на перроне под окном вагона, я вышла на площадку, хотела с ним проститься. А Осмеркин — за мной. Лева увидел — бросился ему на шею с преувеличенной нежностью. Пришлось мне слевой прощаться при Осмеркине. Так мне и запомнилось широкое белое лицо Левы, кривая лицемерная улыбка и дурацкая куртка.

В купе Осмеркин дразнил меня под видом сочувствия: «Вы грустная, вам жалко расставаться слевой, да?..» А в Москве говорил Лене: «Эмма так влюблена в Леву! А он даже со мной нежнее прощался, чем с ней».

Все-таки я была довольна своей последней встречей слевой, несмотря на неудачное прощание. Шероховатости, неизбежные при его характере — да и при моем, — не заслоняли своеобразного и глубокого чувства, связывающего нас. Когда-то, в юности, я мечтала, что встречу мужчину, который будет опорой, духовным руководителем, другом и защитником. Эта мечта давно была забыта. Не было вокруг меня мужчин, живущих большой и ровной творческой жизнью. Все, с кем можно было найти общий язык, были неврастениками, уставшими и неудовлетворенными людьми или застывшими, подменяющими условными рефлексами движение живой души. А главное — все они были заняты только собой. А если так, то Лева со своими порывами и бестактностями, даже и не претендующий на то, чтобы проникнуть в мою внутреннюю жизнь, был гораздо приемлемее для меня, чем эти странные создания. Он мне был дорог как друг, которого я любила, редко видя. Я любила его мысль, высказываемую всегда с изящным и своеобразным лаконизмом, унаследованным от матери, его мужественную, как у отца, поэтическую взволнованность, благородство, с каким он нес свое тяжелое бремя, сравнимое с исторической судьбой преследуемых малолетних претендентов на престол. Я жалела его и про себя называла почему-то по-французски *victime* (жертва). Впрочем, на этот раз, повторяю, я была обнадеедена, казалось, что и его жизнь и моя меняются к лучшему. Какое странное легкомыслие! Я много раз потом наблюдала подобное явление. Перед катастрофой почему-то охватывает чувство счастья. Например, в ночь на 22 июня 1941 года мне снился особенный блаженный сон.

Осмеркин опять уехал в Ленинград. Я пришла к Лене ночевать. К ней набежало на огонек несколько знакомых. Мы ужинали, смеялись, веселились. На этой волне мы держались и по возвращении в Москву Александра Александровича. Когда в начале марта Лена опять проводила его в Ленинград, не прошло и двух-трех дней, как она сообщила мне по телефону: «Только что звонил из Ленинграда Шура и велел тебе передать, что Лева уехал». Куда уехал, спрашивать не надо было: это — арест.

Вечером я ринулась к Николаю Ивановичу. Застала его на кухне, одного в пустой маленькой квартире. Он жарил себе картошку. Посадил меня на чистый табурет, выслушал мою новость, вскрикнул, но потом сказал: «Вы знаете, я должен все-таки поесть — я целый день ничего не ел». Недолго он подкреплялся. Затем повернулся ко мне: «Это его невеста. Вы ведь знаете, что у Левы была невеста?»

Мы перешли в комнату. Николай Иванович молчал, думал, смотрел своими огненными глазами. «Он пропал». Я собрала все свои силы: «А какая же у Левы была невеста?» «Как же. Он позвал меня и Анну Андреевну и пригласил ее. Это были как бы смотрины. (Николай Иванович вернулся из Ленинграда позже меня дней на десять.) Она в очках, довольно красивая, нам очень не понравилась. Мы ему сказали это, и он как-то очень скоро согласился с нашим мнением. Он за ней ухаживал, но не видно было, чтобы уж так сильно был в нее влюблен. Зато она монгольская княжна. Хоть и монгольская, но все-таки княжна».

Через много лет Николай Иванович напомнил мне о вырвавшейся у меня в тот вечер фразе: «Вы не знаете, Лева мне очень близкий человек». Но я не напоминала ему о его тогдашних словах: «Эмма Григорьевна, вы его больше никогда не увидите». Строго он это сказал.

Он ошибся. Мы видели на протяжении многих лет человека, носящего имя Лев Николаевич Гумилев, но хотя мы продолжали называть его Лева, это был не тот Лева, которого мы знали до ареста 1938 года. Как страдала Анна Андреевна от этого рокового изменения его личности! Незадолго до своей смерти, во всяком случае в последний период своей жизни, она однажды глубоко задумалась, перебирая в уме все этапы жизни сына с самого дня рождения, и наконец твердо заявила: «Нет! Он таким не был. Это мне его таким сделали».

Николай Иванович жил в Марьиной роще. Возвращение от него трамваем через весь город было длинным, продолжалось чуть ли не час. Я все думала, думала и не могла прийти в себя. Жалость, гнев на ГПУ, а вместе с тем эта невеста... В глубине души я догадывалась, что весь этот спектакль со зрителями был нарочно устроен, чтобы отомстить мне за несостоявшееся последнее любовное свидание. Я была уверена: для того он и пригласил Николая Ивановича, чтобы тот, вернувшись в Москву, тотчас рассказал мне об этом. А он и не подумал. Совсем другие у нас с ним были разговоры.

Приехав домой, я опустила голову на ручку кресла и заплакала открыто, горестно, как не плакала с самого детства.

Вскоре Осмеркин вернулся в Москву и, по словам Лены, говорил: «Анна Андреевна и Анна Евгеньевна так растерялись, что все торопили меня: немедленно сообщите Эмме. А чем Эмма могла им помочь?» Он два дня просидел у них. Анна Андреевна была совершенно в бреду. Все время называла какую-то женщину: «Зина, Зина, что ли?» Моя Елена категорически отказала мне в своем сочувствии. «Все это к тебе не имеет никакого отношения. Эта невеста, Зина какая-то. При чем тут твоя случайная связь с ним? Забудь про все это».

Был март, двадцатые числа. Я с ума сходила, так хотела знать, что происходит в Ленинграде. Между тем меня пригласили в Лермонтовскую комиссию сделать доклад. Николай Иванович помогал готовиться. Заседание было назначено на 9 апреля. Незадолго до этого я встретила на улице Ираклия Андроникова, он только что вернулся из Ленинграда. Я была еще в зимнем пальто, а стало неожиданно повесенному тепло. Я шла рядом с Иракием, еле-еле дослушала его рассказы о Пушкинском Доме и вдруг спросила: «Вы не знаете, что там слышно с сыном Ахматовой?» Он посмотрел на меня изумленно. Он ничего не знал. И мы продолжили говорить дальше на наши веселые темы. Я изнемогала от жары и тревоги.

В это время Мандельштамы уезжали в санаторий в Саматиху, все еще на что-то надеясь. А Надина старшая сестра Аня тяжело болела в Ленинграде, где она жила в полутемной комнате в квартире родственника Хазиных. У нее был рак.

В июне Евгений Яковлевич поехал к ней. Вскоре Анна Яковлевна умерла. Похоронив сестру, Евгений Яковлевич вернулся в Москву. Позвонил мне в тот же день. Как всегда — «увидимся днями, перед вечером я к вам приду». Я не могла ждать. Стала настаивать сегодня же, сейчас! «Встретимся на улице, я с вами пройду». Он волей-неволей согласился.

В это лето на бульварах сняли все скамейки. То ли их взяли в ремонт, то ли сняли в наказание за то, что москвичи оплакивают бульвары — Сталин вздумал их снести по плану реконструкции Москвы. Поговаривали шепотом, что он боится баррикад. Был такой эпизод: какой-то старичок сидел на бульваре и жаловался, жаловался — неужели и скамейки снесут? Его арестовали за это.

Итак, мы с Евгением Яковлевичем встретились на Б. Дмитровке, пошли ходить по бульварам, он, естественно, был потрясен своей утратой. Все рассказывал и рассказывал, как страдала Анна Яковлевна, как за ней ухаживала Анна Андреевна, как умирающая подарила ей свои бусы и как сестру хоронили: «Только мы трое: Надя, я и Анна Андреевна. Был еще тот дядюшка, но это не в счет». И вскользь, говоря об Ахматовой, Евгений Яковлевич обронил несколько слов: «А так как Левино дело передано в Военный трибунал...» Я покачнулась. Стала его выспрашивать, но он упорно продолжал о своем, не хотел добавить ни одного слова о Лева и все говорил об Ане, которую и я знала и любила, но не могла сейчас о ней думать. Ноги подкашивались. Мне казалось, что я упаду. И мы ходим и ходим по бульвару, и нигде ни одной скамьи.

Так прошло все лето. Я жила воображением, рисовавшим физические пытки и нравственные муки Левы. То вдруг на меня находило облегчение, казалось, что вот

сейчас, в эту минуту, ему лучше, что-то произошло. Каждая женщина знает это сумасшествие бессилия, когда сидит кто-нибудь из близких. Только мне никто не сочувствовал.

1 октября 1938 года у Лены в семье произошло огромное несчастье: скоропостижно умерла ее двадцатипятилетняя сестра. После похорон мы все сидели в большой мастерской Александра Александровича, поминок не было, у евреев не полагается, и это ужасно. Родители сидели с мрачными, безжизненными лицами, Лена иногда принималась громко рыдать, Шура ее успокаивал. И вдруг, находясь в углу этой большой комнаты, когда я сидела на помосте в другом углу, Лена громко и ясно обратилась ко мне: «Да, Эмма! Лева осужден на десять лет, но московский прокурор опротестовал приговор, он нашел его слишком мягким, так что его, наверное, расстреляют».

Голова у меня закружилась, я вышла в соседнюю комнату. Через некоторое время туда пришла Лена. Я: «Леночка», — но она ответила жестко и громко: «Я сейчас не желаю об этом говорить. И какое тебе дело? Это не твое горе». Оказывается, для горя тоже существует табель о рангах.

Вскоре в Москву приехала Анна Андреевна — хлопотать.

Нет, конечно, Анну Андреевну я видела в Москве несколько раз до того, как услышала о протесте прокурора. Она пришла ко мне, и по ее требованию мы вместе бросали в мою маленькую кафельную печь Левины письма и стихи. Анна Андреевна опасалась, что ко мне придут с обыском, а «они» не должны были иметь в своем распоряжении ни одного лишнего слова, хотя бы самого невинного содержания. На такую удачку попадалось много наивных людей. «Мне нечего скрывать, я ничего такого не говорю, не пишу и не делаю», — говорили честные советские люди. А «такого» и не надо было органам. Им бы хоть за что-нибудь уцепиться, а потом ошеломить подследственного именем далекого знакомого или упоминанием совсем мелкого события из его повседневной жизни. Выдержав такое собеседование, допрошенный думал: «Они все про нас знают!» Опытные люди выработали в ответ на это свое правило самообороны: «Они вообще ничего не должны о нас знать».

Анна Андреевна сама кидала в печь Левины письма ко мне — их было не так уж много. Полетело то, которое я назвала уже историческим, описывающее травлю его в университете, и то первое, которое я запомнила из-за выражения «погода плохая, водка не пьяная», и то, которое запомнила моя Лена, потому что в нем Лева с большим пониманием и одобрением писал о пушкинском спектакле, поставленном А. Д. Диким и оформленном А. А. Осмеркиными. С трудом горели и толстые листы из альбома для рисования, это была вся «Отравленная туника» Н. Гумилева, переписанная рукой Б. С. Кузина. Он когда-то одолжил мне этот альбом, но вскоре и его арестовали, рукопись осталась у меня. Теперь она тоже сгорела. Когда было это аутодафе, я не помню точно. Вероятно, уже после того как я ошарашила Андроникова своим упоминанием об аресте сына Ахматовой, но до того как Евгений Яковлевич, его мать и приехавшая в Ленинград Надя шли вместе с Анной Андреевной за гробом Анны Яковлевны Хазиной. Осип Эмильевич уже не мог приехать на эти похороны. Он сидел в Бутырской тюрьме.

Ужасный 1938 год казался в моих воспоминаниях гораздо длиннее, чем это было в действительности. Только по некоторым своим документам я устанавливаю, как было спрессовано для меня время в ту пору.

9 апреля я делаю доклад в Лермонтовской комиссии Института мировой литературы. Сообщаю о новых найденных мною документах. Оказывается, друг Лермонтова князь С. В. Трубецкой совсем не тот великосветский хлыщ, стереотипный образ которого создал П. Е. Щеголев в блестящем, но неверном очерке «Любовь в равелине»

Меня называют «поэтом архивов», и я прошу командировку в Алупку, в Воронцовский дворец. Дело в том, что С. В. Трубецкой в конце своей короткой жизни породнился с графом С. М. Воронцовым — сыном пушкинского «полумилорда, полуподлеца». Институт (ИМЛИ) даст мне командировку, но только глубокой осенью, уже в ноябре, чтобы, не дай Бог, я не провела на казенный счет лето или бархатный сезон в Крыму.

А в начале октября, как мы уже знаем, я услышала у Осмеркиных о протесте прокурора на десятилетний приговор Лева. До этого протеста у Анны Андреевны было свидание с Левой в тюрьме. Она мне рассказывала. Лева сказал: «Мне, как Радеку, дали — десять лет». И еще: «Мамочка, я говорил, как Димитров, но никто не слушал». Он не хотел убивать мать своим видом и надел на шею чей-то шарф, «чтобы быть красивее», как он выразился. Прощаясь, сказал блоковское:

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна...

В течение своего рассказа Анна Андреевна обронила: «Лева вам кланялся». Таким деланно-небрежным тоном говорят дамы при коротком светском визите. Трудно было понять, сказана эта фраза из снисхождения ко мне или из опасения за гордость угнетенного сына. Поэтому когда пришло время отправления Левы по этапу в лагерь и Анна Андреевна дала мне адрес пересыльной тюрьмы со словами: «Теперь вы можете ему написать», я долго сидела перед листом чистой бумаги и не могла найти нужных слов. Потому что любовь моя была поругана. Так я ему тогда и не написала.

Слова утешения я нашла значительно позже, в сороковом году, и я послала их в Норильск. Но до этого утекло еще много воды.

Надя все еще (проклятый 1938 год!) мучается вопросом, за что Осю взяли. Она ночует у меня и все думает, думает: почему же ее, Надю, не арестовали вместе с ним? В последние дни в Саматихе у них в комнате, признается она мне, было какое-то приключение с пришедшей к ним в гости отдыхающей. Гостья была ни более ни менее как секретарь райкома партии. Если причиной ареста был ее донос, то взяли бы и ее, Надю... Мучается Надя, тоскует.

А я еду в Крым. Поездом до Севастополя. Езды больше суток, может быть, двое суток. Все места, конечно, заняты. Мужчины ходят в вагон-ресторан, возвращаются пьяные. Заводят фамильярные знакомства с попутчицами, но почему-то быстро ссорятся с ними. Сварливые люди! Я вне этого всего. Лежу на своей нижней полке и читаю книгу. А мой визави косо смотрит на меня, подозрительно смотрит. Наконец возмущенно произносит: «Разве можно такую книгу читать лежа? Ее надо изучать, конспектировать. Это такая глубина мысли». А дело в том, что я решила эти пустые двое суток потратить на чтение обязательной литературы. И взяла с собою только что вышедшую «Историю ВКП(б)».

В Севастополь мы приехали ночью. Вокзальный буфет был ярко освещен, народу за столиками довольно много, но не слишком. Однако в зале царило странное оживление. Официант был явно возбужден, перекидывался репликами с проезжающими, но главное его внимание сосредоточено на служебном помещении, куда он бегал за едой. Потеряв всякий контроль над собой, он горячо кричал буфетчице: «Ты только ничего не подписывай! Главное — не подписывай!».

Среди пассажиров за столиками много военных — это Севастополь. И во всей этой привокзальной суете выделялись две скромно одетые девушки, вернее девочки, спокойно пьющие за столиком пустой чай. Это были явно местные жительницы, вышедшие на свой привычный ночной промысел. Тоска!

До Алупки мы ехали автобусом. Он тоже был набит военными. Из штатских ехали только женщина с молодой дочкой и я. С девушкой заигрывали.

Проехали знаменитые Байдарские ворота. Для меня это название служило горьким напоминанием. В 20-е годы, во время нэпа, советские служащие ринулись в Крым и на Кавказ проводить там отпуск. Сколько я помню гордых и самоуверенных секретарш, ездивших к Черному морю «со знакомым». Мой старший брат ездил с женой, а целый год они копили для этого деньги, экономя на трамвайных маршрутах, где оплата была в зависимости от расстояния. По возвращении в Москву с восторгом рассказывали о Байдарских воротах, об удивительном открывающемся отсюда виде. И моя сестра, которую наш отец отправлял в Ялту в дом отдыха Совнаркома, рассказывала о них. И папа рассказывал, когда возвращался с юга, привозя великолепные фрукты и плоды — виноград, груши дюшес, абрикосы, дыни... Я же не ездила никуда, ведь я всегда была безработной.

Въезжая в Алупку, мы уже издалека услышали шум. Хоровое пенье, какие-то причитания... Оказываясь, в ближайшем доме отдыха был день отъезда одной из групп. Остающиеся устраивали им проводы по установившемуся ритуалу. Плакали, притворно утирая слезы, не давали двинуться машине с уезжавшими — в общем, кривлялись. Другие не участвовали в проводах, а прогуливались неподалеку и пели любимые советские песни. Увы! Это был дом отдыха ГПУ.

Но состав отдыхающих был явно третьеразрядный. На дворе стоял мороз. Женщины гуляли по пустому пляжу в фетровых ботах и зимних пальто, на мерзлых дорожках изредка появлялись одинокие фигуры мужчин в военных шинелях. Об утесе безостановочно и неотвратимо бьется темная и высокая волна. Дует норд-ост. Я смотрю на это грозное море и думаю о «плавающих и путешествующих».

В музее я сижу в большом холодном зале, уставленном высокими застекленными запертыми шкафами. На столе лежат проработанные уже издания из богатейшей

воронцовской «Rossica» — коллекции иностранных книг о царской России. Я переписываю от руки письмо Трубецкого, которое опубликовала только через полвека.

Неожиданно за дверьми слышится громкий говор. В библиотеку стремительно входит невысокого роста плотный человек, с ним жена. Сотрудник музея достает из шкафа книгу, очень любезно подает ее вошедшему и уходит в соседнюю комнату. Новый читатель, не снимая пальто, стоя разглядывает книгу, бурно радуется, показывает какие-то страницы жене. Затем обращается ко мне, незнакомому ему человеку, и с энтузиазмом объясняет, в чем заключается интерес и значение этой редкой книги. В глазах его светится напор внутренней энергии и доброжелательность к людям. Через минуту я понимаю, что со мной беседует Самуил Яковлевич Маршак. Но он уже порывисто уходит, увлекая за собой жену. Внизу их ждет машина. Очевидно, они в Алупке проездом, возвращаются из Крыма в Москву.

Мне подают письма императрицы Александры Фёдоровны к сестре Трубецкого, с 1851 года она графиня М. В. Воронцова. Я не могу переписать их самостоятельно — мелкий почерк, скоропись, по-французски. Я не настолько хорошо знаю язык. «Есть ли еще материалы?» — «Есть. Но они хранятся в башне. А кто же туда полезет, когда такой норд-ост!»

Бедному жениться и ночь коротка. Моя поездка в Алупку в такое позднее время года оказалась наполовину бесполезной.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В моем распоряжении несколько опорных дат на документах, свидетельствующих о фоне, на котором протекали такие важные события, и общие и мои личные.

1. На копии письма С. В. Трубецкого, снятой мною в Алупке, штамп Воронцовского музея с датой — 17 ноября 1938 года.

2. А уже 20 ноября в том же году я в районном народном суде выигрываю гражданский иск, поданный клиникой ВИЭМа (Всесоюзный институт экспериментальной медицины) на всю нашу семью об изъятии у нас двух комнат. На суде выяснилось, что мы живем не общим хозяйством, а каждый из нас самостоятелен и имеет свою отдельную жировку на комнату. Суд отказал ВИЭМу.

3. Но ВИЭМ подал на кассацию. 30 декабря 1938 года я являюсь к районному прокурору Москворецкого района по его вызову. Оказалось, прокурор — женщина, злая, кровожадная, грубая. Объявляет, что как не имеющая никакого отношения к ВИЭМу я подлежу выселению в административном порядке.

4. Мы все заняты писанием справок о том, что в 1920 году мой отец сдал домоуправлению пятикомнатную квартиру на Малой Дмитровке (теперь улица Чехова), и с этими справками в руках мой отец обходит жильцов этого дома, которые подписывают их как свидетели.

5. В эти же дни я получаю повестку из Пушкинского Дома на 20 января 1939 года. Там я впервые буду читать большой доклад о лермонтовском «кружке шестнадцати». Следовательно, я еду в Ленинград, где, само собой разумеется, побываю у Анны Андреевны. Второй раз в тридцать девятом году я приезжаю туда в ноябре. Но я много раз до того видалась с Ахматовой в Москве. Она приезжала хлопотать о Леве. А «процесс» о выселении длился еще два года и закончился в 1940 году тем, что мы сдали одну комнату.

Больше всего страдали мой отец и я. Отец — морально, а я в постоянном трепете из-за преследований и перспективы поселиться в одной комнате с мамой. Сестра, живущая с мужем и маленьким сыном в одной комнате, практически была в безопасности, хотя и ее таскали по судам и прокурорам. Мой младший брат, в сущности, не жил с нами, так как переехал вместе со старшим братом в его новое двухкомнатное жилье. Он, как говорится, прикипел ко всей этой семье, а комната на Шипке за ним только числилась.

Все они нормально где-то работали, имели соответствующие справки. Я же была совершенно беззащитна. У меня не было удостоверений, которые давали бы мне какие-нибудь права. Меня считали неработающей. Вот уже 10 декабря 1938 года заведующий отделом рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина выдает мне «для представления прокурору Москворецкого района» справку, что я работаю «по договору» над обработкой рукописей и веду самостоятельную научно-исследовательскую работу. Никакой юридической силы такая справка не имела. А другой у меня нет! Вот уже год спустя я получаю отношение в райжилотдел Москворецкого района с просьбой о переводе меня на срочный учет и удовлетво-

нии меня жилплощадь в 1940 году. Это пишет областное бюро секции научных работников, куда меня, очевидно, приняли в начале 1939 года. Но членство в секции научных работников имеет деловое значение только для состоящих в штате какого-нибудь научно-исследовательского учреждения.

На заседании народного суда адвокат ВИЭМа, оценив мою бесправность, наседав в своей речи на то, что я не замужем. Он подчеркивал свое уважение к моей сестре, законной жене благополучного мужа, матери законного сына, в то время как я, по его мнению, существо второго сорта. Он всласть иронизировал и был уверен, что и судьи разделяют его взгляды. Про женотделы и прочие свидетельства равноправия женщин в нашем социалистическом обществе он будто и не знал. А я на этом построила свое выступление, очень твердо напомнив, что время бесприданниц и старых дев прошло, что я самостоятельный человек, у которого есть профессия, и поэтому имею право на отдельную комнату. Запомнила брошенный на меня взгляд народной заседательницы, полный уважения и даже благодарности.

Вообще профессиональный уровень юристов был очень низким. В какой-то момент этой двухлетней эпопеи мы подавали челобитную в ЦК ВКП(б). Ее писала я. Но перед подачей решили проконсультироваться с квалифицированным юристом-жилищником. Читая наше заявление, он поражаюсь: «Кто это писал? Как все правильно, как логично». А это было всего-навсего толковое изложение дела.

Помню посещение уже в 1940 году какого-то важного прокурора. Там была полная разнузданность, уже с антисемитской ноткой. Прокурор, издеваясь над чадолюбием моего отца, вселившего всю свою семью в больничную квартиру (а куда ж было ее девать?), желчно поминал библейский патриархальный инстинкт.

Моего отца не сняли с работы в консультации профессоров Кремлевской больницы ни когда Александру Юльяновну Канель за год до ее кончины лишили места главного врача, ни после ее смерти. Но его все реже и реже стали приглашать на консультации. Папа ездил теперь часто не на служебной машине, а на метро и троллейбусе на Новодевичье кладбище вместе со своим старшим внуком, нашим Сережей, или в тот же Мамоновский переулок к Канелям, потому что был очень привязан к дочерям Александры Юльяновны Дине и Ляле и даже к ее внуку, старшему сыну Ляли, — Юре Герчикову. В этом доме, конечно, постепенно все рушилось, пока не завершилось известной катастрофой — арестом Дины и Ляли летом 1939 года (см. в книге «Доднесь тяготее». — М. «Советский писатель». 1989, стр. 495 — 499). Но еще раньше одно происшествие в нашей семье показало моему отцу, как меняется время.

Жена брата сталинистка Надя была неисправимой демократкой. Сережину няню, глупую и уродливо некрасивую Аришу, она опекала как родную. Надо было видеть, как нянчилась она с этой нянькой. Та завела роман с молодым парнем, дворницким сыном. Надя уходила из дому, чтобы устроить их счастье. Возездие не заставило себя ждать. Однажды Ариша пришла к своей хозяйке и в слезах сообщила о беременности. Между тем парнишка призвали в армию. И Надя, полная сочувствия к одинокой женщине, дала ей деньги на аборт. Ариша уехала в отпуск.

Неожиданно раздался междугородный телефонный звонок. Подзывают брата. Я видела, как он разговаривал с выражением полного недоумения на лице. Это была Ариша. Она обращалась к нему на «ты» и кричала. Вскоре посыпался град безграмотных писем, кем-то написанных по установленному опытными вымогателями образцу. Для вящей убедительности указывалась точная дата, когда произошло мнимое происшествие. Мой брат отнесся к этой истории чрезмерно спокойно. Получив повестку в народный суд, он пошел к судье до заседания и установил свое алиби, кажется, показав справку об отсутствии в Москве в указанный день. Но защитница Ариши не смутилась: «Бедная неграмотная женщина, разве она может помнить дни и числа при таких переживаниях?» — и вычеркнула дату из иска гражданки Грачевой. Суд, конечно, присудил брату платить алименты до достижения новорожденной восемнадцати лет. Потянулось длительное, выматывающее нервы дело. У Грачевой появился новый образованный адвокат. Он даже Достоевского читал. Указание на безобразную внешность Грачевой ловко отвел, ссылаясь на Федора Карамазова, польстившегося на Елизавету Смердящую. Так или иначе, история, воспринятая нами вначале как анекдот, закончилась тем, что из зарплаты моего брата долгие годы вычиталась третья или четвертая часть на содержание девочки Грачевой, которая была названа матерью в честь своей бывшей хозяйки Надеи.

Эта история оказала гнетущее действие на моих родителей. От последних иллюзий светлой новой жизни волей-неволей приходилось отказываться.

Папа стал делать промах за промахом в меняющихся условиях жизни. У него сохранялись хорошие отношения с Екатериной Ивановной Калининой до самого ее ареста. Я наблюдала это, когда уже после смерти Александры Юльяновны папа опять лежал в Кремлевской больнице из-за двустороннего воспаления легких. Я приходила к нему туда, и при мне его навестила Екатерина Ивановна. Я видела, как хорошо она к нему относилась, как поцеловала его, прощаясь. Но когда она ушла, папа мне сказал, что он совершил неловкость: спросил, где сейчас Михаил Иванович. Спрашивать о местонахождении такого государственного деятеля, как Калинин, не полагается.

Несколько лет подряд папа проводил летний отпуск на даче (или в имении?) Калинина — Мещеринове. Там он как врач наблюдал за здоровьем престарелой матери Михаила Ивановича. Однажды папа мне сказал, что неудачно выступил на каком-то юбилее Калинина, вероятно, это было не официальное, а домашнее еще празднование. Он произнес тост непонятный для присутствующих и несколько витиеватый.

В другой раз, желая обыграть свой почти преклонный возраст, он начал свою речь словами: «Я здесь как самый старший...» Это не понравилось Поскребышеву. Было страшно: кто не знает, что Поскребышев близок к Сталину, он исполнитель тайных приказов. Но пронесло...

Еще одно неудачное выступление, и отец оказался на положении пенсионера, не дожив до семидесяти. Для его энергичной натуры, да еще придавленной горем, совершенно невозможно было существовать в бездействии. И тут выход был найден моей верной подружкой Леной Осмеркиной.

Вообще говоря, она была необыкновенно экспансивна в своих домашних разговорах. То произносила речи о необеспеченной старости советского человека. То замечала, что в нашем обществе «нет завоеванных положений». То едко высмеивала провизию, продающуюся в магазинах, особенно ее возмутили семенники быка, появившиеся на прилавках мясных отделов.

Ее домработница нередко вмешивалась в наши разговоры: «Елена Константиновна, ну скажите, кто у нас доволен? Вы недовольны (она имела в виду интеллигенцию), крестьяне недовольны, рабочие недовольны, служащие недовольны... Кто же доволен? Партийцы?» Она была простодушна, эта няня, приехавшая в столицу из Московской области. Пожалуй, не менее простодушна была и Надежда Исааковна, мать Лены, но только ее простодушие было направлено в обратную сторону. Как и многие советские люди, она старалась не верить тому ужасу, который происходил кругом, рядом... Это обнаружилось, когда Лена рассказала о письме, полученном из лагеря от одной из ее товарок. Несчастная актриса писала, что на ее лице уже никогда не появится улыбка. Надежда Исааковна вспыхнула: «Ах, это красивая фраза!» Возник шумный спор между матерью и дочерью, как всегда, в повышенных тонах, но не враждебных. Они кричали, причем Елена прекрасным поставленным голосом.

Мой отец старался не понимать сущности происходящего — полного перерождения той системы, которой он сознательно и идейно служил с 1918 года, хотя и был беспартийным. Помню, он был ошеломлен моей репликой по поводу выступления Сталина, очевидно на XVIII съезде партии. Я обратила внимание на фразу генсека о немцах, в которой сквозила какая-то новая интонация. «А у нас будет союз с Германией», — сказала я. Папа был поражен. Больше того, он был оскорблен. Но его реакция не была уже такой острой, как пять лет назад, когда я сказала, что Кирова убили свои. У папы уже не было сил противиться моей ереси. Однако пока не арестовали Дину и Лялю, он допускал, что обвинения в адрес «врагов народа» могли быть справедливыми.

И это в то время, когда «в воздухе чувствовался треск раскалываемых черепов», по слову Николая Ивановича Харджиева, и «люди стали похожи на червей в банке». Николай Николаевич Пунин сказал тогда впавшим в апатию друзьям: «Не теряйте отчаяния!»

Лена видела хроникальный фильм, снятый в Доме союзов на одном из знаменитых кровавых процессов над троцкистами. Кстати, там был и Крестинский, отказавшийся на суде от своих показаний. На следующем заседании суда он почему-то стал плохо слышать. Было ясно, что в промежутке он подвергся энергичной физической обработке. Лена говорила, что особенно поразили ее конвойные, караульные обреченных. В них не было ничего человеческого. О том же говорила ей Ирина Валентиновна Щеголева, хлопотавшая об облегчении участи своей родной сестры Муси (Марии Валентиновны) Малаховской, высланной из Ленинграда как жена «врага народа». «Ни молодость, ни красота, ни ум, ни сердце, ни талант — ничто не действует на этих людей», по чьей воле был приговорен к десяти годам без права

переписки, то есть к расстрелу, Б. Малаховский — талантливейший художник-карикатурист, обаятельный, артистичный, чрезвычайно остроумный человек; Александр Александрович Осмеркин его просто обожал.

Мы с Леной называли Сталина Антихристом. Но для нее главным в Сталине были кровожадность и жестокость, а для меня то, что он — растлитель. Конечно, он такой же вампир, как и фашистский фюрер, но если идеалом Гитлера был белокурый зверь, то Сталин стремился сделать всех подлецами. Злодеев и тиранов история видела немало, но развратителями были не все. Сталин погубил нравственно не только тех невинных, кого оставил в живых, но и людей из органов. Конечно, на эту работу шли люди, имевшие склонность к садизму, но были и такие, которые были доведены до звериной жестокости всей системой и круговой порукой всех сотрудников. Я считаю, что и такие являются жертвами Сталина.

Так мы разговаривали у себя дома. Много было таких домов. Жили тесными кружками, никого постороннего к себе не допускали. «Sans secsautes»², — любил каламбурить на французский лад покойный Малаховский.

В поликлинике Наркомпроса, где работал отец Лены — врач-терапевт, прекрасный диагност, кстати говоря, очень любимый больными, — открылась вакансия директора. Там же работала в зубном кабинете мать Лены. По их инициативе моему отцу было предложено это место, которое он и занимал до самой своей смерти в 1943 году.

Но именно эта работа, не связанная с ВИЭМом, где раньше работал отец, и поставила его под удар. Ему стали угрожать выселением. В ВИЭМе появился новый невропатолог, приехавший, кажется, из Харькова, и ему позарез нужна была квартира в Москве. Был выкопан указ или декрет 20-х годов, который практически никогда не выполнялся. Медицинское учреждение получало право выселять, без предоставления жилплощади, лиц, посторонних данному учреждению. Естественно, что когда в 30-х годах все углы и закоулки в больнице были забиты бежавшими от колхозов, выполнить этот указ не было никакой возможности.

Но новоявленный заведующий неврологическим отделением привез с собой нового завхоза, и они решили взять отца измором. Невропатолог распускал клеветнические слухи о прошлой деятельности моего отца, а его помощник вел с папой переговоры, намекая, что этому невропатологу надо многое прощать: если бы папа знал, на какой нервной работе он был раньше! Нам всем уже давно было ясно, что он служил в органах, и когда он наконец вселился в нашу квартиру, то не только не скрывал этого, а, наоборот, афишировал.

Но пока еще завхоз задушевым тоном убеждал папу отдать свой кабинет: «Вам не надо больше работать».

Когда папа возвращался домой усталый после целого рабочего дня и поездки на трамвае, у ворот больничного сада его уже встречал завхоз и не отставал до самого крыльца нашего дома. Всю дорогу он бормотал что-то, придумывая все новые и новые доводы.

Папа не сдавался. Тогда они придумали такой трюк. Прислали папе официальную бумагу с требованием в указанный срок погасить задолженность за квартиру, которой он пользовался бесплатно в течение пятнадцати лет. Сумма долга получалась астрономическая. Они прекрасно знали, что квартира была бесплатной на законном основании, но понимали, что этот иск заставит папу много волноваться. Дело было летом, стояли очень жаркие дни, и отец со своим большим сердцем таскался по учреждениям и архивам, чтобы это доказать документально. Их психологический расчет был верен. Папа сказал нам: «Я больше не могу» — и сдался. Его кабинет был отдан в распоряжение ВИЭМа, что-то там перегородили, и квартира для невропатолога с женой и маленькой дочкой была выкроена. У них оказалась большая родня в Москве. Все, по-видимому, работали в НКВД. Даже тесть невропатолога работал в переплетной этого учреждения. Он переехал сюда к дочери, а другие родственники звонили к ним по ночам и в ответ на мое замечание — мол, час поздний — нагло отвечали: «Это звонят из органов».

Мы как-то потеснились. Я осталась в своей комнате, но меня не оставили в покое. Им хотелось и ее получить. Моей единственной надеждой был расчет на октябрь 1939 года, когда исполнялось 125 лет со дня рождения Лермонтова. Я предполагала, что к этой дате выйдет из печати специальный сборник, в который была принята моя большая работа, полная новаций (как любил говорить профессор Николай Леонтьевич Бродский). Тогда, думала я наивно, меня примут в Союз писателей и я не

² Без сексотов.

буду такой полубесправной и беззащитной, как сейчас. Но выход сборника решили перенести на 1941 год, к столетию со дня гибели Лермонтова. Значит, ждать еще два года...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Прямая угроза расстрела Левы отпала. Очевидно, прокурор должен был откаться от занятой им суровой позиции. Весь этот год говорили о судебных заседаниях по студенческому делу. Среди обвиняемых был и Лева. Поэтому Анна Андреевна встречается с родителями его содельцев. Таковы известный невропатолог академик С. Н. Давиденков и его жена и другие, менее известные несчастные родственники арестованных мальчиков.

Насколько я помню, среди них был также и Орест Высотский, единокровный брат Левы, учившийся, если не ошибаюсь, в Лесотехническом институте. Кстати говоря, в день ареста Левы, 10 марта 1938 года, он ночевал у него на Садовой. Наутро именно он пришел к Анне Андреевне сообщить о случившемся. Мне кажется, что он тоже проходил по этим студенческим делам, но либо был оправдан, либо выпущен из-под ареста до суда. Тут я плохо осведомлена.

Среди других обвиняемых, помимо одаренного и выдающегося, как говорят, Коли Давиденкова, был еще аспирант крупнейшего арабиста академика И. Ю. Крачковского, его фамилия была Шумовский (или Шамовский). И Анна Андреевна нередко горестно замечала, что взяли весь цвет молодого поколения, будущих звезд русской науки.

Я вспоминаю, что в Москве мы искали двоюродную сестру Шумовского, которая работала в родильном доме на Молчановке (его потом разбомбило во время Отечественной). Я разыскала в Мосгорсправке ее домашний адрес, и мы с Анной Андреевной ездили к ней в Дорогомилово. Мы ее не застали, но я долго хранила эту справку с адресом как напоминание о тех безумных годах. Когда Лева вернулся, он с такой кривой и ехидной улыбкой выслушал мой рассказ о наших поисках, что я не стала беречь эту жалкую реликвию.

В больших хлопотах Ахматовой я тогда не участвовала. Для этого она обращалась к своим влиятельным знакомым. Нередко ей оказывал в этом содействие Виктор Ефимович Ардов. Кто-то другой свел ее со знаменитым адвокатом Коммодовым, очевидно, специалистом по политическим делам, но он отказался от дела Льва Гумилева. Это был удар для Анны Андреевны. В другой ее поезд в Москву она мне сказала, что Коммодов просто хотел большого гонорара за ведение этого дела. А о каких гонорарах могла идти речь у нищей Ахматовой?

Мне иногда казалось, что она недостаточно энергично хлопочет о Леве. Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Анна Андреевна возразила: «Ну тогда меня немедленно арестуют». «Ну что ж, и арестуют», — храбро провозгласила я. «Но ведь и Христос молился в Гефсиманском саду — „да минет меня чаша сия“», — строго ответила Анна Андреевна. Мне стало стыдно.

В Ленинграде я была занята в январе своими лермонтовскими делами и успехами. А все, что касалось встреч с Анной Андреевной, воспринималось мною совершенно отдельно. Со странным чувством я звонила ей на Фонтанку по телефону-автомату из помещения... райкома партии. Там в конференц-зале состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный «Слову о полку Игореве». С каким восторгом прочел там вступительную лекцию Сергей Борисович Рудаков, как серьезно и вдохновенно читал сам текст великого произведения артист-чтец Ю. Артоболевский, а на рояле играла его жена Анна Даниловна Артоболевская, близкая подруга Лины Самойловны Финкельштейн-Рудаковой. Как мало осталось тогда жить на земле обоим мужчинам. Ю. Артоболевский погиб в 1943 году на Курской дуге, куда поехал выступать на передовой, а С. Б. Рудаков был убит в сражении под Могилевом в январе 1944-го. Что касается Анны Даниловны, то она после Великой Отечественной войны переселилась в Москву, где пользовалась известностью как выдающийся музыкальный педагог и концертмейстер.

Позвонив Анне Андреевне, через десять — пятнадцать минут я была уже у нее, так как райком находился рядом, на противоположном углу Невского и Фонтанки.

Попадаю в совершенно другой мир.

Я уже писала о, так сказать, прифронтовой, вернее, притюремной обстановке этого нового жилья Ахматовой. О не закрывающемся нижнем ящике какого-то

шкафа, набитом сухарями, об одиночестве Анны Андреевны, оставшейся на попечении дворничихи Тани. Таня водит ее в баню, тянет за руку при переходе на другую сторону улицы, понукая: «Ну иди, да иди же». Анна Андреевна собирается нести передачу в тюрьму, и я покупаю банки сгущенного молока и еще что-то и кроме того даю Анне Андреевне двести рублей для Левы. Но, оказывается, его нет в тюрьме, его почему-то еще до приговора отправили на Беломорканал. Мы ничего не понимаем. Я говорю, деньги можно у них затребовать назад, поскольку Лева их не получил. «Какие там требования?!» — с ужасом отвечает Анна Андреевна, а мне жалко денег, я с таким трудом оторвала их от себя. Но тотчас мне делается стыдно, и я замолкаю.

Анна Андреевна почти все время лежит и, не приподнимаясь даже с подушки, читает мне, почти бормочет новое стихотворение «Тихо льется тихий Дон...». Мне в голову не приходит, что это будущий «Реквием». И она еще не помышляет об этом. Я не задумываюсь над тем, почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон. Только значительно позже, в Москве, я спросила Анну Андреевну об этом. Она ответила уклончиво: «Не знаю, может быть, потому, что Лева ездил в экспедицию на Дон?... Она сказала также, что «Тихий Дон» Шолохова был любимым произведением Левы. «А вы не знали?» — удивилась она. Я действительно не знала этого.

Остановилась я опять в мастерской Осмеркина, он дал мне ключ. Но какая там была тоска на этот раз! Я чувствовала себя как на пепелище. Заглянул туда один из учеников Александра Александровича и почему-то рассказывал, как вольготно они проводили здесь время в отсутствие мастера.

У меня там были Рудаковы. Сергей Борисович завистливо восхищался строкой Ахматовой «Входит в шапке набекрень». Он слышал это стихотворение («Тихо льется тихий Дон...») от самой Анны Андреевны еще до моего приезда. А вот стихотворение Мандельштама о Сталине он не знал наизусть. И заучивал его теперь с моих слов. Я их не повторяла, боялась соседей, а показывала жестами — «его толстые пальцы, как черви, жирны», «и слова, как пудовые гири», «тараканьи глазища», «и сияют его голенища». С особым наслаждением мы хлопали себя по икрам, чтобы Рудаков не забыл этой строки.

Потом я там заболела, и соседка Осмеркина, совсем чужая женщина, принесла мне горячего чаю или супу...

Больная я ехала в поезде в Москву. А там, как я уже рассказывала, меня ожидало сокрушительное известие о смерти Осипа Эмильевича, и я послала по почте письмо Анне Андреевне, в котором писала, что моя подруга Надя овдовела.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда я еще раз приехала в Ленинград — в ноябре, — меня хорошо приняли в Пушкинском Доме, и В. А. Мануйлов, уже известный лермонтовед, приходил ко мне в Дом ученых на улице Халтурина, где я остановилась. Мы говорили о своих делах, и я опять приходила на Фонтанку, как будто попадая в другую страну.

Лева уже был отправлен в лагерь всего на пять лет, это считалось очень легким приговором, и объясняли его тем, что Ежова уже убрали, а на его место пришел «добрый и справедливый» Берия.

Анна Андреевна читала мне также лежа стихи из будущего «Реквиема». С тех пор я помнила «красную ослепшую стену», и «бледного от страха управдома», и «Распятие», о котором Анна Андреевна сказала мне после возвращения Левы, что эти стихи ему читать не надо было.

В 1939 году я впервые увидела у Анны Андреевны Владимира Георгиевича Гаршина. Он пришел часов в семь вечера, принес пачку чая и какую-то еду. Анна Андреевна сидела с ногами в глубоком кресле и немножко поживалась, а он заботливо расспрашивал ее о здоровье. Воцарилась атмосфера уюта, как это бывает в беде, когда крайняя подавленность немного рассеивается под влиянием человеческой душевной теплоты. Когда он ушел, Анна Андреевна сказала, что так он всегда заходит к ней, возвращаясь домой с работы, что живет он на улице Рубинштейна. Сейчас (1991) я проверила это и убедилась, что Гаршин действительно жил на этой улице, в доме, стоящем на углу Фонтанки, а больница, где он работал, помещалась на Петроградской стороне. Вероятно, он сходил с трамвая на Невском, переходил Фонтанку по Аничкову мосту, после чего ему оставалось только повернуть направо, чтобы дойти до своего дома. Но он сворачивал налево и шел к Шереметевскому дворцу, где во дворе жила Анна Андреевна. Этот маршрут, превратившийся в ритуал, отражен в «Поэме без героя»:

Гость из будущего! Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?

Скажут, что в образе «гостя из будущего» выведен совсем другой человек. Имя его известно, оно указывается в комментариях, в мемуарах и научных исследованиях. Но одно другому не мешает. «Поэма...» не документальная хроника и не докладная записка топтуна, следящего за всеми посетителями Ахматовой. В художественных произведениях мы привыкли встречать синтетические образы, составленные из черт разных прототипов. На одно такое «заимствование» из воспоминаний своего детства мне указала сама Анна Андреевна, говоря однажды в 40-х годах о «Поэме...». В частности, она остановилась на эпизоде самоубийства влюбленного корнета. Речь шла о стихе «Уж на лестнице пахнет духами». Оказывается, в Царском, в доме Шухардиной, в одном подъезде с Горенками жила некая дама — франтиха и модница. Когда она выходила из дому, на общей лестнице долго сохранялся запах ее духов. О подобном запахе Ахматова упомянула и в прозаической полемической заметке, написанной уже в 60-х годах: «Ни в одном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ». Эти две приметы укоренились в воображении девочки-подростка как знак заманчивой жизни взрослых, а следовательно, и ее будущей жизни приливами и отливами счастья и страдания. Вторая примета присутствует и в строфе, из которой я привела выше три заключительных стиха. Перечтем ее начало:

Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету
И сигары синий дымок,
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И явиться сюда не мог.

Подозреваю, что «сигары синий дымок» сопрягается с образом Б. В. Анрепа — героя лирики Ахматовой шестнадцатого года. В реальной жизни он приехал в Петербург лишь в конце 1914-го и для «петербургской повести» Ахматовой «Девятьсот тринадцатый год» (так называется первая часть «Поэмы без героя») тоже является «гостем из будущего».

Вторым прототипом «гостя из будущего», как уже сказано мной, я считаю В. Г. Гаршина. Надо сказать, что приведенные только что строки появились в известных нам машинописных экземплярах «Поэмы без героя» только в варианте 1945 — 1946 годов. Между тем после разрыва с Гаршиным летом 1944 года Анна Андреевна тщательно изгоняла из «Поэмы...» все прямые посвящения ему, вплоть до того, где даже не было названо его имя. Имею в виду третью часть триптиха — «Эпилог». В ташкентской редакции (1942) он был посвящен «Городу и другу», в позднейших — только «Городу». Однако Гаршин не исчез оттуда. Вспомним, что он присутствует, но в другом качестве, сравним первоначальный текст с окончательным. Было:

Ты мой грозный и мой последний
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь,
Предо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лесть.
Положи мне руку на темя,
Пусть теперь остановится время
На тобою данных часах...

Стало:

Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глубины —
Это нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах...

В этой редакции, оставшейся без изменений до самого конца работы Ахматовой над «Поэмой...», изображена вся сущность ее взаимоотношений с Гаршиным. Подробнее я остановлюсь на этом во второй части настоящей книги, посвященной послевоенному времени. Там я расскажу в специальной главе о «Поэме без героя», об истории ее переработки и многое другое, связанное с этим триптихом. Сейчас же для нас важна строка «Ты не первый и не последний...».

Третий прототип образа «гостя из будущего» — сэр Исайя Берлин. История его знакомства с Анной Андреевной известна из мемуаров современников и воспоминаний самого героя. Замечу прямо, что лучше всего обстановка первой встречи отражена в поэзии Ахматовой, но не в «Поэме...», а в стихотворении «Ты выдумал меня. Такой на свете нет...» из цикла «Шиповник цветет», обращенного непосредственно к И. Берлину (естественно, без указания его имени). Там читаем:

Мы встретились с тобой в невероятный год,
 Когда уже иссякли мира силы,
 Все было в трауре, все никло от невзгод
 И были свежи лишь могилы.
 Без фонарей как смоль был черен невский вал,
 Глухая ночь вокруг стеной стояла...
 Так вот когда тебя мой голос вызывал!
 Что делала — сама еще не понимала.
 И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
 По осени трагической ступая,
 В тот навсегда опустошенный дом,
 Откуда унеслась стихов сожженных стая.

Из воспоминаний И. Берлина мы точно знаем, когда это было: в конце ноября 1945 года. То есть сразу после окончания войны. Автор, давно уже обосновавшийся в Англии, увидел Ленинград, откуда был увезен подростком. Утром в день приезда он еще не знал, жива ли Ахматова, автор «Четок» и «Белой стаи», «Подорожника» и «Anno Domini». А уже в три часа того же дня его проводили к ней на Фонтанку. Ну какое значение могло иметь для этой напряженной встречи, в какую сторону он свернул с Аничкова моста? Никакого. И если в своем эссе И. Берлин очень точно описал свой маршрут, то, вероятно, это было сделано под влиянием стихотворных строк Ахматовой. Впоследствии Анна Андреевна сама сделала его героем строфы «Звук шагов, тех, которых нету...», прибавив к ней ряд опознавательных стихов. Она сделала это при существенной переработке «Поэмы...» в 1954 году, дописав также содержащийся в ней образ «паладина» «Коломбины десятых годов», использовав для этого мотивы лирики А. Блока. Теперь Ахматову под влиянием разных соображений и обстоятельств влекло к более точным указаниям на прототипы. В позднейшей своей «Прозе о поэме» Анна Андреевна прозрачно намекнула на реального прототипа «гостя из будущего» — И. Берлина. Об этом читателю еще предстоит узнать в последующих моих воспоминаниях о встречах с Ахматовой в 40 — 60-е годы.

Что же касается моего знакомства с В. Г. Гаршиным в 1939 году, мое эмоциональное впечатление о его драматичной и повторяющейся дороге к дому Анны Андреевны, отраженной в стихе «Повернув налево с моста...», остается в силе.

Но вернемся к событиям этого года, повлиявшим на мою жизнь. 1939-й еще не кончился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В день отъезда из Ленинграда я обедала в столовой Дома ученых. Официант был так же возбужден, как прошлогодний севастопольский, подходил к клиентам, обменивался с ними взволнованными репликами... Я сидела за столом одна и не могла понять, в чем дело. Только когда я вышла на улицу и увидела группы людей, бледных и суровых, молча слушавших голос из радиорупоров, я узнала: началась финская война.

Вечером я шла с Рудаковым к Московскому вокзалу пешком с Колокольной улицы, где они жили и откуда я уезжала. Мы шли посредине мостовой. На улице был полный мрак, даже из витрин магазинов и окон квартир не пробивалось ни луча света. Это был первый день затемнения.

Потом, в январе и феврале, как известно, ударили необычные сорокаградусные морозы, и наши красноармейцы замерзли на фронте, не имея соответственной экипировки, и узнали всю силу ненависти к нам финских снайперов.

Сергей Борисович написал об этом одно из лучших своих стихотворений. Я услышала его только во время Великой Отечественной, когда он, тяжело раненный под Ленинградом, был переведен в 1942 году на тыловую службу в Москву. Мне кажется, его стихотворение нигде не записано. Привожу его по памяти:

Одна тысяча девятьсот сороковым в январе
Кого хлеб-солью будем встречать?
Зима еретическая на дворе,
Сургучная на губах печать.

Морозу чухонскому крестный брат,
Онежским сугробам названный кум,
Кого ноне трижды избличат
Твои непечатные словеса, Аввакум?

Луна, невзирая на штраф, серебром
Арктическим город студит,
Танкист молодой
с ножом
под ребром
Окоченел, недобит.

Когда уже после победы над Финляндией я зашла зачем-то к Надежде Исааковне, у нее работал слесарь из домоуправления. Он очень волновался и возмущенно говорил: «Еще бы, когда такая махина набросилась на маленькую страну, конечно, мы ее задавили, а сколько своих людей мы положили». Было известно к тому же, что Выборг брали в тот день, когда уже было заключено перемирие с финнами (12 марта 1940 года). Этот штурм стоил нам тоже многих жертв.

Вернулся с финской родственник нашего невропатолога. Когда он появился в нашей квартире, все соседи его обступили, ожидая рассказов о войне. Он сильно распалился и вдруг бросился на пол и заорал: «Разве Сталин вождь? Маннергейм — вот это вождь!» Я не успела понять, что происходит, как увидела полную пустоту в коридоре и услышала зловещую тишину. И как они словчились так быстро разбежаться по своим комнатам и там затаиться?

Дерзновенный выкрик против Сталина был подготовлен не только финской войной, но и отчасти рискованной для НКВД акцией замены Ежова Берией. Ведь те немногие, которых тогда выпустили, рассказывали близким о застенках и лагерях. Вспоминаю, как в одной нервной ссоре и примирении моем с нашей работницей Полей я сказала ей о заключении Левы, и она вскрикнула: «О, вы его никогда больше не увидите!» Один ее знакомый, вернувшийся из лагеря, сказал ей: «Там трупов больше, чем у тебя волос на голове». А Поля была очень кудрявая.

Среди вернувшихся был друг моей сестры и ее мужа-художника. Рассказ его представляет собой не только еще одно свидетельство о зверствах тюремщиков, но приоткрывает психологические глубины и жертвы и палача.

История одного циника

Назовем его Георгий. Он был другом молодости моей старшей сестры. Он женился на ее подруге, обе учились в Консерватории по классу фортепиано у профессора Гольденвейзера. По окончании преподавали в музыкальных школах. Он окончил, кажется, два высших учебных заведения. Одно техническое, другое гуманитарное. Но не остановился ни на одной специальности, хотя интересы у него были самые разнообразные. И не только интересы, но и незаурядные способности. Для собственного удовольствия изучил санскрит и после войны работал на Институт востоковедения. Когда он еще не знал английского, взял урок — учить этому языку мальчика. К каждому уроку готовился по самоучителю и так постепенно овладел языком. Потом усовершенствовался, много читал на английском. Одно время служил выпускающим в «Крестьянской газете», это большая газета, кажется, даже издательство, там халтурить было нельзя. Справлялся со своей работой хорошо. Дружил с художниками, работавшими в этом издательстве. Одного из них познакомил с моей сестрой. Они поженились. Бывший друг моей сестры бывал у них. У меня с ним личной дружбы не было, вернее, не было большого интереса к нему. Но изредка он заходил ко мне в комнату — поболтать.

Жил он с женой и сыном в квартире ее родителей, в прошлом владельцев известного магазина готовой одежды на Кузнецком мосту. Квартира тоже в центре города, в доходном каменном доме с высокими потолками, прочными стенами. Но в 20 — 30-е годы квартира была уже коммунальной, осталась одна большая комната, недалеко от кухни. Хозяйки галдели, готовя на своих керосинках, мешали ему заниматься. Он уходил в Ленинскую библиотеку. Никаких специальных билетов в научные залы у него не было. Читал в общем зале. В то время достаточно было московской прописки и паспорта, чтобы записаться в знаменитую публичную библиотеку. Был вполне удовлетворен этим положением. Он уже давно был равнодушен к жене, сына не любил, был принципиальным эгоистом.

Году в тридцать пятом или тридцать шестом он уехал на Колыму за длинным рублем. В 1937-м его там арестовали. Обвиняли в том, что он собирался продать Советский Союз Японии. Когда в 1938 году Ежова расстреляли и его сменил Берия, Георгий попал в число освобожденных, очевидно потому, что ничего не подписал. Он вернулся в Москву. Наши говорили, что он очень изменился после пережитого. Я его не видела. Однажды только случайно услышала его беседу с моим зятем-художником. Они сидели, выпивали и говорили по душам. Художник показывает ему свои работы. Слышу голос его друга: «Ты что же это, Сталина рисуешь?» А у того была очень удачная композиция, сделанная по заказу: «Сталин ведет занятия с рабочими в кружке». Мой зять отвечает эдаким задушевым голосом: «Понимаешь, я не могу не верить. Я утром не могу вставать, если не верю». «А ты, сукин сын, не верь, а вставай», — заключает многоопытный зэк.

Однажды Георгий поступался ко мне. Первое, что бросилось в глаза, — у него нет передних зубов. Я спросила просто: «Это вам там зубы выбили?» Он как-то весь размяк. Вначале откликнулся еще неуверенно: «За одного битого двух небитых дают?» — но тут разговорился. Вообще-то он предпочитал молчать о том, что с ним делали, но на этот раз много рассказывал. Стоял «статуей», из ног текла уже лимфа, его морили голодом, а он был большой, рослый мужчина, но ничего не подписывал. Однажды следователь, издеваясь над его зверским голодом, дал ему тарелку шей, поставив ее прямо на пол. Но и этого показалось мало. Он смачно харкнул ему в тарелку. «И что вы думаете? — продолжал мой собеседник. — Достоинство? Гордость? Я осторожно отодвинул ложкой харкотину и стал есть». (Очевидно, на четвереньках? А ведь это предвидел Мандельштам. Вспомним: «Если б меня смели держать зверем. Пищу мою на пол кидать стали б...» Когда я говорила с Георгием, я не знала этого стихотворения.)

Его спустили в подземелье, это в краю вечной мерзлоты! А в этой подвальной комнате еще стоял сейф для хранения золота. Заставили раздеться, в одном белье заперли в этом сейфе и продержали там тридцать шесть часов. Когда его вынули оттуда, он был почти без сознания, помнит только, что кричал: «Голгофа! Голгофа!» Его привели к следователям, а эти в своих белых воротничках и сверкающих мундирах нос воротят, ведь он был весь в своих испражнениях.

В другой раз его вызвали на допрос, а он был уже так слаб, что не мог идти. Он полз по заплыванному, окровавленному полу каменного коридора. Женщина, валявшаяся на полу с женским кровотечением после стояния «статуей», бросила на него взгляд, полный сострадания. «Понимаете, она была мне как сестра!» — вскричал Георгий, рассказывая. — А часовой, видя, как я ползу, не выдержал и пробормотал сквозь зубы: «Сволочи, звери!» И я заплакал.

И вот он опять в Москве. Ездит в Ленинскую библиотеку. Году в сороковом врываюсь однажды ко мне: «Я не могу. Я должен рассказать». Рассказ такой:

«Иду я по улице Горького, слышу, кто-то меня настойчиво окликает по имени-отчеству. Догоняет, просит остановиться. Смотрю, это мой колымский следователь. И мы, можете себе представить, заходим вместе в «кафе Филиппова», занимаем столик. И я не знаю, не беседа ли это с Порфирием Петровичем из Достоевского? А он говорит, что забыть меня не может. Стоит, мол, человек, качается, ноги распухли, из них жидкость течет, а он твердит одно: «Я только статистический случай». Долго мы с ним сидели, он все злодейства сваливал на приказ свыше. А я его спрашиваю: «А харкотину в суп тоже по приказу свыше?» «Знаете, распяляешься...»

Во время войны Георгий появился у нас в Москве. Проездом на фронт. Говорит: «Везу мясо». Несколько раз повторил эту фразу. Я не могу понять, какое такое мясо. Оказывается, пушечное мясо. Он вез в полк или в часть пополнение.

Долго не было от него известий. Война есть война. Может, убили? Потом выяснилось. На каком-то вокзале у него украли пистолет. Его судили и отправили в штрафной батальон. Но он и оттуда вернулся живым. Не хотел оставаться в Москве

ни одного дня. «Я не могу, я должен ехать к Соне, рассказать ей все, что со мною было». А Соня, казалось бы, нелюбимая его жена, оставалась еще где-то далеко в эвакуации. И теперь он к ней рвался как к самому близкому человеку.

После окончания войны он, как я уже говорила, был связан с Институтом востоковедения, работал по проблемам Индии, или переводил с санскрита, не помню точно. Но когда началась кампания по борьбе с космополитизмом, то есть попросту антисемитский разгул, он, как еврей, не мог больше работать на институт Академии наук, уехал в Куйбышев на строительство гидроэлектростанции. Там он работал инженером. Приезжал оттуда в Москву и описывал спокойным тоном всякие ужасы. Нет, это не был спокойный тон, а леденящий тон человека, который смотрит на жизнь беспощадными глазами. На этом строительстве работали ээки. Однажды они играли в футбол или во что-то вроде этого. «Я смотрю, — рассказывал он, — у них какой-то странный мяч. А когда они закинули его поближе ко мне, я увидел, что это человеческая голова. Они пинали ее ногами». Он уверял, что много человеческих трупов забетонировано в блоках нового моста через Волгу. От его бесстрастных слов веяло ужасом.

При всей моей любви к Волге я с тех пор и подумать не могла о прогулке на теплоходе по великой реке. Тем более что от Жигулей, как говорят, остался один фасад, что-то вроде макета.

В 50 — 60-х годах он разошелся с женой, которая опять стала чужой и нелюбимой. Они перегородили свою комнату. Он обедал в ресторанах, ел хорошо и дорого, особенно любил заказывать жареного гуся. По вечерам слушал радио в своей ставшей маленькой комнате. Может быть, он любил хорошую музыку? Он нет. Он пристрастился к песням и романсам, которые с таким чувством пели Виноградов и Нечаев.

Однажды, слушая в который раз сентиментальный романс, в одночасье умер. Моя сестра рассказывала: он лежал на столе очень красный, а бывшая жена и сын всю ночь при помощи верных знакомых разбирали перегородку, чтобы им не вселили постороннего жильца в освободившуюся отдельную комнату.

Сын был в большом замешательстве. Мать посылает его в похоронное бюро, а на следующий день — на кладбище. Но ведь ему надо на службу. Как быть? Он никак не мог понять, что на похороны отца отпускают даже с работы.

И если покойник в последние годы жизни производил, по словам моей сестры, впечатление совершенно опустошенного человека, то сын его являл собой образец механического, заторможенного человека. Что лучше? Не знаю.

После союза СССР с Германией идеологическая монолитность в советском обществе была слегка нарушена. Ведь сколько лет подряд над нами довлела угроза немецкого фашистского нашествия. Я не могу забыть одного общего собрания сотрудников Ленинской библиотеки. Оно проходило в саду, перед входом в старое здание. Вероятно, дело было вскоре после Мюнхенского соглашения. Выступали главным образом женщины. Как они нагнетали обстановку, почти кликушествовали, напоминая о книге Гитлера «Майн кампф». И вдруг в августе 1939-го надо было совершить резкий поворот на 180 градусов. Между прочим, с тех пор до 22 июня 1941 года мы прожили как-то без лозунгов. Нас не призывали, не угрожали, не пугали, не подталкивали, ничего особенно героического не требовали. Все как будто замерло. Фанфары раздавались только по поводу присоединения к Советскому Союзу Прибалтики, Бессарабии и Западной Украины.

Я была в Верее в тот день, когда началась вторая мировая война. Местные жители были до крайности встревожены, считая, что большая война началась и для нас. Они говорили, что «лошадей забирают». А это был пока еще только раздел Польши.

Я так волновалась, что одна из верейских женщин спросила меня: «У тебя кто пойдет — муж, брат?» У знакомой соседки в доме в углу комнаты сидел бледно-зеленый от страха мужик — ее сожитель с подозрительным социальным положением.

Те, которые еще не совсем разучились думать, были растеряны. Крайне подавлен был мой отец. Его бы совсем доконал этот невероятный союз с Германией, если бы так не терзало все, что случилось с его близкими. Когда обвинили Плетнева и Левина в «умерщвлении» Горького, папа не хотел признаваться сам себе в чудовищности этой кампании против двух известных врачей. Но когда на одном из процессов фигурировал уже Ягода, который заявил на следствии, что был в связи со знаменитой Тимошей, женой сына Горького, папа был поражен. «Вот подлец!» — вырвалось у него. А когда Горький умер и стали передавать подробности о роли его личного секретаря, вообще о темном окружении писателя, папа сказал: «Начал как босяк и кончил как босяк».

Весь остаток жизненных сил у отца сосредоточился на внуках, особенно на четырехлетнем сыне моей сестры, его любимейшей дочери. Лето они провели в Верее, куда съездила и я на август. Сохранилась групповая любительская фотография, где снята вся наша семья (кроме братьев) и моя Елена Константиновна — летняя старожилка и патриотка Вереи. На фотографии видно, как удручен и как стал стар мой отец. Сестра сказала, что там, в Верее, когда меня не было, его вызывали к следователю и он вернулся домой еще более удрученный.

В то лето в Верее жили также знакомые и сослуживцы Елены. Она часто выступала на литературных концертах с одним литературоведом-популяризатором, преуспевающим в этом деле. Без единой осечки он читал в клубах лекции о литературе с марксистской точки зрения и объяснял доверчивым слушателям, что такое социалистический реализм. Я была чрезвычайно удивлена, что на свободе летнего отдыха, в компании, в которой был уверен, он оказался вполне понимающим суть происходящего. Он рассказывал с большим сарказмом о собраниях в Союзе писателей и поделился с нами своей, как ему казалось, замечательной находкой: написал другу в провинцию об арестах общих товарищей, обыгрывая для конспирации гоголевское заглавие «Мертвые души». С большим сочувствием и интересом выслушивал от меня другой приятель Осмеркиных, очень скромный и тихий художник, самое крамольное стихотворение О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...». Теперь, когда Осип Эмильевич умер и дело его было уже известно в тесном литературном кругу, а имя мое уже было названо на следствии самим Мандельштамом, я могла спокойно познакомить хорошего человека с этим феноменальным стихотворением. Но все-таки для этого мы уходили с ним в лес.

В самой Москве, где лошадей не забирали (во всяком случае, об этом я не слышала), раздел Польши откликнулся взрывом мародерских настроений. Поехал туда и наш сосед, врач-коммунист, и привез много вещей жене. Кое-что из этих даров она показывала на кухне. Однако врач был идеологически выдержан и рассказывал, как плохо жилось полякам при буржуазном правлении. Оказывается, в университете для студентов-евреев в аудиториях были отведены специальные места, но те принципиально их не занимали, а весь учебный срок от первого до последнего курса прослушали все лекции стоя. Доктор, чистый русак, рассказывал об этом с большим уважением к этим студентам — тогда еще наши коммунисты решительно отвергали антисемитизм. А я рада, что услышала от соседа о выдержке и чувстве национального достоинства у моих соплеменников.

О счастье побывать в Польше, еще хранившей следы буржуазной жизни, рассказывали многие. Говорили, что Алексей Толстой привез себе оттуда... фонтан! И поставил его у себя в саду. Не знаю где — в Москве ли, Ленинграде или за городом. Да и вообще не знаю, правда ли это. Но слух такой был. А вот что правда, так это вопрос, который задали в Польше моей приятельнице: «Объясни, пожалуйста, почему в магазинах ничего не стало, с тех пор как пришли русские?»

О Прибалтике я ничего не слышала, туда как будто еще не ездили, но очень интересно рассказывала о Западной Украине одна талантливая фольклористка из Литературного музея. Она была восхищена достоинством и вежливостью тамошних жителей, особенно в деревнях. При встречах на улице с приезжими незнакомыми им людьми крестьяне обязательно здороваются — все, и старухи и особенно приветливо дети. Ходят в церковь, соблюдают праздники, украшая в эти дни свои жилища. Все чинно, благовоспитанно. Ее поразила разница между ними и советскими крестьянами. Она участвовала в экспедициях во многие советские республики и автономные области и постоянно уверяла меня, что там растет национальная культура и это принесла туда советская власть. Я не спорила, поскольку могла судить только по официальным казенным декадам, пышно проходящим в Москве. Она очень любила свое дело, Вера Юрьевна Крупицкая. Милейшая женщина, та самая, которая убежала в музей на вешалку и там, скрывшись за одеждой, рыдала, узнав о начавшемся голоде в блокадном Ленинграде.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Надя металась. Она избегала быть в Москве у матери, в квартире в Нащокинском, испоганенной наглым соседством. Но видела я Надю часто. Вот она ночует у меня — я уже упоминала об этом, — вот мы сидим втроем в Марьиной роще у Николая Ивановича, и она рассказывает, как работает у станка на прядильной фабрике и живет в подмосковном поселке Струнино. Мне прочно запомнился один эпизод из ее рассказов. Она подымалась по внутреннему лифту на фабрике. В лифте оказался

только один рабочий. Он смотрел, смотрел на нее и проговорил: «С таким лбом — и у станка?»

Я, конечно, навещала Веру Яковлевну, когда она оставалась одна в Нащокинском. Но я почему-то совершенно не помню, как она выехала из этой квартиры и переселилась с Надей в Калинин. А ведь этому предшествовала такая процедура, как обмен этой московской комнаты на постоянное жилье в Калининне. Очевидно, после смерти Осипа Эмильевича Надя решила окончательно порвать с опасной для нее Москвой и жить с матерью до конца ее дней в Калининне. Но война перевернула все планы. Надя с матерью была эвакуирована, их довели до Казахстана, оттуда, как известно, Ахматова выхлопотала им переезд в Ташкент, Вера Яковлевна умерла там в 1943 году, а жизнь Нади потекла по совсем новому руслу.

Вероятно, переезд из Москвы в Калинин произошел в то время, когда я была в Ленинграде, поэтому я и не помню подробностей. Между тем в самом конце декабря 1939 года Надя послала мне первое письмо из Калининна. Вот оно:

«Эммочка!

Пишу наугад, не помня адреса.

Приехать мне нельзя, хотя я фактически сижу дома. Долго ли просижу — не знаю. Могут вызвать в любой момент на работу.

Я знаю, что вы не способны приехать.

Это очень обидно. Возьмите старого друга и попробуйте приехать. Я бы, например, обрадовалась. Вы просто не люди, а башни, и я вас всех ненавижу.

Еще: Женя счел неизящным забрать у вас керосинку. Моя вконец испорчена. В результате нам не на чем вскипятить чай. Очень прошу, привезите ее мне. (Вот предлог для приезда.) Либо, соединив с Женей усилия, отправьте мне ее почтой, только запакуйте в бумагу, чтобы она не разбилась.

Пишите.

Спросите у Ник. Ив., что он думает.

Я хотела вам или ему позвонить по телефону, потом решила, что это подействует вам на нервы, и отказалась от этой идеи. Раскачайтесь и приезжайте.

Надя.

Женя даже не пишет. Я привыкла, а мама нервничает».

Вероятно, Надя ждала, что ее вызовут на работу в школу. Вообще говоря, у нее было там два занятия. Она делала игрушки, вступив в какую-то артель, и преподавала в школе немецкий язык. Я помню, с каким увлечением она рассказывала, приезжая в Москву, о своем методе обучения. Она читала со своими учениками вслух «Лесного царя» Гёте (в подлиннике, конечно) и таким способом улавливала интонацию классического немецкого языка, приучала к ней своих юнцов и одновременно приоткрывала им тайны поэзии.

Что касается керосинки, то Надя дала мне в Москве свою лишнюю, чтобы избавить меня от кухонных склок, а о приобретении новой и думать было нечего. В те годы страна переживала очередной дефицит всего необходимого нормальному человеку.

Керосинку в конце концов повез Наде в Калинин Александр Эмильевич. Вообще говоря, на его долю легла значительная часть забот в связи с арестом Осипа Эмильевича. Он делал передачи в Бутырскую тюрьму, когда Нади не было в Москве, и наводил справки на Кузнецком, где помещалось управление ГПУ (не знаю точно, как оно называлось). Об этом свидетельствует и последнее письмо Осипа Эмильевича, обращенное прямо к брату «Шурочке».

Моим «старым другом» Надя называет Николая Ивановича Харджиева. Да, действительно, мы были знакомы уже пять лет, и сколько сухого вина мы выпили вместе, и вдвоем и втроем, то есть с Надей, и сколько раз закусывали сыром. Но вот в чем дело. Николай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: «Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам». Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.

Приехала я к нему с шуткой насчет того, что, получив подтверждение о его привязанности ко мне, я меняю свое поведение. «Да, — отвечал он мне в тон, — вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель. А из него вынимаете корректуру, которую я должен читать». И это было истинной правдой. В то время

я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдет по верху текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день.

Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янчыар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру В. А. Фаворского, помещенную на фронтисписе этой книги, с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора: «Эмма! Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу — вещь пострадала бы. Н. Х. 25.XI.39». В скобки Николай Иванович заключил знаменательную приписку: «(накануне полного сумасшествия)». А уже в декабре он подарил мне и всю книгу, испещренную его стилистическими поправками. Этим он занимался все время моего пребывания у него. И успокоился, в чем можно убедиться, прочитав уж совсем дурашливую надпись: «Эмме Григорьевне, чтобы берегла в сухом месте и сохранила в Вечности. Н. Х. декабрь 1939».

Почему же Николай Иванович был в таком сверхэкспрессивном или, наоборот, депрессивном состоянии? Во-первых, мы все были полусумасшедшими. У каждого кто-нибудь сидел или уже был застрелен, когда близкие еще тревожились о нем. А вторых, я ясно видела, что его терзает какой-то мучительный роман. Мне не было интересно с кем. Такова была связывающая нас «души высокая свобода, что дружбою наречена» (Ахматова).

Впоследствии, лет через двадцать, Анна Андреевна высказывала ту же мысль устно: «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала». Вот эту дистанцию в дружбе я соблюдала инстинктивно еще до знакомства с Ахматовой.

Другое дело, когда люди сами рассказывают о себе. Николай Иванович Харджиев — редактор первых двух томов собрания сочинений Маяковского, то есть раннего Маяковского, то есть лучшего, на мой взгляд, — исповедовал еще культ дома Бриков. Осипа Максимовича он считал умнейшим человеком, а Лилю Юрьевну!.. Муза Маяковского была в ту пору для Николая Ивановича вне критики. Об этом крыле своего существования у него не было потребности разговаривать со мной, да и я мало интересовалась футуристами и всем подчеркнуто левым искусством. Конечно, я много знала наизусть из Маяковского и Василия Каменского, читала Асеева, посещала выставки и ходила в театр Мейерхольда, но остальных поэтов и художников авангарда, как теперь говорят, просто не знала.

Однако иногда Николай Иванович жаловался мне на своих друзей и соратников, задетый чьим-нибудь поступком или словом. Это давало исход его раздражению и было совершенно безопасно. С большинством из них я даже не была знакома. Один его рассказ о Мейерхольде нельзя забыть, хотя я не помню подробностей. Дело было, вероятно, после закрытия театра Мейерхольда, незадолго до его ареста. У него на квартире собралось несколько человек, среди них был и Николай Иванович. Трагическая атмосфера дошла до высшего накала. Всеволод Эмильевич хотел открыться — уйти из жизни.

Об Александре Ивановиче Введенском Харджиев отзывался как о большом поэте, самобытной личности, но чуждой ему. Тем неожиданнее был его внезапный приход в Марьину рошу. Он объявил, что сочинил новое стихотворение и хочет прочесть его. И прочел теперь уже известную читателям «Элегию». Николай Иванович сказал, выслушав: «Я горжусь, что живу в одно время с вами». Введенский сел к столу, записал текст стихотворения и подарил листок Харджиеву³. Не выпуская из рук драгоценный автограф, Николай Иванович прочел мне всю «Элегию» вслух. Я была совершенно потрясена беспощадным и пронзительным воплощением в слове нашего трагического времени. Эти поистине гениальные стихи оказались пророческими. «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный». Смерть не заставила себя ждать⁴.

Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений В. Хлебникова⁵. Как часто я слышала его ликующий голос, когда, быстро перехо-

³ Так рассказывал мне тогда сам Николай Иванович Харджиев.

⁴ В 1941 году Введенский был арестован. В первую неделю войны он был выслан из Харькова и, не доехав до Тамбова, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как и Пушкин, как и Хлебников, он не дожил нескольких месяцев до тридцати семи лет.

⁵ В е л и м и р Х л е б н и к о в. Неизданные произведения. Поэмы и стихи. Редакция и комментарии Н. Харджиева. Проза. Редакция и комментарии Т. Грица. Государственное издательство «Художественная литература». М. 1940.

для своей легкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова:

...В пеший полк 93-й,
Я погиб, как гибнут дети... —

или:

...Я черный ворон,
Я одинок...

Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов:

Россия, хворая, капли донские пила
Устало в бреду.
Холод цыганский...
А я зачем-то бреду
Канта учить
По-табасарански.
Мужденом и Калкою,
Точно большими глазами,
Алкаю, алкаю.
Смотрю и бреду,
По горам горя
Стукаю палкою.

Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. О какой поездке в Калинин можно было тут думать? Между тем Надя прислала ему гораздо более красноречивое приглашение, чем мне. Привожу его по машинописной копии, которую он мне предоставил в 70-х годах:

«Дорогой Николай Иванович!

В моей новой и очень ни на что не похожей жизни я часто вспоминаю вас и очень по вас скучаю. Суждено ли нам увидеться? Трехчасовое расстояние — очень трудная вещь. Боюсь, что ни мне, ни вам его не одолеть. И еще поезд и вокзал, а для меня — невыносимость трехчасовых поездок, напоминающих мне о последних трех годах моей жизни.

А я часто придумываю, что бы мы делали, если б вы ко мне приехали. Вы, конечно, не могли бы пойти ко мне в школу и увидеть, как мои тридцать львят (у меня всего триста) сидят на скамейках, а я, как настоящий жонглер, орудуя с немецкими глаголами у доски. Знаете — подбрасываешь, ловишь, все разноцветные и т. д.

Но зато мы пошли бы с вами на базар, где покупают свинину, печенку, мед и сухие, а также мороженые яблоки. Мы бы, конечно, долго торговались и с медом на ладошках вернулись домой. По дороге бы снялись у балаганного фотографа — верхом на деревянном коне, в лучшем матросском костюме, либо на корабле, или — самое простое — на автомобиле во время переезда через Дарьяльское ущелье. Затем — артель «Возрождение», где продают случайные вещи, и через реку Тьмаху домой — варить и топить печь.

Так я принимаю своих гостей. А с вами я бы была особенно гостеприимна — почтительна. Я бы уступила вам лучшую комнату в своем палаццо, с видом на все сараи и домики во дворе.

Ведь я зазывала — но заранее знаю, что мое зазыванье — обречено на неудачу.

Сосисок здесь нет. Зато есть голуби. Они чересчур хороши. Кроме голубей у меня нет ничего. Только голуби — чужие. Как его, того самого, который писал голубей? Того, которого вы мне показывали?⁶ Это его голуби.

Мне было легче, пока я не работала. Сейчас я стую, как зверь. По утрам я себе почти не представляю, что можно встать и начать жить и, главное, — прожить день: это самое трудное. Такой я еще не была. Совсем дикая. Вы знаете, время совсем не целебная вещь. Наоборот. Вначале как во сне. А потом все встает с полной реальностью. И думаю — чем дальше, тем будет реальнее. Я не пробую от себя уходить. Я только начинаю сейчас понимать. Мне раньше приходилось столько ходить просто физически — ногами, что в мозгах было что-то вроде сотрясения. Теперь — нет. И это хуже.

⁶ «Сосиски» и «голуби» — намек на первые дни после ареста Осипа Эмильевича и после известия о его смерти, проведенные Надей у Харджиева: «Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть...» (см.: Н. Я. М а н д е л ь ш т а м. Воспоминания. М. «Книга». 1989, стр. 333). Художник, рисовавший голубей, — Макс Эрнст (указано Н. И. Харджиевым на моей копии).

Из моих немногих подруг пишет иногда только Эмма. Иногда она сообщает, что хочет приехать; иногда зовет меня к себе. Вот и все. Она — женщина сырая, куда ей выбраться. А я была бы ей очень рада. Об Анне А. не слышу ничего. И это тоже наверняка навсегда, т. к. я живу чересчур далеко.

И еще: никогда я так сильно не чувствовала, что есть родные и знакомые. Знакомых много. А родных ужасно не хватает, например, вас. Я точно не могу определить степень родства. И мамы наши нам не помогут — забыли. Как выяснить?

Целую вас. Надя».

Николая Ивановича Надя не попрекает. Рядом с искренним, валящим с ног горем у Нади еще столько нерастраченной жизненной силы. В ней ключом бьет творческая энергия. Даже попреки мне она облекает в изящную литературную форму:

«Уважаемая Эмма Григорьевна!

Я давно уже не получаю от вас никаких известий. И вообще — ничего из Москвы, и очень беспокоюсь. Не могли ли бы вы мне сообщить о себе и обо всех моих родных и бывших друзьях? Была бы вам очень благодарна. Рада была бы, если бы вы приехали на праздники. Я, конечно, приеду в Москву, но боюсь, что к тому времени, когда я смогу освободиться, вы уже будете в Верее. А поездка в Верею столь же неосуществима для меня, как для всякого нормального москвича в Калинин. Посему, Эмма Григорьевна, нам остается только надеяться на небеса, где мы после смерти облюбим какое-нибудь комфортабельное облачко для воздушных загробных путешествий.

Целую, до встречи.
Н. М.».

Вскоре Надя наладилась сама приезжать в Москву. Дружба ее с Николаем Ивановичем ничем не омрачалась. У меня она несколько раз ночевала. Часто мы встречались втроем. У меня в глазах и ушах до сих пор видятся и звучат разные сцены — то мы трое у меня на Щипке, то в Марьиной роще. Атмосфера этих встреч хорошо отразилась в письме Нади ко мне от 7 декабря 1940 года:

«Эммочка!

У меня прояснилось в голове. Надеюсь, и у вас.

Напишите мне, пожалуйста, обо всех своих делах, в частности к чему привело мое очередное сватовство.

Я хочу получить Хлебникова. Просто решительно хочу. Это неправда, что редактора получают по 2 экз. Хотела бы посмотреть договор.

Если он с вами дружит (т. е. вернул вас на свое ложе), — дерите с него Хлебникова — для меня, разумеется.

А в общем, я зла на сумбур и кашу. Плохо обращалась со мной Москва. Лучшее всего было у Жени и у вас. В последний день, разумеется, когда вы не рыдали, а провозжали меня.

Неужели вы ко мне не приедете? Как я вас ненавижу.

Надя».

Я пригласила ее приехать ко мне встречать Новый год. Но почта работала тогда плохо. Ответное письмо Нади украшено тремя почтовыми штемпелями с промежутком в восемь-девять дней: 1 января 1941 — «Калинин-областной», и 8 и 9 января — «Москва». Надя писала:

«Эммочка!

Спасибо за приглашение.

К сожалению, оно пришло поздно: для того чтобы мне устроиться с билетом, надо было бы бегать, просить и хлопотать добрую неделю.

Так что не вышло.

Очень устала. Болезненно. Жду с нетерпением развязки со школой.

Соседи по целым дням и ночам развлекаются радио. Работаю по 24 часа в сутки. Хорошо, что не бросила игрушки.

Интересно, когда я увижу вас.

Все-таки когда-нибудь, может, увижу.

Целую. Надя».

Бедная Надя! Она, как мы видели по ее письмам, держалась на юморе, на вспышках свойственного ей фейерверка шуток. Но какие у нее должны были быть приступы тоски, когда она в какие-то паузы вспоминала, что живет на земле, на которой уже нет Оси. Об этом уже не говорилось никогда. Этого еще нельзя было касаться. Срок еще не настал.

Следы пережитого давали себя почувствовать в самые неожиданные моменты. Когда я ее провожала (о чем она вспоминает в предыдущем письме), на вокзале мы попали в облаву. Искали спекулянтов, так называемых мешочников, на этот раз одних баб. При выходе на перрон проверяли не только билеты, но и вещи. Надю охватило что-то вроде тика. Она стала дрожать крупной дрожью с ног до головы, зуб на зуб не попадал. Я собрала всю свою волю, чтобы ее успокоить. А для этого надо было самой сделаться благодушно-спокойной. Это подействовало на обыскивающих. Они даже не притронулись к нашим вещам. В вагоне мы оказались рядом с простыми парнями, и спокойная общительность меня уже не покидала, так что Надя решила, что эти люди мне каким-то образом знакомы.

Больше я почему-то не помню Надю в Москве в том 1941 году, когда мы, не политические люди, как по какому-то наваждению начисто забыли о возможности участия нашей страны во второй мировой войне. Конечно, мы следили с состраданием и волнением за событиями в Европе, но все казалось далеким от нас. Мы, наш кружок, если хотите, назовем его так, были так озабочены своими горестями, страстями и делами, что не замечали или старались делать вид, что не знаем о том, что находимся на краю пропасти.

В это время тяжба всей нашей семьи с администрацией ВИЭМа продолжалась. Они становились все наглее и наглее. К числу выселяемых присоединили жильцов из других корпусов. Мне приходилось встречаться для составления общих жалоб с незнакомыми до тех пор людьми. Среди них был один инженер, давно порвавший связь с больницей. Как все не очень умные люди, он подбадривал себя и нас уверенностью в нашей общей победе над администрацией ВИЭМа. «Их дело — Франция!» — восклицал он. Меня больно резануло по сердцу это холуйское глумление над побежденными. Потом, когда наши войска потерпели оглушительное поражение в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда Москву бомбили, хотелось ему сказать: «Ну а наше дело как назвать?» — но это было уже невозможно. Он был призван в ополчение и погиб в окружении. И даже этого жизнерадостного пошляка было жалко.

А Надя до самой войны продолжала свою трудную жизнь в Калининне. Некоторая отдушина у нее все-таки была. Не говоря о том, что с ней была мать и к ним приезжали Евгений Яковлевич и брат Осипа Эмильевича Александр, она приобрела в Калининне нового друга. Это была жена арестованного крупного коммуниста, высланная из Москвы с двумя детьми и матерью. До своей катастрофы она принадлежала к высшему кругу Москвы, то есть к советско-светскому обществу. Ей приходилось быть хозяйкой на больших приемах с иностранными гостями, она знала языки, одевалась со вкусом, была очень красива. Рядовые советские женщины любовались ею как «звездой», когда она подкатывала к подъезду своего дома в большом черном автомобиле. Перемена судьбы заставила ее трудиться в Калининне сверх сил, но она не теряла твердости духа. У нее было в высшей степени развито то, что называется умением жить, то есть здоровый практицизм и разумная доброжелательность к людям. Говорят, что за всю свою жизнь она ни с кем ни разу не поссорилась. Такой характер был замечательным противовесом Надиной экзальтации и колючести, служил примером выдержки и спокойного непоказного героизма. Дружба их продолжалась до самой Надиной смерти.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Анна Андреевна подарила мне новый сборник своих стихов «Из шести книг» с дружественной надписью, датированной 8 июля 1940 года. Но, вероятно, она надписывала свои экземпляры еще в Ленинграде: в середине лета я не помню ее в Москве. Зато никогда не забуду ее августовский приезд в том 1940 году.

Я зашла к ней прямо из поликлиники после довольно болезненной процедуры. «Как вы терпите?» — участливо расспрашивала меня Анна Андреевна и, как всегда, без всякого перехода прочла мне еще два новых стихотворения. Одно на падение Парижа («Когда погребают эпоху...») и другое о бомбежке Лондона («Двадцать четвертую драму Шекспира»). Я была ошеломлена, опустила голову, уткнувшись лицом в стол. «Не притворяйтесь, что вы плачете», — сказала она, скрывая под иронией удовлетворенность произведенным впечатлением. Я не притворялась и не плакала. Я как бы задохнулась от налетевшего шквального ветра, оставившего в комнате сплошной озон. Такое ощущение часто возвращалось ко мне во время этого короткого августовского пребывания Анны Андреевны в Москве. Первые дни протекали в дымке надежды, а последний день в отчаянии.

Лева писал Анне Андреевне мрачные письма. Больно мне было услышать от нее о такой его фразе: «Все на меня плюют, как с высокой башни». Совсем недавно я спросила у Анны Андреевны, помнит ли он меня. «Да, да, он называл вас среди тех, кого я должна помнить, если он умрет». А между тем многим казалось, что теперь его оправдают и освободят. Если после семнадцатилетнего перерыва в советском издательстве выходит новая книга Ахматовой, эта сенсация свидетельствовала, по общему мнению, о внезапном благоволении Сталина к Ахматовой. Очевидно, не только к ее поэзии, но и к судьбе. Но судьба Ахматовой не могла быть облегчена никакими дарами, если сын остается в заключении за Полярным кругом. Вот почему Борис Леонидович Пастернак спрашивал Анну Андреевну 28 июля 1940 года: «С Вами ли уже Лев Николаевич?»⁷ В этом письме он подробно описывает свои впечатления почти от каждого стихотворения из нового сборника Ахматовой, отзываясь о его выходе как о «великом торжестве, о котором говорят вот уже второй месяц».

Разговоры эти не были беспредметными, Фадеев, Алексей Толстой и Б. Пастернак намеревались представить книгу Анны Ахматовой к Сталинской премии. Мне кажется, что именно тогда Анна Андреевна написала свое второе письмо Сталину. Я сама не помню его содержания, но мне рассказала Лидия Корнеевна Чуковская, какой довод она привела в своем прошении. Анна Андреевна писала, что ее сына обвиняли в намерении убить Жданова и якобы она, его мать, подговаривала его совершить этот террористический акт. Ахматова просила снять с нее и ее сына это чудовищное обвинение. Позже Анна Андреевна пришла к убеждению, что ее письмо не было никуда передано и до Сталина не дошло.

Но пока это было еще неясно. В положении Ахматовой уже были заметны колебания. Они отражены в подневных записях Лидии Корнеевны⁸. Вначале ленинградская администрация пребывала в эйфории от легализации имени опальной поэтессы. 5 января 1940 года ее торжественно приняли в Союз писателей. Два издательства сразу начали готовить к печати ее книги. Журналы просили стихи для ближайшего номера. Шел разговор об увеличении пенсии, о предоставлении ей квартиры и т. п. Потом эти восторги начали умеряться.

Уже в июле в «Литературной газете» появилась ругательная рецензия В. Перцова на сборник «Из шести книг». Правда, писательская общественность не увидела в этом факте ничего рокового. Пастернак писал Анне Андреевне в том же письме: «Тон Перцова возмутил нас всех, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, а не в газете». Такая статья не появилась. Сталинской премии Ахматовой не дали. Пенсию не увеличили. Квартиру дали только после войны. Тем не менее Анна Андреевна поехала в Москву хлопотать о Лева. Лидия Корнеевна записывает 31 августа 1940 года, то есть сразу после возвращения Ахматовой в Ленинград: «Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее. (Все последние дни перед отъездом она твердила: «Фадеев меня и на глаза не пустит».) Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию». Лидия Корнеевна не могла даже в своих стенографических записях рассказать полным голосом, что происходило в Москве в последний день пребывания там Анны Андреевны. Это помню я.

После беседы с Фадеевым Анна Андреевна направилась в Прокуратуру СССР на Пушкинскую улицу. Я пошла с нею. Когда ее вызвали к прокурору, я ждала ее в холле. Очень скоро, слишком скоро, дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами, тычась в разные двери, не находя дороги к выходу. Я бросилась к ней. Уж не помню, как и куда я ее отвезла.

Без промедления она поехала в Ленинград. Я провожала ее, посадила в поезд. А вернувшись домой, тотчас села писать письмо Лева в Норильск. До этого дня я, как уже говорилось, ему в лагерь не писала. Что же меня заставило прервать молчание?

Почему-то Анна Андреевна обязательно должна была сообщить ему об отказе прокурора. Это ее страшило. У Лева и так рождалось подозрение, что мать за него не хлопочет или делает это неумело. Нашлись люди и за Полярным кругом, которые раздували эту искру в большой огонь. Я видела, что Анна Андреевна не в силах написать ему о крушении их надежд, но не может ни солгать, ни промолчать.

⁷ См. в кн.: Борис Пастернак. Избранное в двух томах. 1985, т. 2, стр. 464.

⁸ См.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. М. «Книга». 1989, стр. 50, 51, 55, 91, 99, 154 и др.

Положение становилось катастрофическим. Тут сердце мое не выдержало, и я импульсивно начала писать Леве сама.

Я писала всю ночь, задумываясь над каждым словом. В конце концов поняла, что не надо никаких намеков и обиняков. Какие тут секреты? Анна Андреевна открыто была в Прокуратуре, постоянные наши наблюдатели, конечно, видели меня с нею на перроне Ленинградского вокзала. Я подписалась полным именем, на конверте обозначила свой почтовый адрес и начала письмо сразу с сообщения, что только что проводила Анну Андреевну к поезду, она была в Прокуратуре и возвращается в Ленинград. Далее я прямо сообщила о мрачном результате этого посещения, разумеется без душераздирающих подробностей. Затем следовали слова утешения и надежды. Так как я писала от всего сердца, то и слова находились нужные. Несмотря на то, что я вижу много новых людей, писала я, я никогда не забываю о нем, он — мое горе. Главная цель моего письма была в том, чтобы просить его не писать Анне Андреевне сердитые письма, «она делает все что может» — помню хорошо такую мою фразу. Ответа я не получила, но эффект от моего письма был. Анна Андреевна мне говорила, что Лева стал писать ей мягче. Я считала, что это служит признаком того, что мое письмо дошло до него. Только после войны я узнала от самого Левы, что он мне ответил тогда, но его письмо, видимо, где-то в дороге пропало. В то время это было обычным делом. В 50-х годах, напротив, почтовая связь с лагерем работала бесперебойно, даже еще при жизни Сталина.

Возвратимся к сороковому году.

Когда после исправлений, вычеркиваний и дополнений я переписала начисто свое письмо и опустила его в почтовый ящик, у меня закружилась голова от страха... перед Анной Андреевной. А вдруг она будет меня винить за этот поступок?! Впрочем, ведь она сама дала мне его норильский адрес. Надо было бояться другого. Дело в том, что за полгода до того мне пришлось заполнить одну анкету, содержавшую некий неслыханный для меня вопрос: «Кто из Ваших родных или знакомых (?) подвергался репрессиям?» Я указала на двух покойников — О. Э. Мандельштама и моего родственника, эсера. А о Леве не упомянула. Если бы два этих документа были сопоставлены, могли бы быть неприятные последствия. Но я пренебрегла этим то ли по легкомыслию, то ли по соображениям здравого смысла. Я считала, что эти материалы шли по разным каналам и мало шансов, чтобы они сошлись. И не такая уж я персона, чтобы кто-то специально мною занимался и разыскивал мои документы. Однако моя анкета все-таки всплыла год спустя. Но это уже особая история.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Для меня сороковой год начался несчастливо. В марьинорощинскую идиллию вторгся резкий диссонанс. Николай Иванович внезапно сорвался с места и ушел встречать Новый год, очевидно, со своей роковой возлюбленной, которая неожиданно его позвала. Разумеется, он мне не открыл истинной причины своего поступка, тем обиднее он мне казался. Я провела новогодний вечер дома, и это поставило меня в неловкое положение перед моими родными. Оно было тем более некстати, что я опять была безработной. Не помню почему, моя договорная работа в Историческом музее кончилась.

Положение мое становилось все невыносимее. Неудивительно, что я ухватилась за единственную представившуюся возможность устроиться на работу. Речь идет об учреждении, название которого укладывалось в безобразнейшую аббревиатуру ГАФКЭ (Государственный архив феодально-крепостнической эпохи). В действительности это был старейший и богатейший национальный исторический архив. Он помещался на Пироговской улице, в районе Девичьего поля, и мне представлялось, что в этом же здании служили «архивные юноши» пушкинской поры, а Александр Иванович Тургенев именно здесь окончательно испортил себе зрение, уже подорванное его неустанными розысками документов по истории России во всех архивах Европы.

ГАФКЭ славился своей свирепой и невежественной начальницей — коммунисткой из когорты латышских стрелков. А сам архив находился в ведении НКВД. Эти обстоятельства заставляли меня колебаться. Я не решалась связываться с ними, когда они объявили в начале года набор договорных сотрудников. Но жизнь уже так напирала, что в марте я пошла туда наниматься. Несколько раз я приходила к этой начальнице, пока мы не договорились. Я заполнила анкету и по ее указанию пошла к кому-то за подписью и печатью.

Я попала в большую канцелярию, где стояло несколько рабочих столов, а у окна — большой письменный стол, за которым сидел одетый в форму начальник. Он попросил меня обождать, я заняла свободный столик, рассеянно глядя по сторонам. В это время в комнату стремительно вошла молодая сотрудница в форменной куртке и направилась прямо ко мне. Со словами «вам дали не ту форму анкеты» она кинула мне на стол другой образец и торопливо удалилась. Я начинаю лениво заполнять сызнова анкету, но постепенно замечаю, что вопросы все усложняются и усложняются. Тут и вышеупомянутый вопрос о репрессированных знакомых, и вопрос, не был ли кто-нибудь из моих родных на территории, занятой белыми, и, наконец, знает ли меня кто-нибудь из сотрудников органов. Никто, никто, отмечаю я с удовлетворением, но появляется снова та же сотрудница и подкидывает мне еще один отпечатанный типографским способом бланк. Это расписка о неразглашении. Я подписываю: занимаясь в архивах как исследователь, я часто подписывала подобные обязательства. Подобные, но не такие. Потому что здесь выходило так, что я сотрудница органов, правда графа «В каком отделе?» осталась незаполненной. Впрочем, у меня от волнения двоилось в глазах, и я не помню точных формулировок в этих злополучных документах. Я предположила, что мне хотят поручить работу над каким-нибудь секретным фондом. Но с другой стороны, какие же документы я оставляю о себе?! Разумеется, я могла бы попросить объяснения у начальника, но на меня украдкой поглядывали не менее шести сотрудниц, работавших за своими столами. Я побоялась при этих свидетелях обнаружить свое истинное отношение к НКВД. Мало того, оказалось, что мне еще надо было принести две рекомендации от коммунистов. Я решила, что должна выполнить и это требование, чтобы не произвести впечатления человека с дурной репутацией. А после этого, думала я, под каким-нибудь предлогом я откажусь от работы в ГАФКЭ.

Пока я была занята добыванием рекомендаций, я пребывала в смутении. Советовалась снова со своим старшим братом. Он отнесся к моему рассказу равнодушно: в Метрострое, где он работал старшим инженером-электриком, он был засекречен и заполнял всякие подробные анкеты. Моя Елена, напротив, осыпала меня упреками. Помню, как, оставшись одна в ее комнате, я сидела с бритвой за запястьем и решала, перерезать ли мне себе вены или выйти на лестничную площадку выброситься из окна пятого этажа высокого доходного московского дома. Ничего такого я, однако, не сделала.

Постепенно я как будто даже успокоилась. Но когда я принесла рекомендации и тот же начальник радостно меня спросил: «И телефончик свой оставили?» — я поняла, что попала в ловушку.

Больше я в эту канцелярию не являлась, а недели через три пришла к твердокаменной директорше и сообщила ей, что серьезно заболела и работать в ГАФКЭ не буду.

Трудно передать, в какое бешенство она пришла. Приводила в пример каких-то самоотверженных женщин, работавших скрючившись от боли, но не покидавших своего поста. На меня это не действовало. Тогда она стала сулить мне такие материалы, какие они даже Тарле не показывали. Это было заманчиво, но я не уступала. Она продолжала наседать на меня, и только тогда я задала ей вопрос, который надо было задать с самого начала там, в канцелярии: «А что, разве все сотрудники архива заполняют такую анкету?» «Нет, — закричала она с пеной у рта, — не все! Надо войти в систему!!» На этом наше собеседование окончилось. Больше я в этом проклятом ГАФКЭ не была ни разу, пока все архивы не переконструировали, и уже после войны и XX съезда я часто занималась в том же полюбившемся мне здании в нормальных условиях в архивах ЦГАДА и ЦГАОР.

Постепенно я стала забывать об этом отвратительном приключении, как будто прошедшем бесследно. Между тем в Москве и Ленинграде уже шла интенсивная подготовка к столетнему юбилею Лермонтова. Я опубликовала в газетах и журналах ряд исследовательских статей, среди них две большие, получила за них неплохой гонорар. Материальное положение мое несколько улучшилось. Редакция «Литературного наследия» пригласила меня участвовать в подготавливаемом ими лермонтовском двухтомнике.

Это была интересная работа. В редакции царила дружная, деловая атмосфера, при этом очень веселая, благодаря темпераменту и неиссякаемому остроумию Ильи Самойловича Зильберштейна — вдохновенного инициатора этого известного издания. Его соратниками были Сергей Александрович Макашин и Иван Васильевич Сергиевский. Последний вел лермонтовские тома. Он очень хорошо ко мне относился

У всех троих были свои тонкие тесные отношения с архивами. После многих хитроумных, скрытых от меня переговоров с архивом Наркоминдела мне были предоставлены уникальные документы по делу о дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. Я и без того уже опубликовала ряд новых материалов по этому делу, причем некоторые из них хранились в том же архиве. Но самое главное они прудумотрительно от меня скрывали, пока не договорились более основательно с редакцией. Теперь на страницах «Литературного наследства» я могла опубликовать более полное исследование. В этом были заинтересованы и архив, и редакция, и я.

В процессе общей работы Иван Васильевич Сергиевский однажды обратился ко мне: «Хочу поговорить с вами как мужчиной с женщиной». Разговор начался с вопроса: «У вас нет хвостов?» «Нет». Оказывается, в редакции есть намерение поручить мне еще одно исследование, построенное на еще более значительных материалах. Но для этого надо засекретиться. Могу ли я? Согласна ли я? Я чистосердечно рассказала Ивану Васильевичу о прошлогоднем инциденте. «Это известно», — сказал он с величайшим спокойствием. Я взяла несколько дней на раздумье.

Страсть исследователя взяла надо мной верх. Я пришла к Сергиевскому и заявила о своем согласии. Надо было видеть, какой взгляд он бросил на меня. Взгляд, полный упрёка и разочарования. У меня упало сердце. Но отступать уже было поздно. Пошел конкретный разговор об оформлении. Простившись с ним, очень подавленная, я пошла к выходу. Но только я взялась за ручку двери, Сергиевский меня окликнул: «Эмма Григорьевна, вернитесь». Заняв прежнее место против него за столом, я услышала: «Туда не надо идти. — Он объяснил: — Это дело темное, сегодня вам поручают архив, а завтра могут дать другое задание». У меня будто камень свалился с сердца. Но все-таки я растеряна. «А как же Лебедев-Полянский и другое высокое начальство? Ведь это очень плохо...» «Плохо», — не спорит со мной Иван Васильевич. Но все уже решено. Я отказываюсь. Возвращаюсь домой совершенно счастливая. Только ли оттого, что я избавилась от ложного шага? Нет, не только. Меня охватывает ликующее чувство радости за Сергиевского. Он, тривиальный и тертый советский литературовед, раскрылся передо мной с другой, подлинно человеческой стороны.

Я не могла тогда предвидеть, что имя Сергиевского будет связываться с его участием в травле Ахматовой в 1946 году, когда вышло мракобесное постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это уже новая глава послевоенной истории. Но я не забывала никогда о том, как он меня спас.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В декабре 1940-го я опять стала сотрудником Государственного литературного музея, но не для работы в каком-нибудь его отделе, а для участия в подготовке Всесоюзной лермонтовской выставки к столетию со дня гибели поэта 15/27 июля 1841 года. Это та самая уникальная выставка, которая была открыта всего один день. Ведь с 23 июля Москву уже бомбили. На следующий день после открытия мы стали сворачивать выставку, готовить к эвакуации драгоценные экспонаты, собранные со всех музеев Советского Союза. Не успели даже сфотографировать экспозицию, не был подготовлен каталог, не было откликов в печати. Никто не помнит этой выставки, как будто ее и не было. Между тем она являла собой некое новое слово и по своей структуре, и по оформлению, и по научному методу. Постараюсь, насколько это возможно при полном отсутствии письменных материалов, рассказать о том, что сохранилось в памяти.

Лермонтовский юбилейный комитет состоял при Совнаркоме, но административной и научной базой служил Литературный музей. Бонч-Бруевича там уже не было: как старого большевика и соратника Ленина, его затравили и «ушли» из созданного им заповедника уникальных рукописных и живописных материалов по истории русской литературы.

Владимир Дмитриевич собирал и покупал архивы еще здравствующих писателей. В деньгах нуждались все и охотно откликнулись на предложения музея⁹. Связной между писателями и директором была обаятельная и красивая Клавдия Борисовна Сурикова, преданная Владимиру Дмитриевичу. Писатели радушно принимали ее у себя дома, а приходя в музей, обращались к ней как к очаровательной хозяйке это-

⁹ В одном из ранних зарубежных изданий мне встретилось крайне наивное толкование этих взаимоотношений. будто писатели сдавали свои архивы в музей с целью сберець их от всевидящего ока ГПУ (или НКВД?). Не то место, дорогие комментаторы.

го уютного особняка. Такой я застала ее еще в 1936 году. И какую же перемену я наблюдала теперь, через четыре года! Случайно я узнала, что Клавдия Борисовна не может провести свой отпуск в доме отдыха. Зарплаты технического секретаря не хватало, чтобы оплатить путевку, а на льготы от профсоюза она уже не могла рассчитывать. Она жила одна с маленькой дочкой. По словам сослуживиц, фасадная сторона ее теперешнего существования была единственной ее утешью. Но и этой деятельности пришел конец.

Я была свидетельницей такого эпизода. Придя утром на работу, Клавдия Борисовна нашла на спинке своего стула чужой жакет. Вначале она не обратила на это внимания, потом стала удивляться, так как никто не приходил за своей вещью. Открыла ящик стола. Там лежали чужие папки. Она задала недоуменный вопрос оказавшейся рядом сотруднице. Та с тайным злорадством посоветовала ей подойти к доске приказов. Оказалось, что Клавдия Борисовна уже не секретарь, а переведена в какой-то другой отдел. Он помещался на втором этаже, в комнате, куда никто из писателей не заглядывал.

Этот способ снимать с должности неугодного сотрудника отвечал, видимо, особенной страсти начальников унижать людей. Такие приемы были в ходу в нацистской Германии. По крайней мере в послевоенном немецком фильме «Мы — вундеркинды» есть точно такая сцена. Разница только в том, что героя, служившего в издательстве редактором, отправили не наверх, а в подвал таскать и упаковывать книги. Интересно знать, кто у кого перенял этот метод изощренного хамства — нацисты у нас или мы у них.

Самое же удивительное, что Зинаида Федоровна Иловайская, так нагло занявшая место Клавдии Борисовны, оказалась впоследствии милейшей женщиной с трудной и даже героической судьбой. Я имею в виду ее самоотверженные дежурства на крыше музея во время войны.

Странно, что с обеими этими секретаршами у меня установились теплые личные отношения, а с научными сотрудниками общих интересов не было. Главное расхождение относилось к методике устройства литературных выставок. Они делали основной упор на словесный материал. Когда этим приемом пытались раскрывать «идейные» содержание сложных художественных произведений великих писателей, получался монтаж цитат. При таком принципе изобразительный материал — душа и ум всякой выставки — невольно оказывался в подчиненном положении. Пейзажи и портреты, «тексты» и мелкие предметы развешивались не только на стенах, но и на дверях, на изразцах голландской печи, на боковой стенке шкафа или на выступе стены, и все это подчинялось только логике тематического развития. Такая художественная слепота вызывала резкий отпор у опытного музейоведа и страстного коллекционера Николая Павловича Пахомова. Особой его специальностью был Лермонтов — живописное наследие и автографы. Естественно, что работник такого профиля с трудом мирился с тусклой экспозицией Литературного музея, а те в свою очередь обвиняли его в непонимании смысла творений Лермонтова. Известная доля правоты была в их утверждении. Пахомов придерживался традиционных правил развески живописных экспонатов, совершенно не считаясь с содержанием произведений поэта. Эту междоусобную войну я застала в самом разгаре, когда пришла в 1940 году. Но вскоре непримиримые противники были ошеломлены совсем новым веянием, ворвавшимся в их застарелую распря.

Для оформления лермонтовской юбилейной выставки были приглашены ученики и последователи К. С. Малевича — Николай Михайлович Суетин и Константин Иванович Рождественский. Они только недавно завоевали признание в административных кругах благодаря, как говорят, блестящему оформлению советского павильона на Всемирной парижской выставке 1937 года. Пахомов выходил из себя. Привыкший к стилизованному оформлению в ампирных московских особняках или усадебных домах, он насмешливо фыркал, знакомясь с проектами новых художников: «made in USA» и проч. Он персонально ненавидел Суетина и Рождественского, считая, что они «на ходу подметки режут». С другой стороны, бывшие сотрудницы Бонч-Бруевича вспоминали с презрением, как Суетин приходил в музей совершенно нищим: «Отвороты брюк превратились у него уже в бахрому». Зато полную поддержку новые художники нашли у Ираклия Андроникова — члена правительственного юбилейного комитета. «Если бы вы знали, какого труда мне это стоило!» — признавался мне Ираклий, как бы извиняясь за такой скачок в своей карьере.

До тех пор мы были с ним на равных правах членами Лермонтовской комиссии при Институте мировой литературы имени Горького, оба начинали с разработки проблем, поставленных Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, делились друг с

другом своими находками. У нас образовалось как бы разделение труда. Сферой его поисков были живые потомки лермонтовских современников, моей — архивные материалы, которые я разыскивала только в государственных хранилищах. У него уже было три публикации в журналах и газетах, у меня тоже. Но Иракий был очень популярен в артистических и литературных кругах благодаря своему уникальному дарованию имитатора, пародиста и рассказчика. Тогда оно считалось любительским. Он еще не пробовал свои силы в публичных выступлениях в Ленинградской филармонии и в Зале имени Чайковского в Москве. Но вся его ежедневная жизнь была работой актера. В каком бы учреждении он ни появлялся, он всегда шел прямо в кабинет директора. Очаровав по дороге всех сотрудников и секретарш своими показами и рассказами, он разворачивал их полностью в избранном кругу в директорском кабинете. Возвращаясь на выставку из командировки, он так расскажет и покажет прения в Пушкинском Доме, что скучное подчас литературоведческое слово начинало светиться пестрыми красками и согреваться тонким юмором. Такие рассказы Андроникова очень любил Николай Павлович Андциферов, и не только за искусство артиста, но и за умную и компетентную информацию. Андроников был прекрасным референтом.

Андциферов не примыкал ни к одной музейной партии, но с живейшим интересом относился ко всем. Я иногда миролюбиво попрекала его: плохо, мол, он разбирается в людях. «Вы оптимист», — говорила я, но он возражал с грустной и мудрой улыбкой: «Нет, я пессимист». Он был снисходителен к людям, потому что слишком часто сталкивался с нравственными уродами, например на следствии и в Соловках, где провел в заключении несколько лет.

В противоположность ему наши музейные литературоведы, уверенные в том, что новые художники-оформители ничего не понимают в литературе, сомневались: смогут ли воспринимать великие идеи русских гениев эти деловитые мастерские американской складки? Но оказалось, что они проникали во внутренний образ произведений Лермонтова лучше, чем профессиональные знатоки литературы. Помню, как К. И. Рождественский заметил в поэме «Монго» автохарактеристику поэта, которую никто из нас до тех пор не выделял из шуточного и фривольного текста этой гусарской поэмы:

Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах;
Порою трезвый — врал безбожно
И молчалив был — на пирах...

А Суетин, рассматривая портреты вдохновительниц лирики Лермонтова и вникая в характер отношений поэта с этими женщинами, заметил, что в любовных увлечениях Михаила Юрьевича преобладало психическое начало. Суетин выразил свою мысль косноязычно, вернее лаконично, потому что был вдумчив и медлителен в противоположность ловкому и обходительному Рождественскому. «Бык со скрипкой», — назвала я как-то Суетина в разговоре с Н. И. Харджиевым. Рассмеявшись, он ответил, что у Малевича есть картина «Корова и скрипка».

Больше всего мне приходилось разговаривать с третьим художником-оформителем — Борисом Владимировичем Эндером. Он не работал в Париже на Всемирной выставке и не был учеником Малевича, а шел в живописи своим путем. Начиная как ученик Матюшина, был абстракционистом. Суетин и Рождественский пригласили его участвовать в работе на нашей выставке как единомышленника и друга. На его долю выпало оформление моего зала.

Тут были представлены центральные произведения Лермонтова — «Герой нашего времени», «Демон», «Дума», «1-е января»... Добиваясь соответствия оформления глубинной тональности произведений Лермонтова, мы с Эндером часто беседовали о поэзии и искусстве. Между прочим, он много рассказывал о художнице и писательнице Елене Гуро, одной из первых кубофутуристов. С нею у него была совсем особенная духовная связь. Он все доискивался, где проявлялась «детскость» Лермонтова, без чего, по его мнению, нет поэта. А я, посвящая его в сущность моих находок, находила у него больше понимания, чем у специалистов-литературоведов, часто склоняющихся к догматическому мышлению в своей области.

Борис Владимирович, так же как и я, не умел разговаривать с начальством. Видимо, он нигде не мог ладить с администрацией и не умел добиться своевременной выплаты по предыдущему договору. Поэтому он приходил работать на выставку голодным. От меня он это скрывал, но при Андроникове однажды упал в обморок, и только тогда выяснилось, что он не обедает. Суетин и Рождественский старались,

чтобы он не попадался на глаза руководящим лицам, опасаясь, как бы он не вступил с ними в принципиальный спор об искусстве. Сами они легко обходились с идейными товарищами. Надо было видеть и слышать, как красноречиво защищал Рождественский проект оформления своего зала перед членами очередной комиссии. «Это будет художественно!» — вдохновенно говорил он, и те как замороженные таяли и верили ему. А он в своих оригинальных живописных работах добивался совсем другой художественности. У него была своя мастерская, где он работал с восьми часов утра до ухода на выставку. Это мелькало в разговорах художников, так же как и упоминание о «сумасшедших картинах», которые он по утрам пишет, и будто даже «ищет секрет разложения тканей» (?).

Так же как и для предшествовавшей знаменитой пушкинской юбилейной выставки 1937 года, Лермонтову были предоставлены залы Государственного исторического музея. Но пушкинская была богаче и по материалу, и по накопленному научному опыту. «Пушкин» занимал весь второй этаж с круговым маршрутом осмотра от главного входа с Красной площади до выхода через служебный подъезд напротив Никольской башни Кремля и ворот Александровского сада. А мы должны были расположить свою выставку в трех (или четырех?) залах на самом верхнем пятом этаже. Залы были огромные, потолки высокие, а окна узкие. Это давало неровный свет и мешало осмысленному, свободному размещению экспонатов. Наши художники решили эту задачу так: окна были закрыты. Свет был только электрический, кстати говоря, для верхнего света были куплены роскошные люстры XVIII века. Но дело не в этом. Получившееся ровное пространство очень длинных стен было перерезано наложенными на него деревянными рамами. Внутри этих геометрических фигур выгодно выделялись предметы искусства прошлого века. Вообще-то проблема сочетания современных форм и материалов со стариной бурно дискутировалась среди сотрудников Литературного музея. Они, по традиции, стремились к стилизации, вернее, к имитации пушкинской и лермонтовской эпохи во всем — в интерьере, в обрамлении акварелей и рисунков... Так ли это обязательно? Эндер свободно и изобретательно выбирал любые формы, подчеркивающие художественные достоинства экспонатов. Он умел гармонически сочетать предметы разных стилей.

Зал, оформленный самим Суегиным, особенно выделялся своей структурой. Это был последний зал, куда, по традиции, включались обязательные казенные темы о значении русского писателя для мировой литературы и о влиянии его творчества на советских поэтов и прозаиков. Я эти сюжеты терпеть не могла. Поэтому плохо помню подробности разработок в этом зале. Помню только, что Суегин создал блестящий в архитектурном отношении финал всей выставки. Это был подлинный апофеоз.

Первые два зала были оформлены по тому же принципу наложенных на стену рам, но это не бросалось в глаза. Там было царство цвета.

Зал первый — детство в Тарханах, Москва, юнкерское училище в Петербурге — оформлял К. И. Рождественский. Этот зал производил впечатление залитого солнцем. Стены переливались нежными акварельными красками. Я говорю об общем впечатлении, а не о реальном материале. Среди экспонатов, конечно, была не одна акварель, там были и масло, и графика, и карандашные рисунки, но общий тон зала был светлый, вернее, радужный в буквальном, а не переносном смысле этого слова.

Мне казалось, что Рождественский был особенным любителем дневного света. Я случайно слышала, как он говорил по телефону с соседкой по квартире, уточняя время чьего-то прихода к ним. Но ни слово «время», ни «который час» ни разу не прозвучало в его речи. Он только выяснял, где тогда был «солнышко».

Художники думают глазами. Цвет и линии говорят им раньше, чем логическая мысль. Я в этом убедилась, когда в первые дни войны делала с Рождественским передвижную выставку на тему «Отечественная война 1812 года». Изобразительные материалы мы выбирали из богатого фонда лубков Литературного музея. Я выбрала лист, изображающий Наполеона на берегу Немана, то есть перед началом наступления на Россию. «Нет, — возразил Константин Иванович, — возьмем этот». Тут было изображено то же самое, но на берегу стояло одинокое дерево. Я не обратила внимания на эту деталь. Между тем все ветви дерева были обращены в сторону Наполеона. «Видите? Дует противный ветер. Тут уже есть все»... Отступление из Москвы, бегство из России... — словом, неудача, поражение.

А Эндер по-своему читал «Героя нашего времени». Когда он решил украсить наш стенд восточным ковром, он исходил не из банального представления об убранстве комнаты кавказского офицера — над диваном персидский ковер, на нем красуются кинжал, пистолеты и прочее искусно отделанное оружие. Он не повторил этот стандарт, а шел от свежего впечатления, перечитывая роман. Борис Владимирович

так защищал свое намерение: «Ведь Печорин умер в Персии, а на Кавказе покупал в лавке персидский ковер, вы помните?» (Я ли не помнила!) И вот два небольших персидских ковра служили предметом декора, а не иллюстрацией к фабуле «Княжны Мери». Они были помещены наверху горизонтально и симметрично, дополнительно закрепляя форму всего отгороженного деревянными рамами пространства. Центром этого стенда служил портрет Лермонтова, окруженный портретами участников «кружка шестнадцати». Качество портретов было невысоким, но Эндер и тут нашел выход. Он тонко тонировал паспарту, выбирая оттенки цвета для картона, на который наклеивались рисунки и гравюры. В сочетании с пестрыми изображениями маскарада в Зимнем дворце, да еще с акварельными портретами «графини Эмили» и С. М. Висельгорской, олицетворявшими излюбленный Лермонтовым тип мягкой, женственной красоты, весь этот стенд воспринимался как симфония красок. Но общий колорит оставлял впечатление не яркого, а мерцающего света. Это соответствовало моему восприятию гениальной прозы Лермонтова. Ни то, ни другое не интересовало постоянных сотрудниц Литературного музея, и одна из самых влиятельных среди них заметила, поджав губы: «Слишком красиво».

Если бы речь шла о выставке, посвященной Некрасову, или Л. Толстому, или Достоевскому, такое замечание могло бы быть оправдано. Резкое падение эстетики быта в пореформенной России известно. Но в лермонтовское время, когда не только он, но и ближайшие его друзья хорошо рисовали, многие были музыкально одарены, когда сам Лермонтов в некоторых своих произведениях уделял особое внимание архитектуре и интерьеру, наконец, если вспомнить такие роскошные его баллады, как «Три пальмы», «Дары Терек», «Свидание» и «Спор», упрек в излишней красоте покажется совсем неуместным. Впрочем, мнение музейных «кадров» уже не имело влияния на судьбу юбилейной выставки. Гораздо хуже обстояло дело, когда еще до завершения работы нас посещали высокие руководители. Так, когда пришел Фадеев и увидел, что для стенда «Мцыри» я выбрала ведущим мотивом такой:

...да! рука судьбы
 Меня вела иным путем!
 Но нынче я уверен в том,
 Что мог бы быть в краю отцов
 Не из последних удальцов, —

он возмутился. Он твердо помнил, что герой рвался «от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв». Фадеев повторял уже заезженные романтические строки: «Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть...»

И было удивительно смотреть на Андроникова, всегда такого взрывчатого и воинствующего, когда он со смирением школьника выслушивал замечания своего высшего начальника — генерального секретаря Союза советских писателей. Он даже не пытался защитить мою версию, хотя в ту пору обычно шумно меня хвалил. Конфигурация стенда «Мцыри» мало переменилась из-за перемены эпитафии. Но вот стенд «Героя...» пришлось весь перестраивать из-за резких идеологических нападков В. Я. Кирпотина — ведущего марксистского критика, руководителя лермонтовской комиссии. Он возмутился близким соседством автора «Героя нашего времени» с портретами «шестнадцати». «При чем здесь эти аристократы? А где Белинский? где Герцен? где «Отечественные записки»? — гневно вопрошал он. Конечно, они все были у нас, но не в центре стенда. У нас был другой замысел. Мы стремились отразить процесс зарождения образа Печорина, а не его историко-литературное значение. Ведь понимание романа Лермонтова с течением времени, естественно, отдалялось от толкования Белинского. Не прошло и двадцати лет, как новейшая критика причислила Печорина вместе с Онегиным и Обломовым к разряду «лишних людей». Потом и это толкование уступило место другому. Нужно ли на выставке отражать весь этот исторический процесс? А мы хотели избежать казенной скуки, добиваясь воплощения нашего сегодняшнего современного понимания «Героя нашего времени». Честно говоря, я предлагала не на а ш е современное понимание, а только м о е толкование романа Лермонтова. Проникнуть в тайну движения подтекстов гениальной прозы Лермонтова я сумела несколько позже, уже во время войны, а додумать до конца и опубликовать свою концепцию мне удалось только через тридцать лет (в книге «„Герой нашего времени“ Лермонтова». М. 1976). Но выставка дело коллективное и официальное. Спорить с руководством у меня не было возможности. Мы смирились.

Эндер перестроил нашу экспозицию с новой изобретательностью. Общий вид стенда мало пострадал, но пропала идея, моя идея. Уверена, что, рисуя в «Думе» образ «нашего поколения», а в прозе — «современного человека», которого он «слишком

часто встречал», Лермонтов отталкивался от «шестнадцати». Однокружковцы, или одноклубцы, встречались почти ежевечерне как раз в ту пору, когда поэт написал «Думу» и работал над своим знаменитым романом. Мне не удалось высказать и доказать эту мысль со всей определенностью даже в 70-х годах. Этому препятствовало болезненное отношение нашего общества к бывшей российской монархии и ее титулованной знати. А ведь большинство «шестнадцати» были сыновьями именно тех царедворцев, которые, по выражению того же Лермонтова, стояли у трона «жадною толпой». Наше общество до сих пор (1992) относится к этой знати с непонятной остротой, будь то ненависть, выражающаяся в глумлении, будь то любование, доходящее до холопства. Я не теряю еще надежды написать в новом ракурсе о «шестнадцати», то есть о типе «русского денди» XIX века, образовавшегося после поражения декабрьского восстания («...богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом»). Это не те «русские денди», о которых писал Александр Блок в 1918 году под влиянием беседы с одним из своих младших современников. Лермонтовские «денди» почти все сгинули, не раскрыв себя, кто не дожив до тридцати лет, кто едва перешагнув через свое сорокалетие. Трое из них сражались рядом с Лермонтовым при реке Валерик. По рассказам очевидцев, они как будто сами искали смерти (Н. А. Жерве, князь А. Н. Долгорукий, барон Д. П. Фредерикс). Некоторые русские публицисты и мыслители улавливают тягу к гибели и в поведении самого Лермонтова на его последней дуэли с Мартыновым...

Вернемся, однако, к 1941 году. В первых числах июня, как мы помним, я видела Анну Андреевну Ахматову и Марину Ивановну Цветаеву в Марьиной роще у Николая Ивановича Харджиева. Но вот какая странность. Вспоминая об этом, я всегда была уверена, что это было в 1940, а не в 1941 году. Как-то я спросила у Николая Ивановича, когда же это произошло, и он уверенно тоже назвал 1940 год. Чем объяснить такую аберрацию памяти? Ведь только после специальных изысканий, сопоставлений разных косвенных данных и, наконец, после опубликования точно датированной записи Ахматовой всякие сомнения были отброшены. Первая, и последняя, встреча двух поэтов произошла за две недели до начала Великой Отечественной войны. Объяснение нашей с Харджиевым ошибки очень простое. До войны у нас была другая психология, и все тогдашние события слились в нашем сознании в одну эпоху.

Странное было это предвоенное время. В Москве установился какой-то притихший, выжидательный политический климат. Да, конечно, мы следили за событиями европейской войны. Достаточно вспомнить стихи Ахматовой о «погибшем Париже» и «Лондонцам», да еще об осаде Тобрука в Ливии (названной в «Поэме без героя», чтобы отвести от нас невольно возникающее обвинение в равнодушии и беспечности). Но как-то инстинктивно я, да и не только я, уговорила себя, что после финской кампании у нас войны уже не будет. Помню, как к нам на выставку пришел профессор Николай Леонтьевич Бродский и озабоченно заметил, не идет ли дело к войне Гитлера с Советским Союзом, — мне показалось, что я слышу голос из подземелья или откуда-то с далекой стороны.

Между тем работа над выставкой вступала в свою завершающую фазу. В залах Исторического музея стало появляться много новых людей. Приходили художники, интересующиеся новой работой Суетина и Рождественского. Конечно, часто заглядывал Николай Иванович, поощрительно рассматривающий находки своих единомышленников и личных друзей. Нередко посещал меня здесь и Евгений Яковлевич: дома в эти дни меня трудно было заставить, не забудем также, что генеральные репетиции и вернисажи были его стихией.

Предвернисажная суета шла полным ходом. Шрифтовики спешно что-то меняли в надписях под экспонатами, плотники и столяры подгоняли настенные рамы и мебель... Пахло деревом, краской, клеем, стучали молотки, пела пила — мы находились как будто в большой производственной мастерской. Это веселило. Вот Андроников и Рождественский вздумали изменить конфигурацию уже, казалось бы, законченного стенда. Они тащат лестницу и, хотя оба довольно солидной комплекции, по очереди лезут под самый потолок с молотком в руках, оставшийся внизу поддерживает лестницу и корректирует перевеску большой картины. Они перекидываются шутками, в которых Иракий, стоя наверху, выступает как актер и режиссер, увлеченный экспозиционер и энергичный и точный рабочий.

Иракий называет меня Эмма по примеру домработницы моих соседей, а я его Андрон. Здесь мы были с ним не только коллегами-лермонтоведами, но и соратниками по борьбе с нашими экстаичными музейными дамами. Наша сплоченность с художниками делала из нас особую партию в музее. Что греха таить — мы позво-

ляли себе лишнее в борьбе со своими «идейными» противниками. Мы попросту их третируем, что не делает нам чести.

Однажды Андроников вместе с художниками нечаянно перешли границу дозволенного. Я даже обрушилась на них чуть ли не с выговором. Они так небрежно отнеслись к необходимому совместному осуждению одной из тем выставки, что забыли о научной сотруднице, являвшейся автором экспозиции этого стенда. Она не без волнения готовилась защищать свою концепцию, разложив на полу все свои экспонаты в уже готовом порядке. А оппонентов нет, оказалось — их нет в музее. Невозможно было смотреть на жалкую фигуру этой женщины, обычно такой заносчивой и самоуверенной. А отойти от ценнейших экспонатов, разложенных на полу, она не могла ни на минуту. Наконец все трое вернулись в музей заметно приободрившиеся и повеселевшие. Видимо, они были в ресторане, где пообедали, как полагается настоящим джентльменам. Правда, Андроников никогда не брал в рот спиртного. Он говорил, что ему не нужно пить, он и так как пьяный — пьян от жизни. Когда другие пили, он вдохновенно импровизировал. А когда Андроников разыгрывал свои рассказы, слушатели забывали о времени. Очевидно, так случилось и на этот раз. Кстати говоря, это было слабым местом его блистательного дарования. Он иногда затягивал процесс своих перевоплощений. В этом сказывался его дилетантизм. Я не раз наблюдала, как он не мог вовремя выйти из образа. Не он управлял своими гротескными персонажами, а они владели им. Иногда даже жутковато было смотреть на него во время таких «сеансов». Надо думать, что после войны, когда он стал выступать публично в больших концертных залах, он приобрел чисто профессиональное мастерство. Темп и ритм работы ему диктовала заполненная до отказа аудитория. Это уже не то что вызывать восхищенную благодарность маленького кружка знатоков.

Вот какой полной жизнью я жила эти полгода. Мне даже приснился незабываемый по ощущению сон как «предчувствие блаженства», по слову Лермонтова.

Предметного его содержания я не помню. Но возник он на необычном фоне. За окном что-то происходило. Шли машины. Наступавшая на минуту тишина прерывалась нестройным хором грубых мужских голосов, и опять этот однообразный грохот тяжелого транспорта, бог знает как попавшего на нашу глухую улицу. Он меня будит и опять убаюкивает. Я просыпаюсь окончательно уже полным утром. Лежу, не встаю, стараясь удержать еще несколько минут непонятное чувство смутной радости, владевшей мною всю ночь.

Внезапно дверь без стука распахивается. В комнату стремительно входит мама, никакого «с добрым утром», она произносит только два слова:

— Германия напала!

...Почему перед бедой часто снятся счастливые сны? Не знаю.

А стихи Лермонтова звучат так:

...Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

(«Мой демон»)

Каждый помнит, как он прожил день 22 июня 1941 года. Один сразу получил повестку в военкомат и с этого дня больше не принадлежал себе. Другой не получил, но сам явился в военкомат или в райком партии, требуя, умоляя, настаивая, чтобы его послали на фронт. Третий был ошеломлен и испугался. А некто узнал о войне, когда еще все спали, потому что жил на даче и слушал по радио иностранные передачи. Он добрался до Москвы самой ранней электричкой и оказался первым перед еще закрытой дверью сберкасс. Ровно в восемь часов утра он успел снять с личного счета весь свой вклад. Это был смысленный человек. Распоряжение заморозить сбережения населения до окончания войны пришло позже.

Всякие я слышала рассказы об этих первых днях войны, но ни в устных передачах, ни в документальной хронике, ни в художественной литературе мне не случалось прочесть об одной подробности. Говорилось и о добровольцах, о зенитках и дирижаблях, устанавливаемых на улицах... Но нигде не было сказано, что все молодое поколение вышло на улицу.

В хорошее лето в Москве бывают в конце июня и в июле свои белые ночи. Темнота наступает на какой-нибудь один час, и он не оставляет следа в сознании. Спать

не хочется. В одну ночь юноши и девушки поняли, что пробил их звездный или смертный час. От волнения они не могли оставаться дома. Им хотелось быть вместе, но не в семье.

В первый день какие-то группы организованно пошли на Красную площадь. Только что они принимали здесь поздравления с окончанием средней школы, праздновали начало новой жизни. Но на этот раз их никто не встретил. Не до того было. Следующие группы растеклись по всему городу. К ним присоединялись новые. Но они не строились в колонны, не связывались руками в цепи, не пели, не несли плакаты. Постепенно они заняли все мостовые на улицах и просто шли, кто по двое, кто по трое, а больше в одиночку, молча, изредка перекидываясь словами с идущим рядом. Вдумчивые и взволнованные, они прощались с московскими улицами, дворами, друг с другом. Поколение шло навстречу своей судьбе.

В один из таких первых дней я вышла из Исторического музея вместе с Харджиевым. Мы мало разговаривали.

- Сегодня умер один писатель, — прервал молчание Николай Иванович.
- Кто же это?
- Зоценко.
- Как?!
- Зоценковский человек умер. А другой писатель возродился:

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Это были строки из стихотворения Н. Гумилева «Наступление» (1914 год).



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. ПЭНЭЖКО

*

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Попытка группового портрета в посткоммунистическом интерьере

Заклятый враг марксизма, социолог, историк, экономист, юрист, неокантианец, создатель конструкций исторического процесса Макс Вебер еще где-то в начале нынешнего столетия писал, что вопрос о движущих силах капитализма вовсе не сводится к тому, есть у тебя деньги или нет. Достаточно предпринимательского духа. Если он имеется, остальное приложится...

I

Черт меня дернул попасть в Питер накануне референдума и сразу же после выступления Рущкого на съезде депутатов. Пока доехал от Московского вокзала до Адмиралтейства, дважды чуть из троллейбуса не выбросили. Первый раз за признание, что проголосую за Ельцина, второй — за попытку поучаствовать в разговоре с позиции критика реформ. В результате пришлось выйти не на той остановке, потому что некая коренная «петербуржка» облила меня презрением за то, что я поинтересовался у нее, где поближе сойти к Адмиралтейской набережной. Мне было категорически на весь салон указано, что такой набережной не существует.

Под овейанными славой стенами Адмиралтейства парнишки в мешковатых матросских бушлатах без усердия выполняли комплекс физупражнений, явно заимствованный у оздоровительной группы для пенсионеров. У подножия насупленного Исаакя какие-то недоросли, несмотря на ранний час, уже гоняли мяч и так яростно друг друга посылали, что вороны с фронтонов собора шарахались к небесам.

Северная Пальмира легко пробуждалась от беспокойного сна, чтобы выслушать и прочитать очередную порцию гадостей: про правительство и парламент, про мэра и горсовет, про ежедневный пятнадцатимиллионный торговый оборот городского наркобизнеса, про 105 тысяч преступлений в прошлом году и про такое же количество петербуржцев, покинувших родину навсегда. (Надо думать, уезжают наиболее слабонервные. Народ покрепче остается, хотя и продолжает нести потери. В прошлом году 866 человек погибли от рук преступников...)

Сейчас любого спроси, и вам скажут, что Питер стал городом поистине неограниченных человеческих возможностей. Ну, скажите, на что в наше несуразное время может согдиться яхт-клуб Кировского завода? Представьте — это в полном смысле золотое дно. Два армянина оборудовали там лабораторию и успешно «мыли» золото из ворованных на военных заводах радиодеталей. Остается только пожалеть, что ребята не поняли простой вещи — в наше время подпольный бизнес бесперспективен. Раз уж страна вступила на путь легального предпринимательства, то не надо портить общую картину. Тем более что в открытую сегодня можно делать буквально все.

Пришла пора показать миру, что наши предприниматели — это не только спекулянтское или партийно-номенклатурное отродье, живущее сегодняшним днем, стремлением побольше хапнуть и подальше смыться, но и достаточно солидные люди с твердыми принципами, с ясно сформулированными целями. И даже в наше сумасшедшее время они не теряют головы и думают о том, какой станет страна в ближайшие годы при самом деятельном их участии во всех преобразованиях.

В те сумасшедшие предреферендовские дни в Питер не побоялись съехаться четыре с половиной сотни банкиров из Азии, Америки, Европы и СНГ. Съехались обсудить стратегию и тактику экономического взаимодействия Востока и Запада. Именно на берегах Невы, по замыслу организаторов конгресса, предстояло опроверг-

нуть известный тезис Киплинга, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».

Несмотря на все разногласия властей и предпринимателей Питера, в одном их интересы совпадают полностью: Северная Пальмира должна стать одним из крупнейших финансовых центров России, СНГ и Европы.

— Именно мы, финансисты, продолжаем сегодня дело Петра Великого, — говорит не без гордости Юрий Львов, председатель правления банка «Санкт-Петербург», — превращаем «окно в Европу» в евразийский финансовый мост.

Вообще мне хотелось бы привести некоторые высказывания этого относительно молодого банкира. Потому что в отличие от многих говоривших, он (так уж мне показалось) был самым искренним:

— Как практик я отчетливо сознаю, что за день не повернуть экономику такой огромной страны (да и вообще никакой страны) в русло здравого смысла. Хотел бы я встретиться с теми экономистами, со слов которых бывший президент СССР утверждал, что если даже все республики отделятся от России, она через четыре года станет самой процветающей державой в мире. Я бы им сказал пару приятных слов. Хотя мы действительно богатейшая страна, ибо где еще в мире правительство и граждане могут себе позволить семь лет кряду проводить в дискуссиях и рассуждениях, не ударив пальцем о палец. И при этом не умереть с голоду! Сегодня нет политика, который бы не стонал по поводу ухудшения дел в экономике. Притом это какие-то «целевые» стоны, продиктованные тактикой политической борьбы. А между тем на уровне практической экономики, можно сказать, «не благодаря, а вопреки» идут необратимые процессы созидания. Только наши государственные мужи почему-то не хотят их анализировать. Не говоря уж — подержать...

Ну и дальше в том же роде, вплоть до... «Мы избрали свой путь развития, в котором нет места люмпенам от экономики и политики». Помню, речь его приняли, как бы это сказать... ни холодно ни жарко. Со сдержанным одобрением скорее всего. Меня же в ней заинтересовал пассаж о «необратимых процессах созидания», которые где никто не анализирует. Где же это у нас такие процессы скрываются под толщей всеобщего экономического безобразия?

Пришлось поближе познакомиться с самим адептом этих процессов — Львовым.

Юрий Иванович — профессиональный финансист, хотя и пришел в эту систему всего двадцать лет назад (сейчас ему сорок восемь), а до этого еще десяток лет простоял у станка, потом учеба в институте... Он начинал с кредитного инспектора на восьмидесятирублевом жаловании в областной конторе Стройбанка и за какие-то пять лет дослужился до начальника горуправления. В сорок два года стал начальником областного управления Жилсоцбанка.

— Тогда-то мы и начали борьбу за разумную самостоятельность, — вспоминает теперь Львов эйфорический конец 80-х, когда банки стали переходить на хозрасчет, зарабатывать средства и уже всерьез подумывать, как сбросить ярмо центра.

Как раз у этого клиент настоящий появился: кооперативы, совместные, малые и прочие частные предприятия, которые все больше превращали наших советских «банкиров» — на самом деле всего-навсего счетоводов и контролеров — в то самое, чем они должны быть на самом деле. Если брать терминологию Владимира Даля, то — в «купцов, торгующих деньгами и денежными бумагами, занимающимися учетом векселей и переводами по ним платежей с одного места и государства в другое, удерживая за это известный процент в свою пользу». Впрочем, на первых порах они не столько торговали, сколько были обдираемы государством. Свой горбом заработанный уставной фонд им пришлось дважды выкупать у ЦРБ.

Между прочим, еще в 1765 году граф Григорий Орлов организовал в Санкт-Петербурге Вольно-экономическое общество, дом которого находился поблизости от банка Львова — на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. Вельможи Екатерины горячо обсуждали там идеи Адама Смита, Рикардо, Петти, теории физиократов. Кстати, и о том, как хорошо бы и России на британский манер завести банки. Приводили в пример господ Дугласа и Герона, самоотверженно учредивших специальный банк для облегчения стесненного положения страны. Нам бы, мол, такой тоже не помешал...

Однако же и в России первый банк был открыт из гуманных (как ни странно) побуждений императрицей Анной Иоанновной в 1733 году. Имея в виду недостаток кредита и чрезвычайно высокий размер процента — 12 — 20, «чего во всем свете не водится», она повелела открыть ссуды из монетной конторы из 8 процентов под залог золота и серебра. «А алмазных и прочих вещей, также деревень и дворов под залог и выкуп не брать!» (Это вам не Центробанк, готовый своими манипуляциями с обменом денег последнее вытянуть у народа.)

Уже первые жалкие ростки реформы потребовали от питерских банкиров гораздо больше оперативности и самостоятельности. Но все решала Москва, все надо было согласовывать с главной конторой Жилсоцбанка. Попросили было ленинградцы дать им куче права дочернего банка, но председатель правления Букато категорически им отказал. До указа Ельцина о национализации и коммерциализации банков России центр побороть было невозможно. Однако идеи демонополизации и коммерциализации экономики и финансов уже так плотно ступились в атмосфере, что московские министры забеспокоились и тут же придумали себе великолепные отходные позиции. Они собрали со своих предприятий средства якобы для взаимопомощи в условиях реформ, а когда российское правительство взялось менять структуру управления, тут же эти средства прикарманили и на месте ликвидированных министерств учредили банки, биржи и страховые компании. После этого петербуржцы долго смеялись над москвичами по поводу того, что если раньше в столице было полтысячи с лишним министерств, то теперь там 600 банков. В одночасье Нью-Йорк переплюнули великие реформаторы...

Когда же обнаружилось, что не вся еще номенклатура должным образом построена, тогдашний директор Центробанка Матюхин обрушился на своих подчиненных в областных и региональных отделениях, обвиняя их в стремлении сохранить монополизм банковской системы. Дескать, рынок требует, чтобы каждая сберкасса стала банком. Прекрасно, только где же вы возьмете ресурсы для всех этих банчиков, когда стремительно нарастает кризис наличности и неплатежей? Где взять специалистов для новых форм обслуживания клиентов, технику, помещения, компьютеры? До сих пор еще наши межбанковские связи осуществляются телетайпом, в который можно запросто входить фальшивым авизо и грабить страну почем зря!

Петербургцы посоветались меж собой, провели собрания и решили пока сохранить свою филиальную систему. Мало того, точно так же демократически они пошли на чрезвычайно рискованное даже сегодня (а уж о ситуации трехлетней давности и говорить нечего) предприятие: создали акционерное общество открытого типа. Причем с настоящими акциями в их классическом исполнении, для чего основательно изучили отечественный дореволюционный и современный зарубежный опыт. Для этого Львов приглашал выпускников технических и экономических вузов и не боялся, не скупился посылать их за границу, хотя среди старых работников это порой вызывало ропот.

— Конечно, — смеется Львов, — открываться в условиях политического, экономического, юридического, человеческого и черт знает еще какого кризиса — авантюра. Когда был путч, нам телефоны оборвали клиенты. «Забирайте, мол, ваши бумажки и верните наши деньги». Но, на счастье, все очень быстро кончилось

— Тогда, утром девятнадцатого августа, вы... очень перепугались?

— Нисколько. Но взяла лютая тоска: господи, подумал, да когда же они уймутся?! Но вышел на улицу и как-то сразу понял: никакого путча на самом деле нет. Работаем как работали...

На момент акционирования у банка было 4 тысячи клиентов. Сегодня их в пять раз больше. «Авантюра» окупилась сторицею. Недаром у того же Владимира Далея записано еще и второе значение банка: «Азартная картёжная игра, где один (банкир, банкомет) держит банк, отвечает на известную сумму, а другие (понтеры) ставят на любую карту».

...Все-таки дивный город Санкт-Петербург! Такое впечатление, что его не Петр, а Альберт Эйнштейн сочинил в доказательство своей общей и частной теории относительности. Именно здесь, в городе белых ночей, с пространством и временем происходят чудеса, на всей прочей территории страны явно недопустимые. Ну, посудите, я уж не говорю о Москве или Смоленске, какой-нибудь Сургут, о котором вспомнили лишь во времена брежневского нефтяного безумия, на целый век (если не более) старше Питера. Но именно с петербургских улиц, набережных и мостов на вас веет глубиной веков. Город этот наполовину, если не более, построили иностранцы, однако все здесь каким-то странным образом пропитано величием русского гения. На этих улицах даже злодейство принимает литературный или просто фантасмагорический характер.

Вот недавно на Пращской двое вломились в квартиру, а когда всполошившиеся хозяева высыпали им навстречу, один из налетчиков грозно предостерег: «Спокойно, я Дубровский». Потом в милиции так оно и оказалось. Фамилия самая что ни на есть подлинная.

Задумали в суворовском училище возродить благородные традиции прежних хозяев своих апартаментов — Пажеского корпуса. Учредили музей. Сам барон Фальц-Фейн передал им вещи своего дедушки — директора корпуса. И как назло двое

воспитанников не выдержали искушения: «приватизировали» непосредственно из экспозиции знак об окончании корпуса — Мальтийский крест из белой эмали, знак Егерского полка и юбилейный к 300-летию дома Романовых герб императорской ссмы.

Но самой «красивой», вполне в духе «червонных валетов» прошлого столетия, была операция молодых прохиндеев по изъятию у 350 тысяч петербуржцев ваучеров под 250 процентов годовых. Власти подсчитали, что одно только расследование этого мошенничества обойдется им в полсотни миллионов рублей.

Как же мудрено, должно быть, посреди такого разгула удержаться в рамках закона, да еще блости при этом интересы своих акционеров и клиентов.

Хотите верьте, хотите нет, но у Центробанка еще в начале прошлого года процентная ставка была 25. Потом ее неизвестно почему взвинтили до 80, а там и выше. Банк «Санкт-Петербург» вплоть до прошлогодней весны держался на 42 процентах, а больше половины всех кредитных ресурсов направил приватизированным предприятиям легкой и текстильной промышленности под совсем неправдоподобные проценты от 8 до 25. И обещанный дивиденд выплатили акционерам как положено, несмотря на все фокусы гиперинфляции. Правда, дивиденд по нынешним временам достаточно умеренный — полторы сотни процентов. Зато полная гарантия надежности. В конце концов каждый волен выбирать: 250 и вполне реальный шанс остаться с носом или же на сотню скромнее, но получение с неотвратимостью судьбы. Как в бессмертной опере: «Что наша жизнь? — Игра!»

...Признаюсь, в какие-то моменты нашей беседы со Львовым я внезапно терял привычное ощущение совковой реальности и вдруг начинал примеривать на моего собеседника образ Чекалинского из «Пиковой дамы». Помните... «Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою».

Да, думал я, глядя на Львова, этот ведь тоже не даст никому «загнуть лишний угол», и пусть ему до шестидесяти еще далеко, но на всякое сомнительное предложение у него наверняка есть что-нибудь такое, универсально учтивое: «С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка счетов прошу вас поставить деньги на карту».

— Взгляните на Италию, — пригласил меня хозяин кабинета, и я невольно бросил взгляд на окно, за которым, как сто, тысячу и более лет назад, текла холодная Нева, — там ситуация во многом напоминает нашу. Парламентарии, политики ругаются, дискутируют, разоблачают, мафиози убивают, газеты путают, но люди имеют все необходимое: две машины на среднестатистическую семью, полные прилавки в магазинах, бытовой комфорт... А ведь там очень высокий удельный вес госсектора. Но то, что обеспечивает жизнедеятельность человека, находится в частных руках. Возьмите Америку. Вашингтон — арена политических баталий. Нью-Йорк — международный финансовый центр. Каждый из этих мегаполисов живет по своим законам, приводится в движение своим четко отлаженным механизмом. А его-то нам сегодня больше всего не хватает...

И в подтверждение своих слов банкир привел пример с теми же приватизационными чеками.

Идея сама по себе неплохая, ибо предусматривает перелив капитала из одной формы в другую. Но кто этим должен заниматься, сам владелец чека? Это значит — отдать его во власть всякого рода жулья. Эффективное движение чекового капитала должно было обеспечить само государство, создать для этого региональные инвестиционные фонды, выдающие лицензии коммерческим структурам, контролирующим их ликвидность и надежность. Потому что именно от благополучного движения этого чека из одной формы собственности в другую зависит его цена. Но вместо реализации такой простой вещи мы ударились в дискуссию, почему там 10 тысяч указано, а не 50. Тем временем идеологическое обеспечение реформы благополучно провалилось. А это самое худшее...

Нет, мистический город Питер. Передо мной сидел еще сравнительно молодой человек с безупречной внешностью потомственного госчиновника, с княжеской фамилией Львов, в роскошном кабинете с майоликовым камином (бывшей буфетной дворца великого князя Владимира Александровича) на втором этаже флорентийского ренессансного палатца, построенного архитектором А. Резановым в 1864 — 1872 годах.

Этот в юные годы фрезеровщик литейно-механического завода, прочитавший в восемнадцать лет прямо у станка, в перерывы и перекуры, «Один день Ивана Денисовича», стал через тридцать лет инициатором и участником многомиллиард-

ного проекта «Европа — Америка-500», осуществленного за восемнадцать недель, возродил петербургское музыкальное общество имени Гайдна, поддерживает оказавшиеся в финансовом кризисе литературные журналы, вкладывает деньги в реставрацию памятников архитектуры. И он же, по собственному признанию, год «ползал на коленках» перед малым Советом Санкт-Петербурга, вымаливая его согласие на решение мэра передать ему в аренду с обязательством сделать полную реставрацию этот замечательный дворец на набережной, находящийся между Зимним и Адмиралтейством. И он же собирается вкладывать деньги в реализацию проекта строительства огромного современного порта в Лужской губе, которая сейчас проходит экспертную апробацию.

Когда его невзначай спрашивают, не от княжеского ли рода его фамилия, Юрий Иванович в своей неизменной учтивой манере терпеливо объясняет, что отец его 33 года проработал на кожевнном предприятии «Марксист» и скончался от рака желудка сравнительно молодым, потому что для такого производства эта болезнь считается профессиональной. А вообще-то они, Львовы, из потомственных псковских скобарей. Ремесло их древнее, в народе уважаемое.

Так что по-своему наш банкир — человек весьма родовитый. Может быть, поэтому ему претит роль ростовщика. Или дельца, зарабатывающего на чьем-то безденежье. Он — посредник между производителем и потребителем. Это как три сообщающихся сосуда: резко повышается уровень в одном, в других настолько же падает, и вся система разбалансируется. Приемлемые цены, хороший спрос, умеренный процент — вот самое работоспособное состояние экономики. Это когда всем более-менее хорошо. И тогда не слышно стонов: «Ах, в западные банки утекает капитал»... А что сделано, чтобы он не «утекал»? Ничего. А что надо сделать?

Львов пожимает плечами в некоторой досаде, что приходится объяснять такие простые вещи:

— Перестать жить сиюминутным интересом, взвинчивать налоговую ставку, чтобы закрыть дефицитный бюджет. Мы его никогда не закроем, если задушим налогами производство, частную инициативу. Помните, года три назад мы уже видели на прилавках продукцию наших кооперативов. Пусть не германского-французского качества, но она уже вселяла надежду. Где это все теперь? Капитал неизбежно утекает, если правительство не защищает своих предпринимателей, не дает льгот начинающим производителям.

Львов убежден, что все сегодняшние беды наши проистекают еще от «великого Октября», когда политика стала диктовать экономике. По сути, и перестройка не изменила этого положения вещей. И реформа экономическая покатила по ленинским рельсам. А если кто сомневается, то вот вам последний обмен денег. Чем не большевистское мероприятие. На все 100 процентов. А как можно так походя менять через день налоговую политику и задним числом заставлять предпринимателей вносить в казну значительные средства? Естественно желание промышленника, заводчика защитить свой труд.

— Впрочем, — и в голосе Львова сквозит ирония, — мы ведь с вами понимаем, что с Россией из-за такого пустяка, как чьи-то деньги, никто не будет ссориться. И если возникнет серьезная потребность вернуть эти валютные средства, их вернут. Гем более что нашему бизнесмену вложить свои средства в какое-то западное дело практически невозможно. Там все ячейки инвестиций давно распределены и закреплены.

Создали бы здесь нормальные условия для развивающегося бизнеса, обеспечили его законами, подкрепили льготами, и не надо было бы никаких иностранцев зазывать. Сами бы ринулись инвестировать и строить. Западу нужен равный партнер, работающий в том же режиме. А если к нему выходит некий полугосударственный монстр с непонятной формой собственности, неизвестной программой и номенклатурой изделий, с туманной перспективой — на какой основе сотрудничать?

По идее Львова, правительство сегодня должно выступать в роли мудрого врача, исповедующего первую заповедь эскулапа: «Не навреди!»

Но как не навредить, если не пресечь безудержного нормотворчества, которое сейчас превзошло даже худшие времена ведомственного произвола. Сегодня все: и частные, и государственные, и смешанные предприятия вынуждены поддерживать себя на плаву всякого рода коммерческой деятельностью. А, как сами понимаете, в наших все еще сугубо советских условиях грань между коммерцией и спекуляцией весьма размыта, а в законах так и вовсе не ощутима. В любой момент может выйти очередной пустопорожний указ по борьбе с коррупцией, и компетентные органы в целях быстрого реагирования и хорошей отчетности... Наверное, продолжать не надо. Конечно, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Но нельзя, чтобы карась страдал бессонницей от страха. В конце концов, он просто вымрет, и что тогда делать щуке?

Кстати, от нынешней реформы можно перекинуть мостик в недавнее прошлое, к павловской. И тут обнаружится наше величайшее неумение учиться на своих ошибках. Как и сегодня, тогда утверждали, что в обмене купюр есть определенный смысл...

— Расчет был на обмен денег в течение трех часов, — вспоминает Львов как самый непосредственный участник тех бурных событий. — Но наши государственные мужи давно уже не знали состояния дел на местах. Понятия не имели, как возросла наша клиентура. А материальная база, пропускная способность оставались на уровне царя Гороха. На счетах работали, которые еще в первой половине прошлого столетия так поразили маркиза де Кюстина на Нижегородской ярмарке. В результате — обмороки, инфаркты, истерики, потасовки с проклятиями в адрес правительства. И нам, конечно, ни за что ни про что досталось, хотя наши девчонки работали просто на предельно человеческих возможностях. Потом пришла правительственная телеграмма (прочухались) продлить на четыре часа, потом на второй день, на третий. За это время все благополучно обменяли свои деньги. И в первую очередь разного рода мафиози, чьи средства не были зафиксированы должным образом в каких-либо структурах.

Интересно, что та, прошлая денежная реформа создала у Львова впечатление, что истинным побудительным мотивом ее была самая обыкновенная конкурентная борьба. Те, кто успел легализовать свои капиталы, решили отсечь тех, кто не успел, чтобы обеспечить себе благоприятную обстановку. И в этой догадке, по-моему, есть рациональное зерно. Согласитесь, жуткая с точки зрения здравого смысла ситуация, когда по стране ходят двойные деньги — наличные и безналичные. Причем вторые, как показала многострадальная жизнь, — невероятно питательная среда для всякого рода авантюры и афер. От почти легальных, когда в условиях так называемого хозрасчета наши министерства и ведомства выбили себе различные льготы и зарабатывали деньги, не подтвержденные ничем материальным, до полного криминала, когда безналичку обналичивали по фальшивым авизо. А сверх того...

— Неготовность банковской системы к оперативному обслуживанию ежедневно нарождающихся предпринимательских структур. Прежде всего техническая... Любая реорганизация банков — это государственная задача. И оно, государство, должно выделять для этого значительные средства.

— И даже коммерческим банкам?

— Безусловно. Потому что стержень экономики — это коммерческие банки. А Центробанк здесь выступает своего рода регулировщиком, способствует развитию цивилизованных банков. На Западе именно так и обстоят дела. Слава Богу, смогли туда съездить, своими руками пощупать и убедиться, что чудес не бывает. Есть дурь совковая и есть здравый смысл, есть кропотливая жесткая работа, ответственность каждого, рискующего собственным карманом.

Любопытно, что сейчас тишком в среде государственных финансистов и в правительстве протаскивается идея возрождения специализированных банков. А это не только конец реформе, а обращение вспять. Потому что коммерческий банк теперь стоит либо на капитале частной фирмы, либо отдельного гражданина. Клиенты того же Львова, легкая и текстильная промышленность, — это уже не госсобственники. Банк сегодня на свой страх и риск вкладывает в развитие малого и среднего бизнеса. Причем государство ему ничем не гарантирует, что вложенные деньги вернутся. Только накопленный опыт обеспечивает возвратность 99,7 процента. Банк «Санкт-Петербург» надежно страхует сам себя.

И Львов не может понять, почему же правительство, взявшись проводить реформы, не хочет подобным же образом себя подстраховать. Простой вопрос: с кого начинать? С деревни ли, где дефицит рабочей силы, или с города, где она в избытке. Почему-то начали с деревни, с идеи выйти из колхоза-совхоза с землей и техникой. Го есть хозяйства и так еле сводили концы с концами, теперь еще и это. Как бы вы ни относились к нашим так называемым баронам, но поставьте себя на место председателя колхоза или директора совхоза. И все сразу будет ясно.

Теперь город. На всех госпредприятиях избыток расбились. Ясно, что акционирование и разгосударствление автоматически повлечет за собой отсев процентов на тридцать. Куда идти этим людям? На улицу, строить баррикады? Нет, разумный руководитель, чтобы снять грядущее социальное напряжение, загодя создает фонд своих безработных примерно на треть от общего. Он знает, что отсеивать придется самых слабоквалифицированных, тех, кто сравнительно недавно пришел из деревни. Так вот пусть и возвращаются домой хоть с небольшим, но капиталом и начинают самостоятельное дело. Фермерство, сервис, торговлю — что угодно. Там у них наверняка еще конь не валялся на неозримом поле свободного предпринимательства. Вот вам подход к проблеме безработицы. Фермерство и страховки — гарантия необратимого движения реформ.

У Львова на все свой собственный взгляд. Например, он считает, что не политики развалили СССР, а... хозрасчет.

— Вы помните, как Эстония дралась за него? — в глазах Львова загораются веселые искорки. — Так вот, на сегодняшний развал СССР я смотрю как на определенную фазу перестройки наших экономических взаимоотношений сообразно здравому смыслу. В дальнейшем все равно никуда мы друг от друга не денемся, только взаимоотношения перейдут в иное качество. Подтверждение тому — Финляндия. При любом режиме она остается связанной с нами достаточно прочно. Кстати, сейчас она в трудном положении. Там привыкли работать с нами на межпарламентских соглашениях, гарантированных на все сто процентов государством. Сегодня этого, увы, нет. Сегодня приходится рисковать. А они разбаловались, за семьдесят-то с лишним лет. Морально не готовы к риску на российском рынке. Но и это пройдет...

И вообще наследие недавнего прошлого не только мы тяжело переживаем. Наши западные партнеры (те же американские бизнесмены) в не менее трудном положении. К примеру, до сих пор не могут усвоить, что у нас уже три года действует двухуровневая банковская система, что в разгосударствлении и акционировании предприятий теперь участвует частный капитал, что в стране работают частные биржи, страховые и прочие компании, концерны и холдинги.

— Они ведь судят по нашей прессе. А там все борьба Хасбулатова с Ельциным, Геращенко с Федоровым, кругом мафия, коррупция, обнищание, красные, белые, коричневые... Да это ж не государство, а какая-то жуткая Сицилия размерами в одну шестую света.

Или опять же с курсом рубля по отношению к доллару. Понятно, что в свое время еще Госбанк СССР стал устраивать аукционы валют, только чтобы изъять у министерств неотокупленные рубли, которых они за счет льгот набрали великое множество. Но кто допустил, чтобы внутренний биржевой курс распространился на международные контракты?! Разве сегодняшнее положение может отражать реальное соотношение рубля к доллару, когда основная масса валюты не выходит на биржу? Ведь это же абсурд! За счет акционирования основных фондов, приватизации, включения в оборот недвижимости стоимость рубля должна возрастать. Это азбука экономики. Но мы видим нечто совершенно необъяснимое, какое-то надругательство над здравым смыслом.

Мы живем во власти химер. «Закрывать дефицит бюджета любыми путями». Зачем? Все цивилизованные страны, особенно те, где граждане живут припеваючи, имеют дефицит бюджета. Ну, если уж так приспичило, сокращайте государственные расходы. Бюрократию, убыточные производства, заграничную армию, зарубежные представительства... Есть источники пополнения казны за счет самой обыкновенной экономии. У нас в каждом поселке могучий крикливый парламент. То бишь Советы. Такой карикатуры на демократию нет ни в одном цивилизованном государстве. Слишком дорогое удовольствие для местного бюджета.

У нас как-то во всем недомыслие. Когда ушел со своей реформистской риторикой Горбачев, он оставил после себя руины. И у Гайдара, как теперь утверждают, просто времени не было проводить сначала демонополизацию производства и только потом освобождать цены. Его ход был вынужденным. Допустим. Но что мешало обеспечить взаимные платежи по чудовищно подскочившим ценам адекватной наличностью? Ведь тем-то и отличается государственный муж от нас, смертных, что он обладает даром предвидения. А если не обладает, то какой же он, к черту, муж!

— В итоге, — печалится Львов, — в июле девяносто второго Гайдара пролоббировали как следует и вырвали колоссальный кредитный ресурс на пополнение оборотных средств, на различные программы. А где теперь эти деньги? Когда я бываю за рубежом, — говорит с иронией Львов, — меня неизменно спрашивают: «Вы какую модель строите — американскую, шведскую, немецкую?» Какая чепуха! И как близко сегодня сошлись буржуи с большевиками в своей уверенности, что из живых людей можно что-то строить. Мы с вами создаем общество, в котором бы нам хорошо жилось. Нам, со всеми нашими недостатками и достоинствами, которых нет ни у кого другого. Мы уже семьдесят с лишним лет моделировали. Будет.

Когда к нему явились американские эксперты, первым делом Львов попросил их охарактеризовать его сотрудников. Те доложили: образование лучше, чем у наших, но профессионально ваши слабее. И это понятно. Когда всю жизнь работаешь по инструкции, зачем тебе развивать профессионализм. Тем более конкурентов нет, ответственность размыта.

И вообще, что бы ни говорили сейчас про большевиков, какими бы рабами-совками самих себя вчерашних мы ни называли, одного нельзя отнять: СССР был государством прочной социальной защиты. Любой пьяница, самый пустой человечик мог себе позволить иметь квартиру в городе и дачу. Да в той же Америке каждый

миллионер десять раз подсчитает, что ему выгоднее: квартира с конторой в городе или коттедж на лоне природы. А ты пришел на завод — все, кругом защищен. Работаешь, не работашь, попробуй тебя выгони. Ты пьянствуешь, но дети твои бесплатно учатся, лечатся, поступают в институты-университеты, летом отдыхают в лагерях. Да, конечно, все равны, все рабы!.. Но такого не было нигде. Даже в Швеции. Поэтому, входя в рынок, нужно быть морально готовым к тому, что мы многое из дарового (если не все) потеряем. За все придется платить из собственного кармана.

Вообще судьба нынешних реформ (и в этом мы со Львовым полностью сошлись) чем-то напоминает судьбу косыгинских в 60-е годы. Когда каким-то непостижимым образом идеи хозрасчета переплелись с лозунгом «мы будем жить при коммунизме».

Самое интересное, что люди в массе своей поверили и экономика пошла в гору. Еще были в ходу такие понятия, как дисциплина, трудовая честь, ответственность, энтузиазм (как бы мы теперь ни относились к этим словам). Еще не было массовой деградации в среде управленцев, поголовной коррупции в правоохранительных органах. А молодежь?! Целина, Сибирь, где на сумасшедших стройках в собачьих условиях люди без дураков душу и здоровье клали...

— А мы с вами разве не из той же когорты шестидесятников, — вдруг необыкновенно оживляется Львов. — Я десять лет мотался в стройотрядах, потому что на восемьдесят пять рублей банковского жалованья кормить жену и ребенка уже тогда было невозможно. В свой летний отпуск обязательно «загорал» где-нибудь на стройках Казахстана, Мурманска, на сооружении атомной электростанции на Кольском полуострове... В степи прокладывали железную дорогу, работая по четырнадцать часов при сорокапятиградусной жаре. Теперь расскажи об этом кому из молодых, так не поверят. А поверив, скажут: на фиг такая каторга. А для нас это была настоящая жизнь. И кто ее прошел, тот и сегодня не оказался не у дел.

...Вот какой неожиданный банкир встретился мне на берегах Невы. У него три сына. Старший закончил морской колледж, плавает в заграничье, радист. Тяжело, конечно. Дома томится молодая жена с двухлетней дочерью на руках. А он по полгода в море. Но что поделаешь, если угораздило жениться в двадцать лет. Зато стал настоящим мужчиной, еще учась в своей средней мореходке, куда капитаны ссылали своих трудных детей на перевоспитание, на полувоенный режим.

Наш банкир и сам хотел когда-то стать моряком. Пленяла поэзия морских странствий. Через их двор на Васильевском острове курсанты бегали в самоволку. Девчонки по ним сохли, и многие наши среди этих ребят мужей. Помнит, как еще мальчишкой купался в Неве и ловил рыбу на самой Стрелке у биржи, меж ростральных колонн. Кто теперь в это поверит. Его малышам — среднему десятку, младшему шесть — такое уже не суждено. По ним он страшно скучает, потому что редко приходит домой, когда они не спят. Набрасываются: «Папка, когда придеешь? Опять поздно?!»

За детей не боится. Думает, еще года четыре-пять — и все стабилизируется, войдет в нормальное русло.

Хочется верить.

II

Ясным апрельским утром я не шел — летел по Гороховой по направлению к Фонтанке. Скорее к Каменному мосту, потом налево... Мне назначила свидание прекрасная дама. К тому же — жена миллионера. Да еще где — в Апраксином дворе. Именно там некогда стояли каменные палаты наших вельмож с широкими дворами, прудами, оранжереями и обширными садами. Все там дышало привольем, простором и дебоширством. И название-то откуда?! От отпетого хулигана XVIII века графа Апраксина, которому за все его «подвиги» царица запретила появляться в столице. А Фонтанка тогда была вроде как столичное порубежье, как кольцевая вокруг Москвы. И хоть до Зимнего, хоть до любого значного места рукой подать, ан вот он я, не смею ослушаться, пребываю летом и зимою вне пределов столицы. Получая при этом не менее, а даже более удовольствия от своего дебоширства...

Но минули времена героические, настали прозаические. Как где-то писалось, участок просторством более 20 000 квадратных сажен, окаймленный с одной поперечной стороны Большой Садовой улицей, с противоположной — набережной Фонтанки, известен с 1740 года под именем торгового Апраксина двора. Это, мол, вполне «упроченный народный рынок» (что это значит в современной трактовке, скоро читатель узнает) с кустарным товаром.

И вот я в Апраксином дворе... Тьфу ты, господи помилуй. Раньше как это было? В переулке от Большой Садовой к Фонтанке охотный ряд, где в продаже живая и битая птица, а также собаки, кошки, обезьяны, лисицы и другие живые твари. А кроме

того, лоскутный, ветошный, шубный, табачный, мыльный, свечной, луковый, ссдельный, нитяной, холщовый, шапочный и стригольный ряды, где «фельдшеры сидят для стрижения волос и бород».

Так вот, скажу я вам, в этой замусоренной и набитой человеками труппе, говоря иносказательно, «обезьян» и «лис» с избытком. Торгуют верхним и нижним бельем, прохладительным и горячительным, в розницу и оптом малыми партиями. Кстати, переулок оптовиков почему-то охранялся двумя мордоротами, которые взимали по червонцу за вход. И даже давали взамен червонца что-то вроде билета, но без даты, стоимости и обозначения за что, собственно. А в торгах — корейско-китайское шмотье, и что самое интересное — пруд пруди представителей нации, производящей товар.

— Может быть, вы вьетнамцы? — спросил я просто так у парня и девушки, предлагавших, знает ли, такие воздушные летние плащи радостных цветов. В ответ они захихикали и назвали стоимость плащей, которая отбросила меня как взрывная волна. Тут же рядом наш соотечественник напяливал на покупательницу какой-то цветастый балахон, который ей едва прикрывал то самое место, что принято прикрывать более-менее основательно. При этом, гад, бормотал, что в самый раз.

Очумев от такой коммерции (оказывается, городские власти выгнали сюда со всех улиц торговцев, полагая, видимо, что в Питере станет чище, — но чище не стало), я вскарабкался по обшарпанной лестнице и нажал кнопку звонка у не менее обшарпанной двери... И моему взору открылся достаточно просторный, вполне деловой и комфортабельный (хотя и с некоторым налетом женственности) кабинет директора фирмы «Гарант» Елены Жуковской. Передо мной была она (описывать не буду, поверьте на слово, что хороша), а слева надушенный субъект, как оказалось, зам по коммерции.

И тут же народ заходил, выходил, с пуговицами, с образцами гнилятины вместо ткани (поставщики надули), еще с какими-то проблемами. Жуковская, походя решая все проблемы, непостижимым образом не теряла нить нашего разговора. Он шел как бы не прерываясь...

Кстати, кстати... На Западе давно уже говорят о том, что в бизнесе появился спрос на женщину, на ее интуицию, открытость, такт, поскольку работникам сегодня нужен не столько надзиратель, сколько вдохновитель. Причем именно на Западе сейчас в бизнес идет раза в три больше женщин, чем мужчин. Идет, приходит, остается... Прощает.

Более всего Жуковскую печалит, что никто ей не верит, будто пять лет назад у нее было 15 швейных машинок в подвале на Невском и полсотни тысяч кредита. Она принадлежит к самому первому поколению предпринимателей, которые рисковали тогда, когда никто не смел. Так что нынешнее положение — своего рода награда за смелость. Но главное, что для фирмы «Гарант» рынок начался пять лет назад, хотя вошли в него с осторожностью. Шить джинсы-варенки, конечно, заманчиво. Но ведь понятно: где большие прибыли, там туча всякого рода чиновников, желающих получить на лапу. А на детских платьишках и шортиках никому и в голову не придет обирать людей, затыкающих, можно сказать, брешь в госсекторе.

Начинали они с мужем почти сказочно. В «Аргументах и фактах» прочли письмо американцев Уинсли Билсона и Харольда Уильямса. Те писали, что хотели бы помочь перестройке, потому что боятся отката назад. И что, по их мнению, самый эффективный способ этого не допустить — насытить наш рынок товарами народного потребления. Они предлагали читателям присылать свои проекты и предложения.

Американцы получили свыше 4 тысяч писем, но выбор их остановился именно на письме Жуковской. Как раз к этому времени они с мужем ушли в «чисто поле» — реконструировать в Кингисеппе брошенную казарму под швейную фабрику. Американцы не поленились, приехали посмотреть, как идут у них дела, и под впечатлением увиденного довольно быстро у себя на родине собрали для них 200 тысяч долларов для закупки оборудования. Оно исправно работает и по сей день, хотя теперь составляет лишь пятую часть технической мощи «Гаранта».

Но американцы не ограничились техникой. Они еще прислали консультантов, чтобы организовать производство по современным требованиям. А чтобы требования эти не были для предприимчивых супругов абстракцией, американцы организовали им десятидневную поездку в Лос-Анджелес для знакомства с работой швейных предприятий города.

Надо заметить, что когда первое сильное впечатление от тамошней постановки дела прошло, Жуковская с удивлением обнаружила, что в основе всех технологических и менеджерских изысков у американцев лежит очень простая вещь — здравый смысл. И если следовать ему неукоснительно, то в конце концов и в Коломне можно поставить производство на тех же принципах, что и в Лос-Анджелесе. Вдохновленные этой мыслью, супруги вернулись на родину, чтобы горячо взяться за дело.

Как они умудрялись сбывать товар, который неизбежно был дороже государственного, потому что там дотации, а у них все из собственного кармана? Брели качеством и ассортиментом. Если же платьице стоило 8 рублей против 3 государственных (еще каких-нибудь пять лет назад были такие цены!), то оно и должно было выглядеть так, чтобы не жалко деньги отдать.

С ассортиментом оказалось куда проще. Та же форма для старшеклассниц — государство запланировало костюмы, а о блузках под них, естественно, забыло. Жуковская тут же начала строчить дешевые, но с претензией на некоторую элегантность блузки. Расходились мгновенно. Кстати, эта метода — «заткнуть брешь» — до сих пор на вооружении «Гаранта», до сих пор себя оправдывает как один из надежных источников дохода. И она же приводит буквально в отчаяние некоторых матерых производственников, которых переманила фирма с госпредприятий. Представьте себе состояние специалиста, возвращенного на двух принципах: максимально загрузить оборудование, людей и обеспечить стабильность работы.

А здесь только наладились, влетает в цех Жуковская — все к черту, полный перенастрой, полцепа сидит сложа руки, полцепа в мыле, сутками не вылезает. Можно ли так работать? Тут и до инфаркта недалеко. Кто-то не выдерживал, уходил. Но что поделаешь, именно так работают «в рынке».

Или вот при мне уже случилось. «Гарант» грубо надули, продали гнилую ткань. Ее шьешь, а она расползается прямо на машинке. На госпредприятии ее списали бы и думать забыли. На фирме всю партию принялись перелопачивать, сортируя сохранившиеся и пораженные отрезки, пытаясь хоть какую-то часть пустить в производство. Дурная, конечно, работа. Но что ж, сами себя наказали. А кто покупал, ответит карманом...

— Вот говорят, что рынка нет, — вздыхает Жуковская. — А я, белошвейка, живу в рынке уже пять лет. Но у нас это как аттракцион с зеркалами: чтобы его, рынок, увидеть, надо знать, с какой стороны подойти.

Невиданные сроки — их фабрика заработала через девять месяцев после первого приезда в Кингисепп. Заработала на самого массового, но далеко не самого денежного потребителя. Дотации работникам на транспорт и еду в Питере, свой автобус и столовая в Кингисеппе. Свое подсобное хозяйство — свинина и говядина по ценам на 30 процентов ниже рыночных. Попытка организовать собственную мини-поликлинику (помещал разразившийся кризис). Все как в госсекторе, разве только зарплата несколько выше. Но не головокружительно опять же. Так что терпят наши «буржуи» наравне с госсектором, только без анестезии дотаций.

Кризис неплатежей? Он обошелся «Гаранту» в 10 миллионов чистого убытка, которые канули где-то в московском РКЦ. А косвенных убытков и считать не стали, чтобы попусту не расстраиваться. Суть в том, что фирма работает с колес. Запас ткани делать невыгодно. Вопреки поговорке «карман тянет». Значит, быстро разрабатывается конкурентоспособная модель, под нее тут же заказывается ткань, деньги пересылают, ткань получают — и вперед... Потому что там уже следующая модель подпирает, новые закупки и так далее.

Так, в ноябре 1992 года «Гарант» послал 30 миллионов в Москву, они надолго завязли в расчетно-кассовом центре. В результате поставщики решили, что их обманули, и «толкнули» оговоренную контрактом ткань другим покупателям, а когда до них наконец дошли вместо 30 миллионов лишь 20, они наказали питерцев тканью более дорогой и с еще большим опозданием. В результате часть покупателей «Гаранта» отказалась от его продукции, и если бы фирма занималась только пошивом — все. Разорение. Но поскольку это уже не фирма, а многоотраслевой концерн, то можно было перебросить средства из других областей и спасти швейников.

— Любопытно: муж ссужает жену капиталом. Под какой же процент, если это не семейный секрет?

Жуковская рассмеялась: «Это примерно то же самое, как если бы хозяйка, получив зарплату, отправилась в магазин, где купила картошку, капусту, морковь и яйца. По дороге домой яйца разбила. Но что делать, они же все равно нужны. Значит, берем деньги из отложенных на ремонт квартиры».

Оказывается, муж Елены Жуковской Илья Баскин — председатель совета директоров «Гаранта», еще два года назад предвидел, что швейное производство может оказаться в трудном положении. Но он опасался конкуренции китайцев. Мол, завалят нас своими дешевыми вещами. А тут оказалось, что не китаец съедает, а свой. И конкуренция здесь ни при чем. Но недаром есть поговорка, что мудрая хозяйка никогда не будет все яйца класть в одну корзину.

Но у хорошей хозяйки прежде всего полное семейное благополучие...

— Наша семья не может быть благополучной, — с внезапной резкостью отвечает Елена Александровна. Подобным образом реагирует человек, у которого задевают

плохо зажившую рану... — Мужа я вообще дома не вижу. Сама пропадаю на работе. Ребенок растет без нашего участия. Полная безотцовщина. Конечно, я могу все закупать на рынке, не стесняясь ценой. Езжу на работу на машине. Но что это за благополучие, когда хотя бы за ужином нельзя посидеть всей семьей?! Муж после двенадцати неизменно засыпает на ходу...

Вот так. Жена нашего миллионера вполне могла бы не работать, целиком посвятить себя воспитанию дочери и домашнему уюту. Но это, по ее мнению, был бы, во всяком случае, не самый верный способ сохранить семью. И вот она идет в бизнес, становится там правой рукой мужа. И хотя при таком раскладе супружеские отношения сублимируются в производственные («на работе и дома все об одном»), узы не ослабевают. Чуть не ежедневно супруг получает материальное подтверждение, что в свое время не ошибся в выборе. Но...

— Знаете, у нас может быть великолепное партнерство. Но как семья мы.. В общем, это моя личная трагедия. Что делать? Не вижу выхода.

Предмет особых опасений — подрастающая дочка, воспитание которой ввиду занятости было целиком возложено на бабушку. И какой-то момент был упущен. Теперь, в попытках наверстать...

— Идем завтра в Эрмитаж!

— Да ну, чего я там не видела...

— Тогда в филармонию. Дают Гайдна «Сотворение мира»...

— Знаешь, это «Сотворение» мы в школе проходили. Я уже с девчонками договорилась. Мы должны пойти в одно клевое место...

Господи! И целыми днями она готова с подружками обсуждать какую-то ерунду. В доме огромная библиотека. Еще родители собирали. Полное равнодушие. Лишь совсем недавно заинтересовалась детективами. И то хорошо.

По словам Елены Александровны, она сейчас меж двух огней. С одной стороны, работа все силы отнимает: идет борьба за выживание в тисках инфляции и налогов. С другой — семья и дочь. Жуковская может себе позволить провести в отпуске вместе с дочерью не более недели, как это было в прошлые зимние каникулы. А всей семьей наши предприниматели не отдыхали уже пять лет.

Я было совсем расчувствовался, но внезапно тема разговора переменялась, и я услышал от своей собеседницы:

— ... Да, конкурента нужно съесть. Если мы сильнее, я должна это сделать. Если хотите, по закону природы. Потому что законы экономики в чистом виде — это практически то же самое. Вы помните, у нас где-то в пятидесятых или шестидесятых годах объявили энергичный отстрел волков. А кто больше всего пострадал? Зайцы. Пошли эпидемии, бескормица, хилое потомство...

Жуковская убеждена, что волчьи законы в конечном итоге работают на зайца. Вот кто-то выкинул на рынок тот же товар, но дешевле. У нее сразу головная боль: начинает перетряхивать всю технологическую цепочку — нельзя ли тоже сбросить цену. Есть еще вариант — найти спрос в другом месте, куда конкурент еще не проник. В общем, в драке за рынок всегда выигрывает третья сторона — потребитель. Кроме того, фирме выгоден большой оборот, пусть даже и при небольшой прибыли. То есть чтобы все пошитое быстро ушло и освободило место для новой партии новой модели. И это, кстати, одна из сильнейших позиций, где госпредприятия всегда будут проигрывать частнику.

Когда понадобилось новое оборудование, купили у Подольского машзавода акций на определенную сумму и составили договор, чтобы дивиденды выплачивали им не деньгами, а швейными машинками по твердой нерыночной цене. Это, конечно же, все находки мужа — Ильи Баскина, который умудряется расплачиваться с партнерами не только деньгами, но и идеями. Вертолетному отряду, который стал самостоятельным предприятием и за час лета назначил цену в 75 — 100 тысяч рублей, Баскин помог заработать 25 миллионов.

А вообще в «Гаранте» много от традиционных русских купеческих фирм. Вместе с Еленой, на которой производство и сбыт, работает сестра Людмила — по поставкам и финансовой части. Вот еще племянницу взяли. По крайней мере свой не подведет, не обворует. А кто подводит больше всего? Естественно, торговля. Она накручивает себе 40 процентов от цены.

— Это душит и покупателя и нас... Ведь это абсурд! Одинаковые партии одинаковых блузок, но из разных тканей — для одной назначают цену в пятьсот рублей за штуку, для другой — полторы тысячи. Почему? Ведь усилия по продаже тех и других одинаковы!

Нет, все же по-настоящему волчьи законы у нас не в производстве, а в торговле. И даже законы не волка, а гиены. Ну где, в какой стране мира видано, чтобы торговля могла накручивать 40 процентов?! Почти половину от стоимости произведенного

товара. А мы еще удивляемся: как много посредников развелось на каждого производителя. Удивляемся и продолжаем их содержать, черт бы их побрал.

Впрочем, интересно, какую политику в торговле начнет проводить холдинг «Гарапг» после того, как Баскин купил огромный «Фрунзенский» универмаг с пятьюстами работниками. Однако супруги возражают против такой формулировки — «купили».

— Он на меня обиделся, когда я тоже сказала ему как-то раз: ты купил. Пятьсот человек — акционеры. Во главе — совет директоров. Правда, у Баскина контрольный пакет акций (любопытная деталь: когда речь идет о семейных взаимоотношениях, он — Илья, когда о деловых — Баскин. — П. П.), но тут стесняться нечего. Было бы предельно глупо, вложив средства, спокойно взирать, как каждый тянет руль на себя и корабль разваливается. Рулевой должен быть один.

К Жуковской приходят девочки из ПТУ, да и просто с улицы. Они немного старше ее дочери, но у них уже выработалась жесткая установка заработать как можно больше. И они гонят и гонят продукцию, забывая о том, что торговля все равно вернет брак и будет начет, который сведет все усилия на нет. Фирма же предпочитает лучше доплатить за качество, чем получать рекламации. И Жуковская старается, чтобы девочки поскорее это усвоили, чтобы они как можно ближе подошли к западным стандартам. По ее глубокому убеждению, человека с юных лет надо приучать гордиться своей работой. Потому что не будет этого, не будет и дома своего, и машины, и отпуска на Гавайях, как это есть у того же американского рабочего.

Я откланялся и опять вышел в Апраксину толкучку.

— Купи блузку. Шестнадцать тысяч. Даром отдаю...

— Плащ за семнадцать тысяч! В любом случае... Коленочки...

— Лосины — плюс тридцать.

— В Питере можно и без лосин...

— На девушку прикинь. Вот, коленки... Все видно.

— Чей пошив?

— Этой, ну, м-м-м-анские...

— Бери штаны, хороший штаны, тальянски...

Эх, пожара на вас хорошего нет. Как в мае сто тридцать лет назад, в Духов день. Тогда, как пишет историк Пыляев, «огонь сперва показался из одной лавчонки, близ новой часовни, и в час не более времени вся местность... занятая лавками, была залита огнем. Всех лавок на Апраксином и Толкучем сгорело около 6000 номеров. Убытки высчитывают в десятки миллионов».

Я мысленно представил себе пламя, пожирающее эти «комки» и «шопы», увидел разбегающуюся в панике разноплеменную толпу, горящий товар, и на сердце стало почему-то легче.

Все-таки сидит еще во мне совок...

III

Старый спор чиновного Петербурга с купеческой Москвой сегодня сменился соперничеством — чьи коммерческие операции вызвали наибольший скандал, возбуждение уголовного дела «по факту», арест счетов или человека, травлю в прессе. Москва совсем было забила Северную Пальмиру делами об АНТе, «140 миллиардах», «Истоках», но тут явился Илья Баскин и купил с аукциона универмаг «Фрунзенский» за шесть с половиной миллиардов рублей. Утверждают, что за те же деньги он мог приобрести четыре Братских алюминиевых завода или тридцать морских портов вроде Находкинского.

Многие считают, что эта овчинка такой выделки явно не стоила. Тем более после пожара. Говорят, цену искусственно взвинтили конкуренты только ради того, чтобы Баскин отказался. Испытанный на аукционах прием: гонят цену до небес, денег, конечно же, не выплачивают и торг аннулируется. На Западе, правда, за такое коммерческое хулиганство пришлось бы заплатить щедрые штрафы. Но то — на Западе. У нас Восток — дело тонкое. И Илья это блестяще доказал, расплатившись за первый взнос в один миллиард... векселем, который выдал под свое поручительство банк «Санкт-Петербург». А еще точнее — Юрий Львов.

Видя, что тут не подступиться, налоговая инспекция стала трясти Фонд имущества: вынь да положь 90 процентов от миллиарда в госбюджет. До 1 декабря, когда Баскин обязался выплатить наличность, ждать не собираемся. Тем более, что коллектив универмага образовал акционерное общество и может выплачивать сумму покупки в рассрочку. Да еще с тридцатипроцентной скидкой.

Государство отступать не желает. Ему публично утерли нос, и тут уже шутки в сторону. Глава городского совета Александр Беляев заявил прессе, что «возмущен открывшимися в результате проверки подробностями сделки с универмагом „Фрунзенский”», и порадовал началом депутатского расследования по этому поводу.

Беда, что наши демократы ведут себя зачастую точно так же, как до них коммунисты. С той только разницей, что по определению не могут запретить оппозицию (тем более, что она сильна и многочисленна). Тот же большевизм, но с другим знаком.

А что такое большевизм? Да тот же абсолютизм, от страха потерять власть доведенный до абсурда, до оголтелого тоталитаризма. Российские большевики точь-в-точь как поборники самодержавия верили, что при хорошем монархе вроде Петра Великого, способного объединить все силы нации во имя великой цели, можно при минимуме средств достигнуть максимума результатов.

Теоретически вроде бы верно. Но монарх ли, генсек ли удачный — так ли уж часто им у нас становилась личность масштабов великих — Петра или Екатерины? О государях еще можно спорить, но уж генсеки, которые чередой прошли перед глазами одного-двух поколений, никаких заблуждений на свой счет не оставили. Допустим, что о государстве они — каждый по-своему, сообразно изыскам в образовании и развитии — пеклись. (Хотя склонны были рассматривать его не столько само по себе, сколько как орудие устранения всевозможных врагов, коим несть числа.) Но уже людей-то, подданных, граждан они уж точно за «человеков» не считали. Так, даровой материал предыстории, для строительства собственно истории.

Теми же социалистическими методами мы принялись строить капитализм.

Впрочем, на Руси всегда существовали люди, которые материалом для чьих-либо экспериментов быть не желали. К ним я отношу и тридцатилетнего петербуржца Илью Баскина, преуспевающего бизнесмена, весной прошлого года удивившего град Петров не только покупкой огромного универмага на Фонтанке, но и тем, что выиграл выборы в российский парламент в двух провинциальных округах, которые, как известно, толстосумов не очень жалуют.

С Ильей Михайловичем судьба нас свела в самый разгар его предвыборной кампании в Сланцевом и Лужском избирательных округах, где в первом у него был чрезвычайно сильный оппонент — директор комбината по добыче сланцев.

Зная установку наших нуворишей ни в коем разе не высовываться, тихо «отмывать» денюжки, переводить их в загранку, проводить досуг в невидимых постороннему глазу ночных клубах, куда простому смертному труднее попасть, чем некогда в политбюро, я попросил его объяснить свою позицию. Чем же все-таки продиктованы его политические амбиции? И в ответ услышал что-то до обидного простое:

— Хочу стабильности в стране. Хочу демократию в цивилизованном понимании этого слова, а не такую, какую имеем сейчас. Ведь нас, по сути, обманули. Те, кто баллотировался на выборы в девяностом году, обещали одно, а преподнесли нам совершенно другое. Конечно, одному депутату не под силу изменить ситуацию. Но если нас, единомышленников, наберется критическая масса...

Заявка у него, конечно же, будь здоров. Нынешний парламентской говорильне противопоставить конкретное дело. Но тут сразу же возникают вопросы: он ведь и так человек конкретного дела — бизнеса, и как же, интересно, собирается совмещать его с политикой, с депутатскими обязанностями? Если говорить о стандартах цивилизованных, то с бизнесом придется сразу же расстаться, как не совместимым с конкретной политикой в классическом понимании парламентаризма.

— У меня сложилась хорошая команда, — успокаивает на этот счет Баскин, — и это позволяет заниматься только стратегией. Собственно бизнесу я и теперь отдаю не более трех-четырёх часов в день.

Что он делает все остальное время? Ну сейчас, к примеру, по восемь часов в день, не менее, ведет свою предвыборную кампанию. Закупил (точнее — арендовал) вертолет и мотается на нем по своим избирательным округам в сопровождении социологов, психологов, журналистов, артистов и прочей полезной в таком деле публики. Как его воспринимают люди?

— По-разному, — философски замечает миллионер, — половина доброжелательно, а половина подозрительно.

Все же не так легко ему, наверное, общаться с людьми, завоевывая их политическое предпочтение. Наверное, его и обижают на этих самых встречах...

— Ну понимаете, как можно обижаться на людей, когда их довели до такого состояния? Говорите, вопросы обидные? Да не за них обидно. За Россию.

Впрочем, для истинного делового человека преодоление чьего-то сопротивления, завоевание людей на свою сторону — практика достаточно обычная. Особенно в наших условиях, которые тепличными для бизнеса никак не назовешь. Одно толь-

ко взяточничество на всех уровнях чиновничьей лестницы чего стоит?! А реформы, которые творятся дико, непрофессионально? Опять же жуликоватый менталитет. Раньше большевики извиняли все свои фокусы тем, что-де мы первые строим социализм, нет опыта, оттого и ошибочки случаются... Где-то... Порой... Время от времени... А теперь та же картина, только с капитализмом. Опять они у руля. Опять они первые лезут дирижировать оркестром, причем весьма поверхностно зная нотную грамоту. Ведь в жизни не заставишь таких деятелей, например, сесть в автобус, водителем которого вызвался быть один из пассажиров. А тут прямо-таки неограниченные возможности для самостоятельного творчества.

Сегодня бизнес Баскина — это 43 компании. Производят детскую одежду, металлические изделия, строительные материалы. Намечается строительство порта в Лужской губе, проект которого уже разработан и находится на государственной экспертизе. Делал его Ленморгипропроект. Вот недавно купили тот же огромный «Фрунзенский» универмаг (о чем уже говорилось). Вернее, контрольный пакет акций — это несколько торговых корпусов на одной из оживленнейших магистралей города по дороге в аэропорт. Значит, что же — в Питере уже скупают недвижимость?

Нет. Акциируются и делают на старых площадях новое производство.

— Мы, к сожалению, — поясняет Баскин, — ничего готового не берем. А хотелось бы...

— Но ведь недвижимость покупать вроде выгодно. Она сама по себе дорожает?

— Нет. Мы приобретаем только то, что нам необходимо для производства. А что такое недвижимость? Ну скупил. А дальше что? Нужна отдача. То есть твоя покупка должна работать на тебя. Значит, там требуется что-то производить. Хочешь не хочешь, а либо товар, либо услуги... Старайся, между прочим, для народа. Но у нас в чем беда? Поскольку общество еще никак не переболеет большевизмом, то оно, как всякий больной, питается слухами, сплетнями, наветами... О проекте Лужского порта чего только не говорят: нефтяной терминал сделают, экологию погубят и корюшка знаменитая балтийская в этих водах перемрет. Хотя на самом деле против лужского варианта «зеленые» как раз не возражают. Протестуют они против варианта Харченко, в прошлом начальника Ленинградского морского пароходства, у которого теперь не только с «зелеными», но и с прокуратурой возникли сложности.

А в принципе Баскин за равную и гласную экспертизу всех проектов и предложений. Какие проекты специалисты признают приемлемыми, те пусть и осуществляются. В этом как раз и заключается существенная разница в подходах — ведомственном и предпринимательском. В последнем все решает здравый смысл, экологическая и экономическая целесообразность. Единственное, что Баскин исключает категорически, это строительство в Лужской губе нефтеналивки и жидкой химии. У него только сухогруз. Кроме того — что сегодня тоже важно — там будут иностранные кредиторы, но никоим образом не совладельцы. Порт должен быть российским.

— Будем платить проценты, — поясняет Баскин, — только и всего. Какая разница, под каким флагом нас кредитуют? Так весь мир поступает.

— А Львов будет вас кредитовать?

— Будет.

— И много обещал?..

— Что значит «обещал — не обещал»? Если будет экономическая целесообразность и эффективность, то Львов ли, любой другой банкир деньги даст. А не покажем мы им эту эффективность, никто не даст. Все решается на уровне здравого смысла.

Что нужно для порта? Два миллиарда долларов и плюс еще из них 50 миллионов на ликвидацию чернобыльского следа. Еще 250 миллионов на ликвидацию экологических последствий.

— Я издал бы указ, — заявляет вдруг Баскин без малейшего юмора, — по которому лишил бы ученых званий всех докторов и академиков — экономистов. Потому что все они свои научные труды разрабатывали на экономике социализма, а не рынка. Мне смешны их претензии на руководство реформой, на их изыскания для всех нас столбовой дорожки к рынку. Они понятия не имеют, что это такое.

— Как же так, ведь они постоянно изучали западный опыт и наперегонки его критиковали.

— Это они делали теоретически. Давайте я вам завтра же прочту лекцию о синхрофазотроне. Только не надо меня после этого сажать за него работать. Есть великое множество научных трудов, как, скажем, доить корову. Но не вздумайте отправлять их авторов на ферму.

— А кого, по-вашему, надо отправлять?

— Я знаю, что Петр Великий никогда не ставил капитаном корабля человека, не поработившего на флоте баталером. То есть снабженцем. Так и сегодня — в бизнесе прежде всего нужны люди с производственным опытом, с хорошей школой жизни именно в рыночных условиях.

— Это где ж их взять? На колхозном рынке?

— Может, вы и не заметили, но уже по крайней мере лет пять часть страны (и довольно солидная) живет в рыночных условиях. И теперь даже на государственной службе у нас едят люди, которые понимают в рынке толк. Просто время их еще не пришло. Но оно не за горами...

Среди таких людей Баскин почему-то в первую очередь называет Михаила Юрьева из Москвы. Очень крупный предприниматель. Или вот Седов на Нижегородчине. Уже сама жизнь выталкивает на поверхность таких людей.

Баскин категорически утверждает, что он принципиально не дает взятку.

— Как же вы проталкиваете свои дела?

— Собственными силами.

— Но у нас же все берут?!

— Берут все. Дают не все.

Когда Баскин начинал свой бизнес в Петербурге, он восемь месяцев пробивал разрешение на двести метров подвала, чтобы поставить там свои швейные машины. Пришел в одну организацию, а там сухо, по-деловому: «Хочешь получить тысячу метров — давай взятку». Баскин взятки не дал, а решил ехать за 100 километров от Петербурга в Кингисепп (бывший Ямбург, переименованный в честь большевика-эстонца, палача левых эсеров, чекиста, расстрелянного соотечественниками в 1922 году) и устроил там фабрику.

Есть разные возможности, множество альтернатив уйти от взятки, если тебе действительно не хочется ее давать. К примеру, недавно в Сланцах Баскину предложили... бесплатно (представляете?!) взять универмаг. Первоначально его сдали в аренду за несколько миллионов в год райпотребсоюзу. Те подсчитали — невыгодно. Закрыли универмаг, и здание стало погибать. Раньше хоть что-то, какие-то сотни тысяч имели с этого универмага городские власти, а сегодня ни шиша! Готовы даром отдать. Так жизнь все ставит на места. Была работа — не стало, были хоть какие-то деньги — теперь ничего, раньше отоваривались на месте, теперь в Питер кати. Народ, естественно, заворчал. И власти теперь готовы бесплатно отдать, только чтобы самим с насиженных кресел не слететь. Согласитесь, в этом чувствуется некое обнадеживающее веяние времени. Потому что если и дальше народ будет все сильнее давить на власть, чтобы она активнее давала дорогу бизнесу, то довольно скоро мы сможем ощутить реальную пользу от свободного предпринимательства.

До того, как стать миллионером, Илья Баскин был заместителем генерального директора швейного объединения по строительству. К концу 80-х работы завершились, и энергичный зам начал явно тяготиться своим временным состоянием не у дел. Он привык к кипучей деятельности, к конфликтам с начальством, привык «высовываться» когда и где не просят. Он умудрялся вторгаться даже не в свои сферы с каким-нибудь необычным, сметающим рутину решением.

Так, во время его «замства» на объединении произошло заотоваривание продукции — белья. Никто его не покупал. Продукция пылилась на складах, а народ в объединении страдал без премии. Зарплата тогда — начало 80-х — в легпроме была пустяшной, так что без премии и прогрессивки жить становилось совсем грустно. Естественно, ни Госплан, ни министерство этого не принимали близко к сердцу и никто не хотел «поднимать волну» из-за какого-то там объединения «Волна».

У Илья к тому времени образовались связи с текстильным институтом. И вот он взял нескольких девушек с факультета моделирования, привез их на склад, заваленный невостребованными тканями, и предложил им изготовить из них летние модели юбок, блузок, халатиков, платяиц, пляжных костюмов... И девчонки расстарались вовсю. Причем практически бесплатно. Но тем же временем дирекция объединения по официальному каналу заказала через Дом моделей разработку аналогичного летнего ассортимента. Прошло две недели, и вот в Пассаже художественная комиссия товароведов принимает заказы. Из Дома моделей приносят какие-то несчастные чертежи одной юбочки. А Илья прямо в Пассаж привозит всех своих студенток (пришлось нанять «Икарус») в уже готовых моделях, приводит товароведов в экстаз и получает от них заказ в неограниченном количестве. После чего руководство устроило ему грандиозный разнос на уровне Ленинградского комитета по торговле, а в Минлегпроме его обвинили в экономическом саботаже. Недаром тогда самой расхожей была поговорка, что инициатива наказуема. И только Баскин все никак не мог понять, как же можно столь нагло попирать здравый смысл, сокрушать за столетия выработанные человечеством экономические принципы? Поэтому морально он давно уже был готов расплеваться с той системой. Нужен был только удобный случай.

Вообще-то и Баскин и Жуковская — профессиональные строители, закончившие институт в конце 70-х годов. Елена работала инженером на стройке, родила девочку, а когда началась так называемая перестройка, поступила в инженерно-экономический, где увлелась маркетингом — этой новой по тем временам дисциплиной. Сначала готовила себя к теории, но потом, став вице-президентом фирмы, с головой ушла в практику. Плюс на ней все швейное производство.

Тем временем Илья пошел дальше: у него теперь на уме строительство морского порта, организация торгового дома, металлическая архитектура — склады, производственные цеха, различные конторы: собираются по принципу карточных домиков в самые сжатые сроки. Теперь только в швейном производстве у них работает девятьсот с лишним человек. А начинали в заброшенном подвале на Невском с десятком швей. Такое и героине Чернышевского Вере Павловне не снилось, хотя, как известно, ей виделись даже дома из стали и стекла...

IV

Эмиль Золя считал спекуляцию самой соблазнительной стороной человеческого существования, вечным стремлением, заставляющим людей бороться и жить: купил дешевле — продал дороже. Но где та грань, что жестко бы отделяла торговлю от спекуляции?..

* * *

Тридцатипятилетний президент финансовой корпорации «Арман» Владислав Яснопольский считает, что если сегодня газеты и журналы оказались среди первых жертв кризиса, не надо их сотрудникам ни к кому идти с протянутой рукой. Ни к государству, ни к предпринимателям. Куда лучше, здраво оценив свои возможности в рыночных условиях, предложить деловое партнерство на равных. Это прежде всего касается солидных изданий, которые пользуются доверием общества и у которых прочных имидж и большие связи с ближним и дальним зарубежьем.

— В этом контексте совместные финансовые и товарные операции вещь вполне допустимая.

(Кстати, напомним читателю, что когда в конце прошлого — начале нынешнего столетия британские газеты стали жутким образом прогорать, то спасла их не столько реклама, сколько налаженный выпуск дешевых изданий карманного формата чудовищными по тем временам тиражами. На книжный рынок гнали буквально все подряд: классику, современных беллетристов, историю, экономику, политику, юриспруденцию, искусство. Эффект получился двоякий. Выправились сами и создали себе прочный рынок читающей публики. Потом примеру англичан последовали французы, немцы, американцы и даже Россия. Но при большевиках этот опыт был почти утрачен, потому что зачем суетиться, если государство тебя содержит и подкармливает дотациями? В результате на свет божий явились совершенно дикие с точки зрения здравого смысла феномены. Например, самая массовая ежедневная газета «Труд», тиражи которой достигали неслыханных на Западе 18 миллионов экземпляров, за все восемьдесят лет своего существования не удосужилась обзавестись собственной типографией. Зато заимела свое издательство, которое теперь непонятно из чего кормить.)

— А что такое эти самые финансовые и товарные операции? Дешевле купил, дороже продал?

— Это во всем мире так, — весело парирует Яснопольский. — Поляки говорят: дороже купить, дешевле продать и дурно жениться умеет каждый. Попробуй по-другому.

Конечно, трудно заниматься коммерцией при нашей дурной инфраструктуре, ненадежности партнеров, зверских налогах. Но оказывается, что-то можно всему этому противопоставить.

— Любознательность и мобильность. Всегда остаются дырки в рынке, в законах, даже в бюрократическом монолите. А потом, главная опора коммерсанта — это наш неизбывный дефицит! Когда ты монопольно завозишь товар, которого нет, — это всегда интересно.

Постоянная аналитическая работа, заключение бесконечных контрактов. Это как наркотик. Сегодня бизнесмен, увы, не читает умных книг и солидных журналов. Он читает биржевые сводки приблизительно с теми же эмоциями, с какими интеллигент-шестидесятник у себя на кухне поглощал какой-нибудь десятый машинописный экземпляр «В круге первом».

— Мы читаем биржевые сводки, — без ложной скромности заявляет Яснопольский, — чтобы другие могли читать тот же «Новый мир».

Итак, первое, что сегодня может интересовать потребителя. Вот такой-то товар. Строится прогноз, как он будет вести себя в ближайшие полгода. Потому что если жизнь ему отпущена на меньший срок, то заниматься им просто неинтересно. Он себя не окупит. Потом идет «отработка» поставщика и покупателей, и только потом подключается товарная группа, которая реализует куплю-продажу.

Причем интересно: главе корпорации вовсе не нужно входить во все детали. Как правило, он объясняет своим сотрудникам операцию «на крупных блоках». А дальше их разрабатывают в деталях исполнители. Тут кроется и ответ на вопрос, почему именно молодежь так рвется в бизнес. Причем посреднический. Потому что здесь, даже будучи исполнителем, ты полностью самостоятелен и решаешь поставленную задачу не по указке, а по мере собственных сил и способностей. Ты весь в игре, которую, несмотря ни на что, должен выиграть. Натуру хоть сколько-нибудь неординарную это должно увлечь.

У главы корпорации своя задача — подобрать именно таких людей. Яснопольскому это удалось относительно быстро — за полгода. Человек, который входил в элиту системников, теперь занимается в корпорации компьютерами и коммерцией. В прошлом один из самых известных гитаристов страны — глава торгового департамента. Гитару забросил, чтобы не отвлекаться. Люди очень разные, но за полгода совместного бизнеса так друг к другу притерлись, взаимопонимание у них с полуслова. Дискуссий не возникает. К слову, в мире бизнеса даже больше, чем в госсекторе, значит рекомендация. Потому что если человек, за которого ты замолвил словечко, оказался негод, то в первую очередь он подвел тебя. Значит, он бросил тень на твоё доброе имя.

— Отсюда рукой подать до честного купеческого слова, — убежден Владислав, — которым Россия в свое время так удивляла Европу. Думаю, оно должно вернуться именно сейчас, когда деловые люди находятся на таком жалком юридическом обеспечении.

— Кстате, кого ни спросишь из наших бизнесменов, ну просто никто не дает взятку. Все берут, но никто не дает — чудеса, не правда ли?

— Зачем давать, когда гораздо проще привлечь к партнерству? Не госслужащих разумеется. К счастью, сегодня наша деятельность протекает на порядочном расстоянии от чиновников аппарата. Даже из таких обвальных мероприятий, как обмен денег, мы вышли без взятки. Без проблем обменяли старые купюры на новые благодаря нормальным взаимоотношениям с банком.

Так что ж они, эти бизнесмены, — своего рода государство в государстве? Нет, всего-навсего независимая частичка в этом огромном конгломерате. Конечно, могут быть трения с налоговой инспекцией, с другими органами, но по возможности стараются выполнять их требования, чтобы не было необходимости кому-то чего-то давать.

Хотя, разумеется, налоги и прочие поборы — это сущий разбой. То есть сегодня ты должен авансировать прибыль, которой не знаешь, и тут же ее заплатить. А если, не дай Бог, авансировал прибыль ниже реальной, штраф оставит тебя без штанов. А прибыли ведь может и вовсе не случиться. Но никого не волнует, откуда ты возьмешь деньги. Ладно, что такого нет нигде в мире, но что делать начинающему предпринимателю; Владислав решительно не представляет. Есть только один вариант — не начинать.

— Нужно быть не семи, двадцати пяти пядей во лбу, чтобы раскрутить новое дело. Потому что для начала вам нужно не меньше миллиона в кармане.

Яснопольский начинал десять лет назад, еще в Чебоксарах. Если учесть, что его мать из старинного нижегородского купеческого рода, то, стало быть, торговля у него в крови. Да и образование получил экономическое. А из всех книг, что прочел в школьные годы, больше всего запомнился «Гобсек».

Биография как у большинства: после школы — завод, потом армия, после рванулся было на иняз, но не вытянул. Пришлось кончать родной Чувашский университет. Два года на дневном, потом заочный и работа на заводе «Электроприбор». (Между прочим, очень крупный производитель электроизмерительных приборов для тепловозов и космических кораблей.) В 1991-м, став самостоятельным предпринимателем, пытался выкупить этот завод. Не удалось.

Но именно госпредприятие вытолкнуло Яснопольского в рынок. В начале 80-х на заводе был создан отдел маркетинга, хотя назывался он (слово-то было запрещено, тогда же вышла массовым тиражом книжка «В паутине маркетинга») «Бюро по изучению конъюнктуры и спроса». Сотрудники занимались продажей новой техники, о существовании которой еще никто не подозревал, и они должны были убедить

промышленников планировать себе такие приборы, на которые еще не было спроса. Объем новой продукции составлял 10 — 20 процентов всего производства, но за ней стояло будущее. А как прикажете в условиях планового идиотизма его осуществлять?

Впрочем, мысль о создании подобных отделов зародилась еще на десять лет ранее, когда страна внезапно оказалась затоварена телевизорами. Вот тогда-то и задумались. Хотя запрягали уж очень долго. Но дело с мертвой точки понемногу все же сдвинулось. В системе Минприбора существовала сеть магазинов-салонов (тогда это было одно из самых прогрессивных ведомств), двадцать по республикам и пять в России, и отдел Яснопольского проводил ежегодно до десяти семинаров по всей стране. То есть за два года — полный оборот по СССР.

Впервые за историю завода они составили картотеку на 6,5 тысяч крупных потребителей. Но сменилось руководство, и первое, что сделали новые начальники, — уничтожили картотеку. За ней — техническую библиотеку. Это был, между прочим, 1990 год.

Яснопольский ушел в территориальный центр научно-технического руководства. Там тоже удалось кое-что сделать. Например, впервые вывести республику на Познанскую научно-техническую ярмарку. Пусть хоть Восточная Европа знает, что чувашаи тоже не лыком шиты. Даже медали привезли: три золотые (весь СССР — четыре) за уникальный ткацкий станок, набор национальных украшений (большой талант работал на сувенирной фабрике) и мини-ГЭС для фермеров, геологических партий и прочих малых потребителей. Полтора-два киловатта. По тем временам она стоила 6 тысяч рублей. Вообще-то есть у центра некоторый снобизм: относиться к Чувашии как к глухой провинции. Но оттуда к нам пришел космонавт номер три, бывший министр юстиции и еще много всякого интересного народа. А если взять сегодняшний коммерческий мир, то, как утверждают знающие люди (сам я не считал), до десяти процентов сегодняшних крупных предпринимателей — выходцы с Поволжья. Готов допустить, что и больше, учитывая славные традиции региона. Хотя Яснопольский отдает приоритет в бизнесе Казани. Дескать, там другой менталитет. А в Чувашии достаточно специфический моральный климат. Там очень тяжело переживается чей-то успех. И удачник сразу же со всех сторон начинает ощущать прессинг. В Татарии этого нет, утверждает Яснопольский, и ничего другого не остается, как только брать его слова на веру. Потому что удача ему выпадала и там и там.

— Хотя чувашаи чрезвычайно трудолюбивы, но на моих глазах первому фермеру-арендатору накануне вылова карпа в пруд бочку солярки шарахнули.

Уж не подобные ли случаи навели Владислава на мысль оставить родину и двинуться «завоевывать» Москву? Отрицает категорически. Говорит, что все его маркетинговые маршруты тем или иным образом обязательно проходили через Москву. Так что времени было более чем достаточно если не полюбить, то, во всяком случае, найти ее достаточно перспективной для бизнеса. И однажды он остался в одной из московских коммерческих структур замом директора. А через полгода зарегистрировал собственное дело.

Каким капиталом он мог подкрепить свои намерения? Говорит, что в кармане было пять миллионов и что, по его мнению, — это не капитал, а необходимый минимум, чтобы начать дело. Конечно, если сравнивать с нынешним, прошлый год можно считать даже благоприятным. Но все же самым главным капиталом он считает установившиеся столичные взаимоотношения. Здесь были коллеги и по старой работе, и партнеры в коммерции. Помогла и врожденная способность легко сходиться с людьми, которую еще более развила служба маркетинга.

В Чувашии на его деньги издавалась газета. Сегодня она переросла в издательство «Русь». Яснопольский от этого предприятия отошел, потому что, как только у его партнера — нынешнего директора издательства — отпала потребность в стартовых деньгах, у них с Владиславом сразу же обнаружилось расхождение во взглядах. Но он не обижается. Считает эту ситуацию вполне нормальной для коммерческой жизни. К этому надо быть готовым, и если по каждому аналогичному случаю переживать.

— Сердца не хватит.

— А вы готовы к тому, что в какой-то момент ваша корпорация развалится?

— Все может быть, — спокойно отвечает Владислав.

— А если банкротство?

— Я уже дожину раз разорился и начинал с нуля. Это для меня вполне нормально.

Так что же это за машина такая для делания денег — ни усталости, ни разочарования, никаких посторонних эмоций?

— Почему? Бывает, конечно. Тогда берешь тайм-аут и три дня отсыпаетесь. А на четвертый скучно становится. Опять тянет в дело.

А вообще лучший для него отдых — поехать куда-нибудь на пароходе. Для олжанина это типично. Он не мыслит своего существования в городе без реки. У него и предпринимательство началось с двух бизнес-рейсов на Санкт-Петербург и Астрахань. Это были своего рода плавучие бизнес-клубы, где читался минимальный ликбез. Контингент самый пестрый — от председателей кооперативов до банковских и заводских служащих. Упор делали на психологию и внешнеэкономическую деятельность. Шел 1991 год, и будущее было еще в тумане..

19 августа 1991-го Владислав, его сотрудник и партнер из Польши в шесть утра сошли с поезда на Казанском вокзале. Причем накануне коротали время в купе за разговорами вокруг событий на площади Тяньаньмынь. И когда по дороге в гостиницу услышали рокот танков и увидели грозные машины, юный коллега Владислава был потрясен. Он решил, что их шестидесятилетний польский партнер обладает феноменальным даром провидения. Потому что тот им накануне горячо доказывал: пока, мол, у вас социализм, от Тяньаньмыня не зарекайтесь. И вот тебе пожалуйста.

Когда катили по Ленинскому, слева шла колонна танков, справа бронетранспортеры. Возле французского посольства пришлось перейти в метро — дальше машины не пускали. На обратном пути, уже проводив поляка, на «Маяковской» он был свидетелем любопытного зрелища: колонна танков пропускала участников конгресса соотечественников. Символика этого эпизода тех бурных трех дней Яснопольского потрясла. В дежурстве у Белого дома не участвовал, хотя ходил туда не раз. И даже принял «минимальное участие» в сооружении баррикад. Но уже двадцатого сообразил, что это всего-навсего пародия на Венгрию — Чехословакию. Что на самом деле одна кучка людей пытается повернуть страну вспять, другая — защитить преобразования последних лет, а всей огромной стране, в сущности, глубоко наплевать на то, чем все это закончится.

— Но так ли?

— Сужу по родному Поволжью...

Вообще-то главные события последних лет, развал державы у Яснопольского вызывают недоумение. Зачем и кому это понадобилось? Ведь у Владислава и в Эстонии капитал остался. В свое время там можно было начать дело с 5 тысячами рублей в кармане. Сегодня это звучит сказкой, но тогда, до отделения, в республике было самое прогрессивное законодательство.

— Неужели не ясно, — удивляется Яснопольский, — что все эти региональные разрывы для бизнеса губительны. Все разглагольствуют о реформах и норовят резать по живому...

Распад СССР крепко ударил по делам концерна, а эстонских партнеров едва вообще не убил. Неожиданно для себя они оказались на жестко локализованном рынке и теперь просто не знают, что делать. От развала ровным счетом никто не выиграл. Хватит ли сил у нашего молодого бизнеса восстановить прежние связи в работоспособном режиме? Это возможно только при том непременном условии, если изменится политический климат по обе стороны границы, если будут приняты новые законы.

— Сегодня мы вне закона, — с серьезным видом утверждает Яснопольский. — Любого из нас можно задержать и, обнаружив доллары в кармане, посадить за ведение незаконных валютных операций. Я не преувеличиваю. Что-то подобное сегодня уже происходит в Казахстане. Там несколько крупным предпринимателям, представившим интерес для руководящих кланов, сейчас инкриминируют дело из-за двух-трех тысяч долларов. Для обывателя это, конечно, гигантская сумма. А для нынешнего бизнесмена стоимость делового ужина. Наша пресса почему-то об этом не пишет.

— Но мы отстаиваем права человека...

— В коммунистическом режиме? Или в посткоммунистическом?

Вся разница сегодняшнего и вчерашнего режимов для Яснопольского состоит лишь в том, что нынешние властители отрицают, что они коммунисты. А в чем еще? Ну бардака больше. Безответственности. Безнаказанности. Все-таки партийная дубинка сдерживала самые разнузданные инстинкты. Страх оказаться изгоем обуздывал многих. А теперь? Обогашайся как можешь... Вот и разворовывают страну, обирают налогоплательщика.

— Но ведь и вы занимаетесь самообогащением?

— Но при этом я не использую атрибуты государственной власти и прерогативы чиновника. Я использую только свой и наемный труд. Но нанимаю опять же на свои... Ни на чьи деньги никуда не езжу. За все плачу банку и государству из своих, заработанных.

У нас еще при царях так было: неизвестно кто принимал решения. Большевики довели до абсурда феномен так называемой коллегиальности, когда персонально

ответственных за какое-либо дело днем с огнем не сыщешь. Но тогда, считает Владислав, можно было хотя бы догадываться о какой-то группе лиц, заинтересованных в том или ином развитии событий. Сегодня вообще концов не найдешь. И это почему-то называется демократией.

Яснопольский сторонится политики. И даже к Партии экономической свободы относится скептически, хотя искренне уважает Борового, открывшего ему глаза на то, как в сегодняшней России можно делать большой бизнес и не угодить при этом за решетку. Однако же то, что самого Борового «не раздавили», Владислав приписывает лишь чистой случайности.

По мнению Яснопольского, партия Борового изначально допустила ряд крупных ошибок. Самая главная — она позволила влиться в свои ряды бывшим аппаратчикам из ЦК КПСС.

— Конечно, партией должны заниматься профессионалы. Но не из ЦК КПСС, потому что партия предпринимателей должна быть партией совершенно особого типа. А то, что создал Боровой... Вряд ли Партия экономической свободы может сегодня эффективно влиять на положение дел в государстве.

Для реального участия в политической жизни страны требуется совершенно иной уровень капиталов. Необходимы сотни миллионов долларов. С меньшими деньгами — несерьезно... Политика — это очень капиталоемкое дело. Мы, деятели альтернативной экономики, на него пока что просто не способны. Силенок маловато.

Наверное, Яснопольский все же не прав, потому что перед моим мысленным взором встала фигура того же Ильи Баскина, сознательно и уверенно пришедшего в политику (ко времени нашей беседы с Яснопольским он уже выиграл выборы в обоих округах) и начавшего формировать в Питере мощное центристское движение. Причем он и раньше не держался от политики в стороне. Пучк встретил вице-президентом Союза арендаторов, категорически отмежевался от его трусливой политики в те три роковых августовских дня 1991-го. На этой почве у него даже произошел разрыв с лидером Союза Павлом Буничем. Теперь мечтает цивилизовать наше молодое предпринимательство через поддержку новых проектов и молодого поколения профессиональных политиков.

— В парламенте и местных органах самоуправления, — говорил мне Баскин, — сегодня нужны прагматики-профессионалы. Сколько можно полагаться на политических юридивых и самозванцев-демагогов?! Неужели мы так ничему и не научились за последние семь-то лет?!

Есть у него и более прозаичные и менее громкие проекты вроде привлечения средств на реконструкцию исторической части Санкт-Петербурга, помощь обездоленным детям через проведение благотворительных фестивалей. Напомню, что первый такой фестиваль организовал именно Илья. Близка к реализации его идея стажировки 10 тысяч наших молодых предпринимателей в американских фирмах. Так что вопрос участия — неучастия в политике наших бизнесменов — это дело глубоко личное. И видимо, не стоит его напрямую связывать с достатком.

Тут-то мне пришлось в голову задать Яснопольскому вопрос, который, по моему, должен был многое разъяснить. Я спросил Владислава о его отношении к питерским коллегам. Тем более, что, как оказалось, он хорошо знаком с Баскиным.

— В Питере другой мир, — ответил Яснопольский. — У Москвы и Петербурга различный менталитет, разная природа бизнеса. Как сложилось с прошлых веков, так и теперь. Давно когда-то москвичи скупали в Петербурге карамель, которая там всегда была поразительно вкусна. И питерцы говорили: «А, подушечники приехали!»

Яснопольский был у Баскина на первой рождественской встрече 1992 года «Российские предприниматели — российской культуре». Познакомился со многими талантливыми ребятами из делового мира. С некоторыми сблизился.

— И все же Баскин, Львов — это питерская элита.

Яснопольский уверен, что криминального элемента в Питере больше, чем в Москве. Чего стоит хотя бы знаменитая афера липовых фондов, принимавших от населения якобы под солидный процент приватизационные чеки и затем вместе с ваучерами разом исчезнувших! (Жертвами этой махинации стали несколько десятков тысяч петербуржцев.) А кроме того, в первопрестольной хотя и жестче конкуренция, но и «экологические ниши» для всякого рода финансовых и коммерческих предприятий куда многочисленнее.

И здесь мне почему-то вспомнилось замечание Львова о том, что в Москве каким-то хитрым образом оседают все средства, полученные в виде ассигнований, займов или помощи из-за рубежа. Хитрая столица все приберет. Хотя, конечно же, далеко не частные структуры греют на этом руки.

В отличие от Баскина Яснопольский боится вкладывать деньги в недвижимость. Считает это опасным, пока не созданы условия, не приняты соответствующие законы...

* * *

Есть у нас сегодня некоторые вещи и явления, которые понять не в состоянии никто. Ни предприниматель, который семи пядей во лбу, ни наемный работник вроде вашего покорного слуги. Ну как, чем объяснить, например, ту бессовестную грабительскую налоговую политику нового российского государства, что душит, уничтожает на корню ту самую частную инициативу, то самое честное предпринимательство и праведный бизнес, на которые оно, государство, в лице нынешних своих правителей вроде бы вознамерилось опереться?

Отсчитайте теперь два с лишним столетия назад. Россия ведет войну на юге, на севере, в Европе; на Волге борется с Пугачевым, который страшнее шведа. Но в 1775 году императрица Екатерина II издает манифест по случаю мира с Турцией, в котором освобождает купечество от подушной ненавистной ему подати и полагает платить налог в размере одного процента с «объявленного по совести капитала».

Теперь вообразим сцену: является в покои императрицы граф Григорий Орлов с такой речью: «Матушка, шведа воевать нечем, Фридриха — тем паче. Казна бедна, как церковная мышь. Яви божескую милость, издай манифест, чтобы купечеству впредь платить не процент, а сорок процентов. И не с капитала, а с ожидаемой прибыли».

По идее, дальше следует немая сцена. Императрица внимательно изучает до боли сердечной знакомые черты фаворита, стараясь определить, пьян ли он на сей раз до безумия или уже безумен от пьянства. Потом смягчается и говорит: «Знаешь, Гришенька, ты пойди в свои покои, ляг, проспись хорошенько, а утром на коня и двадцать верст по свежему воздуху. И чтобы ни рюмочки...»

Сконфуженный Григорий удаляется, а императрица в скорбной позе, опершись на трельяж, шепчет: «Боже, сорок процентов... Бедный Гриша... Верни, Господи, ему разум...»

Сегодня Россия, слава богу, не воюет. Даже с Америкой и той подружилась. Не помню, кто сказал, что когда России не с кем воевать, она начинает бороться с самой собой, с собственным народом. Но на этот-то раз, может быть, все-таки хватит?..

Май — июль 1993.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ЧЕРТЫ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

Держа в уме картины двух грозных революций — Французской и Российской, невольно поддаешься искушению сопоставлять их и сравнивать сходности. Нужно ли это вообще? Во всяком случае, это потребность нашей любознательности. Это — не бесполезное занятие, хотя надо все время помнить:

— что основные сходства могут и вовсе не лежать на поверхности, истинно природные феномены могут сильно различаться внешне;

— что перед деятелями российской революции настойчиво носились образы французской, звали к подражанию, копированию, — и от этого сходные феномены могут быть не проявлением одинаковой закономерности обеих революций, а лишь результатом этого сознательного копирования. (В свою очередь и французская революция то и дело оглядывалась, сравнивала себя и подражала античности, древним республикам. Да и американское восстание не миновало той участи, Вашингтона и Франклина звали Брутом и Кагоном.)

Разумеется, никто не может ждать такого разительного сходства, как цельное повторение сюжета в последовательности событий. Но всматриваясь, нельзя и не удивиться множеству совпадений частных, отдельных элементов, черт (инвариантов революции?), хотя бы был переставлен их порядок и изменно отстояние во времени между ними. Сюжет другой, а элементы повторяются.

1

А еще прежде сходства частных элементов — сходство общего ощущения. Пожалуй, главное — ощущение затягивающей стихии: разоженный вихрь постепенно, но неуклонно захватывает в уничтожение всех, кто этот вихрь готовил и содействовал ему. Ощущение это широко известно, и у меня еще на ранней стадии работы сформировалось как определение: «Красное Колесо».

В этом вихревом затягивании деятелей в жерло общая черта — неуклонное перемещение центра революции влево. И к этому перемещению, продолжению («углублению») революции не только стремятся в тот момент более левые — но ему содействуют и более правые и промежуточные слои, хотя оно вослед тут же обращается и прямо против них. Когда у них возникает возможность преследовать и подавлять более левые круги (как у нас в июле 1917, у французов — в июле 1791 или дважды во флореале IV и VI годов, 1796 и 1798) — они нерешительны, расслаблены. (Потому ли, что роково ощущают левых своими неизбежными наследниками в революции?) Напротив, более всего они чуждаются призвать на помощь тех, кто правее их. Так в июне 1793 департаменты не могли объединиться в свою защиту из-за того, что республиканцы стыдились союза с роялистами. В 1917 кадеты, затем и правые социалисты, были обречены на бессилие, более всего опасаясь опорочить себя союзом вправо, даже с армейским командованием. (И эта ситуация повторяется потом все годы нашей гражданской войны.)

Затем: в противоречие с этим неумолимым затягиванием — мыслящие современники и многие участники событий на разных ступенях разрушительного развития то и дело считают и даже провозглашают (успокаивая себя?), что на этой стадии «революция окончена». У нас возглашали так даже 4 марта 1917, у французов — даже 27 июня 1789. И никакие уроки прошлых революций при этом не учат никого.

Всякая революция неизбежно далеко-далеко превосходит границы, мыслимые начинателями. У нее — вся инерция разгонного качения, и она никогда не ограничивается первоначальными задачами.

2

Если следовать за Алексисом Токвилем в осмотре обстоятельств, подготовивших французскую революцию, то мы отличим многие такие, которые сложились во Франции, но не в России. Многочисленные остатки феодальных отношений. Жесткие границы сословий. Невыносимость привилегий дворян, полностью освобожденных от обязанностей, вопиющее несправедливое неравенство перед налогами (вся тяжесть на низших классах и привилегия для богачей). Бесчестность королевского правительства во взимании повторных сборов (плата за одно и то же несколько раз). Продажа должностей. Королевская барщина крестьян. Несправедливая форма дорожных повинностей. Тяжелый набор крестьян в ополчение. Крестьянские подати в пользу помещиков. Ужасающая неразбериха в администрации, множество нелепых несогласованных учреждений. Вмешательство королевской администрации в область суда, судебные изъятия в пользу даже самых незначительных правительственных чиновников. Несамостоятельность магистратов.

В России от реформ 60-х годов Александра II многое такое или уже не существовало, или успешно устранялось. Российское дворянство уже не пользовалось обилием привилегий, ни произволом, но еще несло небольшую долю обязанностей по уездным учреждениям. Границы между сословиями успешно стирались, переход из сословия в сословие был доступен, наиболее устойчивым еще оставалось крестьянское, и сильно отгорожены дворцовые круги. Хотя еще сохранялся внутрисословный крестьянский суд, большинство преступлений подлежало на разных условиях общегражданскому суду, уже вполне независимому от правительственной власти, и в ее пользу не было судебных изъятий. Правосудие происходило без раболепства перед властями. Земство и местные думы имели заметную свободу и широту в своей местной деятельности. Правительственная администрация была построена четко, с ясным разграничением ведения. Единая воинская обязанность ложилась на все классы. (Но сохранялось психологическое неравенство в самой армии: исторически приниженное положение крестьянского сословия. Это очень губительно сказалось в ходе революции.) Налоги вообще были незначительны, для всех. Крестьяне не платили помещикам ничего кроме аренды и не знали отработок для правительства или царя, кроме земской дорожной повинности.

Во Франции за сто с лишним лет до революции заглохла всякая свободная общественная деятельность, в России, напротив, именно за последние 50 лет началось земство, за последние 11 — конституционная жизнь. Франция всем запущенным состоянием государства и общества как бы вгонялась в революцию (но и это не значит, что неизбежно исключалось спокойное развитие). Россия же своим развитием уже отводилась от нее. Российская революция не только не облегчила развития страны, но катастрофически задержала и извратила его. (Притом интересно, что само предчувствие грозной революции совершенно отсутствовало во Франции во всех слоях, да в массах и в России тоже, и даже революционеры перед самой революцией никак не ждали ее, но образованное общество настроено было именно к революции, жаждало ее и призывало.)

Однако и область сходств велика. Перевес костенеющей централизации над местной самодеятельностью. Отсутствие у министров «той великой науки управления», которая учит не подробностям служебного аппарата, но «понимать движение общества в целом, судить о том, что происходит в умах масс, и предвидеть результаты этого процесса». (Таким министром в России был Столыпин, убитый в 1911 году.) Однако административная практика в обеих странах велась мягче существующих законов. Дворянство — в разрозненности, апатии и политической неспособности. Отсутствие энергии у него и у трона. Активный торгово-промышленный класс, в

России особенно на подъеме. Крестьянство не имело понятия о политических свободах и не жаждало их, его устремление — земля. Впрочем, во Франции уже 50% обрабатываемой земли принадлежало крестьянству, в России же — 76%, однако это не уменьшало порыва к остальной (объем которой представлялся русским крестьянам, особенно через пропаганду образованных, весьма преувеличенно). В обеих странах как раз в последние десятилетия перед революцией происходили очень серьезные реформы — но именно быстрота этого движения без компенсации стабильности и способствовала неустойчивости. В обеих странах именно перед революцией было достигнуто общественное благосостояние наибольшее — как сравнительно с предшествующими десятилетиями, так и с послереволюционными. Царствования Людовика XVI, как и Николая II, были экономически самыми благополучными эпохами. Но чем быстрее положение улучшалось, тем более, психологически, его находили невыносимым, желая быстрее, тем более обострялась ненависть ко всему, что еще не преобразовано.

Не следует упустить и такие важные сходства, как подавляющее превосходство Парижа и Петрограда там и тут в смысле их административной инициативы и монополии: достаточно событию совершиться в столице — и оно автоматически отзывается по всей стране, и, напротив, почти безнадежно иметь успех движению, зародившемуся вне столицы. При этом в Париже — весьма большие, по тому времени, скопления рабочего населения (Сент-Антуанское, Тампльское предместья). Еще больший переизбыток и диспропорция населения в Петрограде: не только сильная концентрация военной промышленности с защищенным от воинской повинности рабочим составом, но и полтораста тысяч еще не обученного и недисциплинированного гарнизона, и несколько сот тысяч неустроенных беженцев от войны.

В обеих странах за десятилетия до революции просвещенные классы из великодушных симпатий к положению народа нестесненно и настойчиво говорили о его не удовлетворенных нуждах, о творимых над ним несправедливостях. (Причем в России это внушала массам либерально-революционная интеллигенция, а во Франции — и привилегированные классы, и король, и чиновники.) Общей же чертой была всеобщая манера во всем винить правительство. Эта пропаганда (и в том неверном, что необъятны запасы еще не конфискованной земли) успешно разжигала народные массы. В обеих революциях ясно видно рождение сверху, никак не сравнишь, например, с пугачевским мятежом.

3

Тут мы касаемся некоего решающего и пронизывающего свойства именно этих двух революций: что обе они проявились как революции *идеологические*. Обе они взорвались вследствие реальных обстоятельств, но обе они имели столетнюю подготовку в просвещении, философии, публицистике. В обоих случаях у трона не было никакой развитой политической доктрины и еще меньше — способности активно распространять в народе свои убеждения. Зато именно правящий класс более всего воспринимал новую философию, подрывающую традицию — и монархическую и религиозную. Революция произошла в духе раньше, чем в реальности, власть была обессилена философами, публицистами, литераторами. Идеология задолго, и беспрепятственно, опережала революцию и распространялась в образованных умах.

Эта идеология (в России по отношению к Франции наследственная) исходила из принципиальной добродетельности человеческой природы, помехами которой только и являются неудачные социальные устройства. Эти мыслители, не имеющие никакой практической основы и никакого государственного опыта, легко выносили категорические суждения о государстве, о природе права и общественной жизни — суждения отвлеченные, произвольные, но с большим темпераментом. Не имея ни малейшего представления об опасности общественных потрясений, они с легкостью отменяли традиции и обычаи как помешные подробности. И эти суждения, подхваченные образованным классом, дальше расширялись, спускались в нижние слои (особенно действительно во Франции) и грозно готовили революцию. В России — в виде оформленных революционных партий и террора.

Хотя обе перенятые Россией идеологии — и либеральный демократизм и социализм — на Западе уже с тех пор сильно поизносились, в России (и потом по всем материкам во всем XX веке) они еще сработали со всею свежей силой.

В составе этих убеждений особенно настойчивой была струя антиклерикальная, затем и антихристианская, очень яростная во французских просвещенных кругах, а в России — в их большевицкой оконечности. В обеих странах самым неверующим классом было дворянство, от него и расплывалось распространение неверия, уже как мода, к которой стыдно становилось не присоединиться. Эта коренная антирелигиозность идеологии (коренная, потому что вместо религии она предлагала саму себя) сказалась на особо разрушительном и жестоким характере обеих революций: вместе с государственным строем сотрясались и религиозные и нравственные законы, ничто не оставалось опорой.

По взрывчатости идей, по широте взятых задач — обе революции с самого начала являются феноменом международным: «освободить человечество», преобразовать не только свою страну, но весь мир.

Идеология сильно владела обеими революциями, особенно в периоды якобинский и раннебольшевицкий. Точное копирование провинциальными якобинскими клубами исходного парижского нельзя считать просто подчинением, тут захват идей. В СССР энтузиастическая вера молодежи была опорой режима в 20-е и 30-е годы, после чего иссякла. (И это — слабейшее место сегодняшнего СССР.) В российской революции эта наследованная якобинская идеология приобрела формулировки интернационального социализма, которые со стадии октябрьского переворота расширились в задачу установить коммунистическую власть во всем мире.

4

Общественное ощущение (во Франции — и шире, как общенародное чувство), что страна сползает в пропасть, в России стало развиваться в последние месяцы до революции, с осени на зиму 1916, во Франции — уже после первых шагов революции, в летне-осенние месяцы 1789. Это соответствует и разному темпу революционного начала, перехода страны из кристаллического состояния в расплавленное: очень бурному у нас и замедленному (на нашу мерку) во Франции. Соответственно тому и речь Миллюкова в Государственной Думе (1 ноября 1916) нашла себе место за 4 месяца до революции (но уже как венец умеренно-конституционного развития, из-за первого приступа 1905 года конституция с революцией у нас переставлена), аналогичная же ей — речь Мирабо в Учредительном Собрании (5 октября 1789) — через 5 месяцев после начала ее. (Кстати, оба чувства сопровождаются устойчивой общественной ненавистью к королеве — значительно сильнее, чем к королю.)

При выборах как Генеральных Штатов, так и Государственной Думы власть не вела правительственной агитации (в России — не имела и правительственного органа печати для того), тогда как противники ее вели самую активную, власть не умела и не пыталась повлиять на исход выборов. Так, в обоих случаях власть не мешала создаться законному публичному центру, настроенному против правительства. А при первых революционных событиях — вела себя самым неопределенным и неуверенным образом. (Порыв Генеральных Штатов — если распустят, то призвать население не платить налогов, был в России точно скопирован, а потому и с запасом времени, в 11 лет, Выборгским воззванием 1-й Государственной Думы.)

Интересно сравнить и степень парламентского сознания. Даже после трех лет французской революции назначал и сменял министров все еще король, ни Учредительное, ни Законодательное Собрания уже в значительном разгаре революции все еще не дошли до требования «ответственного министерства». В России, уже на опыте предшествующего западного парламентаризма, это требование возникает прежде революции и звучит как основное требование либерального общества. Но в обоих случаях размахом революционной волны это требование тут же и погребено, и прежде заинтересованные круги уже не смеют и вспомнить о нем.

Более того, Государственная Дума, так много сделавшая для свержения трона, сама после этого свержения, вместо того чтобы расцвести, впадает в мгновенный паралич и перестает существовать буквально в тех же днях, безвольно передав всю сумму исполнительной, законодательной и верховной власти — никак не конституированному, ни на какую законность не опертому Временному правительству. Да и Генеральные Штаты, начавшие революцию, затем принимая облик то Национального, то Учредительного Собрания, хотя держатся крепче и растянутей во времени, но испытывают процесс угасания.

Индивидуальные характеры королей и их поведение в критических обстоятельствах — вот что могло бы наиболее различаться, не совпадать ни даже в каких мелочах. Однако мы находим у Людовика XVI и Николая II немало совпадений. В обоих случаях — искренний христианин на троне. (И к обоим до самой революции сохранялось благоговейное отношение в народных низах.) Добр, великодушен — и это обоим мешало быть строгим в политике. Оба лишены настойчивой воли, и это даже главная черта их характера. Обоим не под силу выпавшая им задача. Оба легко поддавались влиянию, хотя у обоих проявлялись и бунты против этого. (Николай II помнил обиды от большого давления на свою волю.) Для обоих типично — вежливо выслушивать, даже улыбаться, но редко на что-нибудь решаться: они терялись в разнонаправленных влияниях, а все, кто имел с ними дело, — не уверены были в окончательности никакого их решения. Обоим докучало их царское ремесло, и оба гораздо более склонны к частной семейной жизни. И даже такие уже совсем не обязательные совпадения: у обоих — бережливость в личных тратах, у обоих — пристрастие к охоте.

В главном их действии (бездействии) против хода революции — одна и та же причина: оба опасались пролить кровь своих соотечественников. У обоих монархов совпадает общая линия долгой нерешительности: у Николая она главной частью — в приступ 1905 и в предреволюционный период, у Людовика — уже в самые революционные годы, растянутые для него в три. И (в разных масштабах и в разные периоды революции) есть сходство, как Николай не подумал, что своим отречением 2 марта 1917 предаст всю военную иерархию и Действующую армию, а Людовик безвольной капитуляцией (10 августа 1792) предал кучку верных ему до конца швейцарцев. И как Людовик имел счастливый вид, сдавшись перед Учредительным Собранием, так короткое время после отречения испытывал и Николай — облегчение от сдачи, и тем более мог отдаться высвобождению души от политических бремени в долгом и сравнительно мирном заключении. Николай II был пощажен судьбою от длительных революционных унижений, которые достались Людовику XVI: то шествовать на поклон в бунтарский Париж (17 июля 1789); то сообщать всем европейским дворам, что он якобы «свободен»; то причащаться у изменного («присягнувшего») священника; то (4 февраля 1790) заявлять, что он — за дальнейшее развитие революции. От Николая никто не требовал ничего подобного (и неизвестно, могли бы или не могли вынудить такое). Затем Людовик делал попытку к побегу, и для того оказалось же все-таки у него малое число приверженцев, — у Николая не было такой попытки, и приверженцы не проявились.

А бежал Людовик, имея намерение призвать на помощь против революции силы Европы. У Николая никогда подобного движения не было, ни в 1905, ни в 1917, и, уже отреченный, он издал последний приказ войскам (8 марта 1917, задержанный Временным правительством): под водительством Временного правительства победить врага. (Так же и Мария Антуанетта желала своей армии поражения, Александра Федоровна — никогда. Но тут мы неожиданно приходим и к значительному сходству общего очерка обеих королей: гордая красота, оклеветанность; перед нападками династии, двора, высшего света — презрительная поза, и неспособность забывать обиды. Русская императрица сама остро чувствовала свое сходство с Марией Антуанеттой, холила ее портрет, может быть, предчувствовала и совпадение конечной судьбы.)

Хотя французская Церковь состояла уже под значительным материальным контролем предреволюционного государства (например, монастыри под опекой интендантов, церковная организация уже была сильно развалена) — само французское духовенство сохраняло еще дух независимости относительно светской власти, значительные вольности, право на периодические собрания (единственное из сословий), было просвещенным и сохраняло национальное чувство. И низшее духовенство обладало гарантиями против тирании иерархов. Наказы французского духовенства к Генеральным Штатам — чрезвычайно свободолюбивы и компетентно политичны. Но Церковь продолжает использовать свои оставшиеся разнообразные феодальные пра-

ва над населением, и как собственник, отъемщик неуклонной десятины, и как реликт административной власти вызывает озлобление массы, напряженное антиклерикальное настроение, которого в русской массе не было.

В России мы видим картину иную: нет государственного контроля над церковными и монастырскими имуществами, но духовенство исключено из всякой общественно-политической деятельности, просвещенность его слаба, никакого независимого духа, инициативы, а рядовые священники подавлены иерархами и еще более — своей невылазной материальной нуждой. Русское священство полностью зависит от подаяний прихожан, это вызывает и аздражение, и насмешки, авторитет его низок.

Соответственно этому, французское духовенство вступает в революцию активной силой, особенно на первых порах Генеральных Штатов, и не склонно сдерживать наросшего крестьянского взрыва к земле. Русское — беззвучно, бездеятельно, беспомощно (только выделяются малочисленные левые группы, требующие церковных реформ). Но уже вскоре звучит с трибуны Учредительного Собрания: «надеть намордник на духовенство» (Мирабо), — и то же самое заявляет громко (и начинает осуществлять) прокурор Святейшего Синода Владимир Львов.

В обоих случаях реальные удары постигают Церковь с конца первого года революции. По медленному течению французской это еще только начало ее: март 1790 — национализация церковных имуществ, июнь — закон о гражданском устройстве духовенства, ноябрь — священство обязано присягать гражданскому устройству.

В России в конце первого года уже у власти большевики, и все эти (и более жестокие) удары постигают Церковь мгновенно — и конфискация имуществ, и установление над священством гражданско-политической диктатуры. Исключая смелые шаги патриарха Тихона (предание советской власти анафеме), еще нескольких иерархов, и малого числа священников, — русское духовенство и тут остается незащищенно-беспомощным, и первый предел большевицкой разнузданности кладет не его сопротивление, а стихийные восстания крестьян и мещан в защиту веры (лето 1918). Тотального подавления Церкви большевики достигают лишь четырьмя годами позже (1922), освобождаясь от гражданской войны.

Во Франции «гражданское устройство духовенства» формально заключало в себе и идею вернуть Церкви евангелический дух, и в частности сделать священство выборным. Это было — из главных требований и русских дореволюционных (с начала XX века) церковных реформаторов. В обоих случаях какая-то часть духовенства затронута сочувствием к происходящим преобразованиям — и во Франции это раскалывает духовенство в 1791 на вопросе о присяге гражданскому устройству («конституционная церковь 1791»), в СССР проявляется с 1922 года как движение «живоцерковцев», с годами, однако, провалившееся, несмотря на всю коммунистическую поддержку. И там и здесь есть случаи и полного отречения священников и епископов от веры.

Резко антиклерикальное настроение (во Франции раздутое озлоблением к земным благам церкви) в обеих революциях уверенно переходит в антихристианские преследования, в СССР значительно шире, — не только духовенства, а самой массы верующих. И в течение всех советских лет марксистские идеологические антирелигиозные мотивы остаются настойчивы и неослабны.

В обеих революциях, хотя на разном этапе (во Франции — через 3 года, 1792, в СССР через 12 лет, 1930), — установление нового революционного календаря, составленного так, чтоб уничтожить память о воскресеньях и церковных праздниках. В обеих революциях запрет колокольного звона, снятие колоколов (даже при Директории!), снос колоколен, ограбление церковных сосудов и ценностей. В Конвенте, 1793—1794, вскрывались ящики конфискованных в провинции чаш и распятий, в СССР — повсеместный грабеж предметов церковного обихода в 1922. Во Франции то сжигают чудотворную статую Богоматери, то поят осла из священной чаши, в СССР — систематическое разорение и уничтожение икон и мощей святых, кощунства антирелигиозных спектаклей и лекций, более же всего — физическое уничтожение тысяч священников, чего Франция в таких масштабах не знала. Но антирелигиозные крайности во Франции все же встречали сопротивление в теле самой революции (даже у Робеспьера), в СССР — нет, лишь сопротивление верующих.

Во Франции производились настойчивые попытки заменить христианскую веру каким-либо другим культом — «культ Разума», культ Верховного Существа при

Робеспьере, теофилантропизм при Директории, для этого использовались или даже переоборудовались католические храмы (и Нотр-Дам) — и чиновников обязывали водить туда семьи. В СССР не было таких попыток, коммунисты вели борьбу на полное уничтожение православия, уничтожение или запустение самих храмов, допуская относительно Церкви лишь тактические приемы (раскол Церкви «живоцерковством», или призыв Церкви на помощь в защите родины от Гитлера, или в пропагандистском пацифизме). Культ Верховного Существа все же признавал бессмертие души, большевики отначала злобно отвергли и высмеяли его, они в разрушении религии шли сразу до конца.

Однако через 6 лет подавления католицизма к годам Директории во Франции мы наблюдаем сильный стихийный обратный взрыв веры, преследования воскресили религию, и религиозный дух охватывает даже тех, кто до революции был к ней равнодушен и даже безбожен, как высшие классы. Однако силен и последователен и антихристианский заряд революции. Хотя в 1797, как следствие Термидора, и проводится несколько смягчительных к Церкви законов (восстановление колокольного звона, свободный выбор кладбища, освобождение священников от политической присяги), они тут же опрокидываются воем якобинской печати, что это возврат инквизиции, и переворотом Фруктидора, 1797 (и снова высылка священников, кто откажется принести клятву в ненависти к королю, казненному и всякому вообще). В эти годы Директории, как будто уже так потерявшие якобинский накал, власти препятствуют крестовым похоронам, запрещают продавать рыбу по пятницам и декадным счетом пытаются стереть воскресенье. В ходе последующих лет католицизм все же восстанавливается и укрепляется.

Тотальное подавление религии в СССР не сравнимо ни по масштабам, ни по жестокости, ни по долготе (все семьдесят лет, и даже, при Хрущеве, новая яростная антихристианская вспышка, уже, кажется, из пепла), — но несмотря на всю свою свирепость, оно духовно истощилось и обанкротилось. А к стойкости погибших мучеников первых двух десятилетий с годами наращивалась в населении и массовая обратная тяга к вере. Процесс — сходен и тут.

7

Очевидно, всякая революция всегда сопровождается вихрем клевет (на старый строй) и небылиц (о ходе событий). А благодаря необратимости победы революции — эти клеветы и небылицы так и присыхают в истории как быть, даже и на сотни лет. Во Франции можно вспомнить клеветы, будто в Бастилии найдены скелеты замученных, орудия пыток и ужаснейшие тайны в архивах (никогда никем, однако, не опубликованные); или будто Фуллон сказал: «Если у них нет хлеба, пусть едят сено»; небылицу, будто в ночь на 13 июля 1789 на башне городской думы дали набат против правительства, да и вся возвлекенная легенда о взятии почти пустой и не сопротивлявшейся Бастилии — такая же изрядная небылица. (Делонэ послушно снял нестреляющие пушки из амбразур, забил амбразуры досками, показал депутатам весь свой жалкий гарнизон, — все равно победно атакован с добычей в несколько уголовников.) В России можно было бы составить очень длинный список — еще от небылиц 1905 года, потом многократно оклеветанного Столыпина, легенду о сепаратных переговорах Николая II с немцами. Назовем здесь несколько из кипения февральских дней: знаменитая (и вполне присохшая) ложь о полицейских пулеметах на крышах и на колокольнях (не было ни одного), о переодевании полиции в солдат, о намерении Николая II открыть фронт немцам для подавления революции или о его миллиардных вкладах в заграничные банки.

Есть сходства и в первых началах: полная слабость обоих правительств; классические черты психологии толп в обеих столицах; отказы столичной гвардии сопротивляться начавшемуся восстанию (в Петрограде — и решающее примыкание запасных к мятежу); угрюмая подавленность правительственных войск (июльские дни 1789 и февральские 1917); отступление их командующих перед призраком гражданской войны; самые bestолковые распоряжения столичному гарнизону (от полковника Шатэле или генерала Хабалова). И уступчивость Национального Собрания и симпатия Государственной Думы к начавшемуся восстанию: в надежде, что так достигнется революционная цель, а затем все скоро уляжется, военная дисциплина восстановится, национальный разум исцелит все. На самых ранних шагах и там и здесь

торжествует бескровная победа революции. Очень подавленные Людовик XVI и Николай II надеются положить скорый предел революции через уступки ей. Привилегированные, столь обласканные и гордые слои вчерашнего дня не проявляют никакой способности к защите трона и даже самих себя, мгновенно превращаются в стада жертв, покорных любому преследованию и унижению.

В обеих столицах оказывает влияние настроение голода (в Париже — более реального, в Петрограде — совсем условного, и для обоих — никак не сравнимое с тем, что предстоит им пережить в революцию). По растянутости темпа французской революции марш парижских женщин о хлебе происходит почти тремя месяцами позже (5 октября 1789), в Петрограде же он открывает все события.

В обеих революциях от первых шагов — заметнейшая роль уголовников. Во Франции это банды бродячих разбойников (иногда преувеличенные молвою и страхом, а вскоре за тем объявленные героями), с весны по осень 1789 Франция содрогается от пожаров, убийств и грабежей, в России — уголовники, распущенные в первый же день (Петроград) или в последующие дни (провинция) по амнистии и сразу усилившие в действиях толпы грабеж, жестокости и убийства. Да в последующие годы одни и те же банды, вроде французских «сентябрьских (1792) убийц» (тут были уже и городские низы, как и в России, они все захватнее примыкали к грабежам), снова и снова выпускаются из тюрем и совершают новые уголовные действия. В обеих революциях всплывают в активный слой самые разрушительные элементы, отгесняя формообразующие.

И еще разительное сходство: обе страны совершенно не были подготовлены к своим столичным республиканским революциям, к отмене монархии. В России это было совсем неожиданно — по прочности вековой крестьянской веры в царя и скоротечности дней свержения. А провинциальная Франция даже и в сентябре 1792 — через 3 года! — очень холодно воспринимала отмену монархии

Но в обеих революциях: провинция покорно копирует все действия столиц, на всех этапах, и всегда с опозданием.

8

Разность сроков свержения монархии сильно меняет параллелизм этапов двух революций — растягивает французскую, сжимает российскую. Но и при этом различии темпов можно видеть крупное сходство в том, как идет саморазвал государства: в России 8 месяцев (еще даже и быстрее), во Франции более трех лет, в обоих случаях до решающего переворота террористов (якобинцев или большевиков). Что во Франции при этом присутствует безвластный король — не меняет картины. Очень сходна беспомощность Учредительного (затем и Законодательного) Собрания, вносящая развал во всю жизнь страны, — и такая же перемесь слепой разрушительности и бездеятельности российского Временного правительства. И Собрания, временами и Конвент, затем и Советы Пятисот и Старших, постоянно все находятся в состоянии растерянности.

В обеих революциях все они теснимы незаконным и дерзким вмешательством столичных низов. Сходно даже до чрезмерности, как 9 августа 1792 парижский генеральный совет (городская дума) уступает ворвавшимся вожакам парижских секций право заседать в своем здании — и вслед за тем, в тот же вечер, сам перестает существовать. В Петрограде 27 февраля 1917 так же устраивается в здании Государственной Думы Совет рабочих депутатов, и Дума вслед за тем, да с того же дня, перестает реально существовать. И это сходство «генерального совета Коммуны» и Совета рабочих депутатов систематически продолжается дальше: самозванный орган самозванно вмешивается в действия правительственных учреждений и успешно посягает вести всю страну.

При большом смещении параллельных этапов нельзя не отметить убедительного родства жирондистов и кадетов: беспомощная негосударственность, преобладание слов над действием, любовь к фразе, равенство на исторические примеры (те — на античность, эти — на Францию). С поправкой на то, что у некоторых жирондистов бывали достаточно кровожадные высказывания, у кадетов — нет. Но одобрение кадетами предреволюционного террора ненамного нравственней, чем одобрение жирондистами сентябрьских убийств.

По крайности революционной фразы, а затем и неумению провести ее методически в действие, Дантон и его группа напоминают эсеровских вождей. Любопытно

сходство и такой подробности: в «исполнительном совете» (правительстве) 1792 года Дантон — не только министр юстиции и, сходно с Керенским, дорожит тем, что арестованный монарх в его руках, — но, при своем второстепенном посту, становится фактически ведущим лицом правительства, и тоже всего два месяца, а следующий шаг — к открытому руководству правительством.

9

Крайне существенно, что французская революция началась в период мира, а российская в период войны. (Тут лежит и главная причина скоротечности российской — темп убыстрился от многомиллионной вооруженной армии.)

Вследствие этого исходного различия революция застала французскую армию на невысоком боевом уровне, российскую — на высоком, в строгой дисциплине и подчинении — кроме переизбыточно, бессмысленно призванных, еще не обученных и бездельно содержимых запасных частей. С них-то и начался мятеж.

Доселе существует ложное мнение, будто революции вдохновляют армии. Как раз наоборот: они разлагают их. Отначала малоспособная французская армия сквозь первые три года революции — разлагается. Мы видим неподчинения приказам о передислокации (например, возглавленное будущим маршалом, а тогда лейтенантом Даву, Шампанский полк, весна 1790), затем во многих полках — издевательства над офицерами, грабеж их, и бунты до полного разложения, крупное восстание гарнизона Нанси (август 1790).

Сходный процесс, только бурно-быстрый, охватывает и российскую армию. За начальным мятежом петербургского гарнизона его наглое требование о невыводе на фронт (ему покорно уступает Временное правительство, как и Шампанскому полку Учредительное Собрание). Тут же — мятежи в соседних тыловых гарнизонах, и вестники мятежей под защитной сенью революционной свободы отправляются беспрепятственно разлагать фронтные части. В первые же недели это уже сказывается на фронтах, ближайших к Петрограду, и подражательно разливается по всем тыловым гарнизонам России. Процесс так быстр, что Верховное Главнокомандование вынуждено сразу далеко отложить подготовленное большое весеннее наступление. Уже на второй месяц революции армия небоеспособна, а на четвертом месяце (июль 1917), отправленная все же в наступление, терпит невиданно позорное поражение-бегство.

Сходна и такая черта: в этом разложении официально обвиняется не революция, а невидимые, неуказанные «офицеры-контрреволюционеры» (Робеспьер в Собрании в июне 1790, Стеклов и другие социалисты — с марта 1917).

Пресловутое «воодушевление революционной армии» в России вообще не наблюдается. Во Франции процесс сложнее, он волнообразен. Первые месяцы внешней войны (апрель — сентябрь 1792) — сплошные поражения старой армии, вдобавок разложенной революцией. Но растущая внешняя угроза воспринимается не столько как контрреволюционная, а как национальная (прокламация 11 июля «Отечество в опасности»), и в армию приток энтузиастических добровольцев. (Признаем, что у французозов того времени чувство отечества несравнимо сильней, чем у русских в 1917.) Правда, победа при Вальми (сентябрь 1792) достигнута более за счет разногласий между союзниками, нежели благодаря достоинствам революционной армии. Еще несколько крупных успехов — но тем временем иссякает приток революционных добровольцев, а битва под Неервинденом (март 1793) проиграна именно из-за их нестойкости. И тут следует полоса французских неудач в Бельгии. На укрепление французской обороны существенно повлиял неуклюжий манифест герцога Брауншвейгского, сплотившего французскую армию общенациональной угрозой. С марта 1793 французская армия перестраивается на регулярной основе, при обязательном рекрутском наборе, — и после еще нескольких месяцев поражений наконец становится победоносной. С февраля 1918 не на добровольчестве, а на принудительном наборе держится и Красная армия (но усиленно напичкиваемая политруками и агитацией). В обеих странах рекрутский набор проводится грозными методами (август 1793, лето 1918) — и только так революция создает себе боевую силу взамен той, что она разрушила. В истории французской революции именно этот период (1793—94) зачтен как период революционного энтузиазма армии. Заметим, что и большевицкая историография так же окрестила кампании 1919—20. Напротив, враги революции (Белая армия в России) — в основном добровольцы.

В обеих революциях мы наблюдаем органическую одновременность террора в стране и энтузиазма (разумеется, у разных групп). Так и решающие победы революционной французской армии (с осени 1793) случайно ли совпадают с разгулом террора во Франции? Тем же цементом спаяна и Красная армия для своих побед. При Директории начинается снова массовое дезертирство, с 1795 наборы в армию наталкиваются в стране на сопротивление. Наполеоновские победы в Италии в 1796, видимо, воздвигнуты не столько на революционном духе, сколько на чисто военном (включая и роль военной добычи).

10

В России революция началась, когда мы были сыты войною по горло, — и именно это отвращение к войне придало такой уверенный ход революции. Из первых шагов российской революции (март 1917) — декларации об отказе от завоеваний. Подобный декрет был и у Учредительного Собрания (май 1790), но он не продержался. К 1792 году разнообразные французские круги *хотели* внешней войны, в том числе и для дальнейшего разжигания революции.

Соответственно у нас успех лозунга «Долой войну» и, как ближайший результат революции, менее чем через год — позорная капитуляция Брестского мира, отдача вовне огромных областей России. В наступившей затем гражданской войне усилия не превосходили задачи вернуть под свою власть большую часть бывшей территории России. Французская же революция годами сопровождалась успешными военными усилиями за пределами страны.

Гражданская война в России — никак не аналог революционным войнам Франции, ибо она не состояла во внешней борьбе. Она есть аналог борьбе Вандеи и нормандских шуанов, это внутреннее сопротивление террору переворотчиков — и у нас более серьезное и длительное, чем возникло во Франции. (Но время начала обеих войн — тотчас за красным террором, и утверждение красной стороны на нем совпадает в обеих странах.) Внешнее расширение как следствие большой идеологической революции, очевидно неизбежное извержение революционного взрыва, у нас проявилось сперва лишь попыткой поддержки германской революции, венгерского и баварского переворотов, а польская война начата не с нашей стороны, лишь затем была попытка революционного раската («Даешь Варшаву! Дай Берлин!»). Внешние завоевания СССР начались только с конца Второй мировой войны, то есть с задержкою в четверть века, — зато и продолжают вот уже 40 лет, и неизмеримо превосходят успехи Наполеона.

Но со стороны Европы картина в обоих случаях сходная: полное непонимание глубокой опасности себе от этой революции. Примитивный расчет: одним соперником меньше в Европе, пусть страна ослабнет от революционной анархии — можно будет поживиться, отхватить куски. Однако даже и этой страсти не хватает у разногласных европейских держав. Действия Европы против Франции поражают вялостью, особенно до лета 1793 (во многом объясняются расчетами на дележ Польши), медлительность австрийцев и пруссаков разрешила сформировать якобинскую диктатуру, а затем и армию. Но такая же нерешительность и позже, когда опасность прямо переходит к ним через Рейн, грозит десантом в Ирландии или гремит победами Бонапарта в Италии. Тем более революция 1917 застает Европу разделенной на враждующие лагеря, объединенные действия и вовсе невозможны. Оккупация Германией российской территории в 1918 направлена лишь к продуктовому грабежу, а, разумеется, не к противодействию выгодной для нее революции. Действия союзников ничтожны для того, чтобы повлиять на ход российской гражданской войны, зато (у Англии в Баку, у Японии на Дальнем Востоке, у Польши на Украине и в Белоруссии) — прямое желание поживиться за счет раздираемой страны. Такая беспринципность не может дать успеха против идеологической революции.

Во французской революции еще наблюдаем внешнюю группировку роялистов. Но они не сумели выставить заметной реальной силы, такою не была «армия Кондэ», ни высадка в Кибероне, да еще при помощи англичан. Такими действиями, еще более веронской декларацией будущего Людовика XVIII, в наивности не различая умеренных от якобинцев, они только укрепляли последних. Вмешательство эмигрантов было крайне неумело. В России же подобной группировки монархистов не создалось ни на территории страны, ни вне ее по полной хилости и неверности трону правых, по

несостоятельности монархических сил в высшем классе, как это и обнаружила революция. А отступившая с гражданской войны Белая армия после того лишена была, по воле Запада, сыграть какую-либо роль.

Из-за того, что французская революция затем имела порой и попятный ход, во Франции было такое явление, как массовый возврат эмигрантов. При неуклонности хода российской революции, как и гражданской войны, этого произойти не могло.

11

В обеих революциях ясно выделяется первый этап (1789 до августа 1792, до свержения короля и начала террора; март — октябрь 1917, до большевицкого переворота). За ним второй этап: якобинский во Франции (до Термидора, т. е. кончая июлем 1794) и большевицкий в России — увы, до нынешнего времени. Для сравнения привлечем его, однако, лишь в ранней части — до 1921 года.

Если возразить, что во Франции граница между этапами — по духу, по тону и организационно, ярче проявляется летом 1793 (разгром жирондистов и вхождение Робеспьера в Комитет Общественного Спасения), — то и в России есть такая подграница ужесточения: январь — июнь 1918. Разгон нашего Учредительного Собрания (январь 1918) с арестами кадетов сходен с нашествием коммунаров в Конвент 31 мая 1793 с требованием выдачи 22-х жирондистских депутатов. За полгода лишен смысла и Совет рабочих депутатов, устранены все социалисты, последние из них — левые эсеры, как бы разновидность уже якобинцев, разгромлены в июле 1918, и громко анонсирован красный террор. Скрупулезного соответствия быть не может, но лето 1793 и лето 1918 — следующий скачок, нагнетание революционной температуры.

В целом же правильно назвать и сравнивать периоды якобинский и раннебольшевицкий. Они прежде всего и в самом существенном сходятся в том, что до них ход революции скорее расслабленный, шаткий, в океане цветистых фраз, — от них приобретает беспощадный энергичный характер. (При такой же энергичной самоотдаче руководства.)

И в том, что для обоих развиваемый террор — фундамент для ведомой войны.

Впрочем, при этом сравнении не надо забывать, что шло активное копирование. Оно началось и в февральский период 1917, но там носило окраску романтического прихорашивания («взятие» крепости, марсельеза, комиссары во все места). А большевики практически, «хозяйственно» копировали якобинскую диктатуру во многих ее приемах. Для начала можно вспомнить знаменитую фразу Иснара (конец 1791) «не надо доказательств», т. е. достаточно односторонней жалобы, и даже тайного доноса, чтобы привлечь к ответственности. Многие проявления якобинской диктатуры мы прочитываем как доточные цитаты из большевиков. Инструкция Робеспьера Сен-Жюсту (начало 1794): «Сущность республики — уничтожение всего, что ей противодействует. Виновны те, кто не хочет добродетели. Виновны те, кто не хочет террора». Или принцип Кутона (Конвент, 22 прерияля, лето 1794): «Всякая формальность — общественная опасность. Время, необходимое для наказания врагов отечества (у нас еще тогда — «революции»), не должно быть больше времени, необходимого для их опознания». (И этот принцип более доведен до конца у большевиков, нежели у якобинцев.) И обвиняемые сперва лишаются права иметь защитников, затем даже и права самим возражать на обвинения: «Возражения обвиняемых мешают правильному течению заседания», от частичных запретов защищаться переходят и к полному. Все это мы видим и в раннем развитии большевицкого ГУЛАГа. Сама форма Трибунала взята большевиками у якобинцев, но значительно развита (количество местных трибуналов, специализированные военные, железнодорожные, речные трибуналы и т. д.). У якобинцев перенято еще прежде того — обвинение целых сословных групп. Из первых мер августа 1792: аристократы и священники все вкуче, без разбору, объявляются заговорщиками, семьи эмигрантов — *заложниками*, какое знакомое слово! Например, в случае беспорядков в коммуне священник того прихода, если он не присягал новому порядку, автоматически отправляется в тюрьму. Все так же и в России: врагами объявляются чохом за одну лишь принадлежность к «враждебным классам» — дворянству, священству или «буржуазии», или просто как «вызывающие подозрение», — и за все то могут быть арестованы на неопределенное время, содержимы заложниками, а то

и расстреляны. Само это выражение — «наблюдать за подозрительными», так знакомое нам при большевиках, содержится, например, в инструкции комиссарам на места (9 нивоза II года, 29 декабря 1793). А от кого об этих подозрительных узнавать? от местных «народных обществ» (предшественники коммунистических комбедов; и те и другие, отслужив кровавую службу, затем распущены).

И в трибунальских обвинениях та же непомерность, фантастичность, смешение несмешаемого. Во Франции, например, обвинения Эро де Сешеля: соучастник герцога Орлеанского, Бриссо, Эбера, Дюмуре и Мирабо — и это одновременно! У нас — соучастники эсеровского, кадетского заговоров, белых вождей, англо-французской буржуазии, германской, все в одну кучу. Цецилия Рено, еще девочка, но обвиняемая в повторе замысла Шарлотты Корде, отправлена под гильотину с 53 «соучастниками», которых она никогда и в глаза не видела. Сколько придуманных «заговоров» там и здесь! Размах террора и бездушие его (чтобы не сказать «дух») — определяющее сходство обеих диктатур. Даже в технических деталях: Карье на Луаре уже использовал самозатанывающие барки — правда с трупами, у большевиков — с сотнями живых, на Волге, на Каспии, на Белом море. Правда, у якобинцев еще только гильотина, а у большевиков — сразу и массовые концентрационные лагеря *сверх* смертных приговоров, размах которых у большевиков несравненно больше — в месяц не 65, а многие тысячи. И тут и там — возникновение массы добровольных доносчиков и немалого числа палачей — буквальных и опосредствованных. И тут и там — доносы как доказательство гражданственности. (Даже члены Конвента не ночевали дома из осторожности, но ВЦИК, после чистки от левых эсеров, сам не испытывал ужаса перед террором: большевицкий террор еще многие годы, еще 20 лет, был направлен вне своей банды, не внутрь.) Разумеется, не обошлось и без того сходства, что трибунальские комиссии 1793—94, как и ЧК 1918—21, охотно берут взятки, за деньги и драгоценности освобождают обреченных — естественный ход для корыстных низких убийц. Практически — грабят и те и другие.

И такое сходство существенно: именно при якобинцах и большевиках (гениально замыслено или стихийно найдено) строится кровавая круговая порука всех замаранных в революции: соучастники доносов, расправ, совместных убийств и грабежей, во Франции еще и — владельцы ассигнаций на конфискованное церковное имущество. Еще отчетливей это проведено там при казни Людовика XVI: казнь пропущена через отявленную публичность, громогласное поименное голосование членов Конвента, так отрезаются дороги и всей революции, и каждому проголосовавшему политику. Тут большевики по внешней обрядности отступили от образца: убийство Николая II и его семьи проведено как тайный бандитский расстрел, без поиска общественного резонанса, просто отрезать возможность реставрации трона. Да коммунистическая партия и не нуждалась в этом частном усилении круговой поруки, множеством убийств она была уже закреплена. (И если казнь Людовика прозвучала как сигнал нападению Европы на Францию, впрочем вялому, то казнь Николая прошла как глухой эпизод гражданской войны, не имевший последствий.)

Сходны приемы и мнимых «выборов» на якобинский или большевицкий лад: без самого *выбора*, без права избирателей свободно сноситься между собой, вступать в соглашение, а то даже с обязательной предварительной присягой о ненависти к «врагам» и удостоверением, что не имеет родственников-эмигрантов.

Бывают и личные сходства. Полубесплотная неполнокровность Робеспьера напоминает такую же нежить Ленина. (Но очень живо оба прячутся от опасности — Робеспьер в июле 1791, после расстрела на Марсовом поле, Ленин — в июле 1917, после своего неудавшегося мятежа.) Впрочем, Робеспьер действовал как бы под гипнозом уверенности в своей правоте, у Ленина всего лишь — верная сметка политических обстоятельств и одержимость захватным действием.

А вот существенное различие. Якобинцы не выполняли задачи последовательного разрушения своей нации и национального чувства, у них слово «патриот» не только не было запрещено, но стало гордым синонимом якобинца и революционера. Ленин же говорил: «мы — антипатриоты», и большевики последовательно проводили уничтожение русского самосознания (в миллионах жертв — и русского тела), — и так было до тех пор, пока нависла угроза Гитлера и нечем больше было спасти государство как русским патриотизмом. Это различие во многом объясняется и тем, что Франция (при 30 миллионах) была страной скорее однонациональной, с более отчетливым пониманием единого Отечества, а российская революция (при населении в 170 миллионов) осложнялась пестрой многонациональностью стран.

Параллели и сходства решительно прекращаются от Термидора. У французской революции был этот попятный пункт, у российской не было никогда никакого. Слабой и неудачной попыткой задержать ход революции были корниловские дни (август 1917). Что нэп (не содержавший никакого политического отступления) есть Термидор — это взрывное преувеличение «старых большевиков», фанатиков и убийц гражданской войны. И истеричен изворот Троцкого — «сталинский Термидор». Мы в России остались в руках коммунистической власти, и она однолинейно развивалась на нашем массовом уничтожении и вымаривании вот уже 70 лет. Во Франции, напротив, от Термидора было сложное зигзагообразное развитие, были периоды выразить и антиреволюционные чувства.

А весь-то слом произошел всего лишь оттого, что Робеспьер не запасся достаточной военной силой в четком подчинении, его Комитет Общественной Безопасности, полиция далеко не дотягивали до организации ЧК, и террор Робеспьера оказался на коротких ножках. В решающий момент Робеспьер всего лишь беспомощно шагал по скамьям Конвента, взывая о последней поддержке — от центра, от правых... Зверино-предусмотрительные Ленин и Сталин никогда бы не сорвались подобным образом. Конечно, Ленин и не потерял эмигрантского времени, оглядываясь на предыдущие революции, учитывая их опыт. Такого планомерного и прочного захвата власти (сентябрь 1917 — сентябрь 1918) французская революция не знала на всем своем протяжении, ни в одной из перипетий.

Эта «обязательность» Термидора в схеме подражания французской революции сыграла дурную шутку с российскими социалистами (и со всей Россией...). Им «понятно» было, что крайне-левые (большевики) не могут закрепиться у власти, а такой попыткой только «откроют путь контрреволюции», — и все февралисты всё ополчались против «контрреволюции справа», не мешая большевикам за их спиной захватывать власть. Большевики отлично в этом успели, взяли в железную хватку, и бесспоротно, безо всякого «Термидора».

Как следствие Термидора во Франции наступило скорое возмездие ближайшим отличившимся палачам (далеко не всем), единодушное народное движение требовало такого возмездия. В СССР никогда за 70 лет никакая форма явного возмездия явным палачам не наступала, — лишь по размахистому провороту революционного колеса часть палачей статистически попала под расправу, когда прореживались ряды большевицкой верхушки.

Однако Термидор и показывает нам, что такой мощный революционный размах не может быть ликвидирован одним удачным переворотом. На Термидоре революция задержалась, но далеко не остановилась, якобинцы оказались еще долго живучи. Последовал протяжный период шатаний и разнонаправленных переворотов или подавлений: бунты «пустых желудков» — 13 вандемьера (1795) — заговор бабувистов (1796) — фруктидорский переворот (1797) — директорский переворот 22 флореаля (1798) — переворот 30 прерияля (1799, и даже тут еще требовали восстановить Комитет Общественного Спасения, гильотину, заложников и все террористические законы) — наконец бонапартистский 18 брюмера (8 ноября 1799). (Характерно, что во всей цепи этих переворотов непрерывно существовал в той или иной форме законодательный корпус, но ничему не помешал. Доходили до такого извращения, закон 12 плювиоза 1798, что правильность полномочий новоизбранных депутатов будет утверждаться... сменяемыми депутатами!)

Приход Наполеона был достаточным отступом от надоевшей всем революции и вместе с тем не возвратом к старому порядку, уже невозможному. Поскольку в России не было Термидора — не было и Наполеона (ложная идея искать черты сходства со Сталиным, их можно сравнить только в политической ловкости и бесстыдстве). Не получила у нас сильного развития и самостоятельная роль генералов в армии (как с 1794—95), но Белое движение инстинктивно верно уклонилось от того, чтобы стать неперемнным условием реставрацию старого порядка.

Во Франции не остановилось и на том: и после Наполеона еще две немалых революции и крупный переворот, еще раз пришлось ей пройти через этот цикл: королевская монархия — республика — императорский переворот, — и еще несколько типов республик. Это показывает, что крупная революция есть процесс *вековой*: и в тех случаях, когда она развивается безостановно. Беспощадное, неуклонное продолжение революции вырождает и уничтожает народ, как мы видим в СССР. Попытки

же пресечь революцию — тяжело болезненны и с повторными кризисами. Но если во Франции в конце концов установилась свобода, то именно благодаря попятным шагам революции. (Как — вот недавно — в Испании, Португалии.) У нас не было попятных шагов от пропасти — и нет свободы.

Хорошо видна болезненность революционного процесса при всех вариантах. сотрясенные нравы не возвращаются так просто к нормальной жизни, но проявляются в безумных, вызывающих и мрачных крайностях. Так, после Термидора мы видим годами: вихри веселья, разгул до садизма, «балы жертв», танцы на Гревской площади, танцы на кладбищах, безумные траты, игрища, наглость роскоши. (Слабое подобие того мы видим в СССР у нэпманов, что лишний раз указывает на коренные свойства и ограниченность человеческой природы.) И рядом с этим — обнищание масс, голод, отчаяние. В СССР это протянулось сплошным вековым геноцидом собственного населения.

13

Среди различий еще следовало бы указать, что в ходе французской революции самый принцип частной собственности весьма соблюдался, а Робеспьер объявлял его даже священным. И когда собственность отнималась у одних (у Церкви, у эмигрантов), то обогащались другие. Тут большевики гораздо последовательней якобинцев: частная собственность была проклята и поправа, ограблены многие, в том числе крестьянство: у них отобрали и весь урожай, и весь инвентарь, и всю землю. Формально эта собственность перешла к государству, но по расточительности и неумелости ведения не обогатила нации. (С годами большевики, однако, привыкли к приятной собственности для самих себя, оформленной как государственная.) Опустошительно это сказалось и на судьбе лесов: во Франции вследствие революции их распродали в частную собственность и так быстро, хищно уничтожили. В СССР эту великую задачу уничтожения национального богатства еще последовательней выполнило само безумное государство. (Хотя именно государственная собственность в нормальном государстве спасительна для лесов.)

Не было в российской революции и полосы прописной добродетели, как при Робеспьере, и среди ходких политических обвинений не звучало обвинение в разращении нравов или недостаточной их чистоте.

Отпечатались и различия национального характера. В России не было того чувства аристократической игры и насмешки, с какими французские дворяне прожигали первую революционную зиму. Французская революция далеко превосходит нашу и в красноречии и броскости публичных фраз, не звучали у нас так эффектно кровавые словесные обвинения. Не было у нас и таких театральных сцен, как красный колпак, насаженный на голову Людовика (20 июня 1792), и король пьет вино вместе с чернью; или развязных парижских проституток и торговок в Учредительном Собрании (4 октября 1789); или голов, или сердец, в торжестве носимых на пиках по улицам, в Конвент; медленной резки жертв саблями (продлить страдания), как во Франции в сентябре 1792; или поцелуев между депутатами, перед тем обменявшись пощечинами; и заметного числа самоубийств у тех, кому грозила смерть по трибуналу; или сцен, как (Термидор) молодые люди целуют края одежд террористов (Тальен, Фрерон, Баррас), освободивших от террористов горшков; и такого значительного участия театра в политических переживаниях столицы; и таких политических ярких женских фигур, как мадам Роллан, баронесса де Сталь, Терезия Кабарюс, еще несколько. (Если не считать российских революционерок давнего предреволюционного периода.) Пожалуй, невозможен был у нас поварской помощник Дено, который 10 лет гласно добивался себе медали за то, что отрубил голову уже растерзанного коменданта Бастилии. (Но негласно у нас получали равноценные награды и раньше.)

С другой стороны, небезынтересно было бы проследить все случаи прямых копирований: от навязчивой (с 1904 и раньше) идеи Учредительного Собрания при царствующем монархе, от марсельезы первых же дней революции, от назойливых подражательных сравнений на языках и в газетах — до комиссаров при армейских начальниках, до реквизиции одежды и обуви населения в пользу армии или метода однообразных (и грозных) резоложий армейских частей (испробованных, когда Бонапарт готовился выступить во фруктидорском перевороте, 1797). Может быть, и

большевизская конституция июля 1918 тоже повторяла прием Конвента 1793: в шаткое время издать ложную, недействительную конституцию, чтобы дезорганизовать противников. (О потоплении казнимых уже сказано выше.)

14

Немалочисленные сходства, упомянутые здесь, тем более поучительны, что две сопоставляемые революции принадлежат к разным, не вовсе аналогичным стадиям человеческой истории.

Однако саморазумейная одноприродность революций в том, что при всей конкретной непредсказуемости их ходов общее положение страны и народа длительно идет к худшему и худшему. Революция всегда есть пылающая болезнь и катастрофа. Это размах (крушение) от больших высоких надежд и ограниченности первичных задач — до полного разорения страны, всеобщего голода, обесценения денег, упадка производства, народной усталости, тошнотного равнодушия, и хуже — к озверению нравов, к атмосфере всеобщей ненависти, разнузданию зависти, жадности к захвату чужих имуществ (у большевиков открыто сформулировано: «грабь награбленное!»), прорыву самых первобытных инстинктов, к разложению национального характера и порче языка. К распаду семьи (легкости одностороннего развода), неуважению к старшим, неуважению и к смерти и к похоронам. Это размах от лозунгов самой неограниченной свободы — уж не скажем к гильотине и подвалам ЧК, но к парламентским депутатам, высылаемым в железных клетках (Фруктидор), а затем к государству куда более централизованному, чем предреволюционное, — и даже в короткий срок. И еще непременно: всякая революция насыщена сгущенным числом отвратительных фигур, она как бы взмучивает их с морального дна, притягивает из разрозненности и небытия, а некоторых таких даже и обожествляет — после смерти (как Марат, Ленин), а то и при жизни (Робеспьер, Сталин). Открывает революция черные пропасти и в таких людях, которые без нее прожили бы вполне благопристойно.

Приоткрывает нам большая революция и такие глубины бытия, которые сомнительно назвать просто физическими. И которые донныне услеживаются лишь немногими.



Публикуя эту статью, на наш взгляд весьма современную, с многочисленными аналогиями событиям нынешней России, мы связываем ее появление в декабрьском номере нашего журнала с примечательной датой — семидесятипятилетием Солженицына.

От всей души желаем Вам, дорогой Александр Исаевич, здоровья и той удивительной энергии, которой Вы обладали всю жизнь, которая всегда имела и будет иметь огромное значение в этом мире, в России прежде всего.

Редакция «Нового мира».

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ВЫШЛИ (?) МЫ ВСЕ ИЗ БАРАКА...

Бедность не порок; порок — безвкусная имитация роскоши. Нищие социалистическим духом не были блаженны, но не были претенциозны. В рубриках «кратких курсов» они не изображали фрачных щеголей интеллектуализма. И даже гордость «единственно верным учением» выражала себя с трезвой скромностью. Формула «слава КПСС» выкладывалась светлыми валунами на откосах дорог. Каме-нопись, напоминающая о простоте лома и тачки, размещенная среди ржавых железок и прочего мусора, точно фиксировала меру тонкости учения и величия его проповедников. Каждый пишет, как он стоит...

Практиковалось особое средство, предохранявшее от несоответствия шапок Сенькам: культурпогромы. Общепринято горевать по поводу «опиума для народа», «буржуазной лженауки» или «сумбура вместо музыки». Но ярлыки амбивалентны. Запретительная ругань ограждала высокую культуру от лубочных адаптаций. «Всена-родные осуждения» (формалистов, морганистов, идеалистов и т. д.) безотчетно утверждали ту самую иерархию ценностей, которую имели задачей сплющить и вывернуть наизнанку. Ведь помимо всего прочего они опускали шлакбаум на пути в калашный ряд перед обладателями рабфаковских дипломов.

Распад советской культуры нарушил согласованность седоков и саней. Розваль-ни «народной агробологии», «великих материалистов — революционных демокра-тов» и т. п. заменены резными-расписными «духовными традициями», подлежащими санкционированному возрождению. А то и каретой великосветскости, вмещающей дворян с лексиконом «Московского комсомольца» и журналистов с речевыми навыками провинциальных конферансье. Традиционный советский примитивизм обогатился за счет тем и проблем, ранее бывших достоянием общественно подо-зрительных, хотя и изолированных от общества в зоне безвестности, гуманитариев мирового класса. Культура «всеобщего среднего» вдруг почувствовала тоску по аристократической избранности. С привычным чтением по складам смешались призывы на эзотерическое знание. Идеологический лубок выродился в культуртрегер-ский кич.

Особенно заметна наклонность разбрасывать элитные семена разумного, добро-го, вечного в радиотелеканалах. Как раньше в них доминировали партпросвет и слезоточивая медитация над письмами ветеранов, так теперь — миссионерские ликбезы и встречи с зарубежными соотечественниками (или, что почти то же, с новыми русскими, приезжающими в студию на «мерседесах»). И как прежде «пра-вильное» говорение подытоживали песни о стройках века, так теперь — песни о разрушенных храмах. Причем в той же трехаккордно-минорной стилистике, истин-ный домен которой — «Сижу на нарах, как король на именинах». Не далее как сегодня, 21 августа, радио «Маяк» в половине шестого утра (!) порадовало полусонных обывателей идейно выдержанной серией какого-то Иванова, в чьих песнях король (то есть православная вера, казацки традиции и величие Российской империи) праздновал именины (сиречь юбилей августовской победы демократии), сидя на интонационной параше с искверканым от плаксиво-вокальной натуги челом. Вообще музыкальные клише — хорошая лакмусовая бумажка. Каждый слышит, как он стоит, — стоимость не изменилась.

Радио- и теле-«трегеры» несут «возрождаемые» ценности, как виногрет в авось-ке. Таким, например, образом: «Середина июля. День святого такого-то, почитаемого за то-то. Наши предки в этот светлый, праздничный день любили прыгать через костер, водить хоромы и петь. Обратимся и мы к песням прошлых лет. В программе — записи Яна Френкеля» (сокращенно воспроизведена прелюдия ведуще-го к одной из июльских программ радиоканала «Собеседник»). Так сказать, да здравствует Ярило Христос, ветеран войны и труда. Или вот еще «один протяжный вой» (та же радиорубрика, 13 августа): «А лозунг — помните, какой они выкинули в 1917 году? — «Весь мир насилья мы разрушим...», то есть все, что было создано трудом и талантом поколений... Но русская душа отходчива. Как писал Некрасов, «пройдет по жилам чарочка...». Народ сочинял анекдоты и пел частушки. Вот и мы послушаем

частушки» (далее — репертуар М. Мордасовой, никакого отношения к политическим анекдотам не имеющий, напротив — Мордасова пела и в таком духе: «Я читал у Ленина, я читал у Сталина, что колхозная дорога для крестьянства правильна»). Насилье, «созданное трудом и талантом», Некрасов, подверстанный к анекдотам и частушкам... Вспоминаются симпатоматичные преподавательские оговорки из застойных студенческих лет: «Лафарг — зять Маркс-Энгельса», «У Ивана Сусанина был советский характер»... Теперь ментальное поле расширилось за пределы «Анти-Дюринга» в прошлом и «Молодой гвардии» в настоящем. Но по-прежнему оно полигон для несортируемого хлама, помойка, куда сбрасывают вредные вещества и негодные вещи. В том числе всякие *res sacrosantae*.

Радио- и телеэфир превратились в экуменическую свалку. Вещание плотно заполнено баптистами, иеговистами, мормонами и далее везде. Вплоть до экзотических сект вроде группирующей вокруг «святого учителя истины Сёко Асахары», чья проповедь — это объедки различных конфессий, приправленные мистическим шпагоглотательством и гигиеническим космоизмом. При этом не объявляется, какое именно религиозное течение занимает эфирное время. От определенности вероисповеданий в этой восторженно-дидактической мешанине остается только акцент: американский на протестантских сеансах типа «Актуально, насущно» или «В поисках смысла» и японский в тех едва опознаваемых в качестве русского языка «дао-дзинь-дзинь», которые составляют артикуляцию «святого учителя». Кстати, о «дзинь-дзинь». Асахара (не смущаясь сообщает радио) еще ведь и композитор. Упомянутый выше автор неортодоксальных песен по сравнению с японским маэстро — просто Стравинский. У Иванова три аккорда, а у Асахары один, и с тем он не знает, что делать. Представьте себе «Чижика-пыжика» без элементарной смены гармонии на словах «где ты был» и сыгранного не бодренько, а с протрационной «погруженностью» — четыре такта на двадцать минут. *Musica divina* для даунов да и только. Даже доллары не искупают возвышенности этих новых гимнов.

Впрочем, пиететно транслируя музыкальный идиотизм, российское радио с нечаянной объективностью демонстрирует уровень соответствующих «истин». Проповедь Асахары, а также доктора Добсона, фельдшера Бобсона и как их еще там напоминает прохождение основ марксизма-ленинизма в детских садах. Видимо, по замыслу распорядителей эфира, импортный выговор способен придать интеллектуальную неотразимость познавательным усилиям по сопряжению «Маша», «мыла» и «раму». В самом деле: как пленителен фонизм слов «сникерс» или «тошиба»! Какая бездна сокровенного смысла угадывается за их «цивилизованным» звучанием! Какая статусная высота! Недаром же лоточник подтверждает свою принадлежность к истеблишменту ношением «слайксов», в которых на американских улицах бичуют безработные пуэрториканцы.

Раньше свой статус телерадио обозначало на архаично-родовой манер: стилем ласкового патернализма. Государственно-партийный микрофон отцовствовал и учительствовал, уподобляясь «отцу народов и корифею наук»; печаловался и ободрял подобно «родине-матери». Радиоразжевывание партийных постановлений и телекомментарии к симфоническим концертам для юношества приучили уши к сентиментально-железобетонному звучанию любой «умственности». К публике как бы снисходили, сострадая ее убожеству, но в то же время строго наставляли: «сю-сю», в смысле «ни-ни!». Собственно, можно было и не вникать в «образ героя» и «народно-песенные истоки» симфоний Чайковского, не высматривать до рези в глазах новизну в очередной новой мирной инициативе, а только слушать жалостливо-требовательную фонограмму. Ее терапевтический (чувство опекаемости) и болезнетворный (смиранный комплекс умственной неполноценности) эффекты были стратегически важнее, чем даже подкованность масс по части мирных инициатив.

«Перестройка» на время отодвинула интонационную ситуацию «акад. Митин ведет беседу о прекрасном с контингентом спецПТУ». Свобода высказываний уничтожила микрофонную привилегию проникновенно-репрессивного учителяства. Правда, высказывания сводились к одной только политике, в которой со времен «Чемберлен — это голова» разбираются решительно все. Б. Куркова или А. Политковский стали воплощением той вдумчивости, которая делала очагом культуры курилку любого НИИ. Это был краткий, но обаятельный (но жалко-обаятельный) момент равенства раздатчиков и получателей баланды духовной.

Однако в провал курилочного свободомыслия хлынули долларовые символы раскрепощения — дольки и шоп-туры. «Продукция компании „Проктер энд Гэмбл“» создала эфирную среду почтения к новым богатым. Телезвезды в этой ситуации уже не могли позволить себе идилично идентифицироваться с МНС.

Равнение на пирующих лишь огрызками, пусть даже пир интеллектуальный, а огрызки от А. Нуйкина, теряло всякую престижность. Телерадио должно было соответствовать собственному рекламному времени — найти знак дистанции по отношению к аудитории, не хватаящейся за электронные записки книжки при трансляции клипа о кошачьей еде. И в то время как передача «Парламентский час» запоздало приобщилась к экспертному блеску политически озабоченной курилки, основной массив вещания занялся повышением статуса за счет представительства от имени «духовных исканий». А то, что в роли учительствующих теперь выступают сомнительные зарубежные скупщики эфира, тогда как отечественным деятелям СМИ кажется беспроектной гарантией престижа посредничество между импортными наставниками и местными учениками, предвещает грядущую культурно-психологическую гегемонию лоточников-слайксоносителей.

Собственно, на тот же прогноз наводит и другой способ обозначения новозелитарности: развернутый показ презентаций. Картинка великосветскости, которую он рисует, сводится к дорогим еде-питью, известным актерам и писателям-сатирикам (почему-то исключительно сатирикам: видно, существует зеркальная дополнительность между «КПСС — ум, честь и совесть...» и «КВН — ум, честь и совесть...»), а также к панибратскому взаимоподначиванию ведущих. При этом словно нарочно задеваются комплексы рядовых зрителей, от которых пиры Валтасара прежде тактично скрывались и которые не привыкли созерцать суетливую отвязанность на торжественных мероприятиях. Это как если бы аристократы Санкт-Петербурга (до всех переименований северной столицы) в порыве эксгибиционистского фиглярства устраивали свои рауты на ярмарочной площади в окружении глазующих на бриллианты и устриц извозчиков и разносчиков. Да при этом еще щелкали друг друга по носу, уподобляясь «бомондному» М. Ганопольскому. Превосходные свойства отечественной элиты на телеэкране оказываются таковы, что в самом деле: пусть уж лучше культуртрегерствуют чужие, неведомо на каких конвертируемых задворках подобранные гуманитарные самозванцы.

Обобщенным образом радиодуховности и телеэлитарности может служить шестой, сагалаевский, канал. На стадии проталкивания идеи утверждалось: люди устали от политики — им нужна культура. Дескать, новый телеканал будет специализироваться на гуманитарном просвещении. Теперь, когда большинство столичных районов очастливлено программами ТВ-6, ясно, как видится подлинная культура с предельной для элиты СМИ высоты «12-го этажа» (публицистическая передача с участием подростков, которая сделала имя Э. Сагалаеву): бросовый товар Голливуда, именованный «Золотой фильмотекой». Правда, и тут есть непреднамеренно-истинная самооценка, как в славящих партию камнях на мусоре. Видеокадр, которым сопровождается титр высокого музейного ранга, состоит из бесценных кадров типа усаживаний киногероев в торты, размазывания мороженого по лицу, проливания супа на смокинг и проч.

Может быть, в профаническом конфузе инициатор гуманитарного вещания и не виноват. Возможно, ни на что достойное просто не хватило денег. Только все равно уж очень символично получается: от публицистической смелости, страховавшейся инфантильной хамоватостью школьников (которых неоткуда уволить и которым нечего запретить), к духовному окормлению масс развлекательной тухлятиной (за качество которой отвечает Голливуд 50-х годов и отечественные финансы 90-х) От лепета на «острые» темы к пошлости под вывеской просветительства. От накачки популярности на межеумочном к статусным дивидендам с выморочного.

Нынешняя реальность пытается утвердить свое превосходство над очередным «проклятым прошлым» (непроклятого у нас как-то не бывает) при помощи лозунгов духовности, элитарности и возрождения высоких традиций. Однако при этом воспроизводится парадокс, типичный для классических советских времен. Тогда гордо и слегка опасно (как верительные грамоты предъявляют или паспорт милиционеру) пелось: «Вышли мы все из народа». Имелось в виду — из колхоза, с рабфака, из барака, то есть «из низов», «из простых». Низкое происхождение (в идеале — из той собачьей конуры, которая в пушкинском памфлете сделана родовым гнездом доносчика и автора нравоучительного чтива для черни Ф. Булгарина) было условием жизненного спокойствия, не говоря уж о социальном успехе. Но в то же время завистливым трепетом окружались кастово-номенклатурные высоты. Механизаторы, вышедшие в большие партийные начальники, превращались в «свет», о котором рядовое население судачило так же неутомимо (только более злобно и боязливо), как английские клерки — о королевской семье. Элитарное отличалось от эгалитарного, однако, лишь набором материальных привилегий, но не духовной культивирован-

ностью или отшлифованностью манер. Недаром чуть ли не неперменной чертой имиджа руководителей была неграмотность речи.

Тождество «аристократии» и «охлоса» сохраняется и ныне. В первых трех властях барачная родословная иерархически возвышается по-прежнему за счет спецпайков и спецдач. В четвертой же власти, которая ранее не имела даже видимой самостоятельности, а сегодня претендует на лидерство, барак самонадстраивается не спецполиклиникой (она может иметь место за кадром), а «дворцом культуры». Советский парадокс эгалитарной элитарности, маргинальной избранности в постсоветской ситуации выпятился в сферу «духовности».

Барачно-рабфаковская простота всеобща. Недостаток вкуса и образованности тотален. В нем, однажды отвечая на вопросы, признался президент. В нем не хотят себе признаться бывшие диссиденты и, однако, невольно признаются в широко раздаваемых интервью. И вот монолитный примитив пытаются распределить между не то амвоном, не то салоном, с одной стороны, и не то лакейской, не то церковноприходским классом — с другой. Кирпич сказал кирпичу: давай я буду мрамор, а ты — щебенка; из меня построят храм, а из тебя — дорогу, ведущую к храму; я буду у микрофона, а ты у приемника... Кирпичи! На мрамор и щебенку рассчитайсь!..

Утратив в ходе «возрождения духовных традиций» наивную чистоту стиля, советский примитив сохранил роль несущей конструкции культуры. Хотя лом и тачка притворяются компьютером с лазерным принтером, каменопись на мусоре по-прежнему в ходу. Не слишком удивлюсь, прочитав из окна электрички: «Хари Кришна» или «Дворянское собрание — кайф, хит и имидж нашей эпохи». Сами по себе слова не важны. Они лишь артикуляционные четки, перебираемые умственной привычкой. Нам кажется кощунственным спеть «Вышли мы все из народа» (с акцентом на завершённом действии). Куда благостней для нашего уха звучит: «Вышли мы все из народа». Вот и топчемся, как тот легендарный абитуриент-вокалист (в этих заметках не раз поминалась музыка — ею и закончу) — с голосом, но без признаков слуха, — которого консерваторские экзаменаторы попросили спеть гамму. И он запел, все громче, но на одной и той же высоте: «До — ре — ми...» Потом остановился и сказал: «Дальше не могу, слишком высоко, боюсь, сорву голос»...

Татьяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ БУКЕРА — 1993

В октябре этого года в Санкт-Петербурге был оглашен список шести романов, претендующих на премию Букера 1993 года. Их авторы — Виктор Астафьев, Олег Ермаков, Семен Липкин, Владимир Маканин, Валерия Нарбикова, Людмила Улицкая. Нам особенно приятно отметить, что три из шести книг были впервые напечатаны в «НОВОМ МИРЕ»:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты. № 10 — 12, 1992.

СЕМЕН ЛИПКИН. Записки жильца. № 9 — 10, 1992.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сонечка. № 7, 1992.

Когда этот номер «НОВОГО МИРА» попадет к читателю, уже будет известно имя букеровского лауреата 1993 года. Мы заранее поздравляем его с победой и приглашаем к сотрудничеству с нашим журналом.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

*

ГИПСОВЫЙ ВЕТЕР

О философской интоксикации в текущей словесности

..мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно!

*«Братья Карамазовы», глава «Черт
Кошмар Ивана Федоровича»*

Исчет названия сразу объяснюсь — оно подвернулось неожиданно, как наглядное резюме моих читательских впечатлений. В зачине романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» говорится о лепных снопах на каком-то бездарном фронтоне, «навек согнутых порывом гипсового ветра». Этот-то ветер, безжизненный, безвоздушный и бездвижный, дует в поникшие паруса нашей «серьезной» литературы — той, которая в силу своего беззастенчивого многословия заняла наибольшую журнальные зоны. Когда-то Набоков, ревизуя знаменитостей, недоброе слово поминал их многотомные гипсовые кубы, зачем-то переставляемые потомками из десятилетия в десятилетие. Куб — слишком гармоничная и законченная на нынешний вкус форма. Фантасмагорическая причудливость, выполненная в том же материале, требует какого-то судорожного поддува. Так что пусть будет «гипсовый ветер» — с исходным намеком на кислородное голодание читателя.

Обдумывая эти заметки, я с удовольствием обнаружила, что не остаюсь в полном одиночестве. В газете «Сегодня» от 25 июня 1993 года появилась небольшая, но крутая статья Александра Архангельского на мучающую меня тему; первые ее строки реквизирую в качестве ввода в собственные размышления: «Словесность в России больна. Она сомнамбулически движется в журнальном пространстве; непонятно куда, неясно зачем. Утрачены привычные ориентиры, разрушилась система художественных предпочтений». И — вытекающий отсюда вопрос: «...кто нас рассудит?» Да никто не рассудит, если в этом избавившемся от авторитетных ориентиров «плюралистическом» пространстве все очевидней воцаряется не равновесный экологический мир, а самое агрессивное лоббирование. Но я сейчас о другом.

Итак, словесность больна, в пору ставить диагноз. Архангельский тут уклоняется, лишь описывает болезнь — общо, хоть и вполне узнаваемо: «...словесный и «тематический» блуд». И рекомендует средство из разряда тех, что в медицине зовутся симптоматическими (когда причина болезни неясна или неодолима и остается бороться только с ее внешними проявлениями — например, сбивать жар). Предлагает же он, не споря и не сердясь, пользоваться немоществующих авторов п р я м ы м и в о п р о с а м и: разве те не понимают, что их эпатаж и вычурные эстетически проигрывают рядом с не менее модными, но более талантливыми образцами? и разве не очевидно для них самих, что их мнимое эстетство лишено этической оправданности? Таких «прямых вопросов», надеется критик, больная проза «боится больше всего».

Нисколько не боится — ни она, ни ее «группы поддержки»! Там своя шкала, свои гении, да и то, что приводится Архангельским в качестве устыжающей точки отсчета, сомнительно (об этом скажу в своем месте). Как замечено в одном из новейших философских романов, тоже скучном, но по крайней мере неглупом (время в нем приурочено к рубежу прошлого и нынешнего веков): «При начальном своем развитии распад стереотипа проявляется в виде так называемого культурного подъема, во множестве производящего на свет оригинальных ученых, утонченных поэтов, понятных лишь двум-трем тысячам ценителей. Но по прошествии достаточного времени уже каждый из многих тысяч ничтожных кружков, отрицающих друг друга, будет иметь

своего великого поэта... ибо в каждой подворотне будет свой эталон красоты. Сейчас спорят, кто гениальнее — Бетховен или Рихард Штраус, — через сто лет будут спорить о сравнительной музыкальности баховской мессы и визга механической пилы» (А. Мелихов, «Так говорил Сабуров». — «Нева», 1992, № 11—12). Сто лет как раз митовали, и задавать «прямые вопросы» уже поздно — у них нет восприимчивого адресата.

Болезнь нашей прозы — это болезнь нашего культурного сознания. Она шире и глубже, чем преднамеренные встряски в эстетике и этике. Не знаю как Архангельский, а я честно признаюсь, что мне не под силу найти имя, поясняющее ее этиологию и прогнозирующее ее развитие. То есть я, конечно, читала, и сама писала, о всевозможных кризисах, но тут требуется что-то, теснее связанное с историческими изломами нашего бытия, чем общеизвестные слова о «смерти Бога», «умирании искусства» или о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. Тут надобны орлиная зоркость и кротовье упорство при рытье вглубь. Я не берусь.

«Философская интоксикация» — не диагноз, а то, что медики и социологи называют синдромом: такой набор симптомов — устойчиво связанных между собой и от казуса к казусу повторяющихся именно в данной связке, хотя внутренняя логика их спаянности может быть не вполне ясна. Термин придумали психиатры, определяя так особые черты «рассудительства» у душевнобольных. Для меня это, разумеется, метафора, правда гармонирующая с общим колоритом: в прозе последнего времени пребывание в доме скорби либо в аналогичном ему бредовом пространстве столь неизбежно, что прямо-таки соблазняет обратиться к языку психиатрии.

Впрочем, речь идет, конечно, о недуге духовном, накопителе которого — громоздкие тексты, по преимуществу именуемые романами, — необязательно взывают к медицинскому освидетельствованию, а между тем источают ту самую мистическую с к у к у, ту большую тоску, которую испытывал Иван Федорович в присутствии своего ночного гостя.

НАС СНОВА УЧАТ. Заметили ли вы, что, пока шли пересуды о постмодернизме, литературный антураж исподволь менялся? Сколько наговорено было о том, игра ли литература или все-таки нет, даже Солженицын возвысил голос; а тем временем игры кончились. Нет больше самого постмодернизма, резвящегося по ту сторону добра и зла. Напишут ли еще рассказик-другой Вик. Ерофеев или В. Сорокин, время все равно подвело черту под их забавами. Их мятежное знамя перешло в руки, как сказал бы М. М. Бахтин, агеластов — склонных к угрюмой экзальтации «несмеянов», которым наши бедные совковые головы нужны не для проказливого обливания помоями, а для «идейной» трепанации всерьез¹.

В обоих романах В. Шарова — невском («Репетиции») и новомирском («До и во время»), в «Учителе» М. Иманова («Литературная учеба», 1993, № 2), в повести В. Пискунова «По роду их» («Новый мир», 1993, № 2), в «Стражнице» А. Курчаткина («Знамя», 1993, № 5, 6), в «Парадном мундире кисти Малевича» А. Бородыни («Дружба народов», 1992, № 9) сколько угодно невероятного, чтобы не сказать несообразного, но чего нет как нет — так это юмора, самоиронии, усмешки, той самой «амбивалентности», которая еще недавно критикам-моралистам рисовалась главным врагом истины, а нынче заставляет тосковать по себе читателя, очутившегося в застенке непререкаемых словес.

Конечно, игровой антракт сделал свое дело, он здорово раскрепостил посерьезневших авторов, и те напропалую пользуются аксессуарами, обеспечивающими их умозаключениям и поучениям статус безответственного слова. В «духовном пространстве», где шныряют вампиры, ворующие чужое энергопо-

¹ Возможно, клоунада на некоторое время еще сохранится в критике, куда она ощутимо перекочевала: «...зачем все принимать так близко к сердцу? Ведь мы же не ногу отрезаем. И тексты и метатексты — игра, всегда хочется соригинальничать. Это же естественно» (М. Золотоносов). Но и там игра скоро иссякнет. Сочинение того же Золотоносова, в рамках изобретенной им СРА (Субкультуры Русского Антисемитизма) изобличающее полукровку Корнея Чуковского в подпольных расовых комплексах (см. «Новое литературное обозрение», 1993, № 2), вполне трактообразно и, несмотря на утерю здравого смысла, нисколько не ириво. Написано оно языком «моделирующих знаковых систем», с привлечением всяких там левистроссовских бинарных оппозиций: «сырое — вареное» (вареное, чтоб вы знали, — цокотухин самовар). Можно, конечно, стать в рекомендуемую Архангельским позу и задать автору «прямой вопрос»: знаете ли вы, мастер сысского дела, что ваши штудии могут сравнить не с текстами Александра Казинцева, занятого таким же изобретательством, только навыворот, а с писаниями умного и ясного, прекрасно владеющего пером Жаботинского? не боитесь? Нет, не боится: те, кого пленяет Золотоносов, до Жаботинского не доберутся; новая трава, как сказал поэт, не помнит ничего о прошлогодней.

ле, где множатся биокопии человеческих телес и персонажей поджидают их трунные двойники, где люди-призраки перестают отражаться в зеркалах, где корень мандрагоры дарит мафусаилов век, где за одну ночь возводятся пышные хоромы и снежная зима в тот же срок сменяется жарким летом, где незримый Напарник тайномыслит за деревенского олигофрена едва ли не гегелевскими триадами, где посреди «подземного Эдема» восседает Лазарь Моисеевич Каганович в венце из змей, — в таком континууме любая мысль обязана немного шататься, а потому — валяй что хочешь. Пусть читатель, если пожелает, сам припомнит, что здесь — откуда, и что, на его вкус, «большая литература», а что сор подзаборный. По мне, неожиданная — сверху донизу — общность важнее различий. Победа над реализмом с его дисциплинирующими скрепами не стала праздником сказочности, у которой ведь тоже есть свой толк. Она просто развязала писательские руки. Для чего же?

Здесь нас ждет небольшой парадокс. Как ломались копыя вокруг так называемого учительного начала русской литературы! Скольким головокружительным виражам совершили Александр Агеев, Вик. Ерофеев, кажется, и Петр Вайль и не помню кто еще, чтобы изобразить русских классиков, учивших «правде» вместо «игры», виновниками всех наших исторических бед! Казалось, наконец с «литературоцентризмом» покончено и литературу оттеснили на обочинное место. И надо же: те новые, явившиеся после сокрушения учащей классики романы, которые я деликатно именую скучными, сплошь замешены на учительстве; они не обвиняясь берут на себя функции новой философии и новой теологии. Почти в каждом из них по ходу рассказа обязательно подвергывается какая-нибудь «рукопись», или «дневник», или чья-то «лекция», или еще какой-то повод отложить в сторону свойственное прежде всякому романисту, от аббата Прево до Набокова, демиургическое дело и заняться суемудрием.

Тогда мы читаем: «Чтобы подняться, нужно раздеться, снять с себя, как одежду, весь мир, как можно больше мира, во всяком случае, сколько возможно. Это означает умалиться, не умаляя себя, ибо умалить себя невозможно... И значит, что всякая частица мира — человек, животное, растение, пустыня, море, горы, — все, бесконечное и многообразное все, не живет и не существует для тебя, но живет рядом с тобой и сосуществует рядом с тобой» — и дальше в том же роде целыми страницами.

Тогда мы читаем: «Человек, как и все живое, рожденный вульгарным смешением двух наследственностей, из которых каждая тоже была смешением, и так далее до начала жизни, может в редчайших случаях благодаря воспитанию и саморазвитию стать личностью, *отсечь необязательное из своих генов*² и превратиться в сравнительно цельное существо».

Тогда мы читаем: «...мгновенно опричиненное событие — это ведь идеал классической науки, слитый с идеалом Иисуса... Событие такой плотности — антагонистического соития причины и следствия — не могло миновать человека. Человек со всею своей духовностью, со всем своим сознанием и так называемым подсознанием (сознанием, испуганно спрятавшимся от проблемы выбора) влетал в бытие становления».

Тогда мы читаем: «Обнаружение стоимостных отношений было подобно взрыву — взрыву мощной сверхновой звезды на просторах вселенной души. И только в лучах этой звезды возможно было появление Христа — принципиального противника стоимостных отношений».

Если бы я придерживалась теории заговоров хотя бы в той степени, в какой ей верны сочинители философских мениппей и авантюрных фантазмагорий (группа «Эвро» в романе «До и во время», «молодые волчата», обложившие матерого волка Михаила Сергеевича в «Стражнице», жидомасонское подземелье с Моссадом и ЦРУ вкупе у А. Кротова в «Охоте на президента» и, право, ничем не лучший «преднамеренный заговор группы апостолов» в престижном «Псалме» Ф. Горенштейна), я бы могла заподозрить, что перед нами две спланированные стадии одного и того же переворота: сначала сгоняются с мест прежние учителя жизни под предлогом, что они, взявшись за сверхлитературное, надхудожественное дело, завели нас бог весть куда, а кафедры их сносятся, чтобы расчистить площадку для литературного спорта; затем, на втором этапе, здесь же сооружаются новые кафедры и подиумы, для новых учителей с устраивающим заговорщиков менталитетом. Но я — другой веры: демонская сила, которую сегодня так неосторожно обращают в сенсационный романический прием, существует для меня реально, и там, где она угнездилась, нет надобности примысливать какой-то зловещий конспиративный ЦК. Агеев, атакуя за наставничество Гоголя

² Курсив в цитатах мой — И Р

и Толстого, не планировал ни Шарова, ни Иманова — просто его вместе с «новыми» несло одним течением.

То, что имя Иисуса Христа то и дело фигурирует в этих попытках объять спотыкливой мыслью универсум, — вполне предвидимое следствие новой культурной ситуации. Расскоченное в эпоху гласности священное писание не могло не стать неисчерпаемым источником перелицовок, а прямее сказать — святотатства (в исходном смысле похищения татями святынь), впрочем, святотатства почти невинного, такого, где неуклюжее стремление как-то протиснуться к живому источнику трудноотлично от паразитического намерения повысить свой спиритуальный градус за счет столь апробированного «мифа».

В «Учителе» Иманова Евангелие травестируется так, как если б это затеял пресловутый Лео Таксиль, раскаявшийся в своих забавах и превратившийся в мрачного анахорета, но решившийся всерьез поведать о новом опыте прежними глумливыми средствами «Забавного Евангелия». В этом мнимом романе протяженностью в двадцать, не менее, авторских листов герой-рассказчик Иванов «замещает» апостола Иоанна Богослова и даже предвещает конец света, записывая видение на уединенном острове, но, в отличие от прототипа, милосердно разрывает свое рукописание; а некий садист и фанатик Лукин, одержимый жаждой власти над ближними, какую власть якобы дает «идейная» вера, имитирует евангелиста Луку. Сам же Учитель — притворщик и обманщик, участвующий на главной роли в жуткой инсценировке распятия, которая понадобилась его кружку для учреждения нового культа. С другой стороны, однако, лицо Учителя временами излучает свет, подобный фаворскому, люди покоряются ему после первого слова и взгляда и т. п. Можно предположить, что таким манером автор переосмысляет догмат о двух природах Христа, божеской и человеческой, — но лучше не предполагать ничего. Все это сопровождается различными чудесами, отчасти мнимыми, отчасти необъяснимыми, в особенности же — мерзкой сценой ритуального извращения, тоже необъяснимой, по крайней мере в плане символическом³. Череда истязаний смахивает на «воздушные мытарства» извлеченной из тела грешной души: так же, должно быть, тошно и некуда деться, — но вряд ли автор добивался именно этого эффекта. И общий колорит ненависти или нелюбви: «Они были глупы, эти люди, как в основном и все простые люди»; «...смотрю в их глупые лица, где нет и какой-нибудь точки разума»; «...не чувствую любви... она, получается, тоже власть, тоже насилие»; «...и я возненавидел людей, всех, все человечество».

Я благодарна этому сочинению за то, что оно дало мне некоторое представление о внутренней механике тоталитарных сект. Опять же, автор меньше всего к этому стремился, но так получилось. Странная покорность «харизматическому» основателю, который ничему внятному не учит, никем не послан и не наследует никакой традиции; страх и тревога как главные эмоции адептов, способствующие их порабощению; вражда к церковности (рекомендации «разговаривать с Богом без посредников»); наконец, гипнотизм радений, иррациональные испытания, подавляющие волю, и своего рода мистический идеологизм. Все это хоть и подано в виде искания истины, но агрессивно вторгается в душу читателя, насильно приобщая к какому-то гнетущему опыту.

А вступительные страницы «Репетиций» Шарова («Нева», 1992, № 1, 2) позволяют понять, вокруг каких вероучительных идей могут завязываться такие секты.

В этих эпизодах (не имеющих отношения к дальнейшему действию, но дающих ему как бы камертонную настройку) излагается «евангелие» от некоего Ильина («Две крови соединились в нем плохо, и лицо Ильина было асимметрично» — наши передовики, тоже сюрприз, рассуждают о «крови» чаще, чем наши реакционеры). Учение сие скрепляется торжественными повторами: «Ильин говорил» — с каждого абзаца. А говорил Ильин вот что: «...был ли Христос настоящим человеком? Думаю все же, что нет, хоть и был Он зачат земной женщиной... но зачатие Его было непорочно... Христос отличен от человека. Он чист, безгрешен, и в Нем есть чувство правоты...»; «В диалоге между Христом и Иоанном Крестителем... можно почувствовать некоторую неуверенность Христа»; «Споры Христа с фарисеями были необычайно важны и для народа, и для Христа, и для Бога»; «...исполнившись Святого Духа,

³ Что в описываемый синдром входит хитрое переплетение метафизического интереса с половым, и так понятно, тут задерживаться не стоит. Тем более что Архангельский в упомянутой статье все уже представил как есть, удачно выбрав цитату из В. Пискунова: «...мужчина с острым, предсмертным умом: у такого... и семья мыслит» — и с естественной воздержностью оборвав цитируемый пассаж в том месте, с какого он становится невозможен для печати (однако же напечатан!).

Христос... перестав быть человеком... снова став Богом, не может не творить добро...». И еще многое в том же роде.

Шаров печатно успел пожаловаться, что из него хотят сделать второго Салмана Рушди. Упаси Бог: я-то отлично понимаю, что намерения его чисты и возвышенны, и не возьму в толк, почему Архангельский назвал его идеи антихристианскими. Ну как объяснить автору и его высоколобым поклонникам, что так писать просто нельзя — нельзя не потому, что Шаров со своим Ильиным невольно впадает в роль какого-то микроересиарха, а потому, что... Потому, что это вопрос не догмата и культа, а культуры. Люди с воспитанным духом, будь они трижды неверными или агностиками, никогда бы не могли сочинить такое, даже если бы захотели; в этом смысле Тургенев, Фет или Чехов ровно ничем не отличаются от взыскующих веры Гоголя или Достоевского. Точно так же Пушкин мог сочинить «Гавриилиаду», но не мог бы травестировать непорочное зачатие в том деловито-профанном тоне, какой взят у Иманова: «...пожилые женщины... говорили ей, что от всяких женских глупостей хорошо помогает походить в церковь... Однажды в одном из ее снов — обычном стыдном — ей сказали, что она забеременеет» — и т. п.

Больше всего это напоминает листки, которыми новые жутковатые секты — белое братство, богородичники — обклеивают вагоны метро и рекламные щиты; там же претенциозная эклектика, то же перетряхиванье обрывков духовной науки с целью выдать полученную взвесь за свежее откровение. Параллель эту я провожу не ради уничтожения литераторов, я действительно думаю, что легкость, с которой в такие секты вовлекаются многие люди, и легкость, с которой находит себе дорогу в солидные журналы наша «теологическая» романистика, — явления одной природы. Ибо успех сектантских пророков и пророчиц связан не только с охватившим общество религиозным голодом, удовлетворяемым чем попало, но и с потрясающим культурно-эстетическим невежеством в религиозной области. Другими словами, расцвет самых абсурдных сект помимо прочего — плод разрушения того культурного контекста, в котором раньше, десятилетия назад, худо-бедно обсуждались вопросы веры, как и вопросы искусства.

И еще евангельская мозаика наших литераторов заставляет вспомнить о Мистере Дикаре Олдоса Хаксли, который вынес из своей резервации и принес в безбожно цивилизованный мир смутные отголоски угасших культур, отголоски, где племенное язычество было перемешано с кое-какими реликтами духовных и светских книжек. Эмблематическая фигура Дикара побуждает провести различие между в ар и из а ц и е й и о д и ч а н и е м. Варвары приходят в культурные миры на склоне их «цветущей сложности» (К. Леонтьев) и, многое, но не все, разрушая, вливают в них свежую кровь. Такими «варварами» по отношению к символистской и постсимволистской культуре серебряного века были пореволюционные писатели — Зошенко, Платонов, обэриуты. Одичание же наступает после годов вяло текущей выморочности, это своего рода культурный коллапс. Ужели он нам угрожает?

ПРОЩАЙ, ИСТОРИЯ! Общество рухнувшего коммунизма и подорванного советизма, судя по всему, должно было жадно устремиться к историческому знанию. Разгадку общей трагедии естественно было искать в глубинных и ближних пластах прошлого, так долго закрытого от большинства из нас. Теперь люди захотят узнать, как было на самом деле, — эта надежда, даже уверенность, устремляла Солженицына к изданию капитальной исторической библиотеки, впрягала в глубокую вспашку «Красного Колеса».

Решусь констатировать, что надежда не сбылась — вопреки хорошей раскупаемости исторических книг. Очная ставка с собственной историей — это общественный эквивалент личного раскаяния, метанойи, перемены умонастроения («...даруй ми з р е т и м о я п р е г р е ш е н и я»). Нераскаянное общество, по крайней мере в лице его гуманитарно-литературного корпуса, от такой очной ставки по возможности уклонилось. Не желая глядеться в неліцеприятное зеркало временных лет и проходить мучительный путь отрезвления, оно востребовало «национальный миф», который объяснял бы нам нас самих, минуя историческую конкретность наших дел.

Литературный конкурс на наилучший из таких мифов был прямо объявлен Вик. Топоровым в его рецензии на шаровские «Репетиции» («Независимая газета», 16.7.92), аттестованные как первое приближение к чаемому идеалу. Обнародован был социальный заказ одной из интеллигентских группировок — заказ на карманную мистерию, в которой существенную роль играла бы таинственная дремучесть русской души. Выполняя подобный заказ (еще в черне — его критику не хватило в «Репетициях» живости и пластичности письма), Шаров смоделировал российскую историю в виде пути вымышленной сектантской общины, где эсхатологические ожидания второго

пришествия приводят к истреблению одних (рекомых «евреями», они же «эзки») другими («христианами», они же «чекисты») при нейтралитете третьих («римлян», они же «волияшки», они же, возможно, «Запад»). В ответе то, что и требовалось доказать: Россия живет в двух измерениях, внутренне тождественных: православно-мессианском и советско-коммунистическом.

Другая группировка заказывает другой миф, и, хотя исполнение заказа находится за гранью возможного даже в бульварной словесности, все же самую суть не могу не воспроизвести, поскольку и эта — снова, конечно же, русско-еврейская — диспозиция участвует в промывке мозгов никак не менее настырно, чем обратная ей. А именно: «Святая Русь разрушена изнутри, и ее не могли защитить обманутые русские коммунисты, не имевшие к революции 1917 года совершенно никакого отношения», однако Ленин сумел обратить революционный заговор троцкистов-жидомасонов на пользу отечества и построить вместе с преемником великую и достойную державу, в свою очередь разрушенную орудием сионо-адских сил — Горби и в свою очередь спасаемую из-под обломков коммунопатриотами, которые, изобретя оптическую «скрытую камеру» для выявления злых духов, помогают «увидеть мир таким, каким порой видели его русские святые».

Вы воротите нос от этой стряпни Александра Кротова, автора романа-фантазмагории «Охота на президента», снабженного вполне оккультным подзаголовком «Хроника параллельного мира» и напечатанного в майско-июньской книжке «Молодой гвардии» за истекший год? Напрасно отворачиваетесь. Культурную тенденцию полезно проследить вплоть до самых низин. А. Кротов учится как может у своих высоких антагонистов: тут тебе и двойники, а у кого их нет? — вот и в романе Иманова под конец, как черт из табакерки, выскакивает двойник, и у В. Пелевина тож; тут тебе и соблазны века сего за распахивающимися сезамами потайных дверей, так что я, прочитав «Учителя» и «Охоту...» одним махом, уже и не упомяну, где красотки голенькие, а где — с «прозрачной тканью» на интимностях, где рысаки, а где иномарки, где ванная розового кафеля, а где — с батареей заморских шампуней и кто с какой посуды лопает ложками икру. И если Кротов прочит Наину Иосифовну (прошу прощения за чужие проказы у уважаемой супруги президента) в дочки Иосифа Джугашвили и кагановичевой сестры, что мешает мне, не ощущая перепада уровней, счесть ее в н у ч к о й г-жи де Сталь — под не проходящим впечатлением от другой фантазмагории?

Однако вернемся к истории. Думаю, что бегство от нее носит если не преднамеренный, то, во всяком случае, не бессознательный характер. В одном из немногих доступных моему пониманию рассуждений Валерия Пискунова читаю: «...в отличие от натуральной природной силы, которая возникает лишь постепенно, эволюционно вовлекаясь в самоорганизацию (для природной постепенности времени нет), «сила сознания» возникает сразу, вспыхивает вся и затем стремится продолжиться и усилиться в массовидном сознании. Здесь властвует время. Здесь появляется история — антиэволюция, порождаемая сознанием и существующая через сознание. История как форма существования посредством изменения (разрушения) увековеченных природой форм и сил».

Итак, история — антиэволюция. Не обошлось и без Библии: Бог создал всякую тварь по роду ее, потом пришел Христос, оборвал родовую пуповину, и вместо родов появились народы, с ними и государства... Что-то в этом духе. Любопытно разобраться, как эта враждебность к историческому движению, исторической реальности отразилась на строе повести Пискунова. В сущности, он пишет как раз и с т о р и ю — историю казачьей семьи от первой мировой войны до послевоенных 50-х. Он проводит эту семью через распад казачьего круга, коллективизацию, голод, репрессии, пионерию, комсомолию, уход детей в большой бессовестный мир. Он подвергает р о д испытанию двух деформирующих сил — власти денег и власти идеологии, которая отесняет, но не отменяет первую власть. В самостоятельном фактически эпизоде (лучшем в повести) — в новелле про судьбу денежных пачек, что вывалились из нутра загоревшегося самолета-«почтаря» и разлетелись по степи, — отроческое сознание, еще невинное и прямодушное, научается этому худому уравниванию, этому наглядному тождеству обоих рычагов власти — захватываемых через открытый «идейный» контроль над головами сверстников и через тайное присвоение шуршащих бумажек.

И вводя в свое повествование эти исторические детерминанты, писатель сам же делает все возможное, чтобы размыть их, упрятать подальше от глаз, от сознания, погруженного в какую-то животную, доразумную грезу, как бы работающего не корой, а мозжечком: «Маня пела-вела, пела-призывала, точилась, веляла, пересыпалась», «Миля.. шипела и дерзко молилась» — поистине «слова рождались пупком внутри» Повесть — как трехслойный пирог: снизу — анатомия чресел с применением

«ненормативной лексики», которой безуспешно придается эпическое звучание; в середине — достоверная казачья одиссея; а сверху — могильный камень переименованного диамата с разным там «самодвижением понятий» и «антиномичностью противоречий». Скачки вперед-назад по натуральной хронологической шкале не подчинены никакой целесообразности, а имеют, кажется, единственную цель — смешать исторические карты, отнять у любого события несомненность бытия. Впечатление такое, что автор не хочет знать и того, что он доподлинно знает: синдром философской интоксикации включает мистификацию истории, обращаемой в сырьё для мудрствования.

О Шарове, пусть он многого действительно не знает, могу сказать то же самое. Пишет он в «Репетициях» без правил. В повести Гоголя нос исчезает у майора Ковалева 25 марта — в «день Благовещения у католиков»⁴. Или: Никон «стал жаловаться, что не может решиться повесить в монастыре свой *портрет(!)*». Или: «28 апреля ровно через месяц после поздней в 1667 году Пасхи...» (ну как же Пасха, празднуемая в марте — начале апреля, может быть названа поздней, по какому стилю ни считай?).

Сопоставляя такие «мелочи» (мелочи? — как для кого) с кучей подобных же, выловленных в романе «До и во время», прихожу к выводу: Шаров допускает, выпускает в текст все это не потому, что ленится заглядывать в энциклопедии и справочники, и не потому, что был когда-то не слишком внимательным студентом истфака, а потому, что в нем, и это типично, живет воля к принципиальному пренебрежению реалиями. Свою мифологию он развертывает на культурно-историческом пространстве Руси начиная со времен Никона и раскола — но не желает брать на себя по отношению к этому пространству даже обязательства внешней вежливости. Какими бы невегласами, суеверами и двоеверами ни были русские христиане — православные или старообрядцы, — они все же знали, что чаемое ими второе пришествие Спасителя не должно стать повторением Его распятия, а грядет «со славою» и что, однажды воплотившись, Бог-Слово не станет при конце времен переселиться в какое-нибудь еще не опознанное лицо (даже хлыстовство не столь примитивно, и только сегодня, в пору одичания, для такого хода мысли находится шанс). Однако, не допусти Шаров всего этого недопустимого, рухнул бы его многозначительный сюжет вместе с «околояновской» историософией. И оказались бы невозможны такие вот места, на которых этот сюжет держится: Никон «мог думать, что именно в нем воплотится Христос... разделяя уверенность многих русских в том, что Христос воплотится, когда придет время... в одном из них»; француз же на эту роль не подходит, ибо «не может быть Сыном Божьим», зато что касается еврейского мальчика, любовника бродячей актрисы, тут Никон «сразу же поверил, что Рувим был Христом». Уф!

За подменной историческим пространством несуществующим (если бы экспериментальным! — у эксперимента есть четко оговоренные и отличимые от «полевых» условия) мне чудится небезосновательная уверенность автора, авторов, что живут они и пишут в стране, где уже ничего ни для кого не имеет значения. Отмерло культурное требование почтительности к имевшему место бытию. Не любо — не слушай, а врать не мешай — этот девиз шагнул за все мыслимые границы.

Да что там далекие времена, семнадцатый век! «Стражница» А. Курчаткина представляет мистико-историческую, так сказать, хронику уже ближайшей к нам поры — от начала и до конца перестройки. Мистика — в верхней половине каждой страницы, где избранными неведомых сил Альбина (что значит «белая») отдает свое энергополе на подпитку горбачевских реформ и лично Михаила Сергеевича; история же — в нижней половине, под строкой, где автор комментирует достижения и неудачи горбачевской путеводительницы сухими справками о происходивших в итоге событиях. При этом он необычайно обстоятелен — летописец, чуждый лести, но берегающий для потомков память даже о самых негромких деяниях реформатора. Ну, к примеру — наверху, глазами Альбины: «В одной из южных кавказских республик приговорили к пятнадцати годам лишения свободы... лицо из самых высоких властных структур...» А под строкой: «Дело С. Хабеишвили, одного из секретарей ЦК Компартии Грузии». А мы-то хороши — успели подзабыть об этом весомом имени. Порой же комментатор рассчитывает, видимо, на совсем уж отдаленное читательское потомство, для которого наши времена станут баснословными. Наверху: «Он покровительствовал

⁴ В гоголевской литературе (которую, впрочем, знаю нетвердо) я не встречала соображений, связанных со столь значимой датировкой начала событий «Носа» — на православное (конечно же, только, естественно, по старому стилю) Благовещение. Если Шаров приметил этот факт первым, пусть кое-что и перепутав, будем к нему справедливы и поблагодарим его.

академику со светящимся прозрачным пушком седых волос на голове, недавнему поднадзорному сырьному». А внизу: «Андрей Дмитриевич Сахаров». А то мы не догадались! И таких сносок-звездочек на иной странице набирается до семи — больше, чем на хороших отелях и хороших коньяках.

Но погодите, погодите! «Протежировал академику», «победил на выборах». Это, правда, не в примечаниях, а в экзальтированном мозгу Альбины, но все же... Мы ведь еще помним и отношения Горбачева с Сахаровым (не такие, как здесь описано: «Зал ревел, не давая академику слова, и Он вроде бы был солидарен с залом, а вышло в конце концов — давал непременно», а так, как видели своими глазами на телеэкранах), помним и на к а к и х выборах он победил, став президентом, и при каких обстоятельствах пролилась кровь в Тбилиси и Баку (не совсем ведь так, как у Курчаткина под строкой). Не тут, впрочем, загвоздка. Просто если ты уж взялся обратить историю, которая еще одной ногой в настоящем, в творимую легенду, прикинь хотя бы, ради чего это делаешь.

Вот А. Немзер, остроумнейший рецензент (см. газету «Сегодня», 29.6.93), разобравший «Стражницу» по косточкам, почти не причиняя боли, вовсе, кажется, не понял, что вещь эта писалась во славу экс-президента и его дела, а не в поношение ему. А ведь можно было почувствовать: по слитному с Альбининым, взволнованному ее волнением тону повествователя, по бережности и тактичности хроникальных сносок во всем, что касается политической репутации героя, по тому, как автор ни намеком не мешает считать Альбине многочисленные жертвы землетрясений и кровопролитий естественной уплатой судьбе (?) за успех великого начинания («...в главном теперь все будет получаться, какие бы помехи ни возникали» — после гибели людей в арзамасской катастрофе); по тому, как он, словно куропатка от птенцов, отводит читателя от прямо-таки напрашивающегося вывода насчет иссушающего Альбину энергетического вампиризма самого М. С. и подставляет на роль вампириши неповинную, жалкую невестку «стражницы»; по тому, наконец, с какой скупой патетикой, скрытой дрожью в авторском голосе описана сцена отставки президента, — да, по всему этому можно было легко догадаться, что Курчаткин отнюдь не солидарен с Борисом Олейником и Александром Кротовым, тычущими пальцем в «меченого» антихриста. Ну а ликующей фразе: «То, о чем еще полгода назад невозможно было и заикнуться публично, теперь обсуждалось совершенно свободно» — разве место в уме секретарши поссовета, а не в декларациях достославного «Апреля»?

С другой стороны, однако, рецензент, не до конца разобравшийся в симпатиях автора «Стражницы», мало в чем виноват. «То, ради чего он», то есть М. С., «был призван, ради чего вошел так высоко», если свериться с быто- и нравоописательной частью сюжета, оказывается сущим блефом и порчей. Фермер-обирала, губитель заповедных роц (сколок с прежнего «кулака»), молочница и птичница, дышащие классовой мстительностью, криминальный «афганец», профессиональные нищие и несовершеннолетние преступники нового образца, сынок-коммерсант, пересевший в машину папаша-партхозяйчика — с тем же личным шофером!.. Стоило ли гробить столько народу стихией и спецназами, чтобы сложилась эдакая жизнь, пришел такой типаж?

Что это доказывает? Только одно: противоположность истории для данного типа литературы. Курчаткин следует двум клише сразу: либерально-публицистическому времен перестройки («гласность», «свет в конце туннеля») и «чернушному», в более позднем стиле «духовной оппозиции» («падение нравов», «социальная несправедливость» — все, что так приманчиво для натуралистического пера бывшего «сорокалетнего»). Эти линии, пересекаясь они на реальной исторической плоскости, могли бы вынудить автора к какому-то вразумительному балансу, к какой-то хотя бы задумчивости по поводу заявленных pro и contra. Но они не пересекутся и не высекут искру мысли в мире романа, где еще дымящаяся, обжигающая история вчерашнего дня подменена счислением знамений и примет, лстящим вульгарному мистицизму массы и скрепленным авантажными эпиграфами из Даниила Андреева и Ортеги-и-Гасета.

Сергей Чупринин, еще до выхода представивший роман публике, объяснил, что се ждет кич, в область которого нынче переместилась живая словесность. Насчет кичевой квалификации «Стражницы» спорить не приходится. Но кич тем и отличается от наивной писанины, что изготавливается он с адресным расчетом на потребителя. Кто в данном случае намечен на роль потребителя «сенсационного» чтения? Полагаю, общество, которое не склонно помнить, что с ним произошло и произошло.

Меня до поры удивляло, что можно взять историческое лицо, скажем Николая Федорова или Иосифа Джугашвили, швырнуть его в чью-то постель или совокупить

его предков каким-нибудь унижительным способом, или, допустим, пачать описывать родимое пятно современного политического деятеля, изобретая сравнения для его очертаний, или физический габитус другого («медвежателый», «хитроглазый», «с одутловато-мясистым лицом»). Как же так, думала я, ведь у этих людей, если они живы, может быть задето личное достоинство, если же мертвы, то у них есть потомки, а у кого нет, тот тем более беззащитен. Написал же Пушкин пастись, где представил, как боковой потомок Жанны д'Арк требует удовлетворения у Вольтера, оскорбителя девы. Я перестала удивляться, когда поняла, что все эти персонажи для наших писателей истории не принадлежат, а искренно почитаются за произвольные точки приложения фантазии⁵. Сколько было крику вокруг «конца истории» — и вот этот конец неожиданно наступает, но не в бытии, где событийности хоть отбавляй, а в сознании, по крайней мере — в сознании нашего культурного истеблишмента.

В ОБХОД ЧЕЛОВЕКА. В Евангелии от Марка есть рассказ о слепом, удостоившемся чуда исцеления. Полностью зрение вернулось к нему не сразу, и поначалу он, «взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья». То есть смутные-смутные очертания каких-то фигур. Новая проза — не на обратном ли пути от зрячести к слепоте? — тоже различает лишь абрисы людей, проходящих по ее страницам. Я уж не говорю о том, что ее все больше покидает драматический, сценический элемент (диалоги, прямой показ события, поступка) и преобладающим становится сообщение, изложение — причем не быстрое, краткое, в каком Константин Леонтьев когда-то видел преимущество пушкинской прозы перед толстовской, а буксующее, оговорчивое, длящееся сколь угодно долго. Это черта прозы модерна еще с начала века, и с такой литературной эволюцией мы уже смирились, хотя порой и профессиональный читатель готов посочувствовать читателю наивному, листавшему книгу или журнал в надежде найти там типографски выделенные **р а з г о в о р ы**, то есть удобоваримую пищу.

Но это цветочки. Прискорбнее то, что, пытаясь мыслить универсалиями, проза вошла в отвлеченно-утопическое пространство, где человек с его мотивами, характером и волей обращается в пренебрегаемую условную величину и литература, как невозмутимо констатирует на своем языке Вяч. Курицын, «в перспективе теряет антропоморфного носителя».

Как бы ни спорили в прошлом веке, чем определяется человеческое поведение: средой, свободной волей или бессознательной спонтанностью, — движение сюжета определял именно человек, литературный герой. Автор, строя вещь, исходил из возможностей героя, даже из его прихотей. Человеческая экзистенция служила точкой приложения для воображения писателя. Поэтому воображение имело свою логику и не вырождалось в пустое фантазирование, которое несетя на всех парах в любом случайном направлении.

Кто такая, например, Альбина-«стражница»? Жена партфункционера местного масштаба, пристроенная на какую-то синекуру в поссовете, с грубыми наклонностями и куцым кругозором, — почему она вверила себя с таким жертвенным энтузиазмом горбачевским инициативам, едва увидела «этого человека» на экране телевизора? (Неробкий автор предупредительно замечает, что «у нее не было никаких проблем с оргазмом», чтобы мы не приписали сексопатологической причине предпочтение горбачевских интересов мужниным.) А потому с ней все это приключилось, что так решено где-то в иномирной области, где располагаются даниил-андреевские «стихиали» или еще какие-нибудь с и л ы. Мотивировка, прямо скажем, архаическая, первобытная. Уже в «Илиаде» присутствует двойственное объяснение случающегося с человеком — исходя из олимпийских интриг и исходя из его собственных душевных свойств. А здесь? — нечто в с е л и л о с ь, и все дела.

Курчаткин проводит свою Альбину, а Иманов — своего Иванова (в «Учителе») через разнообразнейшие перипетии: богатство, нищенство, бездомность, бегство от насильников, сексуальные взрывы и болезненное изнурение. Но движутся они в этом поле чудес, как фишки в настольной игре, повинувшись воле подброшенного кубика; им нельзя сочувствовать, потому что они человечески не причастны к собственной участи. Между тем эти муляжи приходится как-то оживлять, чтобы они вконец не наскучили. И вот их подключают к рубильнику и пропускают ток высокого напряжения. «...на нее обрушилось такое бессилие, такая невероятная, никогда еще до того не посещавшая ее немочь, что подогнулись ноги, и она рухнула на пол, и, катаясь по нему, колотила себя кулаками, рвала, выдирала волосы, царапала, не ощущая боли,

⁵ Приятным исключением в этом смысле можно счесть упомянутый роман А. Мелихова «Так говорил Сабуров», где мыслящий герой наделен многими биографическими чертами князя Петра Кропоткина, но не его фамилией.

ногтями лицо и выла зверино, выкрикивала утробно, обдирая горло: — Не могу! Не могу! Не могу!..» («Стражница»). «...извилины в моей голове сжались так, как сжимаются в кулак пальцы, и я чувствовал, как они побелели от напряжения. Сознание мое оцепенело: казалось, еще мгновение, и я сойду с ума... Закричу, выйду на улицу, споткнусь, упаду в снег, закричу, встану, и побегу опять, и так буду бегать и кричать, пока меня не схватят. И буду биться, когда они схватят, биться до тех пор, пока они не свяжут меня, пока они либо успокоят, либо убьют меня» («Учитель»).

Огорчительно, что приводить своих персонажей к внутренне мотивированному самодвижению, а не дергать как попало за руки и за ноги, разучается и проза куда более высокого разбора. Роман Михаила Кураева «Зеркало Монтаччи» («Новый мир», 1993, № 5—6) — если не самая лучшая, то, несомненно, отличная и, уж во всяком случае, самая приятная (на нынешнем фоне не последнее качество) вещь из прочитанного мною за год. За вычетом всего постороннего, из чего автор пытается выстроить сюжет, никакая это не «криминальная сюита», а «сюита» из фотографий в альбоме, именуемом советской коммуналкой, в альбоме, на переплете которого запечатлен «ускользающий город» — монументально-призрачный Ленинград-Петербург. Еще бы я сравнила роман, подчеркивая его достоинства, с незабываемым феллиниевским «Амаркордом»: жизни, понятые в самом корне, внутри проживаемой ими эпохи, гротескный юмор, не препятствующий сердечности, узор арабесок и примирительный хор в финале. Но в фильме Феллини людские судьбы непринужденно зацепляются одна за другую, вилетаясь в общую жизненную ткань. Поэтому у Феллини — кино, а у Кураева — серия стоп-кадров, коллекция фоток, которые не понудишь к динамичному воссоединению, как ни шнуруй альбом, как споро ни листай его страницы.

Каждый из обитателей коммуналки движется в отдельном повествовательном русле, робкие попытки связать сюжетными нитями хоть кого-то с кем-то проваливаются (ни в жизнь не поверю страсти изысканнейшей и благороднейшей Екатерины Теофиловны к карьеристу-профбездобнику, задавшемуся целью «пресмыкательство перед властью сделать религией»). Культурный же слой, как сказали бы археологи, так превосходно чувствуемый и так интимно изученный писателем, будь то экспозиция зеркал, устройство подложки или секрет какого-то великолепного маркетри, притаившегося в полуразрушенных старинных покоех, — все-таки неживая, хоть и поэтическая, материя и сама по себе править сюжетом не может.

И вот умный и тонкий писатель вынужденно прибегает к приему, который позволил бы сдвинуть с места выразительно застывшие фигуры в обход их собственных душевных взаимодействий: квартиру навещает нечистая сила в образе матерого отставника-кагебешника и отнимает у разномастных ее обитателей их зеркальные отражения. Переполох, понятное дело, создает определенную иллюзию сюжетного развития. А в конце отражения возвращаются оригиналам в награду за их взаимоприязнь, взаимовыручку и не утраченную способность к общей радости, к общему на всех горю (свадьба, похороны — давно и хорошо обжитый финал коммунальных бытописаний, не требующий, впрочем, интервенций потусторонней силы).

Воскликая при этом: «И никаких объяснений! Всякое объяснение чудовищно...» — повествователь, конечно, лукавит. Его фантастическая посылка изъяснима куда как легко: в зеркалах, по поверью, не отражаются призраки; насилие над жизнью — государственное рабство, карательные органы, советский быт, отсутствие свободных возможностей — превратило людей в привидения, но путь к восстановлению человеческой полноты и для этих призрачных существований не закрыт — через пробуждение добрых чувств. Такой вот, пользуясь выражением автора, «переход без пауз, без знаков препинания от житейского к метафизическому». «Пауза», однако, заметна, и в этой паузе — вся сегодняшняя сюжетика отношений между людьми, пропущенное звено конкретного душепознания. Коллизия имитируется средствами простейшей философической притчи, не достигая человеческих глубин, — даже в таком интеллигентном и гуманном сочинении. Как почти везде.

Может показаться, что я связываю «уход» человека из литературы с хлынувшей в нее фантазмагорической струей. Полагаю, что такой прямой зависимости нет. Чтобы «не упустить» человека, обязательно быть «реалистом» в том строгом и ограниченном смысле, какой защищает П. Басинский (см. «Новый мир», 1993, № 11); Достоевский, величайший антрополог, недаром не вместился в очерченные Басинским рамки классического реализма. Когда самая что ни есть универсальная идея и сколь угодно фантастичная посылка выверяются реакцией на них человеческого естества и духа, тогда невероятное становится причастным реальности нашего существования, людскому уделу, то есть по-своему достоверным. Важно не проигнорировать этот момент сверки с собственно человеческим.

В путаной фантазмагории Александра Бородыни «Парадный мундир кисти Малевича», несмотря на разъезжающуюся во все стороны фабулу и неуклюжее покушение на триллер, есть такой момент точного попадания — в мишень человеческого сердца. Бородыня, читавший Н. Федорова гораздо продуктивнее, чем автор другой фантазмагории — «До и во время», — рисует антиутопический мир воплотившихся федоровско-циолковских идей. Мир, где воскрешение, а верней — воссоздание, умерших становится технической процедурой не сложнее извлечения занозы, где поэтому «уравнялись несоизмеримые раньше понятия и поступки: шутливая пощечина и кровавое преступление», где победившее смерть человечество расселено в необъятном космосе и где нет места душе, неотделимой от конкретной человеческой телесности и ускользающей неведомо куда при тиражировании биологических копий. И вот, приняв для себя эти исходные условия и усилием воображения угадав, что стало бы с нашей сущностью, с нашим внутренним ядром, окажись мы в таком мире, писатель достигает полной достоверности своих человековедческих выводов. Так, оказывается, что страдание может иметь ценность, если оно неутолимо по сую сторону бытия, в противном же случае оно автоматически теряет и ценность, и смысл, и героичку. Оказывается, что самые глубокие отношения лишатся драматической полноты и существенности, превратятся в глумливый ребус, раз родители при разводе могут «раздвоить» свое дитя, а «родственники будут изготовлены в любом количестве». Оказывается, что человек, прошедший через многократные воспроеизведения, не в силах будет поверить в свою самостождественность, в неповрежденность своей личности: «Они мне даже на чулках дырочку сохранили. На чулках дырочку сохранили, а родинку, — она указала себе ногтем на щеку, — убрали!.. Потеряли! Нет родинки».

Идя своим путем, путем экспериментального литературного сюжета, при всей фантастичности не утрачивающего психологической правды, Бородыня, как ни удивительно, приходит к тем же выводам, что и один из самых глубоких аналитиков «философии общего дела» — С. Н. Булгаков. Читая «Парадный мундир...», я тут же вспомнила вот это место из булгаковского труда «Свет Невечерний», вряд ли знакомое писателю: «...допустим <...> что тела эти явились бы точным повторением организма умерших по внешнему и внутреннему составу и обладали бы сознанием связи и даже тождественности с ранее жившими своими двойниками. Что может быть ужаснее этого адского измышления и что отвратительнее такой подделки под воскрешение, как эти автоматические движущиеся куклы, обладающие полнейшим сходством с некогда жившими, но сломавшимися и испорченными организмами? Непреодолимую мистическую жуть и отвращение наводит мысль, что мы можем встретиться с <...> подделками своих любимых, которые во всем будут подобны им; что мы можем их ласкать, любить, целовать <...> То была бы поистине сатанинская насмешка над человеческой любовью». (Далее Булгаков замечает, что такая материалистическая реализация «общего дела» наверняка оттолкнула бы самого Федорова, верующего христианина, но тем не менее в федоровских идеях заложено «своеобразное соединение материализма и спиритуализма, которому соответствует чисто механическое понимание и смерти, и воскресения»⁶.) Не получившийся в целом, роман Бородыни в одном, указанном выше отношении дает не самый худший пример проверки философской идеи на человечность, на совместимость с человеческим началом, чем и жива литература.

Также и в «Жизни насекомых» Виктора Пелевина («Знамя», 1993, № 4), как вообще в его лучших вещах, «условия человеческого существования», перенесенные в неожиданную среду, приобретают особую, щемящую обнаженность. Пелевин любит пофилософствовать этак по-буддийски о том, как хорошо бы слезть с поезда жизни («Желтая стрела». — «Новый мир», 1993, № 7), выпасть из колеса сансары, избавиться от индивидуального бытия, но достоинство его подлинной философской фантастики как раз не в философствовании, отягощенном симптомами знакомой нам интоксикации, а в замечательном даре воображения, который позволяет по-всякому экспериментировать с человеческой подноготной, выведывая ее секреты и вместе с тем не разрушая трепетный экспериментальный материал. Небольшой рассказ «Онтология детства» (в книге Пелевина «Синий фонарь». — М. 1991) — им мог бы гордиться и Борхес — рождается из маломощной как будто метафоры: земная

⁶ Вспомнив тут замечание Вяч. Курицына насчет того, что историсофская цепочка Толстой — Федоров — Скрябин — Ленин «давно не дает спать критика православной ориентации» («Литературная газета», 9.6.93), то есть крайне их, по мнению Курицына, раздражает, отвечу, что, например, «цепочка» Маркс — Федоров была намечена как раз С. Н. Булгаковым и другими аналитиками федоровской мысли, в «православной ориентации» которых не приходится сомневаться

жизнь — тюрьма⁷; но постепенное осознание этого экзистенциального факта — жизненным узником, который в первом детстве радуется играм на нарах, и беготне по тюремным коридорам, и лучу солнца, проникшему в оконную щель, всему сверкающему разнообразию скудной жизни, по мере взросления меркнувшей и обращающейся в унылое однообразие темничных стен и тюремного двора, — это постепенное прозрение, равное умиранию, настолько совпадает с внутренним опытом каждого, что само по себе воспринимается как открытие, независимо от пессимистического итога, какой может быть и оспорен.

В «Жизни насекомых» — опять-таки простейшая метафора-метаморфоза, понятная уже из названия; человеческие тела неуследимо, как бы подражая плавности пластилинового мультлика, переливаются в тельца насекомых, а человеческие заботы — в насекомые заботы, имеющие, как и все жизнеохранное, немало общего с человеческими. Это вещь трогательная, сентиментальная даже — несмотря на шокирующие описания усиков, крылышек, жвал и хоботков, а может быть, благодаря этим описаниям. Ибо хрупкость и смертность живого существа, наша с вами хрупкость и смертность предстают в голой очевидности, коль скоро перед нами не обряженное тело усопшего, а крошечный комочек протоплазмы, утративший свою хитрую архитектонику и превратившийся в месиво под чьим-то грозным ботинком или ладонью. Когда заокеанский москит Сэм-кровосос восклицает в ответ на жалобы юной советской мухи Наташи: «Но ведь есть же права насекомых...» — авторская ирония не задерживается в границах пресловутого «тоталитаризма», скорее обратное — подразумеваемые «права человека» становятся немного смешны перед лицом общего права на смерть, «бытия к смерти».

Перенос человеческих отношений в сообщество какой-нибудь непрезентабельной живности, даже не млекопитающей, — аллегорический прием, старый как мир, начиная от басен Эзопа до, скажем, «Кузнечика-музыканта» Я. Полонского или прелестного ростановского «Шантеклера» с его интригами птичьего двора. Свежесть вещи Пелевина состоит в том, что при внешней банальности приема это не ал л е г о р и я. Воображение Пелевина работает с самой жизнью — не в переносном, а в прямом смысле. Вот рядом с отцом идет по дороге мальчик, обутый в синие вьетнамки, «шаркая левой ногой, потому что одна из резиновых тесемок была порвана». И вот этот обращенный к белому свету почемучка («Папа, а из чего состоит туман?») будучи по пути нагружаем воспитательным дерьмом, преобразуется в жука-навозника, отныне обреченного отождествлять свое «я» с шариком, слепленным из житейских забот, унылым скарбом скарабея. «И всю жизнь вот так, мордой о бетон...» — пробует перечить юное существо, уже влипшее в поверхность катящегося шара. «Но все-таки жизнь прекрасна, — с легкой угрозой сказал отец». Да, именно так, путем такого ставшего здесь наглядным превращения и совершается пресловутая «социализация» личности, ее обкатка. «С легкой угрозой» — социопсихолог оценит точность этого маленького примечания, какая уж там аллегория!

С такой же грустной точностью прочерчена жизненная стезя муравьики Марины, рядовой советской женщины, сбрасывающей к сроку замужества ненужные девичьи крылышки, домовито роющей норку, торопливо признающей суженого в первом же степенном претенденте с погонами, откочевывающей за ним в приграничные края, а потом в одиночку воспитывающей дочь, преодолевающая тяготы раннего вдовства и шерстя ее за черную неблагодарность к родительнице. Ну а то, что сослуживцы с ъ е л и внезапно сыгравшего в ящик Маринино мужа, уделив и ей часть из этого посмертного наследства, — так ведь речь не о людях, о муравьях, у них принят такой способ расставания с покойником, да и жить как-то надо...

И все-таки автор «Жизни насекомых» не избежал проявлений общей болезни. Он тоже по-неофитски нависает над читателем со своим у ч е н и е м, заменяя непринужденную логику художественной фантазии принудительным выпрыскиванием идеи. Свободная композиция этого маленького романа на самом деле жестка. Поставлена задача — найти смысл жизни (никак не меньше). Перебираются ответы: бизнес (предприимчивость американского москита на рынке русской крови), домостроительство (труды жука-скарабея), продолжение рода (материнские заботы муравьи), любовь (приключения молодой мухи), кайф (история конопляных блох-анашистов). Не то, не то, не то, не то, не то — пять раз повторяет автор. И наконец-то! Нирвана! Расставание с самостью, с мертвецом по прозванию «я», освобождение от двоящихся мыслей и вообще от эфемерной жизни насекомого, растворение в волнах света, источник коего — ты же и еси, победивший «это» и ставший частицей

⁷ А может быть — из известного советского анекдота о червяке-сыне, спрашивающем у папы, почему они сидят в дрянной куче, если можно, оказывается, вылезти на зеленую травку, и слышащем в ответ: «но ведь это наша родина, сынок».

мирового целого. Выход найден — правда, только для избранных, для интеллектуалов и поэтов, подобных ночному мотыльку Диме-Мите с блистающими, как у врубелевского Демона, крыльями и гордой походкой. Нам преподносится маленький урок эзотерики, от которого сразу делается скучно. Теософский экзерсис, немедленно иссушающий то живое знание о человеке, каким богат Пелевин-художник. Он и не замечает, что, впадая в мотыльковую пагеттику, становится уже не проникателем, а наивен, несколько даже смешон. Как жаль!

Небольшой, меньше чем в двадцать журнальных страниц, рассказ Михаила Бутова «Памяти Севы, самоубийцы» («Новый мир», 1993, № 5) — единственная среди попавшихся мне вещь, не затронутая соблазном завладеть отмычкой ко вселенной, минуя путь честного самопознания и самоотчета, путь духовной трезвости. Заглянувший в неблагообразное, трупное лицо смерти, рассказчик, чье горе тем неподдельнее, чем глуше и сбивчивей его тон, чем жестче и памятьливей его зрение, пытается добраться до сути совершившегося, отвергая услуги «дешевой потусторонности». Перед нами как бы метафизический детектив, где нет, однако, ни метафизики в виде умозрительной конструкции, ни сыска как упорядочения причин и следствий. Но есть непосильная уму загадка человека, которую не рассказчик уже, а стоящий за ним и совпадающий с ним писатель отныне обречен разгадывать всю дальнейшую жизнь. Рассказ — мрачнее не вообразишь. Но мрак не «чернушный», а тот, в котором только и рождается жажда света.

Когда Достоевский напечатал фактический пролог к своим большим романам — «Записки из подполья», публика отреагировала на эту мрачную повесть весьма холодно. Щедрин высмеял ее «серенький колорит», такой, «будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши», метя, конечно, и в существо взгляда на человека. И только Аполлон Григорьев с присущим ему чутьем советовал Достоевскому: «Ты в этом роде и пиши». Напоминаю это затем, что путь к большой философии, к подлинному умозрению лежит в искусстве через испытание человеческой природы, которое одновременно становится испытанием и для самого художника, для его эстетической честности, не мирящейся ни с какими безлично-доктринальными способами изживания сомнений и мук. У молодого прозаика М. Бутова такая честность по всем признакам есть⁸.

Вот и получается, что едва ли не самая человеческая проза — из жизни насекомых, а самая обнадеживающая — о «безмотивном» самоубийстве. Парадокс литературной ситуации, не благоприятствующей человеческому элементу.

УТЕРЯННЫЙ МЕТР. Нечего и говорить, что литература, страдающая философской интоксикацией и всем, ей сопутствующим, существует не благодаря читателям, а благодаря критикам. Без боевой готовности интерпретаторов она давно бы испустила дух. Более того, именно она идеально соответствует тому типу критического писания, который стал вытеснять традиционные «разборы» и «обзоры». Как бы ни были скучны эти последние, их авторы, если были добросовестны, не изымали из своей работы стадию читательской дегустации. Им как читателям «нравилось» или «не нравилось», и дальнейшие усилия прилагались, в частности, к тому, чтобы внушить аудитории ту же оценку.

Когда сейчас ценитель томительно-нудных или кичево-наглых текстов уверяет меня, что он восхищен, я предпочитаю ему не верить. Бьюсь об заклад, что хвалимое сочинение нравится ему так же, как лепщику глина, а кулинару — суповой набор. Готовый же продукт должен выйти из-под его пера, и оно ликует при виде многообещающего полуфабриката: какой «завораживающий глубокий сюжет», какой «комплекс историсофских идей», какие перспективные «цепочки», сколько здесь поводов допридумать свое, дать состояться несостоявшемуся произведению в инобытии газетной статейки или псевдофилологической штудии. Лет тридцать назад я дебютировала статьей, где утверждалась разница между массовой беллетристической и настоящей литературой: первая, дескать, услужливо удовлетворяет ожидания читателя, а вторая, преодолевая эти ожидания, властно ведет читателя за собой. Теперь, оставаясь примерно в тех же мыслях, я дивлюсь появлению новой неподлинной литературы, которая рассчитана на улаживание уже не читателя, а ученого сочинителя из смежного цеха. Впрочем, удивляться тут нечему: феномен кругооборота интеллектуальных веществ в академическом истеблишменте (от лекционного курса к роману и от романа обратно в лекционный курс коллеги, и все в своем кругу, но с

⁸ Даже об Олеге Ермакове, чей «Знак зверя» не я одна оценила очень высоко, не могу с уверенностью утверждать того же. Меня смущает во второй части его романа обилие «сомнамбулических» страниц с изрядной инъекцией дальневосточной мистики

соответствующей рекламой вовне), — этот феномен хорошо известен на Западе и там же многократно и сурово описан. Мы только приобретаемся.

Понятно, что самые хаотичные, суесловные, пестрые и алогичные сочинения, ответственность при истолковании которых минимальна, способны доставлять профессионалу нового типа, переставшему быть натуральным читателем, наибольшую радость. В прошлом веке критик, случалось, целыми страницами цитировал «Героя нашего времени» или тютчевскую лирику, тем самым демонстрируя, что у него нет слов для изъяснения творческой тайны и здесь уместен лишь молчаливый указующий жест. Сейчас критическая статья выигрывает в убедительности от отсутствия цитат; триумфом же произведения становится его ловкий пересказ, избавляющий от чтения первоисточника и таким способом предотвращающий вероятное разочарование. Так, «воссоздание» Львом Аннинским «Псалма» Горенштейна («Вопросы литературы», 1993, вып. 1) на порядок выше исходного материала, а Вик. Топоров в отклике на «Репетиции» вообще блистательно продемонстрировал, что могут сделать из шаровского сюжета умелые руки.

На то, чтобы преобразить карася в поросю, существует множество приемов, неведомых наивной критике предпостмодернистской поры. Например: расширить критическую номенклатуру таким образом, чтобы для каждой литературной несообразности нашлось наименование, ее легализующее. Если у сочинителя нет своего стиля и он произвольно впадает то в велеречивость, то в глумливость, то в казенщину, то в заумь, это можно назвать *п о л и с т и л и с т и к о й*, не преминув указать, что именно такова ведущая тенденция мирового искусства. Если сочинитель отменно пошел и аляповат в своих живых картинах, можно занести его труды в академически узаконенную графу *к и ч а*, попутно заверив, что это тоже очень перспективное направление, и заведомо выставив в смешном виде тех, кто, не будучи об этом осведомлен, решит, что перед ним просто плохая проза.

Другой способ — выдумать за писателя такое, о чем он понятия не имел, и, суфлируя своему подопечному, словно плохому актеру, постараться увлечь публику этой игрой. Чем хуже сам автор сводит концы с концами, тем свободнее будет полет вашей фантазии. Скажем, ту же «Стражницу» Курчаткина при известной сноровке совсем нетрудно сопрыжать с чем-нибудь сугубо актуальным и обществено символическим: дескать, из гуши нашей смятенной жизни выхвачен новый женский тип, подобно «вязальщицам Робеспьера», сублимирующий чувственность в идеологическую манию и фокусирующий страсть на политическом фаворите, — тип женственности, извращенной и загубленной своею эпохой. Добавив сюда две-три «культурных» аллюзии (Альбина — Далила наоборот, или что-то в том же роде) и две-три капли фрейдизма а-ля Борис Парамонов, вполне можно блеснуть и близ «Стражницы». Отчего я не стала бы этого делать? Оттого, что я как *ч и т а т е л ь*, исходя из *н е п о с р е д с т в е н н о г о* впечатления, главного источника суждений, которым располагаю, знаю твердо, что ничего подобного у Курчаткина *н е н а п и с а н о*. А раз я не могу обмануть себя, мне, быть может, совестно будет обманывать других. Но если я уже «не читатель», то я вольна преследовать какие угодно цели, посторонние эстетической службе.

Современное критическое разномыслие, почти анекдотическая разноречивость оценок основываются вовсе не на смиренном приятии того обстоятельства, что «о вкусах не спорят». Скорее на том, что из споров *и с к л ю ч е н м о м е н т* *в к у с а*, который мог бы как-то солидаризировать ценителей, думающих по-разному о Боге и мире, о христианстве и иудаизме, о Рылееве и Столыпине, о капитализме и социализме, но дорожащих своей квалификацией литературных дегустаторов. Добровольно ампутированный художественный вкус, отсутствующий культурный глазомер — это и есть тот «утраченный метр», изъятие которого из бытования искусства равносильно пропаже эталона из палаты мер и весов. Ввиду такой утраты нас настигают — наряду с разноречием там, где на самом деле, по выражению Архангельского, «все ясно», — массовые литературно-критические мании, пересекающие рубежи и океаны.

Не могу миролюбиво пройти мимо священной коровы сразу нескольких литературных культов — мимо романа Фридриха Горенштейна «Псалом», снискавшего себе множество именитых поклонников по обе стороны государственной границы, равно как и поколенческой межи. Мне боязно соваться в их рой со своими крайними недоумениями⁹, но смолчать нельзя, ибо если эта точка отсчета останется вне сомнений, все «доносы» публике на словесность последующей волны могут быть аттестованы как вопиющая несправедливость. Вот Архангельский, к которому не

устаю обращаться, убежден, что «словесный и тематический блуд» сразу обнаружит свою цену при сравнении с «гениально-порочным» автором «Псалма». Может, такой оксюморонный эпитет и приложим, например, к «Таис» Анатоля Франса, где под стилизованной житийной легендой змеится тончайшая усмешка, или к «Избраннику» Томаса Манна, где христианским максимам придается дразнящая «амбивалентность», или к набоксовской «Лолите», наконец. Но — к «Псалму»? Впрочем, смелее, «не ногу же отрезаем».

Прочитанный мною с запозданием и потому — на фоне новейшего философского токскоза, «Псалом» сразу поместился в этот ряд в качестве опередившего свое время бесспорного флага. Все признаки подтачивающего искусство синдрома — и сектантски самонадеянное менторство, вынырнувшее из мутных хлябей полужнания (не оно ли имелось критиком в виду под несколько загадочным «тематическим блюдом?»), и подмена реального культурно-исторического поля мифическим его дубликатом, с сопутствующей свободой рук в отношении фактов национального и религиозного бытия, и обращение с персонажами как с дергунчиками-зомби, безвольными звеньями в уже знакомых нам «цепочках историософских идей», и мнимая полистилистика от неспособности попасть в след собственной интонации — все эти черты получили в горенштейновском «романе-размышлении» предельную рельефность, оттого что он до накала, до экстаза разогрет страстной враждой и обидой, чего не скажешь об анемичных последователях и подражателях. Горенштейн написал идеологическую мелодраму, местами переходящую в идеологический фарс. Он попытался взять ноту, вызывающе напрашивающуюся на сравнение с Поэмой о великом инквизиторе и «Бесами». И это сравнение, конечно, для него убийственно.

Вот уж где разгулялся гипсовый ветер!

Не зная, к какому суду апеллировать, я для начала обращаюсь к слуху тех, кому дорога стилистическая аура литературного слова, его интонационные меты, кто помнит, какое слово откуда родом. К тем, кому переписанные без кавычек библейские пассажи не так-то легко внушат иллюзию насчет «ветхозаветного стиля романа, поразительно цельного» (Б. Хазанов). Чтя Библию и ее поэтическую сторону, не меньше Горенштейна, предположу, что любой текст, если вгонять в него в должных количествах стихи из пророчеств Исаии, Иезекииля, Иеремии, оживет и приобретет таинственную значительность; такова уж эта Книга¹⁰.

Но стоит ступить за пределы любого из анклавов ветхозаветной поэзии, как иллюзия рушится. Объявив свой роман размышлением в пяти притчах, Горенштейн на протяжении сотен страниц тщетно ищет притчевую тональность, то и дело спотыкаясь об осколки чужих стилей, не имеющих отношения к его замыслу. То он пытается отодвинуться от эмпирической речи, вставляя в реплики деревенской девочки книжные «так как» и «поскольку»; то его письмо начинает резонировать на детские книжки 30-х годов («Над ними небо стеклянное, деревья дикие растут прямо в деревянных кадках, а меж деревьями лестница белого блестящего камня». — Борис Житков, «Что я видел»), то на Платонова («...сердце ее было рядом с ней, и она заплакала, не имея ни слов, ни понятий, а одни только лишённые смысла звуки»), то на Зошенко или Бабеля («Разве за это боролась большевистская революция и покойник Ленин?»); а вот откуда ни возьмись среднегоголевская нотка: «Морская луна по жирности не уступает полтавской...». Полистилистика, то есть игра стилями, возможна, когда есть дар стилизации; в противном случае — эклектика, как здесь, где мертвое, бесстильное слово паразитирует на слове библейском.

Каково вам читать: «Что же такое мужское в Антихристе, не дай Бог знать какой-либо женщине»; «Человек способен понять Вечность, только сильно унизив это Божье чувство»; «Но гений наделен великим спасительным свойством совершать ужасное в мыслях и душах своих...»; «Меж тем пророчица Пелагея сдала свою кровь на анализ в лаборатории местной поликлиники...»? Вы не испытываете неловкости? Воля ваша. А вот мне смешно, и ничего не могу с собой поделать.

¹⁰ При таком орнаментальном употреблении Библии смысл иных мест может быть закрыт или размыт. Горенштейн, считающий себя иудеем, не колеблясь цитирует по синодальному переводу, опирающемся на церковную традицию: «Се, Дева во чреве примет...» — как видно, не подозревая, что ему более пристал бы перевод «жена» (об этом — серьезный вероисповедный спор). Обидно читать: «И через пророка Исаию сказал им всем Антихрист в женском роде, ибо их всех родила слабая рыхлая женщина...»; библейские пророки, обличая и обнадёживая, обращались к Израилю, народу, стране в «женском роде» — как к дочери Сионовой, обрученной Богу кольцом Завета; здесь присутствует брачная символика «жены», верной или блудной, но никак не образ «рыхлой женщины». О сбивчивости Горенштейна свидетельствует также допущенное им отнюдь не фигуральное выражение: «...в переводе с библейского». Слово «псалмопевец», специфически относимое к царю Давиду, он столь же уверенно прилагает то к одному из пророков, то к церковному, что ли, пономарю

А теперь обращусь к тем, кому все еще, может быть, не безразлично, что писатель, устывший о предметах недомыслимых, о Христе и Антихристе, о Промысле и воздаянии, о еврейской богоизбранности и арийско-славянских притязаниях на оную, о мистическом смешении крови, как дурном, так и добром, и о прочих приводящих в трепет вещах, — что этот писатель в одной фразе способен наошибаться так, что и в десятке не распутаешь. Вот пишет он о Дане, что это «нет, не тот Антихрист, о котором кликушествуют христианские живописцы», — и мало того, что впадает в тон Ярославского да Заславского с их специфической грамматикой («кликушествуют — о котором») и словоупотреблением («кликушествуют живописцы»), мало того, что указывает на неопределимый предмет (иконопись? религиозная живопись Запада?), но еще и обнаруживает полную неосведомленность насчет того, что изображения Антихриста не приняты и приняты быть не могли. Он не знает, когда и где возникло монашество, не знает, что на стенах катакомб, где скрывались первые христиане, не изображались Распятия, что «Загорский монастырь» зовется совсем по-другому, что самым ранним по времени написания признано Евангелие от Марка и, значит, проследить постепенную фальсификацию предгогофских событий от Матфея («самого достоверного» — экое верхоглядство!) до Иоанна может только фантазер, впервые взявший Четвероевангелие в руки, и притом не с лучшими намерениями. Он перевирает слова Символа веры и молитвы Ефрема Сирина, которую мог бы знать хоть по пушкинскому переложению (да еще как перевирает: «...даруй ми запреты твои погрешениями», потешаясь при этом над «бытовым православием» старорежимного интеллигента со значащей фамилией Иловайский), а спрос ведь с него больший, чем с не увенчанного пока А. Бородыни, который склоняет — «Сыне Божие», путая звательный падеж со средним родом. Зачем же он, Горенштейн, пишет о том, чего не знает? Да еще так злобно...

Зачем он учит и учит нас какой-то рукодельной версии иудео-христианства, а вернее, квази-иудео-антихристианства, которая на поверку оказывается действительно чисто шестидесятилетней (см. Аллу Марченко в девятой книжке «Нового мира») смесью самых поверхностных впечатлений от Библии и от подвернувшихся тут же Бердяева (мысли о «гениальности и святости»), Шестова (дискредитация Евангелия от Иоанна), Мережковского, — смесью, приправленной острой реакцией на юдофобство и жадной компенсации за счет словесного унижения обидчиков? (Расовый портрет антисемита: волосы русые, глаза северные, водянистые, следы алкогольного вырождения; способ ликвидации: межзвездным огнем из темных антихристовых глаз, — ну не мечты ли подростка после неудачной драки?) Зачем разбрасывает свои суемудрые афоризмы: «Христос не был христианином и даже не слышал при жизни этого термина (!)», «Человек по сути своей ненавидит Бога, поэтому он ненавидит и евреев», «Любовь людская есть унижение Божьей любви», «Религия будет главной опасностью в России», «Святое Евангелие научит незрелые, истосковавшие в атеизме души дурному», — не давая пищи ни уму, ни сердцу, но из мстительности все ту же затягивая христианско-еврейский, русско-еврейский узел? Сравните эти самоуверенные сентенции с пытливой и глубоко ответственной мыслью чуть было не позабытого Якова Друскина — и вы невольно подумаете, что совершилось-таки грехопадение культуры.

А если говорить о скорби за свой народ, сокрушающей сердце художника, то я заплачу и содрогнусь вместе с Гроссманом, читая у него про гибель еврейского мальчика в газовой камере, и не поверю бугафорскому трупику Суламифи, который подброшен Горенштейном для иллюстрации очередного тезиса.

И еще кое о чем из области этики.

Нравится ли вам рассказ о полукровке Васе, «который способностью портить воздух был известен в широких кругах, помимо своего страстного антисемитизма»? «Газ из кишок исходил у него по-разному, отражая его внутреннее состояние. Иногда как ясное короткое слово, иногда как тихая протяжная жалоба, а иногда как дикий вопль ужаса». Так вот, на Васином лице при посещении выставки Шагала «царило то творческое напряжение, которое является на лице человека, сидящего в туалете. Впрочем, такие лица можно и в церкви встретить». До подобных приемов не унизился и автор романа «Все впереди», создатель бесподобного Миши Бриша. А вот у старогвардейцев, если порыться, что-нибудь похоже непременно найдется. Конечно, при таком безудерже оскорблениям подвергаются не только вымышленные лица. В филиппике против выкрестов выводится вся из предательского шкурного страха «талантливая церковно-березовая лирика поэта, мечтающего, чтоб за дорогими сердцу «молебнами», сладкими слуху (?), «облетающими осенними садами» и живописно изображенным рождественским снегом русский читатель забыл или хотя бы простил ему еврейское происхождение» Вы, естественно, угадали имя: Борис Пастернак.

И под конец, переходя на «личность», — как мог человек, написавший следующее: «...постоянная неприязнь к немцу, к немецкому отныне должна была стать национальной чертой Господнего народа, в предостережение иным историческим врагам», — как мог он поселиться после этого в Германии и жить там долгие годы?¹¹

Урок «Псалма» заключается, во-первых, в том, что эстетически провальное и мыслительно бесплодное кружение словесности пришло не из сегодняшнего, а из вчерашнего дня. Понижение уровня, думаю, происходило вместе с уходом культурного поколения, помнившего дооктябрьское «мирное время». И в 20-е, и в 30-е, и еще в 70-е годы, несмотря на диктат, создавалось много значительного — благодаря незримой культурной эстафете, передававшейся от них к нам. «Пушкинский дом», посвященный и этой теме, стал подведением черты. В середине 70-х что-то оборвалось, но из-за приметности отдельных ярких талантов на общем застойном фоне облом эпохи не сразу выявился... Связь будет восстанавливаться, видимо, сначала силами молодых филологов, историков, философов — «архивных юношей», если в них не возобладает инфантильная воля к разрыву, а уж потом — писателей, поэтов, литературно-журнальной их свиты...

Во-вторых, нельзя с грустью не отметить, что «Псалом» репатриировался к нам в исключительно благоприятный для этого произведения момент. Если бы цензурно-политическая ситуация позволила роману появиться одновременно с «Плахой», он вместе с «Плахой» бурно бы обсуждался и вместе с нею же был бы забыт. Потому что несколько лет назад заглушенные души уже начинали тянуться к кустарным мифам (вроде того, что Христос — защитник гонителей, а Антихрист — защитник гонимых, как оно выстроено у Горенштейна), но еще жива была эстетическая придирчивость и здравая привычка отсортировывать хорошую литературу от плохой. (Тогда, помнится, триумф «Плахи» несколько испортил Сергей Аверинцев на одном из «крутых столов».) Еще не было бескрайнего одичалого поля, обильно политого влагой свободы и готового производить волчцы и тернии.

Теперь такое поле есть. Иерархическая архитектоника культуры, напоминавшая Мандельштаму готический собор, сменилась неразмежеванной пологой равниной с неощутимо плавным понижением уровня. Вот и в нашем случае «Псалом» нечувствительно перетекает в «Репетиции», «Репетиции» в «Учителя», «Учитель» в «Стражницу», «Стражница» в «До и во время» — и все вместе приводит к «Охоте на президента». «Философская» атрибутика, удовлетворяющая идеологическим предпочтениям тех или иных групп, снимает вопрос о художественной ценности: раз пришлось впоор, значит, недурно. Мы приходим к новому идеологизму в искусстве — без постановлений и репрессий; снова становимся объектами индоктринации — промывки мозгов, — за какую процедуру берутся не комиссары и психиатры, а, в который уже раз, литераторы, сами отравленные продуктами распада всевозможных учений, от диамата до адвентизма. Это было бы очень опасно, если бы читатели легко давались в руки писателям. Но серое облако скуки надежно отделяет одних от других — нет худа без добра. Будем утешаться хоть этим.

¹¹ Особый разговор — о тех (на мой взгляд, очень немногих) страницах «Псалма», где все же видна твердая литературная рука автора «Дома с башенкой» и «Искупления» и где присутствует некая из глубины идущая воодушевленность. Два таких места, овеянных воздухом подлинности, находятся в знаменательном соответствии одно другому: брачное соединение Дана-Антихриста с приемной дочерью — и финальный гимн «зимнему черному лесу», пылающему «своей белизной». Сакральной торжественностью окружено предустановленное свыше зачатие младенца, здесь достаточно искусно сплетены три провиденциальных библейских мотива: дочерей Лотовых, Фамари и Руфи-моавитянки, покинувшей свой народ ради мужниного (и, кстати, нет здесь никаких черт «трагической сложности» XX века, которые очередной изобретательный критик углядел в «инцестуальной ауре» этого эпизода). А искренний восторг перед русским зимним пейзажем неожиданно выдает согласие автора любить Россию как именно нерождающее, скованное стужей стерильное пространство, лишенное каких бы то ни было «языческих» произрастаний (предлагаю сравнить с недружелобием Горенштейна к летнему лесу в «белорусских» сценах романа). Тут брезжит так и не пробившийся сквозь плотные идеологические завесы, не внятный, вероятно, до конца самому писателю, но вдруг придавший его перу подъемную силу, из сердца рожденный сюжет: о промыслительном возвращении мессианского наследства от славян обратно к евреям и о начале нового мессианского рода — из колена Данава. Овладей Горенштейн этим темным наитием как художник, может быть, и получилось бы нечто «гениально-порочное». Но, как я старалась показать, им руководили иные импульсы. (В скобках замечу, что, разделяя христианскую веру в новый народ Божий, где несть ни еллина, ни иудея, сама я в споре «двух мессианизмов» о правах на будущее не участвую и, применительно к данному случаю, рассматриваю проблему с мифопоэтической, литературной стороны.)

ДАВНИЙ СПОР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н. Н. Суханов. Записки о революции. В 3-х томах. М. «Республика». 1991 — 1992. Т. 1 — 383 стр., т. 2 — 394 стр., т. 3 — 414 стр.

Уже тяжело больной и частично парализованный 23 декабря 1922 года, В. И. Ленин, получив разрешение врачей на чтение, взялся за только что вышедший второй том «Записок о революции» Н. Суханова. В таких обстоятельствах и в соответственном, надо думать, настроении Ленин, по его словам, «перелистывал» эти «Записки...», а 16 и 17 января 1923 года продиктовал стенографистке свои замечания на них¹.

Отклик на сухановские «Записки...», озаглавленный «О нашей революции», был последним ленинским «залпом» по меньшевизму. Речь шла уже не о прошлых разногласиях, не о частностях, а об оценке социального смысла октябрьского переворота и о дальнейшей судьбе России.

«Записки...» Н. Суханова — очевидца, участника и вместе с тем мыслителя, пытавшегося по горячему следу событий дня проникнуть в их историческую суть, в общий смысл происходящего, — естественно, привлекли внимание Ленина. Он и ранее не проходил мимо трудов Суханова — по аграрному вопросу, статистике, — полемицировал с ним.

Заметки Ленина о сухановских «Записках...» не рецензия, не аннотация. Это памфлет. Оставляя в стороне подробнейшую (на двухстах страницах) хронику всего лишь тридцати двух дней — с 3 апреля по 5 мая 1917 года, — Ленин не касался ни калейдоскопа событий, ни характеристик партий, ни впечатляющих зарисовок их лидеров, в том числе и его самого. Свою немногословную отповедь Ленин сконцентрировал на неприятии Сухановым и меньшевиками Октябрьской революции — в силу «педантского» понимания ими марксизма, «шаблонного» представ-

ления «закономерности развития» исторического процесса (45, 378, 379²).

Но политические взгляды Суханова за восемь месяцев — от февраля до октября 1917 года (три тома его «Записок...» охватывают именно этот период) — претерпели существенную эволюцию. Судя по первому отклику на февральский переворот, ему казалось, что «власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского „Прогрессивного блока“» (I, 50)³. Впрочем, автор признает: первая оценка февральской революции «была решена мною довольно легкомысленно». Уже на шестой день революции он уточняет свою позицию: «Постановленное к власти национал-либеральное правительство есть не итог и не цель, а заведомо короткий этап революции... Это поистине тот мавр... который, судя по началу, *сделает* свое дело и может после этого уйти. *Должен уйти*» (I, 207).

В наблюдениях Суханова встречаются пронизательные, созвучные нашим нынешним оценки. Будучи членом президиума Петросвета со дня его возникновения, членом ВЦИКа 1, 2, 3 и 4 созывов, Суханов сумел усмотреть антидемократическую тенденцию этого представительства трудящихся: «...лозунг («Вся власть Советам». — *Б. Л.*) самими большевиками принимался за чистую монету и вовсе не служил в их глазах одним прикрытием полицейской диктатуры партийного Центрального Комитета» (II, 23). «Полицейскую диктатуру ЦК» большевиков, таившуюся в лозунге «вся власть Советам», Суханов уловил задолго до того, как она сделалась более очевидной и

¹ Комментирование «Записок...» пережалось у Ленина с работой над известным «Письмом к съезду» и «завещательными» статьями: «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше» и др.

² Здесь и далее в скобках указываются том и страница полного собрания сочинений В. И. Ленина, откуда приводятся соответствующие цитаты.

³ После цитируемого текста из книги Н. Суханова «Записки о революции» в скобках обозначены том и страница.

чиничной, пока наконец не была официально включена в качестве 6-й статьи в брежневскую конституцию. Рядовыми партийцами-большевиками «власть Советов» действительно понималась как власть большинства трудящихся, «до которой Ленину уже тогда, — считал Суханов, — несомненно, не было никакого дела» (II, 23).

В своих замечаниях на книгу Суханова Ленин иллюстрировал решимость большевиков на Октябрьское восстание девизом Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет» (45, 381). Современному читателю, обремененному нашим семидесятилетним опытом, этот девиз, возможно, покажется справедливым, скажем, при вооруженном столкновении с местной властью, но не при глубочайшем социальном перевороте, да еще в стране со стаптанным десятилетиями населением, занимающим шестую часть земной суши.

Доказывать сегодня, что ставка Ленина на мировую революцию — его «генеральный» просчет, это трюизм. Суд истории подтвердил хотя и не намеренное, но обусловленное собственным заблуждением лжепророчество большевиков. Впрочем, мировая революция в 1918 году казалась вполне вероятной и Суханову. Но с той существенной разницей, что если русская революция окажется запалом мировой, то только мировая создаст для нашей революции реальную возможность стать подлинно социалистической. «Наша революция, хотя и совершённая демократическими массами, не имеет, правда, ни реальных сил, ни необходимых предпосылок для немедленного социалистического преобразования России. Социалистический строй мы создадим у себя на фоне социалистической Европы и при ее помощи» (I, 131). Это утверждение об отсутствии предпосылок социализма и было главным в полемике Ленина с Сухановым.

А «что если полная безвыходность положения, — заявлял Ленин, — удесятерит тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах?... почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а *потом* уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы» (45, 380, 381).

Эта, с позволения сказать, «рокировка»: перемена последовательности фазисов органического процесса (сначала ус-

тановление социалистической государственной власти, а потом подведение под нее фундамента технико-экономического и культурного), стремление «перескочить» через закономерный этап — вот что тогда противопоставило Ленина не только меньшевикам, но, как последние утверждали, и марксизму. По Ленину, «основной организующей силой анархического построенного капиталистического общества является стихийно растущий вширь и вглубь рынок, национальный и интернациональный» (36, 171). Через него Ленин и призывал «перескочить», преодолеть его, заменить государственной плано-распределительной системой. Ленин включил в проект программы РКП(б) «замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе, распределением продуктов... РКП, — писал он, — будет стремиться к возможно более быстрому проведению самых радикальных мер, подготовляющих уничтожение денег» (38—99, 100).

Не прав ли был Суханов, упрекая в своих «Записках...» лидеров большевизма, принявших названную нами «рокировку» и тем «отряхивающих от ног своих прах марксизма»? (II, 142).

«Его (Ленина. — Б. Л.) «Заметки о Суханове», обосновывающие возможность сначала захватить власть, а потом строить экономическую базу для социализма, были ниспровержением самых основ марксизма», — писал ранее примыкавший к большевикам Н. В. Валентинов⁴. Ведь Ленин сам признавал, что «наша предыдущая экономическая политика (сказано это в 1921 году. — Б. Л.)... безрасчетно предполагала, что произойдет непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах»; так «поступали во вторую половину 1918 года и в течение всего 1919 и всего 1920 годов» (44, 156).

За две недели до диктовки своего антисухановского памфлета Ленин продиктовал «Странички из дневника», посвященные грамотности населения России по данным переписи 1920 года. Оказалось на тысячу россиян приходилось всего 319 грамотных, то есть почти 68 процентов граждан РСФСР не умели читать и писать. А ведь Ленину принадлежат слова: «Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке» (44, 174). Как же можно было вовлечь в политику построения социализма людей, не умеющих читать?

⁴ Валентинов Н. В. Наследники Ленина. М. 1991, стр. 215.

Мы взяли неграмотность как «противопоказатель» социализма не только потому, что Ленин столкнулся с ней как раз перед ответом на сухановские «Записки...», но и потому, что из других «противопоказателей» она легче, быстрее и «дешевле» преодолима, нежели техническая отсталость в сфере производства, транспорта, связи.

Рабочий класс России (составлявший примерно 15 — 20 процентов населения), только что проснувшийся, по словам Ленина, к политической жизни (это сказано в апреле 1917 года), недостаточно сознателен и недостаточно организован (см. 31, 106). В массе населения преобладали экономические отношения полунатурального характера. Кое-где даже кочевой образ жизни.

Задачи цивилизации России, поставленные историей, капитализм не успел решить. От Октября и до нэпа функции рынка «возмещались» с помощью террора — продотрядами, комбедами, ревкомами, ЧК. Но и взнуданная таким путем Россия не смогла перескочить через рынок. В 1919 году Ленин признавал, что питание рабочей семьи в столице (не говоря уж о провинции) лишь напополам обеспечивалось пайками. Вторая половина отоваривалась полулегальным черным рынком, мешочниками, обменом в деревне городских шмоток на хлеб и картофель (см. 38, 362). Нэп явился попыткой восстановить рынок после хозяйственного краха планово-распределительной системы. Но это была только краткая передышка — лет на восемь.

После «года великого перелома» экономические проблемы снова пытались решать диктатом администрации при еще более широком экономическом терроре — принудительной коллективизацией, раскулачиванием, насильственной депортацией целых народностей в неосвоенные районы, ГУЛАГом. Издаваемый в эмиграции «Социалистический вестник» в 1930 году писал: «Утопические эксперименты террористической диктатуры над хозяйством отсталой страны доказали невозможность перескочить через фазу капиталистического хозяйства».

Игнорирование объективных экономических законов активно осуществлялось и в годы нэпа. Девизом волюнтаризма в сталинские времена стало хвастливое изречение: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Политическая структура, формируемая ныне на основе рыночной экономики, гарантии свобод, плюрализма идей и многопартийности, более походит на

модель, видившуюся Суханову, нежели на ленинское «государство переходного периода». Как-то в иной связи Суханов записал: «Не будем же негодовать на законы истории. Но будем справедливы к тем, кто в неравной борьбе потерпел поражение за единственно правильный курс революции» (I, 321).

Был ли меньшевистский курс «единственно правильным»? Каждая партия считает свою программу абсолютно верной. Большевикам и Суханову казалось, что их политическая структура — парламентская многопартийная демократия — исключила бы насильственный эксперимент над хозяйством и бытом населения страны, обеспечивающую экономическую политику, определяемую не монополюной доктриной, а реальными потребностями, отвечающими объективным законам общественного развития. Что, как позднее утверждали меньшевики, устранило бы причины гражданской войны и хозяйственной разрухи.

Свои заметки «О нашей революции» Ленин завершает следующим пассажем: «Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками» (45, 382). Так достаточно однозначно и сурово оценил Ленин в своих заметках труд Н. Суханова. Неудивительно, что многие десятилетия эту ленинскую рецензию-памфлет в наших вузах изучали чуть ли не в обязательном порядке, тогда как сами «Записки...» долгие годы практически оставались недоступны читателям. Изданные З. Гржебинным в Берлине небольшим тиражом в 1919 — 1923 годах, экземпляры «Записок...», попавшие в Россию, прочно осели в спецхранах некоторых крупнейших книгохранилищ страны.

Автор же их разделил печальную судьбу своих бывших единомышленников. Порвав с меньшевистской партией в 1922 году, он тем не менее через восемь лет был арестован по «делу» «Союзного бюро ЦК меньшевиков». Этот инспирированный ОГПУ процесс завершился для Суханова лишением свободы на десять лет. Вторую половину тюремного срока ему заменили ссылкой в Тобольск. Здесь в 1937 году последовал новый арест, обвинение «в антисоветской деятельности», а позже — расстрел.

Так большевики расправились с автором «Записок о революции», в петроградской квартире которого (с его согласия)

они провели некогда историческое совещание ЦК, приняв решение о вооруженном восстании. Видимо, большевистским вождям мешали уже не только сухановские «Записки...», но и сам он — свидетель истории...

Впервые переизданные на родине Н. Суханова семьдесят лет спустя, его записки, по существу, только входят в широкий читательский оборот. Это уникальный человеческий документ очевидца и участника многих эпохальных событий февраля — октября 1917 года. При всей субъективности отдельных авторских оценок и суждений, вызвавших противоречивую реакцию современников от Ленина и Сталина до Троцкого и Ми-

люкова, «Записки...» Н. Суханова остаются ценнейшим и талантливейшим мемуарным источником, значение которого с годами все возрастает. Справедливыми в этой связи представляются слова современного историка А. Корникова из предисловия к новому изданию «Записок о революции»: «Возможно, что... Н. Н. Суханов канул бы в Лету, как многие другие участники великой российской революции. Однако написанные им «Записки» стали тем памятником, который спас его от забвения».

Б. ЛИВЧАК,

доктор исторических наук.

Екатеринбург.

В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Михаил Ардов. Легендарная Ордынка (книга воспоминаний); Александр Архангельский. Литературный сопромат: христианство и словесность; Виктор Астафьев. Прокляты и убиты (роман, книга вторая); В. Богомолов. Алина (повесть); Михаил Бутов. Известь (рассказ); Рената Гальцева. Борьба с логосом (эссе); «Жизнь... вызывает на общественное дело». Из публицистического наследия В. И. Вернадского; Из дневника К. Р. (великого князя Константина Константиновича); Из частной переписки К. П. Победоносцева; Фазиль Искандер. Ласточкино гнездо (рассказ); Анатолий Ким. Казак Давлет (рассказ); Ирма Кудрова. Третья версия (еще раз о последних днях Марины Цветаевой); Владимир Маканин. Новая повесть; Андрей Немзер. Гоголь и современная проза; Марина Новикова. Маргиналы (эссе); Людмила Петрушевская. Д⁺ элегии (строки разной длины); Андрей Платонов. Неизданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой); Ирина Сурат. Пушкин как религиозная проблема; Белла Улановская. Деревенские рассказы; Людмила Улицкая. Девочки (рассказы); Татьяна Чередниченко. Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней; а также новые произведения Георгия Владимова, Даниила Гранина, Бориса Екимова, Даура Зантария, Семена Липкина, Марины Палей, Александра Хургина, Ольги Шамборант, Доры Штурман и других авторов.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИЗ СТРАНЫ РАБСТВА — В ПУСТЫНЮ

*О поэзии Иосифа Бродского**

Говорить о Бродском чрезвычайно трудно. Пожалуй, не столько трудно, сколько тяжело. Любовь, восхищение и благодарность борются во мне с неприязнью, разочарованием и отвращением. Я и не помышляю о том, чтоб выдержать академически беспристрастный тон. Дай Бог мне остаться в рамках благопристойности при неизбежных эмоциональных всплесках.

Прижизненная литературная канонизация Бродского уже состоялась. Но прежде чем установят его кумир на Парнасе и станут воздавать ему божеские почести, мне хочется выступить в роли адвоката дьявола. Признаться, на полный успех я не рассчитываю: чрезвычайная художественная одаренность Бродского и для меня самоочевидный факт, иначе бы я передал дело другому законнику с красноречиво сомкнутыми устами — забвению. Но я таки уповаю, что не без моих усилий истукан Бродского будет отлит в более скромных размерах, установлен в какой-нибудь труднодоступной расщелине, а на колоде перед ним в качестве жертвоприношения будет позволено задушить не больше двух ворон в год.

Где-то поминалось, что Бродский отрицает существенную эволюцию своего творчества. Это верно в том смысле, что основные черты его поэтики в их формальном и тематическом проявлении выступили с достаточной отчетливостью, как мне думается, уже в середине 60-х годов. Но с течением времени одни из них стали только фоном, а иные и вовсе угасли. Напротив, некоторые заняли центральное место, а то и чудовищно разрослись. О переломе говорить, конечно, не приходится, но об эволюции — да; причем жизненные обстоятельства, как бы важны они ни были, как бы ни стимулировали одно за счет угнетения другого, в сущности, не играют решающей роли в становлении Бродского.

Как-то Мандельштам сказал, что стихами Пастернака можно вылечить от туберкулеза. Также и Бродский рекомендовал прибегать к целительной силе поэзии. Следовательно, и мне, надеюсь, будет позволено утверждать, что искусство способно оказывать исключительно сильное воздействие, и, боюсь, не всегда благотворное, во всяком случае на людей эстетически восприимчивых. Лекарство принимают по назначению врача. Кто нам будет прописывать того или иного автора? Мы прокляли цензуру, то есть окончательно признали искусство областью духовного риска, как и положено при искусстве. И я, собственно, расскажу о том, как отравился Бродским, прельщенный его поэзией, в которой оказалась лошадиная доза нигилизма.

Правда, я постараюсь учесть, что существуют своего рода помехи настоящего, затмевающие прежние впечатления и мешающие угадать будущее. Поэтому я подчеркиваю, что говорю о своем сегодняшнем впечатлении от ныне живущего и пишущего Бродского, раздавленный им на тесном месте настоящего времени. Отсюда и несколько грубоватая концептуальность моих суждений о нем. В силу той же общности я буду по возможности избегать цитирования. Всякая строка (особенно у Бродского) пропитана примесями своего окружения, которое мы не в праве игнорировать в погоне за доказательностью.

Начнем, пожалуй, с самого простого и наглядного у Бродского — с его концепции времени, как она дана в стихах и прозе. Никто, понятно, не станет спорить с тем, что время, по Бродскому, изнашивает, стирает, искажает, уродует и наконец вполне уничтожает все, но с особенным успехом человека. Ясно, что такое понимание времени не новость, просто у Бродского оно выражено с редкой интенсивностью и максимальной абсолютизацией, то есть с заведомым искажением природы времени,

* Главной причиной моего обращения с этими заметками в «Новый мир» стала публикация на страницах журнала статьи «Жизнь после смерти» (1993, № 7), авторы которой Н. Лейдерман и М. Липовецкий пытаются нас убедить в надежности автономного стояния человека перед бездной экзистенциального хаоса, а в качестве примера указывают на Иосифа Бродского.

которое не только уничтожает, но и порождает, пестует и питает, закаляет, испытывает, дает возможность вызреть и, кроме всего прочего, само исполняется. Дело не в том, что Бродский ничего не слышал об этих свойствах времени, они его попросту не интересуют, ибо его переживание времени связано исключительно с позицией крайнего эгоцентризма. Это вполне достоверное и вполне неизбежное суждение ограниченного со всех сторон самим собой субъекта, который повсюду с собой совпадает, будь он хоть квадратом или кубом вследствие возведения самого себя в нужную степень одиночества. То, что Бродский очень одинок, знает весь мир. Главное убеждение такого лица состоит в том, что когда-нибудь время наступит на него самого и обратит в абсолютный нуль. По сути, мы имеем дело всего лишь с одним процессом, протекающим во времени, — с разрушением. Это лейтмотив всего творчества и непосредственная тема многих стихов Бродского. Ничего странного, ибо это единственная достоверность с точки зрения обреченного эго:

.у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв.

Вернес, нет и вариантов: поди отличи один нуль от другого.

Совершенно естественно из этого эгоцентризма вытекает и другая очень устойчивая тема, впрочем извинительная для всякого лирика, — тема собственного «Я», с которым у такого поэта, как Бродский, связан целый комплекс отношений. Что и говорить, у него много приемов самоотстранения, когда мы имеем дело и с «ты», и с «он», и с «некто», а то и с неожиданно любезным «вы». Напрасные усилия! Источником всех этих местоимений является одна и та же субстанция. И если душа Бродского как бы покидает свое тело, то только для того, чтобы с ненасытной тоской кружить вокруг него же, рассматривая его во всех позах и подробностях. Кто-то оборонил, что Бродскому удалось улететь на луну и взглянуть на нашу планету сторонним взглядом. Но у этой разлуки, замечу я, воистину супертелескоп, если, наводя его на землю, поэт видит прежде всего и без малейшего труда свое лицо, с горечью примечая на нем новую морщинку. Речь, конечно, не о комплексе Нарцисса. Отношение к себе у Бродского мало сказать нелюбовное, оно скорее недопустимо брезгливое. Но здесь важно отметить, что как раз в силу эгоцентрического сознания Бродский сам для себя оказался тюрьмой, разрушить которую ему не дано. Отсюда и все эти безнадежные попытки забыть о себе, отречься от себя или спутать себя с кем-нибудь другим.

Мне скажут, что любой лирический поэт создает, в сущности, лишь автопортрет. Разумеется, всякий лирик проходит известную стадию самоутверждения, нередко пребывает в конфликтных отношениях с самим собой, на что, впрочем, обрекает каждого из нас личностное самосознание. Но далеко не всегда оно осложняется такой тяжелой, почти клинической формой эгоцентризма, когда единственным подлинным объектом становится собственное «я». Для создания автопортрета (и в живописи также) художнику довольно исходить из себя и совсем не обязательно постоянно глядеться в зеркало — все равно, с ненавистью или любовью. Я уже сказал, что эта тюрьма собственной самости настолько ненавистна самому Бродскому и настолько несокрушима для него, что он обходится с самим собой даже не по товарищески. Я не знаю, возможны ли такие личные нападки и оскорбления, такие нескромные и неаппетитные подглядывания за Бродским со стороны какого-нибудь злопыхателя, которые можно было бы хоть в какой-то мере сопоставить с тем унижением, какому он подвергает себя сам. Понятно, что все это, со склоками и скандалами, уживается со специфической любовью к себе (и слава Богу!), жаль только, что в ней больше гордости и мало к себе сострадания. В сущности, я говорю банальности, но прежде всего для того, чтоб расчистить себе путь к другим пунктам.

Иные принимают Бродского за антиромантика. Это справедливо в том отношении, что там, где у романтика голубая даль, там у Бродского серый забор или грязный тупик; или, когда расправляются крылья очередного прекрасного порыва, у Бродского змеится циничная усмешка, а всякая чарующая тайна замещается у него злорадным кукишем. Но на деле эта оппозиция заложена в самом романтизме и давно осознавалась и обыгрывалась его же представителями.

Кое-кто называет современную эпоху неоязычеством или постхристианством. Можно подумать, что у нас пробилась новые животворные источники, как и полагается новой эпохе. По-моему, главным нашим украшением являются, по слову Баратынского, «широкие лысины бессилья», и название такого состояния известно давно: мерзость запустения. И не нужно путать наше положение с древней возвышен-

ной ситуацией. В античной трагедии человек был равен своей судьбе, то есть был ее достоин — и тем оправдан. Христианская мистерия показала, что человек должен превышать самого себя и свою судьбу. Современный же атеистический пессимизм не даст человеку, даже встав на цыпочки, дотянуться до собственного колена, а в отчаянном прыжке он достигает лишь своих гениталий или ануса.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского строго блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

Разумеется, кругом виновата эпоха. Обратим, однако, внимание на версификацию Бродского. Его неприязнь к расхожему стиху, крылатому или пернатому, куда-то там легко летящему, очевидна и со временем только укрепилась, во многом оправданно. Сам Бродский пережил нечто вроде романтизма на заре своего стихописания, когда артикуляция темы и мысли у него была очень слаба. Плененность невыговариваемой музыкой так и слышится:

Друзья мои, вы знаете, дела.
Друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете — пора,
друзья мои с недолгими стихами.

Друзья мои..... .. .

Уезжай, уезжай, уезжай..
.....
уезжай за слова, за дома.

Гони, гони, гони коней..
.....
Простись, простись, простимся с ним.

Иногда целые поэмы («Шествие») — в сущности, хмельная музыка и томительные поиски ее смысла, то есть способа ее артикуляции на уровне темы. Тема нашлась. Она оказалась впору и умонастроению Бродского, и каким-то его очень смутным желанием. И тут классическому стиху пришлось туго. Если мы прежде катались в нем как сыр в масле, то Бродский с обретением очень жесткого тематического выговора решил не давать читателю даром даже простейшие свои мысли. Для того в языке, который нам дан для изъяснения, как ни странно, очень много возможностей, в стихотворной речи и подавно. Бродский, скажем, со временем стал все чаще употреблять прием несовпадения ритмического периода в движении стиха с синтаксическим. Пока стих сохраняет свою прочность и упругость, такой прием только подчеркивает эти свойства, создавая очень выразительный эффект учета смещения, возвращая нас к основному ритму. Но стоит перегнуть, переломить, перекрутить пружину глобальным использованием этого средства, как вещь оказывается просто исковерканной. Приходится жертвовать или смыслом, или ритмом. В своем авторском чтении Бродский чаще жертвует синтаксисом. Жертва оказывается и невинной и напрасной. На слух некоторые места при их явной простоте для глаза остаются принципиально непонятными. Сколько поправок делает потом читатель, имея перед собой текст! Интересно, что верлибром Бродский не соблазняется. Ему нужно сопротивление материала, а верлибр — выход из игры. Тут негде установить рычаг и подсобить времени в разрушении стиха. Такое отношение к стиху не могло не сказаться и на строфе. А Бродский между тем один из самых (если не самый) изощренных ныне версификаторов в этом отношении, старающийся избавиться от постылого катрена и вообще куплетиков. Он не ленился учиться строфике у других эпох, особенно у английских метафизиков. Но строфы порождаются своей эпохой, своей культурой именно как выражение веры в единство и осмысленность сложного и противоречивого мира. Строфа иерархична и целостна, для ряда форм (сонет, баллада) она диктует также и законы композиции. Такой целостностью Бродский не располагает. Строфа для него лишь заемный сосуд, в который он наливает то, чего прежде там не бывало. Да и наливает так, что все льется через край. Прием переноса незаконченного предложения из строфы в строфу был редок и знаменовал собой некую чрезвычайность. У Бродского эта чрезвычайность повсюду и никакой чрезвычай-

чайности уже не обозначает кроме того, что и строфа у него прохудилась, и льет из нее, как из сита. Строфика Бродского чаще всего лишь зрительная иллюзия и графическое ухищрение. Смещенный стих разрушает и ее. Здесь полиграфист не поможет. Существует мнение, что достаточно особым образом записать заведомую прозу, как она становится стихами, тем более если мы привнесем в нее специальное напевное чтение (скажем, церковное). В том-то и фокус, что в такой текст мы это напевное чтение привносим, сам он его не содержит. Другое дело, когда ритмическая организация внутренне присуща тексту, когда он сам против нашей воли заставляет нас соблюдать меру чтения, как в самом финале набоковского «Дара». Такие стихи, как ни старайся, под прозу не замаскируешь. Как бы там ни было, мне довольно часто при чтении Бродского (наипаче позднего) «приходит мысль: что если это проза, да и дурная?».

Единственное, чему Бродский остается верным в своих стихах, что фактически удерживает и самый стих от его полного развала, — рифма, в которой он изобретателен и разнообразен. Ради нее он готов иногда пожертвовать многим, и она почти никогда его не подводит. Даже в домашнем, банальном виде она у него интересна и привлекательна. Явно, что фонетическая чувственность в Бродском сильнее его разрушительных дерзновений. Белые стихи у Бродского, слава Богу, исключение: они у него на редкость безрукие.

И все же специальное выделение версификации в отдельный предмет рассмотрения слишком умозрительно. Все, что я сказал о просодии Бродского, важно учитывать прежде всего при переходе к интонационному и лексико-стилистическому уровню его поэзии.

То, что теперь весь стилистический спектр допущен в литературу, не новость. Никто нам не мешает пользоваться любимыми словами и публиковать свои тексты, не заботясь о чужих ушах. Прямо по Гамлету: если вам не стыдно это показывать, мне не стыдно это называть. И все-таки нет сомнения и в том, что, какие демократические идеи в литературу ни внедряй, какой плюрализм ни прививай, слова были, есть и будут разными. До тех пор, пока мы предпочитаем есть за чисто сервированным столом, а не в общественном отхожем месте, мы будем различать слова, с каким бы видимым филологическим спокойствием им ни внимали. Если есть сосуды для разного употребления, тем более — слова. Из этой иерархичности слова (и всей жизни) порой рождается жесткая кастовость, полная изоляция между разными уровнями, что, безусловно, является такой же ложью, как снятие всех различий.

Мне и в голову не придет затевать старый спор о том, допустимы ли иные слова и темы в поэзии. Он решен самой практикой искусства. Но апостольская максима и здесь остается в силе: мне можно все, но не все полезно.

Дело не в лексическом разнообразии Бродского, чему можно только радоваться, а в том, что ему свойственно размещение разностилевых выражений в опасной, я бы сказал — антисанитарной, близости. Видно, чтобы отчасти оградить себя от упреков, Бродский часто поминает ахматовское:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Но, во-первых, Ахматова не сказала, что только из сора. Во-вторых, сор не грязь. И, наконец, — растут и выходят из сора, но не пресмыкаются в прахе. Однако, при весьма сомнительной опрятности изрядного числа изделий Бродского, он все же умеет дать несомнимое на малом пространстве, достигая необычайной выразительности. Но любовитно, как он это делает.

Борьба с «романтиком» мобилизовала в Бродском его антииерархические интенции в целом, обернувшись войной против всех стилистических установок вообще. Возникает своего рода условное использование речи, когда поэт ни с одним стилем полностью себя не отождествляет. Он пользуется всеми, но ни один из них ему до конца не близок. Все это как одежда с чужого плеча, нет, как та, что нам выдают за казенный счет в больнице или тюрьме. Все это, говоря на языке Бродского, б/у, бывшее в употреблении, и шилось не на него. Появляется не эклектика, а особый говорок, если уточнить — советская феня приллатненного быта. Эклектика считает все включаемое в себя ценным. Говорок — все уцененным. Судьба свела Бродского с Ахматовой в последние годы ее жизни. Фантастически разные речевые осанки у этих поэтов! В стилистическом отношении Бродский самый большой из самых советских поэтов, в том смысле, в каком самым советским человеком может быть наш лагерник-бытовик.

Стих со свободно размещенными акцентами, избавляющий нас от предсказуемо монотонных порций силлаботоники, создает к тому же выгодный эффект непринужденности высказывания, некоторой житейской приблизительности, когда жест и мимика являются поправкой к неаккуратной речи. Причем эта неаккуратность математически рассчитана. Бродский чаще всего выходит переговорить с вами в мягкой пижаме, не затрудняясь с зевками и почесыванием. Я говорю как раз об эстетическом, а не тематическом уровне. Может быть, конечно, что он принимает читателя за своего человека, но часто дело заходит так далеко, что впору подумать об исподнем, выставленном напоказ, как о знаке неуважения. Все это обилие парантез, аббревиатур, арго и других «словечек» легко переходит в фамильярность, в небрежность, в некое вульгарное процеживание слов сквозь зубы и даже их сплевывание на пол. Иногда довольно отчетливо слышишь: «Что, стихов захотелось? Ну щас я тебе скажу пару ласковых». Поди догадайся, что это Бродский сам с собой по душам разговаривает.

Этот общий тон стилистической небрежности (повторю — рассчитанной) должен якобы оправдать и все прочие погрешности против языка. Пишет же он совершенно сознательно:

...морщину
от еённой щеки..

Видно, что перед нами слишком застенчивый человек, чтобы говорить на правильном русском, что он, паче того, чересчур скромнен, чтобы допустить у себя лицо, проще сказать «морда». Это не просто мелочи, а то презрение к себе, которое Бродский проповедует и без которого, как он считает, достоверность поэта под вопросом. И потом, какие могут быть претензии к речи поэта, который заранее предупредил:

...здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы...

Такая эстетическая бестактность возможна лишь при условии умершей стилистической иерархии. Это не отменяет своеобразной выразительности (впрочем, иногда отменяет) стихов Бродского, но это окрашивает их в особый цвет. Подобное смешение высокого и низкого, точнее условно высокого и условно низкого, перед лицом всеобщей уценки, отмена горнего и дольнего устанавливает вечнопасмурный сезон в поэзии Бродского, скрадывающий живую окраску вещей, которые даже перестают быть вещами, то есть вещими, говорящими о себе и о мире; они становятся функциональными предметами с приложением инструкции по пользованию. Торжество этого тусклого мира неудивительно, коль и само время, курирующее его, по словам Бродского, серого цвета. Даже речи не устоять: она распадается на части, добро бы грамматические. В этом сером аду померкнут любые радужные перья. Примечательно, что даже в лучших вещах Бродского атмосфера несколько суховата, в целом же его стихи уводят нас в пустыню и бросают там. Во многом это объясняется скупым использованием прилагательных, чье назначение — придать предмету яркость, сделать его свойства сильнее его предметности, выйти таким образом за собственные пределы. Если Бродский и дает определение предмета, то крайне сдержанно, почти нехотя, чаще выбирая что-нибудь субстантивированное и намеренно шаблонное (здесь он тавтологии не боится), в результате серый забор у него превращается сразу же в какой-то серозабор. Само собой, вода рябая, дома бетонные, железо ржавое. Словом, невесело. Вообще же прилагательных он избегает. Отсутствие каких-либо категорий речи на небольшом пространстве высказывания может дать настолько резкое ощущение этого отсутствия, что станет, пожалуй, куда приметней их прямого наличия. Потеря может стать обретением. Но у Бродского это нечто иное, более похожее на ампутацию. Услуги прилагательных ему не нужны, он им не верит. Отказ от каких-то возможностей языка у такого мастера, как Бродский, свидетельствует о мировоззренческом если не изъёме, то недочете. Это уже какая-то атрофия. Впрочем, то, что он не дальтоник и вообще не глух и не слеп, Бродский демонстрирует с насмешливой благодарностью:

Зима. Звенит хрусталь фонтана.
Цвет неба — синий.
Подсчитывает трамонтана
иголки пиний.

Как правило, Бродский точен и даже дотошен, что при соответствующем усердии даст ощущение протокола, прейскуранта, какого-то перечня товаров, чему способствуют излюбленные им канцеляризмы. Короче, не жизнь, а склад, где все ветшает и уценивается. Прибавьте к этому слабость Бродского к плоскости, горизонтальной линии, к точкам и параллельным, векторам и скоростям. И все это сопряжено с перпендикулярами, трением и каким-то отвесом прямо у вас над головой. Из жизни намеренно делается муляж, макет. Человека заменяет анатомическая карта, живая органика представлена человеческими выделениями, в самом лучшем случае — углекислым дыханием. По всему этому водят указкой, доказывая какую-то очень длинную и очень скучную теорему:

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке — что находишься на корабле..

Или:

Теперь представьте себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту
и в другую и в третью сторону.

Все это преимущественно в изъяснительном наклонении. Но в мире, где нет центра, где сам учитель всего лишь одна из произвольных точек, уроки неинтересны. Ведь и метафоры и сравнения выражают собой у Бродского не родство явлений жизни, а, в согласии с учебным планом, логическое подобие и мертвое тождество. Вещи рассыпаются на функции, распадаются на части, оставаясь чуждыми друг другу, одинокими, как атомы или песчинки. Разумеется, образ пустыни у Бродского не случаен. Разнообразия с нее не спрашивай, на оазис не надейся. В этой пустыне не бывает даже миражей.

Бродский, безусловно, элегический поэт, склонный не столько выражать переживаемое состояние, сколько объяснить, осмысливать его. Поэтому он редко укладывается в малую форму, тяготея к обстоятельности. Поэзия — ускорение мысли? Но в мире рационализированных, причинно-следственных связей все принимает вид дурной бесконечности. Торопиться некуда. Нельзя по условиям этой бесконечности остановить нудный процесс доказательства, и это при том, что ответ заранее известен — нуль. Вот и приходится Бродскому на все лады нас убеждать, что, родившись на свет Божий, мы крепко влипли. Кажется, и для себя самого он звучит не очень убедительно:

Было ли сказано слово? И если да, —
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
мысли?

Очень эффектно сказано, не спорю. Все это прекрасно сознается и самим Бродским, да и выражается им, как видим, не без своеобразного изящества, хотя, по сути, он убедил меня только в своей усталости, от которой, между прочим, в последнее время меркнет и выразительная сила его поэзии. Элегия у Бродского истощилась. В его стихах развивается белокровие, да и его читателю нужно иметь запас здоровья. Кстати, признаюсь, что обращаюсь к искусству того или иного автора помимо всего прочего и для того, чтобы у него что-то взять в самом хищном, но благодарном смысле. Что до Бродского, то с некоторого времени ему самому хоть подавай.

Из сказанного выше для меня неизбежно следует, что вопрос о жанровом разнообразии Бродского снимается сам собой. Все его вещи суть сосуды, чьей формой можно пренебречь из-за полуразрушенного их состояния, а главное, потому, что они наполнены одной и той же серой субстанцией. Не только стихи его (будь то послания, сонеты, эклоги) сливаются в единый поток, но и эссе и драмы — утечка все той же субстанции. Положим, в эссе мы еще имеем дело с каким-то водоворотом мысли, с каким-то всплеском острого замечания. Зато его драмы, лишённые преимущества стихового движения и звукового обаяния, разлитые по плоскому лицу банальной аллегории, читать и неприятно и скучно.

Конечно, современное человечество переживает не просто кризис, а самую настоящую духовную катастрофу. Оно не только лишилось ценностных ориентиров, но и потеряло волю к их обретению. Нет ничего удивительного в том, что поэт является выразителем этого распада и хаоса. Кто не слышал подобного рода сужде-

ний? Я не говорю, что поэт должен быть существом благородным, великодушным и просветленным сознанием высшего назначения. По-моему, это призвание всякого человека. Равным образом не считаю, что если художник разделяет грехи и пороки своего времени и окружения, он подлежит более суровому осуждению. Относительно Бродского уверен, что он, как и в случае с Ницше, куда добрей своих жестких писаний, хоть это и не снимает его ответственности за них. Мой упрек находится в другой, именно — в эстетической области, хоть и связан с личным началом поэта, ибо талант может изначально превышать личные достоинства художника, но вечно его оправдывать не станет. Наступает время, когда личность должна оправдать свои полномочия, доставшееся ей дарование, — либо оно истощится, и останется одно «мастерство». Читатель, который верит себе больше, чем террору авторитета, всегда отличит живое от мертвого.

Поэт может отказаться от всех ценностных ориентиров. Собственно, во время художественного наития художник, будь он трижды религиозен или в той же степени атеист, имеет только одну ценность, к которой стремится, — красоту. В пределах художественного выражения добро несколько не важнее зла. Художник должен оправдать свой пессимизм или оптимизм эстетически, и в этом оправдании какого угодно мира через красоту он волей-неволей будет религиозен эстетически. Также, нравится ему это или нет, он должен живо ощущать иерархию эстетического мира. Он может создавать даже своего рода отрицательную эстетику, уводящую вниз от красоты, или выдвигать новые принципы ее переживания. Но если художник вводит хаос в само искусство, отменяя его собственные ценности, творчество кончается.

Я, конечно, не считаю Бродского таким законченным мизантропом и нигилистом, который теряет аппетит при виде любого человеческого лица или хочет удавиться оттого, что красно солнышко и на это утро поднялось с блаженной улыбкой над нашей грешной землей. Мало того, для той выразительности и такого упорства, с какими Бродский выговаривает, что жизнь отвратительна, а смерть ужасна, кроме незаурядного таланта и негативного опыта, потребна исключительная жизненная сила. Сокрытый благодатный источник есть и в его пустыне, «где цвет небес довольно серый, а иногда воняет серой». Пусть ему самому и не удалось набрести на то место, которое его питает.

Но вернемся к образу пустыни у Бродского, очень выразительному и верному, можно сказать, пророческому для самого поэта. Из страны рабства можно выйти только в пустыню. Каждый, кто вышел из этого Египта, несет пустоту и в себе самом, расprostраняя ее вокруг себя. Вспомним, что никто из вышедших из Египта до Земли Обетования не дошел. Конечно, Бродский — поэт тех, кто не дойдет. Им самим это замечательно сказано в одном из лучших стихотворений:

...Извивайся червяк чернильный
в клове моем, как слабый, которого мучит сильный;
дергайся, сокращайся! То, что считалось суммой
судорог, обернется песней на слух утробной,

но оглашающей рощи, покуда рощи
не вернут себе прежней рваной зеленой мощи.
Знать, в холодную пору, мертвые рощи, рта вам
не выбирать, и скажите спасибо нам, картавам!

Спасибо... Не знаю, стоит ли мне оговариваться, охотно и радостно соглашась с тем, что чрезвычайный талант Бродского и его простая человеческая витальность умней и глубже всякого рационализма и в своих счастливых совпадениях они подарили нам удивительные стихи. Я не имею в виду оптимистических мотивов благодарности у Бродского — они редко ему удаются. Я говорю о такой вещи, как «Похороны Бобо» с ее максимальным и ошеломляющим переживанием нигилизма, которому свойствен даже религиозный тон («Я верю в пустоту»). Вся эта вещь — паразитическое откровение пустоты как страшной и неотъемлемой правды. В имени Данта дана не только эмблема художника-творца, но и некое эхо Творца мира из ничего. Для русского уха убедительно и фонетическое попираание пустоты умопомрачительным риском творчества (да — нет = Дант). Причем чрезвычайно важно, что пустота ни в коем случае не отрицается, а входит как онтологический парадокс в условие творчества и жизни, являясь мистическим соблазном и риском для свободной воли. Я с восхищением рассматриваю это завораживающее сочинение Бродского с четырехчастной композицией, пронизанной насквозь иерархичностью

искусства, напоминающей по своим очертаниям одновременно и крест и шкелеру
Также не могу без удивления читать и такое

Шпили, колонны, резба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

Здесь все великолепно. Между прочим, ритмико-синтаксическая инверсия, которой Бродский часто злоупотребляет, здесь безупречна: «взгляни на...верх» дарит нам некое головокружение при созерцании улыбки льва. А какова башня! Руками развожу. Кстати, препоясанность могучим и хранящим временем — редкое, если не единственное, у поэта признание за этим временем и таких его свойств.

Тем не менее общий рационалистический уклад мышления Бродского с пессимистическим вектором и передозировкой нигилизма сказался на его творчестве. Хуже всего то, что это вошло в его поэтику. По моим ощущениям, где-то с 80-х годов нигилизм Бродского стал самоудовлетворенным, самодовольным («Представление»). Может быть,

..впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве

Творчество всякого большого поэта является проблемой эстетической, следовательно — духовной. Опыт гибели, выраженный Бродским, совсем не так засушен, как может показаться на том-де основании, что все человечество ныне его переживает. Важнее духовно выжить, и я не могу сказать, что Бродский указывает пути этого выживания. Напротив, он впустил распад в самую структуру стиха.

После Аушвица можно писать стихи. Причинить ущерб поэзии может только сам поэт. События исторической и личной жизни наряду с познанием мира являются по отношению к искусству проблемой материала, который художник охватывает и осмысляет эстетически. После Бродского писать гораздо труднее, ибо это совершилось уже внутри искусства, это опыт умирания самой поэзии.

Николай СЛАВЯНСКИЙ

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ — РЯДОМ С НАМИ

В 1975 году в издательстве «Наука» вышел первый том материалов, объединенных простым, но емким названием: «Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология». С тех пор в течение более чем полутора десятилетий регулярно, бесперебойно, каждый год появлялась на прилавках магазинов объемистая книга в полтысячи страниц, снабженная большим количеством «деловых» иллюстраций¹.

Программа издания, сформулированная в первом выпуске и выражавшая достаточно традиционное представление о памятниках культуры, обещала широкий разворот тем и сюжетов предполагавшихся публикаций и потому не представлялась тогда особенно жизнеспособной — казалось, что собрать читателей, заинтересованных, как правило, лишь какой-то одной областью культурно-исторического процесса, будет нелегко. Однако вскоре появилась потребность еще более расширить программу. В «Памятниках культуры...» за 1978 год была опубликована статья Д. С. Лихачева «О задачах ежегодника». К этому времени опыт издания показал, что расширилось само понятие «памятник культуры». Д. С. Лихачев обратил внимание на те явления, которые либо не получили своего воплощения в материальной форме, либо эту реализованную однажды форму утратили. Речь здесь идет, например, о личных библиотеках, которые, будучи влитыми в фонды какой-нибудь крупной научной

¹ Наш журнал уже дважды обращался к этой теме в публикациях В. Турбина (1976, № 2; 1980, № 12). — *Прим. ред.*

библиотеки, растворяются в ней. К памятникам культуры и искусства относятся не только материальные предметы, но и замыслы — нереализованные архитектурные проекты, идеи, не получившие письменного оформления и известные со слов очевидцев. Статус значительных памятников культуры приобретают не оцененные ранее произведения архитектуры эпохи эклектики или стиля модерн, иконы XVIII — XX веков, уличные вывески и многое другое. Как памятник культуры можно истолковать исторический ландшафт, связанный с тем или иным событием, с той или иной личностью.

Казалось бы, в процессе этого расширения самого понятия «памятник культуры» все более утрачивалась надежда на успешное обретение «потребителя». Где он, тот идеальный читатель, которому будут интересны и фрески Нередицы, и антропософские увлечения Андрея Белого, и музыкальная грамота допетровской Руси? К тому же составители поставили своей целью строго придерживаться намеченного жанра статей. Этим жанром должна была стать публикация как таковая, в которой не предполагается теоретических обобщений, а искусствоведческий или литературоведческий анализ становится лишь вспомогательным средством для атрибуции, на первое же место выдвигается сам памятник — будь то неизвестный портрет, произведение архитектуры, целый город с его архитектурным ландшафтом, описание какой-либо частной библиотеки, письмо видного деятеля искусства или описание быта помещика-мецената.

Между тем замысел составителей оказался правильным, их надежды оправдались. Ежегодник приобрел популярность — и во многом благодаря широте программы, выдвинутой с самого начала, а затем еще и расширенной. Программа эта соответствует той идее сохранения и возрождения культуры — и особенно национальной, — которая сегодня овладела многими...

Но проблема культуры шире. В наш век научной специализации представителям гуманитарных дисциплин не хватает знания всей культуры в целом. Разумеется, объединяющее начало легче достигается тогда, когда люди разных профессий приходят к сближению через обобщение, через философию культуры, к которой каждый из них имеет хоть какое-то отношение. Это как бы путь через верхние этажи познания. Но есть и другой — «интеграция снизу», сближение на уровне фактов. Факты истории культуры, в изобилии доставшиеся от «соседа по профессии», рождают аналогии и, взятые вместе, способны дать картину того или иного этапа национальной или даже мировой культуры.

Нет возможности да и надобности на страницах журнала разбирать или хотя бы упоминать все то, что опубликовано в пятнадцати томах, изданных к сегодняшнему дню (в предпоследнем ежегоднике, за 1988 год, дается полный перечень изданных статей). Я остановлюсь лишь на некоторых чертах этого издания, представляющих сегодня особый интерес.

В каждом томе «Памятников...» самым обширным традиционно является раздел, посвященный искусству, раздел письменности меньше, а самый сжатый — раздел археологии. Такое распределение «мест» находится в известном противоречии с составом редколлегии, большинство членов которой — словесники, за ними (по количеству) следуют историки, а завершают этот ряд искусствоведы. Литературоведы в этой ситуации, видимо, взяли на себя искусствоведческие задачи и, судя по всему, справились с ними.

Что касается искусствоведческой проблематики, то среди видов искусства преобладают пластические (в основном живопись и архитектура), а за ними следуют театр и музыка. Не хочу делать из этого сопоставления никаких специальных выводов. Отмечу лишь, что довольно часто мы имеем дело с такими публикациями, которые являются свидетельством сближения разных видов искусства, поиска их синтеза, а также синтеза искусства и жизни. Эти проблемы всегда волновали художников в России, они возникли еще в средние века и были связаны с христианской эстетикой, но с новой силой заявили о себе в начале XIX и в XX столетии, когда разные виды творчества теснейшим образом переплелись друг с другом. Сегодня эти проблемы стоят не менее остро, чем в эпоху романтизма и «предавангарда».

И. А. Мыльникова публикует (1983) несколько статей Вячеслава Иванова о Скрябине, сопровождая их комментарием и серьезным вступительным текстом. Вяч. Иванов всей своей деятельностью давал пример глубокого синтеза теории, философии, поэзии, искусствознания. Он словно воплощал тезис своего младшего современника Александра Блока о синтетичности русской культуры, в которой — в силу ее молодости — разные сферы не могут существовать друг без друга: живопись без поэзии, музыка без театра, философия без религии, политика без искусства.

Вяч. Иванову удалось раскрыть национальное своеобразие скрябинского творчества и одновременно его вселенский характер.

Статей, дающих примеры органического вхождения искусства в жизнь, среди материалов ежегодника чрезвычайно много. Все формы прикладного творчества (от живописи на эмали до проектирования и украшения экипажей), произведения древнерусских мастеров, создававших предметы, связанные с православным богослужением, древние рукописи, украшенные миниатюрами, средневековые граффити на стенах храмов, дающие своеобразный синтез письменности и пластических искусств, — вот лишь краткий перечень явлений, попавших в орбиту внимания публикаторов.

Особенно следует выделить альбомную культуру, которая в России получила высокий расцвет в первой половине XIX и затем на рубеже XX века. Поэзия и проза соседствовали здесь с живописью и графикой, с разного рода прикладными формами художественного творчества. «Домашнее искусство» в то время поднималось до высокого профессионализма; в этом искусстве свои следы оставили великие поэты и большие художники. Но не их достижения особенно важны для понимания этой особой сферы культуры России. Важнее опыт дилетантов, людей того времени, способных оставить стихотворение или рисунок в домашнем альбоме, обозначив тем самым характер художественного восприятия, уровень возможностей и тип бытования произведения в определенный период историко-художественного развития. Вот только некоторые публикации, посвященные «альбомной культуре». Е. З. Тарланов, «Альбом Е. В. Гоголь-Быковой» (1985); Ю. А. Козлова, «Альбом О. Л. Делла-Вос-Кардовской» (1986); особенно две публикации А. В. Корниловой — «Альбом помещика конца XVIII в.» (1975) и «Рисунок в альбомах первой половины XIX в.» (1976). Показательно, что две последние публикации переросли в книги («Картинные книги» и «Мир альбомного рисунка»), вышедшие соответственно в 1982 и 1990 годах.

Тот же «художественно-бытовой разрез» характерен для публикаций группы исследователей, занимающихся довольно оригинальным явлением русской и западноевропейской культуры — деятельностью артистических кабаре (А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик, «Программы „Бродячей собаки“» /1983/; А. М. Конечный, В. Я. Мордерер, А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик, «Артистическое кабаре „Привал комедиантов“» /1988/). На Западе артистические кабаре, ставшие примечательным явлением художественной культуры конца XIX — начала XX столетия, изучаются давно. В России же обращение к этой теме идет с опозданием, но опоздание это с лихвой перекрывается интенсивностью исследований, их значительной фактической оснащенностью. В названных публикациях раскрыт удивительный мир артистизма, веселой, но подчас серьезной игры, неукротимое желание каждого из представителей художественной интеллигенции сохранять артистическую сущность своей личности, оригинальность своих поступков даже в условиях всемирных катастроф и глобальных потрясений. Нельзя ли в этом увидеть некоторые — пусть периферийные — проявления национальной культуры? И если иметь в виду, при всем различии исторического колорита, сам характер поведения, то возникнут параллели между началом нынешнего века и его концом. В наше время художник (особенно связанный с «концептуальными» формами творчества) часто реализует себя в необычном для окружающих действии, поступке, и это «поведенческое» начало характеризует его индивидуальность. Такие переключки с современностью и определяют скрытую актуальность публикаций обозначенного круга.

...Как уже было сказано, книги «Памятников...» содержат материал средневекового, нового и новейшего времен. Особенно последовательно этот полный «состав» истории чувствуется в статьях о русской культуре. Сопоставляя отдельные явления, взятые из разных этапов ее истории, убеждаешься в существовании неких общих соединяющих их черт. Например, статья, посвященная Елабуге (В. М. Возлинская, «Новые материалы о Елабуге. Этапы формирования и принципы композиции города» /1988/), дает возможность наблюдать процесс перехода особенностей древнерусской архитектуры в новое зодчество XVIII — XIX веков, сближение народных черт с чертами того или иного стиливого направления (классицизма или эклектики), господствовавшего в ту или иную эпоху. С другой стороны, образуется единство и на иной почве. Традиции парсуны откликаются в портретописи XVIII века (Е. Ю. Иванова, «Традиция «парсуны» в произведениях Николая Семеновича Лужникова» /1987/), живут в XIX веке (Г. С. Островский, «Липецкие портреты» /1979/; И. Г. Котельникова, «Ф. А. Тулов — малоизвестный русский портретист первой половины XIX в.» /1980/), возрождаются в неопримитивизме века XX. Похоже, что

идея двух культур отступает на второй план перед идеей единой целостной культуры. Я уж не говорю о том, что в творчестве мастеров русского средневековья, в прикладном искусстве всех времен эта общность явно господствует над различием. Трудно судить о том, была ли эта идея специально выдвинута составителями ежегодника, но материал, который ими предложен, во многом идею эту подтверждает.

Очень важно то общее чувство, которое оставляет чтение любого тома ежегодника: культура рядом с нами; ее проявления подчас не слишком заметны; иногда обычные явления жизни и быта при внимательном к ним подходе оказываются значительными памятниками культуры. Человеческая деятельность во многих своих проявлениях творит культуру. Эта традиция культуротворчества подлежит возрождению.

Цель настоящих заметок не только в том, чтобы лишний раз отметить научную и просветительскую ценность описываемой серии. Сегодня возникают и другие вопросы. «Памятники культуры...», «Литературное наследие», академические собрания сочинений русских классиков, фундаментальные научные монографии — все издания такого типа тяжело переносят перемены, происходящие сегодня в книжном мире. Не будучи способными конкурировать с расхожей и дешевой литературой, они оказываются подчас у порога смерти. Необходимо искать возможность предотвратить их исчезновение, сохранить эти издания для русской культуры, утвердить их бытие как культурную традицию.

Д. САРАБЬЯНОВ.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАШИХ АВТОРОВ
ТИМУРА КИБИРОВА И ДМИТРИЯ ПРИГОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ПУШКИНА,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТОПФЕРА
(ГЕРМАНИЯ)

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЕТ
НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА
АНАТОЛИЯ КИМА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ,
ЗА ЕГО РОМАН «ПОСЕЛОК КЕНТАВРОВ»,
ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТРАНИЦАХ
«НОВОГО МИРА» (1992, № 7)

КОРОТКО О КНИГАХ



И. Н. В. ДАВЫДОВА. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся среднего возраста. М. Московский институт развития образовательных систем. 1992. 255 стр.

К сожалению, древнерусская литература является terra incognita не только для учащихся среднего возраста (как указано в выходных данных рецензируемой книги), но и для многих вполне образованных современников. Н. В. Давыдова подготовила курс древнерусской литературы для школьников, который должен лечь в основу специальной книжной серии. Первое из этих учебных пособий перед нами. Предполагается, что каждая из последующих книг (коль скоро они последуют) задуманной серии будет посвящена одному произведению, будет содержать его текст на древнерусском языке, перевод на современный русский язык, а также историко-культурный очерк об этом произведении, о культуре того времени.

«Евангелие и древнерусская литература» — первая книга серии, посвященная истокам русской книжности, значению Нового завета не только для литературы Древней Руси, но и для всей русской литературы нового времени, — открывается Евангелием от Марка как самым кратким и простым по изложению. Тут мне вспоминается место из автобиографического заметок Антония Блума, митрополита Сурожского («Новый мир», 1991, № 1), о том, как в юности он взял у матери Евангелие и, поскольку, по его выражению, «ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырех», выбрал самое короткое — от Марка. Результат был неожиданный: «...прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым Евангелием есть какая-то культурная база; Марк же писал и м е н н о для таких молодых дикарей, как я, — для римского молодняка». Чтение именно этого Евангелия впервые дало Антонию ощущение живого Христа; его свидетельство многого стоит, так что выбор Евангелия от Марка для нашего российского посткоммунистического «молодняка» вполне оправдан.

Евангелие от Марка дано на старославянском языке и параллельно в современном русском (синодальном) перево-

де, а для наглядности дан небольшой отрывок на древнегреческом языке, на котором, как известно, оно и было написано. Затем следует необходимое для школьников толкование слов и выражений, помогающее лучше понять текст. В следующей главе Н. В. Давыдова кратко рассказывает о Новом завете как части Библии, о Евангелии как части Нового завета, о жанре притчи и образе времени в Евангелии, о пространстве и времени православного богослужения. Еще две главы посвящены Евангелию и житиям святых, Евангелию и древнерусским «хождениям». В книге используются русские летописи, тексты житий игумена Даниила, преподобного Амвросия Оптинского, преподобного Феодосия Печерского, отрывки из книг Л. Успенского и Г. Крута о православной иконе, фрагменты из произведений Гоголя, Карамзина, Радищева, стихотворения Сумарокова, Пушкина, Бунина, Пастернака. Книга иллюстрирована «репродукциями» икон и европейской религиозной живописи — беру это слово в кавычки, поскольку качество печати удручающе низкое.

Немалое место отводится в о п р о с а м и з а д а н и я м (не забудем, что это учебное пособие). Вопросы эти можно разделить на три группы. Первая — чисто учебные, их больше всего. Например, предлагается прочесть приведенные в книге фрагменты из «Повести временных лет», из П. Чаадаева («Отрывок из исторического рассуждения о России»), из работ Г. Флоровского и С. Аверинцева — о крещении Руси. Вопросы звучат так: «В чем авторы... дополняют друг друга, в чем противоречат? Какая точка зрения тебе кажется интереснее? Какие причины принятия Русью христианства здесь не упомянуты? Что, на твой взгляд, было решающим?» На эти вопросы школьник, пожалуй, может добросовестно ответить, не принимая все это близко к сердцу, чего от него в данном случае и не требуется.

Другие вопросы непосредственно затрагивают нравственную проблематику: какие евангельские заповеди нарушают герои «Маленьких трагедий» Пушкина, герои «Преступления и наказания»? И более того: «Подумай и ответь сам себе, каким заповедям следуешь, какие престаупаешь?» Тут все спасает оговорка «сам

сбсе», ведь не только в обычной светской школе, но и в школе православной никакой учитель (именно как учитель) не может ждать от ученика признаний, на которые имеет право только священник на исповеди (признание в нарушении заповедей — это и есть исповедь).

И третий, самый редкий тип вопроса: «Как доказать, что Христос не только Сын Человеческий, но и Бог Всемогущий?» — в такой формулировке малоуместный, особенно в учебном пособии для светской школы. Если бы это можно было вообще доказать, как доказывают теорему, то и речи бы уже не было о христианской вере. Этого никто еще рационалистически не доказал, потому что — недоказуемо. И не нужно. Есть свидетельство, благая весть, для христиан достаточные, а для атеистов и иноверцев необуздательные. И тут перед автором учебника возникает самая сложная проблема, а именно: на какого школьника рассчитана книга — если на верующего, то ему не надо объяснять самые азы христианства, если на неверующего, то можно ли ставить перед ним вопрос, ответ на который предполагает веру в Христа? Имеет ли вообще подобное пособие целью, кроме очевидных образовательных задач, еще и подтолкнуть школьника к вере?

Перед автором книги были две опасности одна — впасть в миссионерство, что могло бы оказаться неприемлемым для неверующих педагогов и родителей, и другая — подать Евангелие как просто книгу, одну из многих книг, что могло бы оскорбить верующих педагогов, родителей, да и верующих учеников. Ведь Евангелие — книга о себе уже потому, что миллионы людей считают ее таковой. Конечно же, предметом изучения в данном пособии является не само христианство, а древнерусская литература, или точнее — христианство как фактор возникновения и развития русской литературы. Знать о существовании этого фактора, понимать его может и должен всякий образованный человек, и верующий и неверующий. В этом смысле книга Н. В. Давыдовой достаточно тактична.

По словам Н. В. Давыдовой, она собиралась написать учебник, не похожий на другие, такой, «где вопросов больше, чем ответов». Не желая придирается по мелочам, скажу, что книга сделана настолько хорошо, насколько вообще может быть удачным первое подобное пособие в нашей стране после 1917 года, тем более написанное не специалистом (специалист сегодня за это, вероятно, и не взялся бы). Даст Бог, напишутся и следующие. Было бы обидно, если бы хорошее

дело погибло в самом начале по финансовым или иным причинам.

II. ИЕРОМОНАХ РОМАН. Земля Святая. Записки паломника. «Москва», 1993, № 4.

По жанру это путевые заметки о поездке автора в Израиль. Исходить босыми ногами иерусалимские улочки, которые помнят стопы пророков и апостолов, как мечталось ему в полете, иеромонаху Роману не довелось; некогда, все в спешке, бегом, бегом, успеть поклониться Святым местам, а там и обратно в дорогу. Столь же беглы и отрывочны его записки. Но пафос их вполне отчетлив и пугающе прост. Земля действительно Святая. Но все портят иудеи. Зачем они там? Пейсатые. Непонятно. Хуже евреев только арабы. Берут плату за проход к христианским святыням. Кроме того, арабы — жулики и вымогатели, вроде попавшего автору таксиста. Хуже арабов только западные туристы с фотоаппаратами. Хуже туристов только католики. Хуже католиков только униаты. Хуже униатов только карловчане... Может показаться, что я утрирую, недопустимо огрубляю мысли и чувства паломника. Судите сами.

Вот наш паломник идет через арабские кварталы — играют и кричат дети, естественно, «грязные», естественно, «смуглолицые». «Таковыми арабами у нас в России кишат все вокзалы», — философски резюмирует паломник. Что сие значит? Я не понял. Проще с иудеями. Их там много. На языке автора это называется «скопище иудеев». Они противные: «Есть просто вырожденческие лица. (Зрачки сливаются с радужной оболочкой)». Но деваться от них некуда. Вот паломник, не подумавши, перекрестил какие-то решетчатые ворота, но тут же почувал неладное:

« — Это Гефсимания?

— Нет, дорога к Стене Плача.

Я остановился.

— Что ж сразу не сказали?!

...У Стены быстро-быстро, кивая-дергаясь, молились иудеи... Тяжелое, мрачное чувство подступало ко мне...

— Никакой благодати! — громко, словно отгоняя от себя наваждение, проговорил отец Андрей. Молчаливое согласие. О благодати тут приходится молчать».

Вот и у гробницы царя Давида — «очередь иудеев». «Наиболее ревностный, в шляпе, голосит по книге, мелко-мелко дергает телом — кланяется». Какая уж тут благодать. Да и в России встречал наш паломник «лиц еврейской национальности (!), идущих за Христом, но так, чтобы ничем не ущемить безбедное свое житие, более ноющих о своих гонениях, чем на деле испытывающих гонения,

говорящих о боли и не имеющих боли. Что говорить, нация непростая». Последнее выражение просто превосходно. Лучше о них не скажешь. Впрочем, как ни странно, именно в Израиле паломник встретил хорошего еврея. Тот не смог прижиться на земле предков и поделился с автором желанием вернуться в Россию. Хороший еврей. Один.

Кто там на очереди? Католики? Если поют, то оглушительно. Если празднуют Пасху, то — «орган, толчея, давка. Господи, помоги!». Ну, это понятно, особенно про орган. Если идут армяне-католики (семинаристы, монахи), то паломник сразу определяет по их лицам — «все чужое, внешнее, только поверху». «Горлопаня, небрежно крестясь, с лицами, напоминающими застольных людей с зубочистками, куда-то повалили. Скрылись». Туда им и дорога. Но — «с лицами, напоминающими... людей...» — каков слог!

Вообще у паломника на Святой Земле сплошные огорчения. «Вышел монах, кланяется, улыбается». Нет чтобы сразу догадаться, чего он так улыбается. «Протянул руку, облобызались. Игумен монастыря — отец Самуил, француз.

— Ортодокс? — спрашиваю.

— Греко-католик.

(Только этого мне еще не хватало — с униатом лобызаться! Немного расстроился). Знать бы, где споткнешься...

Вот с карловчанами куда проще. Подходит к автору монахиня-карловчанка. Ее сразу видно: «Взгляд тяжелый, металл в глазах, скрепя сердце кивнула (поклонилась). И с напором:

— Вашей Церкви надо каяться.

Смотрю.

— Церковь ваша безблагодатная.

(Бабенция! Ты-то куда?!) Вслух же говорю, помягче, но с намеком:

— Чтoб рассуждать о благодати, нужно ее иметь. Давайте лучше помолчим». Срезал. Но слишком уж мягко. Лучше бы в лоб, без намеков: «Бабенция!..» — и так далее. Ей бы и крыть нечем. Картинка!

Казалось бы, ясно — мы имеем дело с человеком, для которого все, что не русское, не православное, то греховно, тлетворно, опасно, просто физиологически противно. Что тут поделаешь, таких немало. Но вот что любопытно. Закончилась служба, крестный ход, священники, епископы... Вдруг паломник видит в давке белый клобук, фиолетовые камиллавки — гости из России. Казалось бы, радость. Но не все так просто. «Митрополит и с ним плотненькие (очень смягчаю) бати. Я понимаю, сахарный диабет, большое сердце; не о полноте здесь речь. На физиях (!!!), кроме спеси, самодовольства, трудно что-то прочесть... А ведь приедут в свои ставропольские края, за-благовествуют красивыми словами о па-

ломничестве, и даже в головы ораторствующим не придет, что такое паломничество не прибавило чести Святой Русской Православной Церкви». Вот ведь, и свои нехороши.

И получается — так расставлены в тексте акценты, что хорош оказывается один только автор, несмотря на его многочисленные вздохи о своем несовершенстве, впрочем, тоже свидетельствующие о его добродетелях. То есть речь идет не собственно о ксенофобии и религиозной нетерпимости, а о личном безмерно гипертрофированном самолюбии. «Я обрел свое место на Голгофе...» Ведь бог знает что можно подумать. А имеется в виду посещение горы Голгофы. «Люди, люди, люди. Негры, японцы, немцы, американцы, итальянцы, французы, греки, арабы, евреи! И только один я был из России. Россиюшка-Русь! Мне досталась великая честь представлять тебя на Голгофе». Не слабо. И дальше: «Германия ослепляла вспышками (фотоаппаратов. — А. В.), Италия жестикулировала наманикюренными пальцами, Япония совала видеоаппаратуру под Престол. Россия запечатлела Голгофу сердцем. Россия плакала...» Последняя фраза означает — паломник прослезился, что само по себе никак не повод для иронии, но каково самомнение: я = Россия, мои слезы = слезы России и т. д.

Образ автора, каким он встает из этих записок, просто не может не вызвать к себе неприязни, а ведь он претендует выражать дух истинного Православия, да и записки его напечатаны в журнале православной ориентации. Мысль, что эта неприязнь может быть невольно перенесена читателями и на само Православие, для меня, человека и русского и православного (хотя и не клерикала), признаюсь, просто нестерпима. И ведь по этим запискам кто-то будет судить о нашей Церкви, тыкать злорадно пальцем: мол, читайте, вот они какие... «Киббуцы. Трудовой лагерь, типа колхозов. Производят продукты». *Уж не пародия ли он?* Не хватало еще прочесть, что Иерусалим — город контрастов. Но ведь, без шуток, так и написал: Израиль — «страна контрастов»!!! Добавил: «...и противоречий».

Андрей Василевский.

*

С. Б. ФИЛАТОВ. Католицизм в США. 60 — 80-е годы. М. «Наука». 1993. 142 стр.

Для традиционного российского сознания в самом понятии к а т о л и ц и з м присутствуют одновременно и настороженное (а подчас и прямо враждебное) стремление соблности безопас-

ную дистанцию, и заманчиво-соблазнительное желание подойти как можно ближе, сойтись теснее иногда до полного принятия всех догматов западного христианства. Католическая нить столь прочно вплетена в русскую историю, католицизм столь долго присутствует в ней, отталкивая и притягивая умы и души, что сейчас, при первых проблесках религиозного рассвета (который, однако, многие склонны объявить едва ли не торжеством православия), становится заметен неподдельный интерес к «папеству», как на уровне религиозной практики, так и на уровне симпатизирующей религии культуры. Вот почему — во всяком случае, я в этом совершенно уверен — не «широкий», но зато вдумчивый читатель с немалой для себя пользой прочтет обстоятельное, богатое большей частью совершенно неизвестным у нас фактическим материалом исследование С. Филатова. Дело в том, что современный католицизм с его успешными и неудачными попытками соединить неповрежденность догмата с демократическими устремлениями XX века, с его стремлением сочетать достойную христианскую твердость с терпимостью к заблуждениям и даже падениям слабого человека, с его теперь уже фундаментальным намерением наряду с активной проповедью Евангелия не менее активно участвовать в социально-политической жизни общества, — современный католицизм во всей его много-сложности будет неполно и, может быть, не вполне верно понят вне исторически сравнительно краткого, но религиозно и человечески весьма насыщенного опыта существования католиков и католической Церкви в США. Опыт этот свидетельствует прежде всего об огромных духовных ресурсах католицизма. Оказавшись в такой изначально протестантской стране, какой были и долгое время оставались Соединенные Штаты, более того — оказавшись в условиях гонимого меньшинства, американские католики к 60 — 80-м годам нынешнего века (а именно этот период рассматривает в своей книге С. Филатов) не только создали мощную и авторитетную церковную организацию, но и сумели сказать свое веское слово по всем проблемам духовной, социально-экономической и политической жизни США. На обширном фактическом материале автор показывает эволюцию американского католицизма как историю «принятия им демократических норм и ценностей», как непростой путь к религиозной терпимости, плюрализму и критическому отношению к духовным и светским властям. И в конце концов, отмечает С. Филатов, «католические ценности стали неотъемлемой частью идеологии, культуры, политических ориентаций американского народа»

Как это обыкновенно и бывает, всякий читатель найдет в книге нечто, особенно ценное именно ему. Быть может, это будет анализ позиции американских католиков — мирян, клира и епископата — по отношению к вьетнамской войне; или краткие и точные характеристики действующих в США монашеских орденов, среди которых наиболее многочисленным и влиятельным является иезуитский; или участие Церкви в решении экономических проблем... Лично же для меня, вынесшего из поездки за океан убеждение, что Соединенные Штаты — это страна идеалистов (разумеется, со всеми условностями подобного обобщения), было особенно важно узнать о собственном американском католицизме высокому духовному накале. Да, в США, как отмечает С. Филатов, «считают филантропическую деятельность церковей «необходимой». И далее: «Симптоматично, что все американские святые и блаженные были прославлены за дела милосердия». Но в то же время Церковь перестает быть собственно Церковью, если ее служение ограничивается вниманием к бедным и униженным. Сакральные ценности не должны быть растворены в социальных заботах; Марфа не должна вытеснять Марию. Католики в США, как то следует из книги С. Филатова, сумели найти некую золотую середину, или, точнее, некое гармоничное сочетание гуманитарной деятельности с верностью высочайшим духовным идеалам христианства. Пример тому — не только во всех отношениях замечательное движение «Кэтолик уоркер» с его выдающимися лидерами Д. Дэй и П. Морином (в последнем находят черты, сближающие его с Франциском Ассизским), но и в высшей степени показательное стремление молодых американских католиков быть в Церкви, в молитве.

А. Нежный.

*

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ СВЕШНИКОВ, ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ШАРГУНОВ. О церкви, России, нравственном мире. Сборник статей. М. «Рарогъ». 1993. 126 стр.

«Быстро, быстро созреваем», — замечает один из авторов этой книги, имея в виду торопливую готовность, с какой современное человечество готовится принять антихриста.

Не будем пугаться, просто оглянемся на свое привычное, каждодневное психическое состояние. Мы ведь взвинчены и подавлены, возбуждены и переутомлены в одно и то же время. И еще: мы разобшены. Душевный беспорядок, терзаю-

щий каждого из нас, — и производное и источник тотального беспорядка, вселенской смази, бесструктурности нынешней русской действительности. Но Боже мой, как же мы сопротивляемся всему, что напоминает нам об иерархическом устройстве жизни, как готовы везде и всюду — зачастую и в требованиях религии — заподозрить «тоталитаристские» покушения на нашу внутреннюю свободу (читай: на наш беспорядок). Читателя-интеллигента, образованного неопита предлагаемая книга настолько же с первых страниц привлечет, насколько и насторожит. Составленная из выступлений двух известных московских священников, она говорит с таким читателем близким ему языком, в ней упоминаются дорогие ему имена — от Пушкина до И. Ильина и Вл. Соловьева; вообще она охватывает темы, что называется, животрепещущие для всего общества, и для образованного круга, конечно, тоже.

И тут — стоп! Здесь-то и возникает главная загвоздка. Слишком уж, на наш взгляд, подход к этим темам у авторов жесток, бескомпромиссен. Ортодоксален, как говорится. А ведь именно это зачастую нас неприятно поражает, а то и останавливает в нашем стремлении к церковной жизни. Не про нас религиозная цельность и церковная требовательность.

А тут обличительная требовательность во всем: в постановке вопроса о скорейшей канонизации царской семьи; в непризнании ни за одной из наших политических сил — небольшевиками, либерал-демократами, националистами — способности стать «новым ведущим слоем»; в раскрытии inferнальной сущности биологических экспериментов по пересадке сердца и искусственному выращиванию эмбриона; в утверждении права ребенка, вообще человеческой личности на целомудрие (права, которое хитро и агрессивно отнимает разными способами у личности общество).

Прот. Александр Шаргунов в статье «Только любовь зряча» говорит: «...без общества целомудрия не может быть общества милосердия» — и указывает, как быстро обесмыслились призывы к милосердию в блудном обществе. Он продолжает в другом месте: «Чудо и познание таинственного возможны только в целомудрии. Целомудрие — целостное мудрование, целостное восприятие жизни. Пока человек не научился целомудрию, он все воспринимает по частям, никак не может составить целостную картину жизни или даже какой-нибудь духовной проблемы». А раз так, раз нет целостного представ-

ления об исторических судьбах мира, то понятно и происхождение хаотичности, враждебной разобщенности усилий по спасению родины, осуществляемых разными партиями. Прот. Владислав Свенников отмечает: «В истоках каждого из трех движений, очищенные от политических амбиций, открывались высочайшие человеческие идеалы... В большевистском идеале — стремление к социальной справедливости. В либерально-демократическом идеале — понимание абсолютной ценности человеческой личности. В националистическом идеале — стремление к человеческому единству и соборности на уровне народа. Эти идеалы ценны в своем единстве, но как только какой-нибудь... противопоставляется двум другим, он... искажается. Искаженные идеалы по типу служения им принимают вид идолов, а по внутреннему содержанию становятся иллюзиями».

Неверно, впрочем, было бы думать, будто авторы книги со всей непримиримостью обличают и этим ограничиваются; в их статьях есть конкретные (и, замечу, п р а к т и ч н ы е, применимые в любых — в частности, в современных наших — условиях) рекомендации собирания жизни, ее приведения в порядок, структурирования ее частей. Как ни странно, именно зрячесть авторов в отношении действительности, отказ обольщаться, понимание почти полной безнадежности картины русской современности дают им силы надеяться, дают видение тех элементов жизни, развитие которых может что-то изменить в ходе отечественной истории. «Мы говорим почти о невозможном. Но с великой надеждой». Ясно, что вне веры, вне действия Креста авторы как личного, так и общественного спасения не мыслят и не планируют.

Читатель, дорожающий своей духовной автономностью, своей индивидуальностью и свободой! Ты разочарован? А чего же ты ждал? И если бы ты мог себе представить, сколько раз твоя индивидуальность и твоя свобода уложатся в русле веры! («Широка заповедь Твоя зело», — сказано в псалме.) Зато человек, «настроенный на истину», может быть (говоря словами о. Владислава), послужит тому, о чем говорится на первой странице, в эпиграфе: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызуются» (Пс. 84, 11). То есть послужит предельной, святой упорядоченности русской жизни, возможность которой все-таки не отнята у нас до конца.

Елена Степанян.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

ЗА 1993 ГОД



Д. С. Лихачев. О русской интеллигенции II — 3

Россия, которую мы обретаем... Русская идея и новая российская государственность: проблемы, направления, перспективы. Обработка и подготовка материалов С. Николаева. I — 3.

Александр Солженицын. Ответное слово на присуждение литературной награды американского национального клуба искусств. IV — 3.

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Андрей Битов. Ожидание обезьян. X — 6.
В. Богомолов. В кригере. Повесть. VIII — 94.

Александр Бородин. Спички. Маленький роман. VI — 3.

Фридрих Горенштейн. День, оставшийся под обрывом. Рассказ. II — 127.

Борис Екимов. Враг народа. Рассказ. I — 134. — Набег. Рассказ. XII — 110.

Олег Ермаков. Чаепитие в преддверии. Рассказ. IX — 58.

Сергей Залыгин. Экологический роман. XII — 3.

Даур Зантария. Судьба Чу-Якуба. Из исторических хроник. Перевел с абхазского автор. VII — 166.

Игорь Клех. Хутор во вселенной. IX — 34.

Владимир Кравченко. Прохожий проспекта Мира. Повесть. IX — 9

Михаил Кураев. Зеркало Монтачки. Роман в стиле криминальной сюиты, в 22 частях, с интродукцией и теоремой о призраках. V — 3; VI — 67

Евгений Лапутин. Приручение арлекинов. Роман VII — 3

Владислав Леонович. Сашок. Очерки из наркологии. V — 114.

Владимир Маканин. Квази VII — 124.

Евгений Носов. Темная вода. Рассказ. VIII — 116.

Иван Оганов. Песнь виноградаря осенью. Эпос. Главы из книги. I — 50; VIII — 3.

Марина Палей. Рейс. Рассказ. III — 82.

Виктор Пелевин. Желтая стрела. Повесть. VII — 96.

Юрий Петкевич. Детство. Рассказ. IX — 50.

Людмила Петрушевская. В садах других возможностей. Рассказы. II — 105 — Ну, мама, ну. Сказки, рассказанные детям. VIII — 130.

Валерий Пискунов. По роду их. Повесть. II — 14.

Эдуард Пустынин. Хронология дождей. Рассказы; **Михаил Бутов.** Памяти Севы, самоубийцы. Предисловие Сергея Залыгина. V — 157

Дина Рубина. Во вратах Твоих. Повесть. V — 73.

Андрей Сергеев. Портреты. VII — 148.

Лариса Тараканова. Рассказы. IX — 71.

Людмила Улицкая. Дочь Бухары. Рассказ. I — 172.

Марк Харитонов. Провинциальная философия. Повесть. XI — 7.

Владимир Шаров. До и во время. Роман. III — 6; IV — 11.

Асар Эпель. На траве двора. Рассказ. I — 152. — Aestas sacra. Рассказ. IX — 76.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Сергей Аверинцев. Стих о стихах духовных, или Прение о Руси. I — 44.

Белла Ахмадулина. Два стихотворения. V — 69.

Владимир Гандельсман. Флоксы цветут в крови сквозняка. IX — 31.

Где ты уже не будешь ник о г д а: **Марина Тарасова, Натан Злотников, Борис Сиротин.** V — 154.

Ольга Гречко. Горностаи и ласки. IV — 7. — Огоньки в художественной школе. X — 103.

Сергей Грибов. Звезды, камни, рыбы. VII — 122.

Игорь Губерман. Стал каплями российского фольклора. V — 110.

Дмитрий Кочуров. Летящий в небесах. VIII — 115.

Елена Крюкова. Мать Мария. I — 181.

Юрий Кублановский. В курганах бесхозног сора. VIII — 92.

Марина Кудимова. Искра звенит по про- воду. III — 3.

Евгения Кунина. Франческа да Римини. Вступительное слово Анастасии Цветаевой. III — 96.

Александр Кушнер. На черный день. VI — 63.

Владимир Леонович. Вечные гости. X — 3.

Семен Липкин. То, что цветет. II — 10.

Инна Лиснянская. Из тетради 1993. XII — 107.

Лариса Миллер. Золотистая твердь, красная рябина. VII — 164.

Анатолий Найман. Богохранимая страна... V — 185.

Н и к т о и з н а с: **Вадим Фадин, Вале- рий Краско.** IX — 57.

Валентина Пахомова. Не прощайся со мной, отец. IX — 74.

Д. А. Пригов. Моя Россия. I — 168.

Евгений Рейн. Сорок четыре. IX — 3.

Генрих Сапгир. Зеленые фуражки. II — 103.

Андрей Сергеев. Россия для приезжего —

орех. IV — 78 — Из довоенного детства. VII — 128

Стереоскоп: Елена Гилярова, Юлия Покровская, Александр Мионов, Роман Солнцев. VII — 92.

Стихи: поэзия и проза: Анна Наль, Игорь Селезнев, Александр Сорокин, Ренат Харис (перевел с татарского Вадим Кузнецов); Леонид Завальнюк, Галина Гампер, Михаил Ярмуш, [Марк Лисянский]. XI — 3, 87
Елена Ушакова. Белые оводы. VI — 132.
Елена Шварц. Мартовские мертвецы. III — 78.

Игорь Шкляревский. Прощание с поэзией. I — 132.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Виктор Ворошильский. Стихи 1970 — 1980-х годов. Перевод с польского и примечания Владимира Британишского. I — 183.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Андреева. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой. VII — 198.

Эмма Герштейн. Лишняя любовь. Сцены из московской жизни. XI — 151; XII — 139.

С. М. Соловьев. Детство. Главы из воспоминаний. Вступительная статья и публикация Н. С. Соловьевой. Подготовка текста и примечания А. М. Кузнецова. VIII — 178.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Марк Костров. Как уцелеть в наше смутное время? Советы колотного жителя. IX — 141.

Зуфар Фаткулдинов. Афоризмы и размышления. VII — 181.

Предварительные итоги XX века

Мариэтта Чудакова. Под скрип укюлочин. IV — 122.

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр Борщаговский. Обвиняется кровь. Фрагменты книги. X — 105.

Алексей Кива. *Intelligentsia* в час испытаний. VIII — 160.

Алла Латынина. «Патент на благородство»: выдаст ли его литература капиталу? XI — 195.

Д. Штурман. Остановимо ли Красное Колесо? Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына. II — 144.

Россия, которую мы обретаем...

С. Алексеев. Наш шанс. IV — 137.

Владимир Гурвич. Национальная идея и личность. V — 205.

Анатолий Иващенко. Зеленые побеги на засохшем древе. IV — 145

Елизавета Чей. Дом своими руками. IV — 156.

Ю. Шрейдер. Между молохом и мамоной. V — 190

Виктор Ярошенко. Попытка Гайдара. Поемные записки историкографа «правительства реформ» III — 107.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

[Павел Пэнэжко]. Конверсия по-нижгородски. III — 142. — Предприниматели. По попытка группового портрета в посткоммунистическом интерьере. XII — 175.

Людмила Самойлова. Государственные дети. Предисловие Л. Петрушевской. X — 152

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Евгений Винокуров. Голубая вечность. Стихи. Предисловие Вадима Сикорского. XII — 130.

«Меня убьет только прямое попадание по башке». Материалы к творческой биографии Андрея Платонова. 1927 — 1932 годы. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и очерк творчества Н. В. Корниенко. IV — 89.

Николай Одоев (Н. Г. Никишин). Рассказы. Публикация, подготовка текста и предисловие Валентина Германа. VI — 134.

Андрей Платонов. Ноев ковчег (Каиново отродье). Комедия. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарий Н. В. Корниенко. IX — 97.

Борис Садовской. Пшеница и плевелы. Роман. Публикация и вступительная статья Сергея Шумихина. Послесловие В. Э. Вацура. XI — 92.

Три поэта: Евгения Николаева. В веренице разорванных дней. Публикация и послесловие Владимира Глоцера; Анастасия Горнунг. Я знаю, что во мне и на земле. Публикация и послесловие Льва Горнунга; Александр Гладков. Не надо бронзы нам — посейте там траву. Публикация и послесловие Игъи Соломонника. VI — 154.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Я. С. Друскин. Предопределение и свобода. Философские эссе. Дневник. Составление, публикация и примечания Л. С. Друскиной. Вступительная статья В. Н. Сажина. Послесловие А. Г. Машевского. IV — 205.

А. Г. Макаров, С. Э. Макарова. К истокам «Тихого Дона». V — 209; VI — 189. — «А власть эта не от бога». XI — 206.

«Наша любовь нужна России...». Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой. Вступительная статья, составление, публикация и комментарии Александра Носова. IX — 172; X — 174.

Письма М. И. Цветаевой. Из архива П. П. Сувчинского. Публикация и комментарий Ю. Клюкина, В. Козового и Л. Мнухина. I — 197.

«Проклятия крестьян падут на Вашу голову...». Секретные обзоры крестьянских писем в газету «Правда» в 1928 — 1930 годах. Вступительная статья, публикация и комментарий Т. М. Вахитовой и В. А. Прокофьева. IV — 166.

Алексей Пурин. Опыт Константина Вагинова. VIII — 221.

Елена Ржевская. Геббельс. Портрет на фоне дневника. Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса — Л. Сумм. II — 203; III — 195; IV — 184.

А. Солженицын. Черты двух революций. XII — 196.

Д. Штурман. У края бездны. Корниловский

Ариадна Эфрон. «А душа не тонет» Публикация, подготовка текста и комментарий Р. Б. Вальбе III — 159

М. В. Юдина. Письма к друзьям 20 — 60 е годы Публикация, вступительная статья и примечания А. М. Кузнецова II — 172

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

А. Курасв. Трудное восхождение IV — 162
Спор о свободе совести Владимир Семенко. Две свободы, Рената Гальцева Роковое слово IX — 156, 164

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. В. Орган ретрансляции По страницам «Северо Востока» III — 103 — Толстовцы как интеллигенция XI — 189

Юрий Кублановский. Тютчев в «Литературном наследстве» VI — 183

Алла Марченко. А ну как останемся с номом? XI — 186

А. Мелихов. Зачарованные обидой. XI — 191

Татьяна Николеску. Клоев в Италии. I — 187

Сор из избы. Вокруг романа Владимира Шарова «До и во время». V — 186.

Татьяна Чередиенченко. Вышли (?) мы все из барака... XII — 211.

Петр Черкасов. Последний император. I — 189

В МИРЕ ИСКУССТВА

Предварительные итоги XX века

Олег Семенов. Искусство ли — искусство нашего столетия? VIII — 206.

Татьяна Чередиенченко. Новая музыка № 6. I — 218

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. Архангельский. Проза мира. I — 233

Павел Басинский. Возвращение. Полемиические заметки о реализме и модернизме. XI — 230

Виктор Камянов. Игра на понижение. О репутации «старого искусства» V — 237

Юрий Карабчиевский. Филологическая проза. Публикация [Светланы Карабчиевской]. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Сергея Костырко. X — 216.

Григорий Кружков. «Ты опоздал на много лет» Кто герой «Поэмы без героя»? III — 216

Юлия Латынина. Дедал и Геркулес, или Несколько рассуждений о пользе и бесполезности литературы. V — 226.

Алла Марченко. Гексагональная решетка для мистера Букера. IX — 230

Андрей Немзер. Несбывшееся. Альтернативы истории в зеркале словесности. IV — 226

В. Непомнящий. Пушкин через двести лет Глава из книги. VI — 224

Алексей Пурин. Набоков и Евтерпа. Последствие Андрея Василевского II — 224

Ирина Роднянская. Гипсовый ветер О философской интоксикации в текущей словесности XII — 215

Предварительные итоги XX века

Лев Гудков, Борис Дубин. Без напряжения Заметки о культуре переходного периода 242

Н. Лейдерман, М. Липовещкий. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме VII — 233

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Сергей Аверинцев. Верность здравомыслию (Никита Струве. Православие и культура) XI — 245

А. Богословский. Искатель духовной свободы (Борис Поплавский. Домой с небес. Романы) IX — 243

Андрей Василевский. Попытка компенсации (Владимир Милашевский. Из цикла «Глазами пятилетнего». Владимир Милашевский. Нелли. Роман из современной жизни). X — 248.

Евгений Добренко. Порнология, или Философия «в щелочку» (Леопольд фон Захер-Мазох. Венера в мехах; Жиль Делёз. Представление Захер-Махоза; Зигмунд Фрейд. Работы о мазохизме). III — 245.

Б. Дубин. Чтение и общество в России (Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века). III — 240. — Конец трагедии (Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Анатолий Якобсон. Почва и судьба). VI — 239.

Ю. Каграманов. «Жизнь... дрожит полностью» (Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание). III — 235.

Виктор Камянов. Век XX как уходящая натура (Фридрих Горенштейн. Избранное в трех томах; Яков Каша. Повесть; Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних; Чок-Чок. Повесть; Споры о Достоевском. Драма в двух действиях). VIII — 234.

Игорь Клев. О «Кафках» польских, чешских и русских (Бруно Шульц. Коричные лавки. Санатория под клепидрой). XI — 239

Сергей Костырко. Прощание откладывается (Зуфар Гареев. Мультипроза. Повести). IV — 244. — «С утробым обонаньем...» (Юрий Карабчиевский. Прощание с друзьями. Стихи и поэмы). IX — 240.

Юрий Кублановский «С того берега» о Солженицыне (Жорж Нива. Солженицын). XI — 242.

О. Майорова. О пользе дилетантизма (Т. П. Виноградова. Нижегородская интеллигенция. Вокруг Н. А. Добролюбова). III — 243.

Владимир Микушевич. Дар черного дня (Средь других имен. Составитель В. Б. Муравьев. Поэты — узники ГУЛАГа. Малая серия). III — 227.

Ст. Рассалин. Виноватый (Наум Коржавин. Время дано. Стихи и поэмы). X — 244.

И. Роднянская. Марс из бездны (Олег Ермаков. Знак зверя. Роман). IV — 239

Ю. Шрейдер. Сюжет выжил (Е. Федоров. Жареный петух) III — 232

Политика и наука

Б. Ливчак. Давний спор и современность (Н. Н. Суханов. Записки о революции В 3-х томах) XII — 232

О. Майорова. «Прорыв культуры», или Немного о лжи (К. П. Победоносцев. Великая ложь нашего времени). IX — 247.

В. Сапов. «С верой в будущее России...» (Архив русской революции). VI — 242.

И. Созиц. Провал революции извне (М. Тухачевский. Поход за Вислу. Ю. Пилсудский. Война 1920 года). XI — 248.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Л. Айзерман. Дети гласности. VIII — 243.

Р. Баладин. Законы природы в жизни общества. V — 251.

М. В. Князев. Еще раз о «Северо-Востоке». VIII — 254.

Е. Н. Никитин. Был ли фальсификатором В. И. Анучин? IV — 247.

Ольга Петрович. Сюжет о потерянной дочери. VI — 246.

Д. Сарабьянов. Памятники культуры — рядом с нами. XII — 243.

Николай Славянский. Из страны рабства — в пустыню. О поэзии Иосифа Бродского. XII — 236.

М. Тартаковский. «Черный ящик» истории. V — 245.

Ю. Шрейдер. Культура как фактор свободы. I — 242.

Л. Э. Ярустовская. Письмо в редакцию. IV — 249.

КОРОТКО О КНИГАХ

Юрий Кублановский. — Инна Лиснянская. Стихотворения. **Юрий Ряшенцев.** — Алексей Дидуров. Вариации. **И. Слюсарева.** — Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути; Дон-Аминадо. Парадоксы жизни. Стихотворения, воспоминания, афоризмы. **Е. Ознобкина.** — I. Логос. Философско-литературный журнал. II. Ступени. Философский журнал. III. Новый круг. Ежеквартальный художественно-философский и культурологический журнал. IV. Путь. Международный философский журнал. I — 247.

Георгий Вирен. — I. «Теплый стан» Современный альманах. II. «Здесь и теперь» III — 249.

В. Вахрушев. — I. Х. Пирсон Вальтер Скотт. II. Эти загадочные англичанки... III. Откровение Артура Конан-Дойля: по-тусторонний мир существует! Артур Конан Дойл. Известный и неизвестный. Перстень Тота. Сборник рассказов. **В. Потапов.** — Дж. Леннон, П. Маккартни, Дж. Харрисон, Р. Старр. Стихи и песни (Песни «Битлз»). IV — 250.

Анатолий Кузнецов. — I. Сергей Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. II. Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. III. А. М. Пружанский. Отечественные певцы. 1750 — 1917. Словарь. VII — 253.

А. Зеркалов. — Михаил Кривич, Ольгерт Ольгин. Товарищ убийца (Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы). **В. Камянов.** — Лазарь Карелин. Свой. Повесть. **Андрей Василевский.** — Вячеслав Сухнев. Встретимся в раю. Роман. IX — 251.

Владимир Пуков. — I. А. М. Пятигорский. Философия одного переулочка... II. С. С. Хоружий. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. III. Клинтон Гарднер. Между Востоком и Западом. Возрождение даров русской души. IV. «Диспут». Историко-философский религиозный журнал. X — 251.

Андрей Василевский. — I. Н. В. Давыдова. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся среднего возраста. II. Иеромонах Роман. Земля Святая. Записки паломника. **А. Нежный.** — С. Б. Филатов. Католицизм в США. 60—80-е годы. **Елена Степанян.** — Протоиерей Владислав Свешников, протоиерей Александр Шаргунов. О церкви, России, нравственном мире. Сборник статей. XII — 247.

Зарубежная книга о России. I, IV, V, VIII — 255; III — 253; XI — 252.

Русская книга за рубежом. II, IX, XI — 254; VI — 255.

SUMMARY

In this issue we publish a new book by Sergei Zalygin, «The Ecological Novel». It is the story of an hydrologist told from the 1900s up to our days, and bearing some autobiographical features.

The poetry section contains new poems by Inna Lisnyanskaya and some poems by the late Eugeny Vinokurov with a foreword by Vadim Sikorsky.

Publication of selected chapters from Emma Gerstein's memoir «The Needless Love» (begun in № 11).

In the «Sketches of Our Days» section Pavel Penezhko appears with his essay «Businessmen», about some noted Russian businessmen.

In «Publications And Reports» section we publish an essay by Alexander Solzhenitsyn «Features of Two Revolutions», comparing the French revolution and the Russian October revolution.

In «Comments» section Tatyana Cherednichenko reflects upon mass musical culture in Russian radio programmes.

Literary criticism is represented by Irina Rodnyanskaya's «Gypsum wind» (about the philosophical intoxication of the modern literature).

In «Book Review» B. Livchak reviews a new edition of N. Sukhanov's notes on the October revolution in Russia.

In «Editorial Mail» we give N. Slavyansky's letter «From the Land of Slavery to the Desert», with critical thoughts about the poetry of Joseph Brodsky, and another by D. Sarabyanov commenting the recent volumes of the «Monuments of Culture» collection.

In «Briefly About Books» Andrey Vasilevsky reviews the books by N. V. Davydova «The Gospels and Old Russian Literature» and «The Hely hand» by the Rev. Roman Alexander Nezhny — the book of S. B. Filatov «Catholicism in the U. S. A.»; Elena Stepanyan — a book by the Rev. Vladislav Sveshnikov and the Rev. Alexander Shargunov «Russia, the Church and the Moral».



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 30.08.93 г. Подписано к печати 25.10.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакции журнала «Новый мир» Формат бумаги 70x108¹/₁₆ Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

Ираж 53 010 экз Зак 3901 Цена. в России — 90 р., в странах СНГ 200 р.

При участии издательства «Известия» Москва, Пушкинская пл., 5

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5

**ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИР»
УЧРЕДИЛА ПРЕМИЮ
ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».
ЕЮ БУДЕТ ОТМЕЧЕНО
ЛУЧШЕЕ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ В 1993 ГОДУ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ РОССИИ**

На 1993 год премия составит 500 долларов

* * *

Главный редактор «Делового мира» Юрий Александрович КИРПИЧНИКОВ говорит:

«Я уверен, что без предпринимателей-меценатов культуре не выжить сегодня. Она никогда и не существовала без их участия. «ДЕЛОВОЙ МИР» постоянно рассказывает о таких людях нового образца, надеюсь увеличить число тех, кто не только на словах, но и на деле поддерживает культуру. Однако же лучше всего убеждать собственным примером, поэтому мы и учредили литературную премию для авторов журнала «НОВЫЙ МИР», с которым нашу редакцию связывают прочные деловые и дружеские отношения. «НОВЫЙ МИР» — один из бесспорных лидеров сегодняшнего литературного процесса, а значит, и всей культурной жизни страны. Наша поддержка талантливых писателей — небольшой, а все-таки вклад в дело возрождения культуры. Мы полагаем, что, будучи первыми, не окажемся единственными. Кто из предпринимателей последует нашему примеру и пополнит размер премии? «ДЕЛОВОЙ МИР» готов известить об этом читателей».